

ISSN 0132-0637

Октябрь

Октябрь 1992

5 1992

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, БИЗНЕСМЕНАМ, БАНКИРАМ

Правление Российской государственной страховой компании предлагает сотрудничество в вопросах обеспечения финансовой стабильности производственной и коммерческой деятельности, сохранения устойчивого благосостояния.

Страхование основных фондов и оборотных средств предприятий гарантирует возмещение ущерба, причиненного имуществу предприятий и организаций вследствие стихийных бедствий, пожаров, взрывов, аварий и краж, а также других чрезвычайных обстоятельств.

Страхование риска непогашения кредита, страхование ответственности заемщика за непогашение кредита обеспечит возмещение возможного ущерба в размерах до 90% сумм кредитов, принятых на страхование.

Коллективное страхование рабочих, служащих, спортсменов проводится на условиях действующих видов личного и имущественного страхования граждан (страхование жизни, от несчастных случаев, на период временной нетрудоспособности родителей из-за болезни детей, потери работы в связи с банкротством, ликвидацией предприятия и т. д., страхование всех видов имущества и пр.).

Правление Российской государственной страховой компании располагает миллиардными запасными и резервными фондами, что позволяет брать на страхование любые риски и гарантировать безусловное выполнение договорных обязательств перед страхователями с применением самых низких ставок (премий) страховых платежей.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по адресу: Правление Росгосстраха, 103381, Москва, Неглинная, 23.

Телефоны: 200-29-95, 200-47-77.



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1992

М А Й

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Олег КЛИНГ. Меченые. Повесть	3
Бахыт КЕНЖЕЕВ. Чем обреченнее, тем слаще... Стихи	64
Анатолий АНАНЬЕВ. Лики бессмертной власти. Роман. Царь Иоанн Грозный. Продолжение	69

Виктор КРИВУЛИН. **136**
Последняя книга. Стихи

Анатолий ГЕНАТУЛИН. **138**
Валуны. Рассказ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Борис ПАРАМОНОВ. **146**
Горький, белое пятно

Товар — деньги — товар

Ю. ОЛЬСЕВИЧ. **168**
Свобода и хлеб. О Хайеке, Кейнсе и нашей реформе

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Николай ПЕРЕЯСЛОВ. **176**
Синдром Нострадамуса, или Гоголь против тоталитарной системы

Тамара ИВАНОВА. **183**
Глава из жизни. Воспоминания. Письма И. Ба-
беля, комментарии Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВА

Страница редактора **208**

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
И. А. БРЯНСКАЯ (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 06.04.92. Подписано к печати 24.04.92. Формат 70×108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 122 200 экз. Заказ № 1610. Цена 14 р. 70 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64,
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —
214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Олег КЛИНГ

М е ч е н ы е

ПОВЕСТЬ

И я был там...

За все время недолгого еще обитания там первый раз приблизился к Земле... И вот теперь я летел и летел над или, точнее, вокруг нее... И я там был... Был... Был. И я там был... Еще совсем недавно. Даже не привык пока к новому своему телу — вернее как бы отсутствию его: когда надо лететь по кругу или резко завернуть, все хочется оглянуться и посмотреть: как там у меня ноги — успели за мной?.. А может быть, они у меня стали, как хвост у русалок, и плавно изгибаются? Но нет, никаких ног или русалочьих хвостов на самом деле нет — вообще ничего нет. Я и есть: со своими мыслями, так еще и оставшейся с Земли тоской и любовью, со своими сомнениями и почти детскими страхами, но в привычном смысле слова меня и нет... Никто не может меня увидеть — никакие самые совершенные микроскопы или телескопы и тому подобная техника (я так и не успел на Земле разобраться с техникой), никакие лазерные и нелазерные лучи, ничто не поможет распознать меня в этой черной, как кажется людям, бездне. Я теперь сам — часть этой бездны. И потому я и есть, и меня нет. У меня нет тела, но осталась, как это ни странно, та самая душа, которой-то, казалось, нет и не должно быть. Душа моя обладает на самом деле и тем, что на Земле привыкли называть тело, но это невидимая материя...

Так что я лечу совсем рядом с Землей. И я был там. Был... Я все еще представляю себя в прежнем обличье, и мне кажется, что сейчас я тыльной стороной ладони и согнутым указательным пальцем вытру слезу... Как можно догадаться, у меня теперь нет ни ладони, ни указательного пальца, ни даже слез — просто так дает себя знать прежняя привычка ощущать себя, передавать с помощью жестов и слов свои эмоции... Просто мне грустно... Грустно от того, что там, внизу, еще, может быть, остался мой след: на асфальте он, конечно, не мог остаться, но, может быть, не так давно в дождливую погоду, перепрыгивая лужу, я съехал с тротуара и попал в размякшую глину — и там остался след моей ноги. Ведь я там был...

Конечно, он не видел с такой высоты происходящее на Земле — людей, знакомых и незнакомых, их дома, машины, а уж тем более не видел и не чувствовал их заботы, обиды и радости — это все вместе с тем многим, что и составляет жизнь, точнее, ощущение жизни, оставалось невидимым, словно покрытым слоем густого тумана... Так, летя в самолете над облаками, не видишь ничего внизу.

Ему — летящему рядом с родной планетой — она виделась как что-то, напоминающее физическую карту, на которой обозначены хребты гор, моря и материки, но на которой нет и намека на жизнь — нет ни единого человека, ни единого зверя, ни одного дерева... Как бы первозданная планета...

Но все же он видел что-то и кроме раскрашенных, как на школьной карте, гор, морей и материков. Он видел... свое прошлое, недавнее, но

прошлое — земную жизнь. Стоило только повнимательнее присмотреться, и эта безлюдная, как кажется на первый взгляд, планета, населяется людьми. И планета эта была не похожа на ту, что открывалась взору еще несколько минут назад: уменьшились необычайно контуры Африки, Америки и Австралии, они съехали как будто в сторону, а невидимые поначалу точки вдруг стали все больше и больше... Это те немногие города, где он родился, жил и умер. И вот они разрослись во всю ширь Земли: стали видны улицы, дома, дороги — странная страна, никак не совпадающая с привычной географией. Оказывается, может так быть, что один среднеазиатский городок почти вплотную притулился к Москве, а другой — соседствует с подмосковным... Что там еще? А-а-а — с десятков городов, в которых приходилось бывать, иногда лишь по несколько дней... Где-то вдали очень неотчетливо — реки: ни одной великой и даже не очень великой реки не видел, потому они видятся неотчетливо. Не бывал ни в одной стране — они тоже как за туманной завесой...

Такой его мир, тот мир, который он запомнил и унес с собой: совсем не похожий на большой, но его, того, кто летел и летел над Землей и все вспоминал...

...Мальчик сидел на кухне за круглым столом. Он не ел, а только делал вид, что обедал... На самом деле он был далеко от этого места — не видел ничего из столь знакомого, что порой он часами мог рассматривать и рассматривать, — повторяющийся из минуты в минуту мир, будто в ожидании: а вдруг вот сейчас он либо исчезнет, разламываясь изнутри, как лопающийся пирог с мясной начинкой, либо в нем появится что-то новое, не замеченное вчера...

Мальчик не видел и не слышал близких: мать, бабуку, которые передвигались, жестикулировали, открывали для ложки, наполненной супом, рты; о чем-то спрашивали... Ему рисовалось совсем иное — будущее, сладостное и оттого кажущееся фантастическим. Трудно воссоздать, что наполняло это будущее, легче понять, чего там не было, — не было, конечно, ни этой кухни, ни этого обеда, ни открывающегося из окна вида и уж совсем не было матери, надоевшей бабки...

Он парил над каким-то гигантским шаром; как ни отдалялся от него — этот шар оставался угрожающе близок: того и гляди столкнется с легкой фигуркой небесного пловца. Шар издали походил на резиновый — только не полый внутри, а наполненный какой-то вязкой массой. И от него исходила странная сила, которая, как ни старался мальчик, не давала ему возможности вырваться из прежней орбиты и унести в голубую даль, где его ожидали такие же легкие и свободные небесные пловцы...

— Ешь, а то суп остыл, — раздался голос бабки, который помешал предпринятому было рывку вверх.

Главное — не обращать внимания на земное притяжение (шар-то этот оказался Землей), сделать вид, что ничего не чувствуешь...

— Не выйдешь из-за стола, пока не доешь котлету, — загремело снова.

...Сейчас-сейчас... Одно еще усилие. Вот-вот... Ух-ух — как тяжко! Ну, еще немножечко-немножечко... Ура-ура-ур-ра! Оторвался! Оторвался!!! Лечу дальше... Вот уже еле видимы три фигурки. Вот и совсем исчезли они из вида. Свобода... Сво-бо-да...

...Но тот, кто действительно летел сейчас над Землей, никакой радости от этой вожаделенной свободы не чувствовал. Наоборот, при одной мысли, что сейчас, быть может, начался прощальный виток над родной планетой, то, что прежде именовалось сердцем, сжималось... Летящий все всматривался вбок, откуда выплывал лунообразный кусок Земли, всматривался так, словно мог разглядеть пусть крохотные, но родные фигурки трех человечков... Надо только постараться — и разглядишь не только фигурки, но и лица. Там, внизу, в таких случаях надо было только закрыть глаза — и воображение делало свое дело...

Я закрываю, закрываю глаза... Мама... мама... Совсем не похожа на ту, что последний раз видел — в грубу; снова сильная, веселая и беззабот-

ная. Исчезли растерянность и страдание, выражение облегчения и какой-то тоски, что проступали на белом-белом, прозрачном и неправдоподобно костистом лице... Рядом с ней бабушка, только теперь уже не слышно ее крика: «Задыхаюсь! Положите меня на пол. Деточки, положите же, прошу!..» Старуха за последние годы почти забыла, что существует смерть... Я прислушиваюсь к ихговору... Прислушиваюсь... Я слышу. Слышу разговор...

— Что-то сыночек все не идет... Пора бы...

Да, да... Мне пора... Давно пора...

Осталось немного долететь до красноватого сгустка материи, из которой достраивается — достраивается как бы разрушенная часть дома... Вот только лестничный пролет в подъезде обнажен, без стены... Но и по такой лестнице можно, ни на секунду не останавливаясь, взбежать на третий этаж и постучать в дверь... Да. Давно пора. Давно пора вернуться.

Опоздавший к обеду мальчик привычно ждал, как затопчет на стук грузная бабка, перебирая своими ногами-столбами по гулкому полу. Но на этот раз никаких шагов он не слышал: стукнул было еще раз, но дверь неожиданно распахнулась.

— Что стучишь-то? Не глухие... — раздался, как могло показаться, грозный, но мальчик знал, на самом деле совсем не строгий голос старухи.

«Как же я не слышал ее шагов?» — подумал мальчик, но тут он понял причину необычного... Здесь же все по-другому. Но сейчас странно-му мальчику не хотелось понимать, что здесь все по-иному. Это здесь — его там, которого он так долго ждал.

— Не сердись, бабуля! — чмокнул он в пропахшую вкусными котлетами щеку старухи.

— А руки мыть... — Напоминание притормозило бег на кухню.

Мальчик протянул руки под теплую воду: ах, как приятно, как отдыхают руки... Почему раньше так не хотелось этого делать? А теперь он намыливает-намыливает руки — и никак не оторваться от струи воды. (Откуда она, кстати, здесь взялась? Ах, да здесь — это там... Это там!)

— Что ты там, утонул? — донеслось с кухни еще одно напоминание.

Мальчик отозвался не сразу... Так сладостно было ожидать, что сейчас бабка прикрикнет еще раз. «Кричи, милая, кричи! — Слезинка — настоящая — согрела, казалось, навсегда остывшее лицо. — Ну, давай еще раз прикрики на меня...» Ожидание длилось недолго.

— Не заставляй меня встать из-за стола! — Терпение старухи самым натуральным образом готово было лопнуть.

«Интересно, — снова размышлял мальчик, — они взаправду все принимают или так искусно подделываются?.. Скорее всего они так просты и наивны, что не понимают, что они уже здесь, а не там, совсем не там...»

Когда неожиданно раздался сильный старухин шлепок по заду, мальчик на секунду сам не понял, где он — здесь или там? Он с удивлением, будто толчок в зад достался ему впервые в жизни, смотрел, овернувшись, на бабку и искал в ее глазах хоть какой-нибудь намек на подсказку: на самом ли деле он вернулся туда или здесь все так тщательно разыгрывается? Но тут, заметив, что мальчик не слушается ее, старуха с такой решимостью двинулась к нему, что тот кинулся на кухню.

Вот долгожданная минута... Все сидят за круглым столом, молча едят суп. Тишина, означающая покой. Постукивают только ложки. И отсюда, из темной дали, это и кажется счастьем.

Мальчик только опасался взглянуть в окно. А вдруг там не виденный-перевиденный тысячи раз двор, школьный стадион, сама школа, а бесконечная воздушная зыбь, которую прошивают горящие неживым светом, как их люди называют, звезды, застилающий взор край Земли?.. Но вот он отваялся: зажмурил глаза, а потом посмотрел в окно: там был двор, школьный стадион, сама школа. И чем-то бесконечно далеким, устрещающим и ненужным вспоминалось одинокое парение в космосе.

...Как ни растягивали время, обед неминуемо шел к концу. Все меньше становилось в тарелке супа, и обнажившееся дно тарелки устрашало так же, как вдруг появившееся песчаное дно на глазах исчезающего моря. (Сколько он видел оттуда, сверху, исчезнувших морей!) Тревога по такому пустяку, как конец обеда, объяснялась одним обстоятельством: маль-

чик не знал, что последует затем... Конец этого космического миража? Или осознание, что он действительно снова там?

— Беги на улицу, — великодушно разрешила — вопреки обыкновению — бабка.

Но мальчик не двигался с места.

— Иди же! Только не допоздна!

Неужели снова прощание? Снова... В который раз.

Мальчик замедленным взором по очереди выхватил из всей картинке дорогое ему: «Прощайте. Прощайте... Я ничем не выдам, что совершенно случайно попал в этот сгусток исчезнувшей жизни. Пусть они думают, что я вернусь... Вернусь».

Открыл дверь — за ней не привычная бездна, а обычная лестница. Сбежал по ней — и снова не тьма, а двор, самый обычный двор.

Что же это такое? Где я? Что это — подарок судьбы или пытка?..

И когда он не деланно, а по-настоящему беззаботно оглянулся на окна своей квартиры и увидел прильнувшие к стеклу лица — такие спокойные, такие ясные и земные, то мальчик успокоился. С вожделием он побежал — какая радость бежать, легко топтать ногами, а не лететь. Прыжок — еще один прыжок — прыжок — и вдруг провал в огромную глубокую яму, сердце оборвалось от страха, в пятках защекало. Откуда яма?.. Трубы прокладывают, что ли? Сейчас будет удар о землю.

...Но никакого удара не последовало. Он летел и летел вниз, в яму, но то была одинокая даль... И, уже отлетая куда-то в сторону, он увидел еще раз двор, дом, окна и прильнувшие к стеклу лица. Они не выражали ни боли, ни страдания; от них веяло покоем. Весь этот сгусток прошлого и мальчика — впрочем, теперь уже не мальчика — разносило в разные стороны. И только случай мог их совместить снова...

На душе стало тоскливо — видно, еще не в каждую частицу, составляющую его, нового, проник холод. Снова появилось ощущение заброшенности в этом — как раньше и предположить было нельзя — бесконечном пространстве. Не было радости от легкости полета.

Казалось, тело снова приобрело свой вес, который давил и заставлял камнем падать на Землю. Но он знал, что это обманчивое ощущение — нет ни тела, ни веса, да и Земли уже давно не стало видно... Здесь не падают, а летят-летят...

Вот уже совсем далек голубой шар, где теперь уже еле различимы двор, дом, окна и лица родных. Но что это? Еще все его внутри содрогалось от прощания с прошлым, еще он видел удаляющийся шар, как на него стал надвигаться другой, но точно такой же. И посередине его точно так же торчал дом, окруженный двором, светились те же самые окна, и в них хорошо были видны мать и бабка. Он смотрел то в одну сторону, где был шар удаляющийся, то в другую — с шаром приближающимся... Больно было бросить последний взгляд на родных, уносящихся в бездну, но нельзя было не ринуться навстречу двум женщинам, тянущимся к нему... Там был день, здесь — вечер. Значит, ему выпала доля теперь прожить еще один вечер.

Войдя в дом, мальчик удивился: никто его не ругает за позднее возвращение. Удивился и тому, как изменились за то короткое время, что не было его, мать и бабка — постарели, отяжелели. И тут догадался: ведь он перескочил на несколько лет... Подошел к зеркалу в своей комнате: прежнего мальчика можно было только угадать в этом еще не совсем мужчине. Он еще помнил себя мальчиком, и теперь ему казалось, будто как при ускоренной съемке в каком-нибудь фильме о жизни растений, когда на глазах зернышко превращается в куст, — растут из туловища руки, ноги, шея. Под мышками щекотали волосы, несколько наметились грудные мышцы, руки и ноги стали как бы отдельными от тела, несоразмерно длинными и какими-то без дела блуждающими. А главное — в глазах появился ненасытный блеск зверства, когда все направлено к одному — удовлетворению нескончаемого чувственного желания, которое сосредоточилось в той части тела, которую прежде он как бы и не замечал. Но вот снова замелькали кадры невидимой кинохроники... Сейчас произойдет то, о чем он уже через несколько часов будет вспоминать.

Когда он отпросился у бабки на пляж и лежал с закрытыми глазами под распалаяющим южным солнцем, он чуть действительно не умер от того, что чья-то властная рука залезла ему в плавки и схватила за предательски торчащее место. Пойманный на месте преступления (ему казалось постыдным простое физиологическое явление), он побоялся открыть глаза... Предчувствие, что сейчас случится что-то страшное, но приятное, в сочетании со страхом заставило мальчика ничему не противиться.

— Мальчик мой, мальчик! Сейчас тебе будет очень хорошо. Хорошо, — шептал прямо в ухо незнакомый женский голос.

И ему действительно стало казаться, что так хорошо, как сейчас будет, просто не может быть... Слепший от бьющего в глаза солнца сумел разглядеть близко прильнувшее к нему лицо женщины с безумными, расширенными глазами. Она целовала его кожу, соски, золотые волоски на груди. Спускалась все ниже и ниже — и мальчик стыдливо прикрыл руками то место, куда стремились губы женщины. Вероятно, мальчик почти потерял сознание, а может, просто рассудок... Женщина властно и умело управляла своим маленьким мужчиной, опрокинула под себя и, сделав с ним все то, что ей было нужно, откинулась на песок. Потом опять потянулась к нему своими губами, а рука ее снова скользнула вниз.

— Уйдите, — чуть не плакал от отвращения к себе и к этой незнакомой старой, как ему казалось, квадратной женщине мальчик. Мигом собрал свою одежду и вместе с ней бросился в воду, как мочалкой, отмывая себя от прилипшей, казалось, навсегда грязи.

Убежав затем подальше, он заплакал. Сколько он мечтал об этом, а теперь ему показалось, что гаже нет ничего на свете. Жалко было себя... Что-то хорошее, казалось, навсегда ушло. А взамен ничего не осталось — даже неистребимого желания чужой плоти. Вспоминались только слова и неожиданные слезы женщины:

— Господи! Я думала — этого уже никогда не будет... Не будет.

Женщина снова принималась целовать мальчика, не предполагая, какое омерзение она вызывает у него, и не ведая, что она сотворила, а мальчик — уже после всего произошедшего — ненавидел эту тетку. Откуда ему было знать, что одинокие страдания сделали ее такой...

Потому и радовался час назад ставший мужчиной мальчик, что никто его не задерживал расспросами: казалось, всем понятна страшная перемена в нем... От него пахнет чем-то гадким, мерзостным. Запершись в своей комнате, он стал так пристально рассматривать себя, будто опасался найти на себе не смываемую ничем мету падения. Но сколько ни разглядывал себя, спустив штаны, — ничего нового не находил.

Но новым было все и прежде всего — он сам. Раньше ему все казалось, что вот-вот он полетит... Теперь знал, что этого не будет.

Мучительно было наутро увидеть своих родных за завтраком: какая-то стена отделила от них. Быть может, навсегда. Потом эта невидимая стена воздвигалась все выше и выше. Но вот теперь, возвратившись оттуда сюда, он понял, что никакой стены и не было. Понял, что то, что казалось ему хотя и постыдным, но важным, на самом деле не стоило и ломаного гроша. А эта желанная, столь вожденная взрослая жизнь — с ее мнимыми тайнами и сладостью, мнимой свободой и могуществом — несравнима с той единственно возможной свободой, какая бывает в детстве...

Как же он любил прежде жизнь! Но отчего же он умер? Не от рака или еще какой болезни, не в катастрофе погиб, не от ножа маньяка, не от горя умер... А просто устал жить — все стало безразлично. Не радовали и не удивляли ни лето и ни зима, ни солнце и ни дождь, ни любовь и ни разлука, ни слава и ни полная безвестность, ни жизнь и ни смерть... Ничего из всего того, что уготовано человеку! И тогда тело, разминувшееся с душой, начало уничтожаться... И исчезло. И осталось только вот это что-то, без определения и без названия, о чем прежде не думалось, не говорилось и что даже не представлялось, но что теперь парило в бездне. Это «я», наконец освободившееся от уставшего тела, совсем не интересовалось тем, что делается с е й ч а с на Земле...

Он не знал пока еще, в его ли власти проникнуть взором туда, к людям, которых он оставил... Но к ним, одиноко бредущим против потока

настоящего времени, ему не хотелось. Ему гораздо любопытнее было увидеть тех же людей в прошлом... Ему хотелось что-то понять в их прошлой жизни и своей. А для того, чтобы понять, надо было вспоминать.

И вот он беспрерывно летел, ни на секунду не останавливаясь, — оказывается, это и есть состояние покоя, полного покоя, о котором мечтает человек. Но его радовал этот полный покой. Радовали эти хитрости с попаданием в прошлое, которые лукаво устраивал космос. Собственно, о прошлом только он и хотел думать — в этом и было его назначение здесь... Голубые частицы, через которые он пролетал, снова стали вспыхивать красным светом, и впереди — как на сферическом экране — возникла былая жизнь.

...Вторая половина 1950-х годов, заброшенный город в среднеазиатской долине. Вот только тогда заброшенным он не казался, да и об этом не думалось вообще, так как ничего, кроме городка, на свете не было. В представлении мальчика один край света был за иссиня-белыми пиками Тянь-Шаня, другой — за поворотом, где начиналась дорога в Большой город... Так сейчас и отпечаталось в космосе это прошлое: иссиня-белые пики и горная река — с одной стороны, поворот и лента шоссе — с другой; а затем — ничего, бездна, темнота... На самом деле там все было не так: городок, как и все населенные пункты этой неестественно огромной страны, отсчитывал всего лишь десяток лет после окончания войны, которая по иронии судьбы получила название Великой, а не Страшной. Для детей эта война уже была событием доисторическим, а потому отнюдь не страшным. Для молодых — вчерашним днем. Для тех же, кто оставил на этой Страшной войне сына или дочь, мужа или жену, любимого, возлюбленную, оставил единственно, да и не единственно, но близкого человека; кто оставил на войне руку, ногу, глаз или сразу обе руки, обе ноги и оба глаза, в общем — часть себя, для них война так и осталась днем сегодняшним. Но люди забывали и не такое; и война, отданная теперь на растерзание лжеисторикам и лжегероям, освобождала от своего гнета...

Отпускал понемногу и другой извечный страх этой земли — остаться без куска хлеба. В магазинах лежал хлеб, на огородах росла картошка. Изредка весь город выстраивался в очередь — за колбасой. Ничего не было вкуснее докторской и сосисок — невиданного угощения в этих краях. Все было бедно — не нищие, но достаточно бедные, чтобы быть равными — в этом, казалось, состояла заветная цель людей этой страны. В домах, в одежде, в еде было самое необходимое — то, что у всех. В домах — железные кровати, реже с никелированными шариками, которые ребячьи то и дело отворачивала, и они потому терялись; табуретки (стулья со спинками — только в учреждениях да у начальников), примусы или керогазы, два стола — кухонный и «обеденный», на котором кроили одежду, делали уроки, бережно писали письма по адресам, многие из которых прежде старались забыть.

Носили мужчины и женщины и большие дети — пиджаки, фуфайки, женщины — ситцевые платья, мужчины — солдатские или сатиновые штаны...

Общинный социализм для всех этих измученных, навсегда потускневших людей был даже благом: думая только о самом необходимом, никто вокруг ничего не видел другого. Были, конечно, начальники-богатеи, но тем от Бога положено богатство — на то и начальники... А люди простые жили своей жизнью и не оборачивались на благополучие избранных судьбой...

Они даже повеселели и хотели любить друг друга; другое дело, что не всегда это получалось, — в борьбе за существование чаще надо было грызть чужому глотку. Нередко те же люди, что еще днем мирно переговаривались через забор, ночью готовы были насмерть биться кетменями. Ночью, потому что именно по ночам — уже не нужная спящим колхозникам — в арыки попадала вода из горной реки. И здесь надо было не прозевать — отвесть воду к себе. К счастью, в те годы неприхотливым в своих потребностях людям не хватало только воды — потому и ссоры были редки. Люди еще могли помогать друг другу.

Мальчик сидит на краю огромного — ему кажется: нескончаемого — расстеленного брезента. Через каждые полметра от него хозяева дома и соседи. У каждого в одной руке круг подсолнуха, а в другой — палка. Палкой выколачивают семечки на продажу. Мальчик сам не понимает, почему, хотя ему и тяжело махать палкой, так хорошо на душе. Может, потому, что взрослые сами стали как дети и всюю отделились веселому занятию. А может, и потому, что так радостно было существовать вот так всем вместе, сидя на одном брезенте: никто не загонял детей есть или спать, все отчаянно под не совсем приличные шуточки так выколачивают семечки из подсолнухов, будто из них можно выбить счастья — на всю жизнь.

...Опускалась ночь. Чтобы успеть все сделать, разожгли костры. Свет от костров отделил людей от всевластия тьмы — страшной тьмы. И страшной не только из-за детских причуд и страхов, но и потому, что темень усугубляла беспомощность этих людей перед миром: по ночам орудовали банды и душегубы-одиночки, ночью каждый дом становился одинокой крепостью в тылу противника. И противником была сама жизнь — все еще страшная и грязная, бессмысленная и жестокая, где человек мало что значил. До мальчишки доходили рассказы об изрубленных на куски жителях окраинных домов, об удушенных возвращающихся с ночной смены женщинах, об увезенных в горы детях... Смерть, убийства, десятилетиями трепавшие эту страну, не могли исчезнуть бесследно: жизнь оказалась равна смерти, а смерть — жизни. И одно не перевешивало другое.

Но сейчас огонь от костра отрезал невидимой стеной мальчика и сидящих рядом от губельного мира — гибли только мошки в пламени огня, но тогда о мошках мальчик не задумывался. Человек, думал он, — это совсем другое, его жизнь имеет смысл, хотя бы потому, что она длинна и бесконечна... Бесконечна?!

Сидя с подсолнухом в руке, мальчик уснул. Ему снился несбыточный сон: одни люди на брезенте, расстеленном посередине выпуклой планеты, водят хоровод, другие — выбивают семечки из подсолнухов; потом эти «другие» меняются с первыми... И всем хорошо.

Несбыточным этот сон являлся потому, что люди от сотворения своего — Богом там или чертом — не хотели жить по заповедям. Не хотели они жить и по заповедям детского социализма, хотя и сладкого...

Мальчик спал... И летела планета, неся на себе, может быть, самую тяжелую от крови и самую горестную и безрадостную шестую часть Земли.

Начало 1960-х годов — теперь уже другой восточный город на берегу озера. Собственно, самого городка и не видно — он вдали торчит своими дымными трубами и белыми — шиферными — крышами домов. Здесь же странный барачный поселок, не то напоминающий лагерь, не то действительно бывший лагерь, но без проволоки. От бараков идет дорога — по ней тащится худенький мальчишка с ношей. В сумке — еда для матери, которая работает на мясокомбинате, заброшенном уже совсем в степь... Идти страшно: с одной стороны тянется кладбище, с другой — одинокие саманные постройки — там похоронены знатные казахи, кругом же — еще сопки, откуда, так и кажется, выпрыгнет либо волк, либо бандит, либо привидение. Страх преодолевается мыслями о сладостном конце пути — там он прижмется к маме (мальчик еще совсем не стеснялся своей любви к матери), там он увидит сильных, веселых и прекрасных людей — тех, с кем работает мать и которые казались ему очень хорошими и добрыми... В обеденный перерыв все пойдут есть и купаться — благо озеро совсем рядом. И пусть уже через час надо снова одному тащиться по страшной дороге — так будет хорошо...

Вот и дощатые цеха мясокомбината. У проходной сидит толстая добродушная восточная женщина — вахтерша.

— Что, к мамке пришел?.. А вот и она идет. Марийка! Марийка! — позвала она мать.

Мать шла к проходной в толпе рабочих. Вот и сегодня решили они пойти на берег озера — там и пообедать, и отдохнуть... Все они были еще малы — лет тридцать, тридцать пять, — но мальчику молодыми не казались. Эти ребята были людьми без возраста. Но общим было у них ощу-

щение — может быть, от молодости все же еще, может, от глупости, а может быть, оттого, что время было такое, что все стало прекрасно, а будет еще лучше... Надо только много и честно (это значит не зарываться особо, когда выносишь после работы мясо) трудиться — «ишачить» на их языке, и тогда придут достаток, покой и радость... Все они — дети двадцатых годов — столько голодали и бедовали, что им мало нужно было для счастья. Многим казалось, что это счастье и наступило...

И никто не знал из них, что еще немного лет — и сама жизнь оставит вот таких работяг в дураках: не они нужны будут для счастья, а другие — кто умеет «делать дело», ни о чем не думая. Эти люди перечеркнули смысл работы до седьмого пота, ценность грошей, какими откупалось государство от работающих на него миллионов трудяг, которых оно же нещадно обирало... Рядом начиналась другая жизнь — подпольных магнатов, держателей игорных домов, сутенеров и проституток, изощренных убийц с партбилетом в кармане.

...Но пока Мария и ее работяги верили в свои руки — они еще были настолько молоды, что и не предполагали, как тяжело всем скоро придется расплачиваться за свою удачу: например, Марии — параличом и скорой смертью, кому — инфарктом, кому — радикулитом, а кому (тем, кто раньше других понял, что путь один — нещадно воровать) и тюрьмой... И вот этой святой верой в свои силы они прельщали мальчика, хилого и беспомощного, беспомощного от рождения. Любил их мальчик и за ту редкую у взрослых общность, которая, как потом он убедился, не часто бывает у людей, особенно на работе... Впоследствии такое случилось и с этими людьми, но сейчас они все искренне тянулись друг к другу — это чуть позже разделение на стахановцев и нестахановцев, ударников и неударников коммунистического труда, разделение на тех, кому достанется квартира, дефицитная стиральная машина либо холодильник и кому не достанется, навсегда разведет всех, чтобы свести лишь однажды — у могилы Марии, самой первой среди них...

Мальчик не видел, что Мария и работяги на самом деле в обычной жизни совсем не всеильны и не свободны; что закончится этот час и ими будет повелевать мастер — «честный немец», очень «честный» к другим, но, конечно, не к себе, который педантично выжимал из рабочих соки. Мальчик никогда бы не догадался, в чем сила тщедушного мастера, а сила его была в том, что он мог по своему произволу проставить выполнение нормы или нет, разрешить или не разрешить сегодня вынести кусок мяса, — так покупалось молчание сильных людей...

Это потом — став чуть взрослее — мальчик стал замечать слезы матери от обид и несправедливостей. Но сейчас загорелые работяги казались ему богами...

Не успел вернуться той же дорогой домой, как уже оторвало его от этого видения и понесло дальше... Впереди — огромное скопление светящейся плазмы... Можно было лететь и думать — все думать о жизни там — и не то что с болью, а с неотрывностью. Вспоминать о прошлом, искать в нем свой след стало столь же привычным состоянием, как полет... «И я был там...» — как бы шептал он, но уже не с такой болью, что была еще несколько витков назад.

До сгустка материй оставалось еще лететь долго. Внизу сиял большой шар — он безошибочно знал, что это Земля. Со временем — если можно здесь говорить о времени (он не знал, может быть, прошло всего лишь несколько дней или столетий его полета) — воздушный пловец научился любоваться видом Вселенной... Как раньше он ежедневно мог любоваться закатом и восходом, так теперь с жадностью рассматривал, казалось бы, неменяющийся космический пейзаж. Человек («Человек?» — хмыкнул про себя он), считается, может привыкнуть ко всему и найти радость во всем. Конечно, — теперь он окончательно знал — не во всем — только там, где есть свобода... А она здесь была! Нет, конечно, должно было подчиниться предначертанным превращениям — в воздушного бесплотного пловца; движение и встречи с планетами воспоминаний тоже были подчинены какой-то силе. Но все же впервые — со времени детства — появилось это ощущение свободы: никто не унижал, не ломал, не делал другим... Он — такой, какой

задуман кем-то там, на круге, этапе бытия-небытия, и никто его не переделывает, не призывает к совершенству. Нет ничего — ни святого, ни безнравственного, ни морали, ни падения, ни ложных, ни правдивых слов. Есть свобода — парить, свобода стать частицей этого устрашающего пространства. И пусть суждено — он подозревал — скоро превратиться в ничто: никто и не знает, а что там за этим н и ч т о... Все равно свобода...

Но вдруг летящий дух снова увидел шар, притяжение которого прежде так томило его. Нет, туда, назад, он не хотел. Хотел только понять: что же было там с ним? И что же это за дар или наказание — жизнь? Он там был... Был... А теперь силится осознать, а был ли?..

К тому времени, когда он впервые увидел это здание, не осталось и следа былого: убрано ограждение, сторожевые вышки, закопаны в безымянных могилах свалившиеся с высоких стен люди, которым судьба уготовила строить сей храм наук... К тому времени сдохли, наверное, все те собаки, которые были натасканы на запах человеческого мяса и пота и которые охраняли лагерников... Не осталось, казалось, ни одного следа из прежнего. Разве что один намек: здание условно разделено на «зоны», например, «А», «Б», «В» и т. д. — те самые зоны, на которые был разбит раньше лагерь. Но и этот намек как-то никому не был понятен. Все — устрашающего размера здание, его грозный шпиль, каменные статуи, лепнина, злели вокруг, посыпанные битым кирпичом (битым теми, кого, наверное, особо наказывали), фонтаны, сады — должно было доказать, что здесь царит непринужденный дух столичного, в меру либерального университета. Но страдания тех, кто не волен, но должен был выбирать труд зодчего, неустрашимый после любого преступления запах крови и поруганного человеческого тела, дух рабского следования чванливым вкусам хозяев этой грешной земли, тяжесть и громоздкость, серость, которые, вероятно, подчеркивали непоколебимость социалистического рейха, — все это навсегда убило саму возможность свободы в этом здании.

Как гигантские сторожевые вышки, как бы в перекличку с башнями Кремля, поднялись в Москве высотки, среди которых особо зловец торчало — на фоне барачков, в которых жили строители, — главное здание университета. Поначалу только что приехавший из провинции и не знавший ничего о страшном — преступном — прошлом этого здания, он почитал своим долгом восхищаться этой серой машиной. За все долгие годы, в течение которых судьба его оказалась связанной с этим местом, так и не прошло ощущение тревоги, какой-то необъяснимой боли, что возникали всегда в этом здании. Там, где не было счастья, когда рыли котлован и клали первый кирпич, его и не будет... Но здесь тысячам и тысячам студентов предстояло не только учиться, но и жить: каждый новый жилец машины вносил свою частицу тепла в эти стены. И постепенно какое-то подобие человеческого стало витать в роскошных парадных залах, вестибюлях и каморках высотки: невинность молодости, ее истребование счастья, дурманящий смех, тепло плотского вождения постепенно загнали в самые дальние углы скорбный дух насилия. Но если у кого-то из обитателей серого дома становилось плохо на душе, если кто-то плакал от обиды и отчаяния, то загнанные на чердаки, в подвалы страхи и тоска невидимыми путями проникали в одну из тысяч клетушек и душили несчастного... Порой в глухих колодцах, что образовывали «зоны», раздавался сначала вскрик, а затем глухой удар об асфальт — очередной пленник этого дома решил отправиться в самый короткий, но дальний путь.

Но пока он ничего не знал о морочной, изводящей силе главного здания: перепрыгивая через свою робость, пытался влиться в новую обстановку, а для этого было нужно восхититься чем-то... И он восхитился: вот он — из Тьму-таракани — не только видит высотку, но и будет жить в ней — это лотерейный билет.

Ну, насчет жить — это было дело неизвестное: надо было сдать экзамены и пройти по конкурсу прежде. Это во-первых. А во-вторых, студенты младших курсов обитали в коробках-пятиэтажках, стоящих поодаль высотки. Так что высотка была не более чем символом университета, но символом зловещим. Можно было на месяцы, годы, а иногда — десятилетия

забыть о злой воле, исходящей от высотки. Забыть, чтобы в тот момент, когда стукнет именно тебя, вспомнить, что это было предрешиено.

Но, впервые стоя у раскинувшего свои серые фаланги здания, мальчик не догадывался: отныне на долгие-долгие годы он будет словно привязан к шпилью высотки. Сейчас же он думал: «Господи (если ты есть?!), сделай так, чтобы я учился здесь. Или здесь — или нигде».

Таких счастливицков осталось после экзаменов человек двести. Это потом пройдет упоение собой и своей исключительностью, это потом станет понятно, что и не стоило, может быть, ради университета так убиваться. Сейчас многим из двухсот допущенных к высотке казалось, что вот свершился решающий поворот в судьбе. И отныне каждый из них — заложник только счастья. Половина из них приехала из самых несусветных углов и невообразимых дыр страны, остальные — москвичи. Большая часть приезжих до конца не отдавала себе отчета в том, на что и на какую судьбу они покусились.

Только по своей наивности мог предпринять такую авантюру и он. Риск был в том, что в случае неудачи надо было собрать в вещмешок ложку, кружку, белье и напрямик отправляться на призывной пункт — перспектива не из радужных, учитывая, что любой самый задрипаный провинциальный пединститут освобождал в те годы от армии. То, что для него армия — хана, это он понимал. Недавно получил письмо от своего друга, оттуда: «Ты должен поступить, ты — этого не выдержишь!» Он, конечно, не перенес бы и сотой доли унижений, что выпадают на долю новобранца: слабосильный, не умеющий драться, но психованный и гордый. Таких кончают еще в дороге, в поезде — уже полумертвого от надругательств башкой в унитаз, и ничего не напишешь...

Военкомат выпустил паренька из своих лап только потому, что понятно: никуда не денется, завалит экзамены — вернется.

Он не вернулся — стал одним из двухсот, что взяли штурмом стены одного из самых модных факультетов университета... Таких, как он, кто отвертелся от армии, среди приезжих было мало — эти места, так называемые «для школьников», оставлялись для своих — местных. Зато провинциалами пополнялся обязательный состав студентов, отслуживших в армии, — считалось, что демобилизованные — залог и оплот идеологической чистоты студенческих рядов. Между первокурсниками разница в возрасте была в два-три года, но так уж должно было быть, что, как ни крутили в приемной комиссии документы абитуриентов, как ни процентовали «социальный состав», «производственный стаж», «пятый пункт» и т. д., набрался сброд, которого не выдввали прежде эти аудитории. Видавшие виды кадры уже потом, когда стало поздно, разводили только руками и ахали: что сделаешь?! В основном выкормыши 1953 — 1954 годов. А это было время — просто с отравленным воздухом: думали, что теперь можно все, в том числе рожать под забором вольных гениев. Мудреные люди уже позже вычислили, что ругать надо не их: дескать, недоследили, не сумели идеологию обеспечить, — а проклятый 1953-й.

Вот и получилось, что не набор, а мусор. К тому же голожабая провинция основательно спутала весь расклад «москвичи — немосквичи»: вместо того чтобы получить уже на первом экзамене двойку и отправиться к такой-то матери, провинциалы понахватали, как ни старалась приемная комиссия, не полагавшихся им хороших оценок. Пришлось взять, а нужных детей проводить по дополнительному списку... Да и вообще тогда начался упадок факультета: на курсе — ни одного приличного, то есть из «большого» верха, ребенка, если не считать почетного отпрыска — сына ближайшего помощника самого Хозяина.

Плебейский курс с самого начала стал раздражать начальство. Все эти коренастые, головастые, с большими, грубыми руками люди были о себе самого высокого мнения — по молодости им казалось, что они все совершают первыми. От них веяло неуважением ко всему, что окружало. И всему этому окружающему фантом всеобщего неуважения мешал жить. Например, профессорам казалось, что пренебрежение адресовано в первую очередь им и что сопляки догадываются: профессорство куплено ценой доносов, подсидок, изобличений ложных врагов. Профессора люто возненавидели первокурсники, благо никто из здравомыслящих не мог понять их

теорий журналистики, которые были заумно обставлены по той лишь причине, чтобы скрыть свою откровенную продажность.

Рядовые серые преподаватели — неудавшиеся журналисты и недочувственные филологи, которым, в отличие от профессоров, ничего особенного не перепадало (ни полтысячных окладов, ни бесплатных квартир, ни дешевых путевок в санаторий), — принимали оглушающее презрение студентов на свой счет и тоже мелко мстили этому сброду.

Выродки эти совсем не понимали, что помимо официальной иерархии чинов есть теневая, когда секретарша начальника оказывается выше профессора, а потому «хамилы» столпам факультета в лице вчерашних и нынешних лаборанток, вдов и жен, дочерей, внушек и правнучек основателей науки о журналистике.

Плебеи с порога дали понять, что они принимают, а что — нет. Не приняли они то, ради чего, казалось бы, сюда пришли, ради чего и существует факультет, — журналистику — странную науку о том, чего никогда не было в этой стране. Зато с жадностью, выказывающей их необразованность, кинулись на античную и древнерусскую литературу, будто никогда прежде о них и не слыхали. Они уверенно отнесли к ненужному и все общественные дисциплины, превращая семинары в диспуты, на которых усердствовали в отрицании так и оставшегося неизвестным им марксизма. Зато смотрели в рот любому преподавателю, от которого можно было услышать человеческое слово, — причисляли такого к богам и передавали младшим от курса следующему курсу.

Всех этих противоречий было не объять, и посему начальство порешило, стиснув зубы, протерпеть пять лет — срок в конце концов небольшой... И в самом этом терпении со стороны начальства проявилось новое, что пришло уже в постсталинскую эпоху: любители искоренять огнем и железом несколько приутихли.

Сброд не являлся между тем безликой массой. Здесь были: стукачи, люди чести, горькие пьяницы, наркоманы, трезвенники, закоренелые девственники и девственницы, бабники, гомосексуалисты, похотливые бабы, лесбиянки, партактивисты, воры, комсомольские вожаки, бабы с несложившейся судьбой, проститутки, фарцовщики, антисоветчики, политические преступники, кегебисты под видом студентов; шизофреники, выдающие себя в том числе и за кегебистов; спекулянты, трудяги, вдовы и вдовцы, сироты, многодетные отцы, любящие и бросившие своих детей, девки с младенцами на руках, русские, евреи, прибалты, калмыки, марийцы, украинцы, дети западной коммунистической элиты и членов монгольского хурала, французенка-миллионерша, богатые и нищие африканцы, подпольщики, террористы, верующие, ярые безбожники, калечные, убогие, клептоманы, студенты-отличники, тупари, зубрилы, самоубийцы, просто убийцы и даже насильник маленьких девочек, советские крезы из провинции, афганские принцы, пакистанские князья, те, кто живет на стипендию, и те, кто пошел в дворники, наложницы, просто пай-мальчики и пай-девочки; добрые, злые, вообще никакие — в общем, каждой твари по паре. Здесь было все то, что было и есть в большом мире. И все это копошилось, любило, страдало, радовалось, плакало, сливалось в общем деле и раздроблялось на мельчайшие частицы — в частном...

Среди них был и он. Ничем особо не выделявшийся среди студентов. Были, конечно, странности, например: чрезмерность в худобе, манерности, длине и курчавости волос и ярко-оранжевом пальто; недостаток скромности, тяготения к общественной жизни и т. д. Всегдашняя мягкая улыбка, которая погашала мерцающую грусть в глазах, кажущаяся провинциальная открытость, гордо вскинутая и слегка набок склоненная голова, привычка никогда не смотреть под ноги — все это дало основание отнести его к разряду явного недоразумения природы и приемной комиссии. Все эти и другие странности имели право на существование, если бы были подкреплены бешеными деньгами или положением родителей, на худой конец иностранным гражданством либо чем-то в этом роде. На помощь, правда, пришлось нерусское происхождение, которое позволяет всех блондинов без курносого носа считать прибалтами (большие доки в этом деле утверждали, что как раз породистые евреи — светлые). И на этом все успокоились: в меру пьющий, в меру гуляющий, в меру бедный человек не давал повода

для повышенного интереса. Говорили порой, правда, о нем разное, но то — говорили...

Он и сам поначалу потерялся в этой пестрой толпе. Еще вчера переживший ощущение триумфа, избранничества — первый из своего городка поступил в университет, — он не мог найти свое место среди этих двухсот триумфаторов и избранников, большинство из которых будто всю жизнь до этого ждали встречи друг с другом: как бы люди голубой крови — с голубой. Сразу образовались группки, союзы, которые менялись по составу, распадались, но существовали и давали чувство уверенности своим членам. Только он болтался сам по себе, ни к кому не примыкая. Компашка, сложившаяся еще при поступлении, теперь развалилась: осталось общение с каждым из прежних сотоварищей по отдельности. Первым, с кем познакомился он в Москве, в очереди на сдачу документов в приемную комиссию, был, как назло, земляк — парень из другого города, но той же области. Конечно, это было не самым интересным, но зато надежным знакомством. Земляк, хотя и был выгнан, но уже однажды учился в московском институте, а потому хорошо знал абитуриентские и студенческие хитрости, город С. (так зовется главный герой), конечно, не был близок бывшему студенту, не будь земляком, ни за что бы тот не стал общаться с сублильным придурковатым малым в розовых штанах и белой рубашке с кружавчиками. Но неписаный закон иногородней жизни заставлял земляков держаться друг за друга. Так они и бродили первое время вдвоем: огромный, толстый, выдавший виды мужик и застенчивый, как девочка, паренек. Бродили и позже, когда жизнь все больше и больше разводила их (бывалый частенько пил, бывший застенчивый пустился в другие тяжкие), но старший по привычке опекал младшего, а младший до поры до времени терпел назидания и даже нотации, пока судьба не развела их раз и навсегда, о чем ни один из них никогда не сожалел. Привычно думать, что жизнь не случайно сводит людей. Но на самом деле чаще всего она сталкивает не тех, кто нужен и ищет друг друга. Ни одному из них это общение ничего не приносило: ни радости и ни печали, ни добра и ни зла. Не связывало их даже взаимное уважение: один уже скоро понял, что бывалый студент — обыкновенный алкаш, которых он перевидал в своем провинциальном городке с сотню-две; другой — видел, что перед ним тоже человек конченный, с отметиной, только еще, может быть, хуже, чем он, — человек, разрушающий себя и мир.

«Дважды студенту» даже пить было неинтересно с малым! Пить — считал он — надо тихо, спокойно, владея собой, но с кайфом... А этот впадает в возбуждение, веселится, потом плачет, лезет целоваться с кем попало и рвется к подвигам. Сразу чувствовалось, что нет у зеленого серьезного отношения к выпивке как к искусству для искусства, а не способу взбодриться... И он — живущий в одной комнате с — как постепенно выяснилось — самым уважаемым на курсе алкашом, спившим нескольких сокурсников так, что те вылетели из университета, — не спился...

В той самой компании, что сложилась во время вступительных экзаменов, были еще два человека — девушки. Одна — томная, не знающая что делать со своей одухотворенностью и своим большим задом, — как тогда он думал, старуха. Как почти каждый из приехавших из провинции, она оставила в своих родных местах груз забот: полунищету, большую мать, скучную работу в местной газете, постыдную личную жизнь. И вот теперь девушке хотелось забыть то, какой она вынуждена была стать — неудачливой, некрасивой бабой, и превратиться в ту, какой она, наверное, и могла бы быть, которой по крайней мере она казалась самой себе — небесной феей. Отсюда претензии стать секс-бомбой и в то же время рафинированным созданием, которые делали ее смешной и нелепой, хотя в том была вина не ее, а всей нашей дурацкой жизни, где почти ни одна куколка так и не превращается в бабочку — не тот климат... Наконец, в компании была еще одна девушка, которой как раз суждено было на долгие годы стать одной из главных в его жизни... Ее назовем Н. Это было редкое создание природы, какими вдруг одаривает жизнь самые глухие углы России, которые редко когда не погибают, а чаще всего кончают свои дни незамеченными, никому ненужными и затравленными, — девушка, с запозданием превращаясь из гадкого утенка в лебедя, лягушка, шкурку которой только-только сожгли, и она еще не привыкла к тому, что красива.

Красота эта была — тогда еще не вошедшая, даже в русских столицах, в моду: аскетичное лицо, высокие скулы, впалые щеки, большие — чуть татарские — глаза, в общем, ничего общего с затасканным образом округлой, пышной русской красотки с пухлыми щечками и губками и т. п.

Высокая, худая (кожа да кости — говорили в народе), стремительная, резкая, девушка никак не обещала покоя и уюта, а вся состояла из прямых и ломаных углов. Лицо, глаза, чистый высокий лоб проявляли почти мужской ум, волю и решительность. На свете мало мужчин, кто отваживается стать рядом с такими женщинами.

Уже через несколько лет почти вся эта внешняя атрибутика перекочевала в дешевые журналы мод, вскоре такая внешность стала почти обязательной для русских проституток, работающих на валюту. Но не было у всей вереницы манекенщиц и роскошных шлюх и сотой доли боли и страдания, что скопились в душе, теле той студентки-первокурсницы — Раскольникова в юбке, помноженного на Настасью Филипповну... Эта боль шла оттуда — от века, от рождения человека, она была нервом духовной жизни на земле.

Неважно, какими конкретными обстоятельствами она была усугублена, важно, что эта боль как бы за всех, как бы навсегда — неременное условие становления хорошего человека в России.

По советским меркам жизнь Н. складывалась благополучно: отец, мать, не сирота; в лагере уже всех поголовно не сажали, а так — по выбору; войны, голода-холода не знала; в школе училась. И даже более чем благополучно: родители-геологи работали на Севере — огребали (тогда) кучу денег, имели (тогда) хорошие харчи, шмотки — геологов, да еще северян, баловали... За весь свой короткий век эта страна только и знала, что побеждала, воевала, терпела, страдала, подымала, закладывала фундамент, достигала, ту же затягивала пояс, терпела, убивала во имя чего-то высшего лучших и не самых лучших, а просто своих сынов и дочерей, перекраивала карту мира, тасовала народы, перекидывая их с одного края Земли в другой... И люди этой страны как-то разучились просто жить — без страха завтра погибнуть. Когда все жили, моля неведомого, безучастного Бога, чтобы он им послал хоть какую-нибудь, но жизнь, то все радовались самой этой жизни — какой бы серой и убогой она ни была... Когда же миллионам этих людей, может быть, на время жизнь снова была дарована как естество, как воздух, то все не знали: можно ли и не грешно ли еще на что-либо жаловаться?..

Но человек все же существо — многие думают — неблагодарное: хочет не просто жить, а счастливо. Вот как раз с этим Н. не везло: она родилась первой у еще молодых геологов, которые не были готовы изменить, как потом с самым младшим сыном, свою жизнь, а потому отправили девочку на материк, к теткам — двум старым девам — и бабке. Выросла она как бы и при живых родителях, но без них — с людьми чужими. И хотя, конечно, человек рождается таким, каков он есть, а не становится (а потому Н. с первых дней была обречена на грустное раздумье о мире и о себе), старые девы, как могли, испортили и без того трудный характер девочки.

С детства она страдала из-за своего роста и худобы — двух качеств, и поныне не принимаемых провинцией в девицах. Она была в школе выше всех мальчишек — дылда, — страдала из-за этого. Каждый вечер, не зная, что даже ребенок к концу дня чуть уменьшάζεται, она измеряла свой рост, а утром — после сна, когда позвоночник выпрямлялся, с ужасом обнаруживала, что снова выросла... Но в душе-то она знала, что красива... Вот только никто этого не видел — ни в школе, ни после школы, когда она пошла на работу; и везде, как назло, влюблялась в парней ниже себя ростом — других тогда в еще полуголодной стране не было.

И вот только здесь — в Москве — она начала чувствовать себя человеком. Люди, долго жившие в провинции, оказавшись в Москве или каком-нибудь другом большом городе, наслаждаются свободой: кажется, весь этот город существует лишь для того, чтобы познакомиться с ними, лично. Легко и свободно бродила Н. по московским улицам и асфальтовым пустырям, как бы примеривая этот город к себе и предвкушая свою будущую жизнь. Это позже она поймет, как одинок здесь одинокий, никому не нуж-

ный человек, у кого нет ни корней, ни близких людей, которых знаешь так давно, будто со своего первого вздоха... Но пока Н. рассматривала себя в пустых черных витринах магазинов, будто вглядываясь в неведомое и страшноватое будущее, и радовалась себе.

В одном месте она оказалась в стеклянном коридоре — сплошь витрины магазинов с двух сторон. Остановилась. Никого не было. Она повернулась и стала рассматривать себя... Там, впереди, куда падает солнце и где светло, — ее будущее; вот какая она — высокая, стройная, почти летящая; поправила длинные темно-русые волосы: хороша, ах, хороша; шагнула вперед; да, да! только вперед, она была уверена, что не так просто появилась на свет, привыкла и готова была бороться за себя; только вперед... Обернулась — посмотрела на себя сзади, где темная сторона улицы... Там — прошлое, все из детских страданий, мечтаний, переживаний из-за своей некрасивости, зависти к тем (и в том числе к своим младшим братьям), кто всегда — а не раз в два года — с отцом и матерью, кто не знает, какой ад из одной детской жизни могут устроить две старые провинциальные девы с потугами на интеллигентность... Н. физически почувствовала существование там, в темноте, странной девочки... Она сидела на ступеньках заплыванного подъезда, положив голову с косичкой на колени: домой — если его можно так назвать — идти не хотелось. Но возвращаться надо было, а то тетки запилят. Она встала — из короткого пальто торчали худые ноги в чулках — и, как всегда опустив плечи (от этого она становилась ниже), поплелась наверх... Н. хотела сказать девочке: «Иди, милая, иди!.. Теперь мы на время расстанемся...» И, еще раз оглянувшись назад, побежала дальше — к своей другой жизни.

Встреча ее с С. была действительно уготована судьбой — вот только оба так походили друг на друга, что сходство это предопределило странное состояние отношений, в которых они оказались. Это не отношения брата и сестры, в которых отсутствует, как правило, мужское и женское начало, но и не связь любовников: уже скоро установился тот странный тип общения, что бывает обычно у супругов, связанных еще нерасторжимо духовной близостью, но безмерно отчужденных в делах плотских. С той разницей, что в данном случае близости чувственной и не было...

Они были слишком похожи: оба из провинции, оба гадкие утята в глазах окружавших их людей, оба с каким-то изломом, надрывом, который, в общем-то, даже и сейчас, когда наступила пора превращения в пресловутого лебеда, не обещал гармонии в душе.

Будущие отношения определились и первой встречей: он — мальчишка после школы, она — «взрослая», стажница (два года работала), он — почти мальчик еще; она, как все девочки, повзрослела раньше. Это потом разница лет сотрется, но на первых порах она помешала перерасти дружбе во что-то иное. Мешали: обоюдная откровенность, редкая между мужчиной и женщиной (не зная некоторых сторон жизни, они справлялись об этом друг у друга — заочно постигая земные премудрости); он порой видел в девушке свою мать, по которой откровенно скучал, она в нем отца, которого любила больше матери и который ее опекал; экзальтированность и присущий обоим комплекс старой девы, когда все связанное с плотью кажется желанным, но греховным и когда духовное и плотское кажется несовместимым... Оба дорожили друг другом — и боялись разрушить свои отношения. Тем более что они видели вокруг: любовные связи — казалось, самые прочные — обрывались быстро... Может быть, еще и поэтому они боялись переступить заветную черту: из страха потерять друг друга — их близость была иного, высшего порядка. Но до нее пока еще было далеко...

Пока же С. вместе со своим земляком отправились получать место в общежитии. С. уже был подготовлен с абитуриентских времен к зрелищу убожества, но то, что было терпимым в течение месяца, показалось кошмаром в случае, если это рассчитано на годы... Весь курс — точнее, его иногороднюю часть — загнали на один этаж. В комнате — пять человек; четыре железные кровати с сетками по сторонам, раскладушка посередине; здесь же стол, пять тумбочек, два шкафа. В личное пользование человеку отводилось количество квадратных метров, равных могиле, что и составляло площадь кровати...

На кровати спали, сидели, просто лежали, принимали гостей, занима-

лись любовью, онанизмом, ели, пили, тихонько плакали, отвернувшись к стенке, сушили носки, белье и одежду, шили, читали, писали письма, конспектировали, готовились к экзаменам, сочиняли стихи и романы, а также доноси... Личной, но временной собственностью был кусок стены над своей кроватью, которым можно было распорядиться по своему усмотрению: богатенькие студенты вешали полки, другие — картинки, фотографии. За ними, правда, осуществлялся цензорский надзор: негодное тут же срывалось общежитским либо университетским начальством... А у тех, кому доставалась раскладушка, не было даже и стены — да и вообще приткнуться им было некуда... Решетки на первом этаже, бессменная охрана у входа, начальник корпуса, пропускная система, вероятность шмона в любой момент, одна душевая на всех, что работала в определенные часы и не во все дни, казарменные туалеты и умывалки на этаже — все это напоминало лагерь. Да и как могло быть иначе, если все устройство жизни — подобие одного большого лагеря, только замаскированного под ту — свободную — сторону. Конечно, для тех, кто перенес настоящий лагерь, студенческий быт показался бы раем. Но новое поколение почти не знало их испытаний, а потому и не понимало, какой свободой оно пользуется. Покинув родительские квартиры, дома, первокурсники оказывались подавленными ужестом и нищетой общежития. Но больше всего ущемляло полное бесправие: еще вчера ты был человек и мог распоряжаться собой, а теперь ты ничто — за малейший проступок вылетаешь не только из общаги, но и из университета. Даже детдомовские с тоской вспоминали прежнюю свободу. Общежитие и было своеобразным лагерем, куда распахали по кокуркам, не снившимся в дурном кошмаре Раскольникову, где каждый шаг охраняли всевозможные надзиратели, стукачи, доносчики и прочая нечисть.

С. и его земляк попросились в одну комнату. Когда они открыли дверь своего обиталища, то остолбенели: на одной из кроватей лежало завернутое в белое покрывало плоское тело, увенчанное черной головой. Хотя С. и скорбел с детства, как и вся советская печать, о тяжелой доле негров в Америке, он надеялся все же, что не придется жить в одной комнате с чернокожим. И вот такой сюрприз. Это хорошо щегольнуть в провинции: дескать, с негром в одной комнате живу, а на деле хотелось чего-нибудь иного.

Выставив из-под одеял только нос, африканец любезно, но вяло поздоровался. В его чертах, в том, как он лежал, наблюдались нервическая расслабленность и искусно скрываемое агрессивное начало. Вероятно, он точно так же презирал окружающую его жизнь, как все эти русские — его. Черный, как потом выяснилось, был принцем и самым признанным поэтом в своей стране среди молодых. Злые языки утверждали, правда, что у них — негров и арабов — там каждый второй принц, а насчет поэзии — поди проверь! Глядя на понятную даже для полунищих советских студентов нищету черного, на то, с каким зверским аппетитом он уплетал потом картошку с салом, в королевском происхождении усомниться было нетрудно.

Знакомство с принцем начали с бутылки водки, распитой за дружбу африканской страны и Советского Союза. Никто из хозяев как-то не сомневался в том, каким бесценным подарком для негров является дружба с русскими. Одинокий представитель черной расы, вероятно, уже знал, что если русские зовут выпить, то от них не отвяжешься. Соблазнила его и жратва. Но держался он на всякий случай осторожно: знал, что после объяснений в любви может начаться мордобой с припевом: «Ах, ты черномазая рожа» и т. д.

С. покрикивал «ура!», но с тоской думал о предстоящем: одно дело любоваться черным на картинке, другое — жить с ним под одной крышей изо дня в день. Советский расизм, наверное, самый странный, на словах — равенство и братство, в жизни — презрение. Оправдывает советских в этом лишь одно: почти каждый из них — будто негр в своей стране, настолько он забит и бесправен. Удел бесправных — презирать других...

До мордобоя, к счастью, не дошло. Это как-то приободрило черного поэта, и он, поняв, что ему ничего не угрожает, вдруг позволил себе по-лыхнуть взглядом, полным превосходства, по этим двум русским.

Презрение — единственный способ небогатых африканцев защититься от неприязни к ним советских. Богатые поступали по-иному: спали за де-

шевые тряпки и колготки с красивыми русскими девками, сорили деньгами и поливали грязью все на чем свет стоит.

Вскоре в комнате С. появились еще два жильца, на его взгляд — старики: обоим под тридцать. Один до этого в 1968 году доблестно проутюжил на танке вдоль и поперек Чехословакию и теперь, вероятно, был ценной находкой для приемной комиссии; другой, поработав после окончания техникума на секретной работе в закрытом научном институте, решил податься в гуманитарии. Судьба пошутила, поселив двух «старичков» в одной комнате да еще определив их в одну учебную группу: верные дети перманентных соцсоревнований, они пустились в многолетнее состязание, кто из них первый. Возраст уже придавил их тяжким грузом, но они свято полагали, что терпение, усидчивость могут заменить все другое. Ставка была сделана на иностранный язык, который, как им казалось, станет спасательным кругом в этой жизни и которым они яростно овладевали днем и ночью, забыв, что днем, а особенно по ночам можно овладеть чем-либо другим. Это потом через много лет один из них понял: в этой жизни помимо иностранного языка надо заручиться еще и связями — и сумел все же выплыть. Другой же, от природы более тонкий и приличный, так и остался болтаться где-то там, между небом и землей.

В таком составе и предстояло С. плыть по московской жизни в комнате-лодке; нелюбви к соседям у него не было, хотя не было и особой привязанности. В конце концов все как-то притерлись друг к другу: земляк, безусловно, стал лидером в пятерке, но все больше отдалялся в сторону своей компании — серьезных выпивох, тех, кто мастерски владел своим делом. «Старички»-зубрилы были заняты больше соперничеством, которое, казалось, заслонило им весь мир. Африканский поэт, пережив пик первого интернационального энтузиазма русских соседей, ушел в себя — тем более что наступила холодная зима, отнимавшая остатки последних сил.

С. — человек влюбчивый и привязчивый — оказался, сам того не выбирая, в самой для себя благоприятной ситуации: никто не оказывал на него давления ни своим превосходством, ни своей силой воли, ни своим обаянием. С каждым он находил тему для разговоров, способ общения, но рос среди своих зрелых сокурсников сам по себе. Никто из ночлежников не имел морального права либо права, данного дружеской близостью, спросить отчет, где время от времени пропадал малый по ночам, отчего на теле и шее появлялись следы пылкой любви либо синяки на роже... Разница в возрасте предопределила и разницу стиля жизни: за исключением выпивок земляк тяготел к сосредоточенному одиночеству, зубрилы часами просиживали в читалках, африканец большую часть времени согревался под одеялами в кровати и спал, а С. вел рассеянную, как раньше писали, жизнь; студенческие — только не из сокурсников — и с блатнишкой компании, подозрительные типы, странные девицы вертелись вокруг него. Наверное, если бы не характер С. — не то что добрый и не то что легкий и даже, пожалуй, не характер, а свойство мироощущения, когда человек многое, самое разное и противоречивое, принимает, — то нажить бы ему лютых врагов в своих старших соседях. Их не могли не раздражать кажущиеся беспечность, бездумность и безделье мальчишки, который, однако, успевал все учить, читать и даже знать такое, о чем они и не слыхивали. Главное — мальчишка был уверен, что можно жить именно так, как он, — без изматывающей зубрежки, на авось. Посторонний мог решить, что С. определенно схитрил, сделавшись поверенным двух усердных однокашников: без всякой задней мысли от души он успокаивал в доверительных беседах и того и другого в их честолюбивых помыслах.

В результате и на следующий год, когда сожители выбирали друг друга по доброй воле, обитатели комнаты — за исключением одного — остались верны себе. В комнате № 409 не было драк, открытых ссор, воровства, унижения друг друга и многого-многого другого, что зачастую случается, когда люди вынуждены жить вместе в нестерпимых условиях.

Утрясалась постепенно жизнь у всех жителей этажа. Это преподавателям кажется, что самое главное в жизни студентов — учеба; на самом деле учеба, как и работа, в государстве, в котором человек — раб, человек — колесико и винтик, занимает совсем небольшое место в душе и сердце людей. С. да и большинство студентов оставляли университетские заботы после занятий, теперь только и начиналась настоящая жизнь — ме-

лочная, не очень чистая и праведная, но единственно нужная человеку, которую он выбирает. И высшим благом было не пойти, несмотря на угрозу «облавы», на занятия, провести первую половину дня в пустом общежитии и почувствовать себя одним-одинешеньким в этих стенах, казалось, впитавших в себя голоса сотен обитавших здесь людей, но теперь до поры замолкших... Наступала свобода, время, когда можно снова стать самим собой... Странно и дико было потом слышать, как ближе к обеду еще пустая общежитская коробка постепенно наполняется людом и шумом, — снова начиналась жизнь в клетке.

Во второй половине дня, как правило, все отлеживались, жарили картошку или кое-что повкуснее, стирали. Жизнь как бы замирала накануне самой главной своей части — вечера, когда в темноте начинались гулянки, карты, бессмысленное, на взгляд постороннего, хождение по коридору... Парочки забирались за толстые занавески в холле, обнимались на лестничных пролетах, за дверями, просто на стульях в холле, наконец, прямо на кроватях. Одинокие развлекались тоже как могли. Редко кто выбирался в город — в Москву. Там шла своя жизнь, в которой им — нищим, полуголодным — не было места.

Они все больше отдалялись от своих родных мест, жизни своих семей — во время поездок домой на каникулы для провинциальных знакомых они были «москвичами», «столичными штучками». А здесь, в Москве, они были ничто. Да и понять им все происходившее в Москве в начале 1970-х годов было невозможно: не студенческие новенькие рубли, какими выдавали стипендию, а совсем другие хрустящие зеленые бумажки давали право на существование в этом городе.

Нет, конечно, кое-кто прорывался к московским святыням — Большому театру, например, но большинство, как и С., даже и не пыталось: там делают деньги и валюта — это почему-то было понятно С. Не ночевал он и у касс еще модного среди провинциалов «Современника», вошедшего в моду Театра сатиры и шумевшей еще Таганки — все это отталкивало шумихой, поднятой вокруг них, ненатуральностью устройства и грязными делами, что сопровождали театральный бум. В Третьяковку и Пушкинский музей каждый день не находишься — кто будет стирать носки, трусы и единственную модную приличную рубашку, что должна высохнуть к утру?

Доступным зрелищем оставалось кино. И когда в ближайшем кинотеатре крутили что-нибудь стоящее (на дерьмо не ходили), туда валили все. То был уникальный кинозал, где вся разноплеменная шушера становилась единой душой, которая смеялась, плакала, свистела, напряженно молчала и думала-думала.

Студенты семидесятых, повзрослевшие, как и сама жизнь, после знаменитых своей оттепелью шестидесятых годов не устраивали диспутов, обсуждений, споров. Выползая, как многоножка, из зева кинотеатра, толпа тут же закуривала, молчала или говорила о пустяках — за них выговорилось предыдущее поколение. А эти возвращались к своим грешным делам и греховным помыслам. И ничего в этом не было зазорного. Глупо было говорить о нравственности в эпоху всеобщей безнравственности, не хотелось взлетов души, когда вся страна застряла в трясине лжи, никто не жаждал самосовершенствоваться, когда к этому призывали самые низкие люди на всем белом свете.

Шумела вокруг московская жизнь: у ресторана, расположенного рядом с кинотеатром, мельтешили подозрительные типы, все похोजие на продавцов, снявших после работы засаленные халаты; толпу нагло прорезали московские «мерседесы», которым отдавали честь вдруг становящиеся воспитанными постовые (то ехали дети и внуки «самого» и «самих», обыкновенные жулики). С. часто смотрел в светящиеся, казалось, бесконечные окна, за которыми царили уют, довольство и домашность. Люди за этими окнами, может быть, не до конца понимали, как они счастливы и свободны. Впрочем, таковыми — счастливыми и свободными — они, задавленные своими заботами, конечно, не были...

Ближе к ночи все безуспешно шныряли друг к другу в поисках какой-либо жратвы, но и у тех, кто мог бы поделиться, ничего не было...

Постепенно все смолкало, хотя до окончательной тишины еще было далеко. И в самых фантастических — от голода, неудовлетворенной моло-

дой плоти и от живости воображения — снах уносился этаж прочь от этого душного места. В комнатах храпели, кричали от ночных страшных видений, хохотали, стонали, крыли матом, скрежетали зубами, задыхались в самопроизвольном оргазме, звали «мамочку» и «папочку», хрюкали, просто ровно дышали. Ночь приносила отдохновение тем, кто еще по молодости не успел смертельно устать, но она становилась кошмаром для тех, кто уже сломался. Так однажды в самое сонное время, когда заканчивались приподнявшиеся пьянки, когда разбредались по своим одиноким кроватям пыльные любовники и когда переставало на некоторое время до утра раздаваться шарканье удаляющихся в туалет шагов, вышла она...

В ночной рубашке, озябшая от холода и ночного сырого неуютта пробралась в холл. В руках — кипа бумаг, похожих на письма. Опустилась на колени, достала спички и развела костер — пошло тепло, можно наконец согреть руки... Как же холодно было. Холодно... Запела тихонько грустную, жалобную песенку, как Офелия. Правда, наша Офелия непорочной девственницей не была — так уж повелось, что свою неизбывную тоску прогнать она могла, если была не одна. Вот она одна и не оставалась никогда: то один, то другой... Ну, а им понятно, что надо... Да ведь не жалко. Ах, как расцветала она с новым — обязательно новым — знакомым, который не знал всех этих гадостей, что обычно говорят о знаной девушке. Читала стихи, пела, веселилась. Какой блеск сиял в глазах незнакомца, какой интерес: ей хотелось верить, что от любви. От любви к ней — такой летящей, легкой, как птица, вот-вот и полетела бы... Но блеск этот потухал быстро... И снова она ждала того, кто не расплескает ее богатства. Вот только по ночам становилось ужасно холодно — и так хорошо было согреться у костра: «Вейся, огонек, вейся. А ты, дымок, унеси мои печали...»

— Сука! Спать нас всех решила?! — перебил грубый голос эту нескладную песню. То была ночная дежурная — надзирательница.

— Ши-ши-ши, — приложила девушка к губам палец. — Тише! Садитесь к костру. Грейтесь.

Толстая тетка с криком кинулась вниз вызывать милицию и пожарников. Уже через полчаса девушку скрутили санитары и увезли... Не проснулся никто из обитателей этажа — к шуму было не привыкать.

Не удивили утром и следы пожара. Точно так же не удивило никого исчезновение сокурсницы: постепенно здесь привыкали ко всему. Привыкали жить, не обращая особого внимания на странности. Вынужденная жизнь на виду у всех, когда почти в каждом самое тайное — хорошие и дурные побуждения, добродетали и пороки, подробности личной жизни, вплоть до детального описания излюбленных сексуальных поз и способов любви и т. д. — становилось явным, заставляло ничему не удивляться и особенно не вдаваться в изучение чужих невзгод.

Неизбежность жизни в столь тесном общении, в столь сильной близости, что, казалось, в человеке ничего уже не остается заветного, незапятнанного, скрытого, ничего чистого и незапятнанного, была противоположной.

С. глядел на человека, с которым только что говорил о чем-то страшно духовном, и краснел оттого, что знал все самые гадкие подробности его тайной жизни. Неужели и я такой? И такой, и даже еще хуже. Но в каждом есть то и другое. Эта обнаженная жизнь, это узнавание грязи, которые, как ему казалось, были только там, в прежнем мире простых работяг, заставили его учиться принимать человека таким, каков он есть. И именно здесь, в этом скопище людей, он понял, что раз и навсегда надо расстаться с мыслью и даже с мыслишкой о каком-то своем превосходстве над окружающими. Сотня маленьких провинциальных наполеончиков, пожалуй, пришла к такому же убеждению.

И когда в комнате гасили по общему решению свет и С. лежал в кровати, то все думал-думал о том: а есть ли в нем что-то, что как-то делает его жизнь особенной и нужной? И он не находил в себе никакого особого призвания, никакого предназначения свершить что-либо великое. Он — простой человек, каких миллионы, и ему ничего другого и не хочется. Даже славы... Надо было жить своей простой жизнью. В этом — радость. В этом — предназначение.

По ночам ему снились дом, найденные мятые рубли, обнаженные и до-

ступные тела, сладостное обладание женщиной, часто — очень часто — море, берег и солнце, и единожды — Бог...

Скорее всего то был не сон, а видения — наяву, по крайней мере с открытыми глазами... Бог явился и в это обиталище... Собственно, самого Бога он не видел: только сиял голубой свет, даже не свет, а само бесплотное вещество, газообразная материя; свет этот заполнял все пространство — он был все: начало и конец мира, первооснова бытия; открылась притягивающая даль, навстречу которой хотелось лететь и лететь... Но чувствовалось, что надо ждать чего-то самого главного — Его приближения. Привычнее было представлять Бога в облики человека, ему и казалось, что вот-вот он увидит гигантского, как у Иоанна, человека с белыми волосами, но либо Он вообще не был похож на человека, либо не захотел явиться в таком облики... В центре пространства усилился поток света, более голубой, чем вокруг; его прорезали как бы золотые светящиеся волны.

Бесплотная материя, уплотняясь, начала сгущаться — и все это было лишь предчувствием, Его воплощением, воплощением высшего Разума... От еще невидимого эпицентра кольцами пошли волны... И раздался голос — грозный и мягкий одновременно, металлический, но с теплотой, бесстрастный, но проникающий глубоко в душу.

С. понял, что жил, может быть, до сей поры ради этих секунд. К тому времени он, похоронив родных, остался совсем один и казался себе брошенным и потерянным.

И вот теперь Голос разуверял в этом... Он не мог дословно воспроизвести Его слова: может быть, это дано только пророкам, а может, и никому... Но Голос говорил примерно о следующем:

Ты не одинок, не забыт; Он всегда следил за тобой, потому что с рождения ты — Его избранник... Он мало кому является, это знак Высшей милости. Грешно было усомниться в Его существовании. Но живешь ты неправильно, плохо, грязно. Забыл в своей жизни о самом главном. Можно уйти в монастырь, но это легче всего. Надо научиться просто и чисто жить здесь, в миру...

Он даже рассказал, как же надо жить. Сразу, когда прошло видение, С. с облегчением понял, что знает, как теперь жить... Но потом память словно стерлась. И надо было на ощупь искать правильный путь.

Но тогда, встретив Его, он плакал — слезы облегчения лились из глаз, но были сладостны... Голос говорил долго-долго... Хотелось рвануться ему навстречу — в темную голубую даль... Но было еще рано...

С. летел в этой, когда-то голубой, но лишенной света синей дали. И нигде не было Его... Либо С. так и не понял тогда, когда Он явился еще там, на Земле, к нему, как надо жить, и неправильно (это уже точно неправильно) жил... Либо Его и вообще нет. И вообще ничего нет — ни смысла, ни бессмыслия: все случайность. Либо С. Его увидит все же, хотя бы отчаявшись, когда-нибудь...

Но вокруг был холод и холод. И трудно было даже предположить, что он когда-либо встретит здесь не только Его, но и что-нибудь разумное...

Теперь, правда, когда о многом — из той жизни — передумал, стало здесь не так одиноко и пустынно: рядом, на маленьких планетах-видениях, продолжалась его жизнь. Причем одновременно несколько жизней — детство, юность, зрелость... Он летел и видел себя сразу в нескольких обликах: младенца, худенького мальчика, школьника, студента, мужчины... Но ведь, наверное, есть какой-то особый смысл в том, что теперь — после смерти — он витает именно здесь, а не где-либо еще. Наверное, это нужно было кому-нибудь... Или все случайность? Или он в наказание завис между небом и землей — ушедший отсюда и не допущенный на само небо?..

В конце концов он готов принять и свое нынешнее существование — у него уже нет той глупой гордыни — все отвергать, но в душе (какое опять же земное выражение!) теплилась надежда, что все это не просто так. Что его ждет что-то... И, наверное, не случайно он вспоминает и вспоминает то мелкое и бессмысленное, случайное и мимолетное, что и есть земная жизнь — его и тех, с кем суждено было встретиться... Он летел, и жизнь, от которой ушел, повторялась снова...

Студенческая жизнь была странной: одно — грубое естество — требовало удовлетворения голода, человеческих потребностей; другое, абсолютно внешнее — соблюдать приличия и требования общества, в котором существовал... Надо было постигать соотношение базиса и надстройки, платить комсомольские взносы, проходить общественно-политические аттестации, блюсти свою идеологическую чистоту и делать вид, что мечтаешь об одном — крепить дело социализма и строить коммунизм на всей планете. Столь же иллюзорным делом была и учеба — она разрушала человеческое «я», чтобы на его месте возвести что-то совсем другое, мало похожее на прежнее. К счастью, лишь немногие не понимали этого; большинство же относилось к учебе как к сугубо официальной стороне жизни.

За вычетом этого и многого другого оставались человеческая судьба и душа, которые искали свое место в мире. Так было и с нашим героем. Он любил людей, с которыми ему суждено оказалось жить: лишь немногие были столь чужды, что соприкосновение с ними стало невозможным. Вокруг же ходили токи любви и ненависти — так уж, видно, устроены люди, что без крайних проявлений чувств они не могут.

Уже скоро всем на этаже стали понятны влечения друг к другу, повторяющиеся встречи в закутках. Всегда кажется, что люди, оказавшиеся волею судьбы вместе, сблизятся случайно. Вероятно, однако, что именно случайность и является единственно возможной и даже закономерной; растащи этих людей по разным концам земли — они найдут друг друга. И страшно представить, что жизнь сложилась бы совсем по-иному, если попал бы в другой мир с другими людьми. С. часто думал: а что ожидало бы его, выбери он для учебы не Москву, а Свердловск, Ленинград или какой-нибудь другой город?.. Но представить этого не мог: его жизнь — плохая или хорошая — должна быть именно такой. Именно такой должна была быть жизнь всех других сожителей по этажу...

Должны были встретиться льняная девочка из глухого северного русского угла и испанец. Приближением к этой встрече были смерть отца и матери девочки незадолго до поступления в университет, страшное одиночество вчерашнего ребенка, который до этого свято веровал в то, что о нем заботятся страна и миллионы людей, но который вдруг понял, что со смертью единственно любивших его двух человек и эта страна, и миллионы любящих соплеменников стали чужими... И когда девочка встретила своего шального красавчика Родриго, то поняла: именно он, который видел себя гением и сразу оговорил условия их близости (с получением диплома все должно закончиться, о женитьбе не может быть и речи), роднее и нужнее для нее всех других людей.

Должны были встретиться тучная партактивистка Феня с лупоглазым симпатичным студентом-партийцем: оба понемногу «стучали», понемногу учились, но больше занимались общественной работой и приготовлением своих борщей, которые убийственно пахли домом в этой наполненной холостяцким запахом коробке. Они знали, что их все презирают, но знали одновременно, что их и побаиваются: им в подчинение были отданы тела и души общежитских; как ни крути, но студенческое начальство.

Супружеская пара жила добродетельно; каждый раз, заставая во время шмона своих сокурсников в чужих кроватях, делала вид, что этим они и не занимаются, а если и занимаются, то в законе. Вполне возможно, что они сильно любили друг друга и готовы были пойти за свою любовь на смертные муки, но никто в это верить не хотел, потому что если это любовь, то такой любви никому не надо. И это очень страшно.

За то, что «стучали», за то, что были презираемы, и за многие другие мучения людей с беспокойной совестью они получили то, чего не было ни у кого из первокурсников, — отдельную комнату на двоих.

Должны были встретиться и еще двое... Сначала появился он — в мирке студентов еще до своего приезда человек-легенда. С. слышался о нем с абитуриентских времен: победитель всесоюзного конкурса, зачисленный на курс без экзаменов, роковой мужчина, перед которым не устоит ни одна баба, умница и интеллектуал, бард и незаменимый собутыльник. Позже, уже во втором семестре, появилась она. При виде ее невозможно было не остолбенеть. Все в ней проявлялось чрезмерно: чересчур яркий грим, слишком короткая или длинная юбка, глубокое декольте, которое в то время уже или еще никто не носил, количество складочек, пуговиц,

высота начеса, который опять же в те годы уже или еще не был в моде. Смеялась и говорила она, как смеются и говорят только опереточные дивы, и то на сцене... Но глаз всегда искал ее в любой толпе, и была она притягательна, особенно для мужчин.

Тем более что она словно хотела как можно скорее избавиться от своего юного возраста, стать взрослой женщиной. И будто она знала, как ей надо спешить жить... Еще вчера в белой кофточке (сшитой у самой дорогой портнихи) и красном галстуке — телевизионная звезда пионерской передачи, лучшая и самая богатая невеста населенного пункта областного масштаба, сегодня — уверенная в себе женщина, пусть и маленькая еще. К тому же она окружила себя таинственностью — в общении не появлялась, снимала квартиру.

Поначалу, когда их все чаще и чаще стали видеть вместе, многие удивлялись, особенно женская половина. Потом стало понятно, что обоим от рождения суждено было оказаться рядом: красивые, чуть театрально и вызывающе одетые, с глазами, излучающими счастье и ум, возбуждение и покой, появлялись они в унылой и серой университетской толпе как частица какой-то иной, недостижимой жизни.

С. близко сошелся с ними уже к концу учебы, когда несколько лет супружеской жизни не прошли даром: бывшая маленькая женщина превратилась просто в хорошенькую женщину, он — в спокойного, уверенного и любящего мужа. В то время он узнал еще одно свойство этих двух людей — странную, даже подозрительную в нашей жизни доброту. С. тогда похоронил мать, и вдруг они и Н. прислали домой телеграмму... А потом произошло чудо: в первый же день возвращения в Москву, когда он, уже покинув город с могилой матери, бесцельно ехал в метро, встретил их. То было спасением... Именно эти недостижимые, казалось бы, и беззаботные люди сделали единственно нужное в этот момент: увезли к себе, в теплый дом, накормили, выпили по рюмке водки за упокой неведомой им женщины и уложили спать... То была первая ночь за неделю со дня смерти матери, когда он заснул. То были единственные сокурсники, с кем он не расстался и после университета: в самое тяжелое время быть рядом с этими людьми, видеть их и являлось счастьем, тем более для человека, обреченного на одиночество...

В один из вечеров они долго-долго говорили: спорили как всегда (единственное, что их разделяло, — это отношение к советской власти), впрочем, это не мешало им дружить и дальше. Часто переходили на глупости. Он уверял, что иногда чувствует, когда и какая у хорошо знакомого человека наступит смерть. Она со странным, может быть, горьковатым смехом предупредила: ей предсказано, что умрет она рано, погибнет в какой-то катастрофе... Улыбалась, но в глазах этой храброй женщины вдруг на секунду блеснул страх, ужас перед смертью. Это потом С. думал, что человек иногда знает свой конец, особенно если он рано умирает... Видимо, знала и она. Свои, как потом выяснилось, действительно последние пять лет жизни после окончания университета она жила в такой спешке и гонке и успела так много, сколько не успевает и десяток людей за все свои долгие годы. Она добилась недостижимого — их оставили с пропиской в Москве, построила кооперативную квартиру, дважды поменяла работу, стала начальницей, разошлась с единственным человеком, для кого была создана Богом, вышла еще раз замуж и родила мальчика...

В тот день она, как всегда, спешила, задыхалась от физического уничтожения времени, но машину вела спокойно и уверенно: рядом был новый муж, зади — ребенок. Ехали с дачи... И вдруг машина — помимо ее воли — резко затормозила и встала как вкопанная; последнее, что она видела, было то, что с мальчиком ничего не случилось. Потом летела куда-то — ей казалось, страшно долго; она знала, чем это кончится, и досадовала на свою неосторожность... Но она знала, что все было предрешиено, — не зря спешила. Она просила прощения у всех, в том числе у него, перед кем и не была виновата.

Умерла она сразу, ударившись о бетонный столб, — машина въехала на только что уложенный асфальт, перед которым не было ограждения...

Так закончилась жизнь бывшей маленькой провинциальной звезды, которая, как уверен был С., стала звездочкой на небе. И часто, так и не зная со школы астрономии, разглядывал черное небо: где ты, звездочка?

где? Но даже после всего произошедшего С. не поколебался: эти бывшие он и она были созданы только друг для друга.

Друг для друга, хотя, может быть, на неделю, а то и на час были созданы тишайший, интеллигентнейший африканец и большая сибирская девка, сама укладывавшаяся к нему в кровать, или еще: крепкая, уже замужняя общественница и застоявшийся увалень-девственник, которые сначала ходили, держась за пальчики, а кончили тем, чем и все в таких случаях кончается. Или вот: уже немолодой отец трех детей и девчонка, вчерашняя школьница; красивая татарочка и маленький восточный немец с громовым голосом и длинными волосами; датчанка и американец, встретившиеся в России; еще один американец и теперь уже русская — лимитчица на стройке; эмансипированная девица и мальчик-херувимчик; девочка-кошечка и полковой производитель; вчерашний школьник и девица из подмосковной деревни; многие-многие другие, кого свела судьба тайными и нетайными путями...

Но еще больше было тех, кого судьба ни с кем не сводила, кому удел был — одиночество. Одиночество ожидало тех, кого высшая сила еще не вывела на того единственного человека, ради которого живешь, но кто не мог его не ждать и перебиваться кем попало...

К таким относилась и Н. К таким относился и С. В обоих переплелись неуверенность в себе, в своей внешности с неизвестно откуда взявшимся ощущением своей особенности — пусть пока мало замечаемой окружающими. Все те люди, кого они встречали и которые могли бы разделить их одиночество, помимо воли Н. и С., подвергались непроизвольному тщательному тестированию: интеллигентный — неинтеллигентный, умный — глупый, чуткий — грубый, добрый — злой и т. д.

Еще более тщательно присматривались к внешности. С., правда, будучи мужчиной и, как большинство мужчин, более склонный к неразборчивым связям, счастливо для себя пошел на компромисс: мимолетные знакомые — это на время, на сейчас, а для вечности, навсегда — идеал, который надо ждать. Так случилось и прежде, что он мог любить возвышенными чувствами, заимствованными из блоковых стихов о Прекрасной Даме — вытеснивших к тому времени в провинциальных городах Есенина — одну девушку, а чувства отнюдь не платонические испытывать к другим. Эти другие — в бесконечных размышлениях о своей тонкой натуре и духовной чистоте — сознательно опускались, будто бы их и не было. И в разговорах с Н. о сущности любви, которые порой подходили близко к определенной черте, говорилось только о чувствах высоких. Однажды, впрочем, Н., вечером простившаяся с С. и полагавшая, что тот пошел спать, утром захотела о чем-то спросить и отправилась к нему. Она была в необъяснимой для самой себя ярости, когда поняла: С. вообще в общении не ночевал, а утром пытался сделать вид, что был в своей кровати и просто не выспался. Синяки под глазами, на шее давали возможность понять, как провел ночь ее друг... Н. с презрением смотрела на человека, который вдруг предстал перед ней во всей своей грязи. Не то чтобы она хотела стать той, с кем он провел ночь, но ревность заставила ее на время утратить контроль над собой и даже расплакаться... С. смутился, что его разоблачили, но еще больше поразился реакции своей подруги, почти сестры. Он, конечно, думал теперь иногда о ней как о женщине, хотя его и задела брошенная однажды фраза: «Ну, подумай, как было бы дико, если бы мы попытались переспать!..» Что он действительно — нищий, раздетый, голодный — мог дать этой девушке: они и так часто вскладчину варили обеды и ужины, экономя тем самым деньги, и ели, приткнувшись, за столом в комнате С. Если бы к такой почти супружеской обыденной жизни добавить и любовь — какой бы серой она была! Нет, у мужчины для любви должны быть деньги, уверенность в себе. Пятерки в кармане ему хватало, чтобы подцепить какую-нибудь искательницу приключений, купить бутылку красного и подкатить шикарно на такси к ее дому или в очередную общагу. Но уже завтра он не мог повторить даже этот аттракцион — собирал по всем карманам медь на метро. Н. же была, бесспорно, дорогой девушкой — чего стоила ее одежда, недавно вошедшие в обиход французские духи... Такая женщина требовала денег — много денег.

И вот теперь она, которая порой выказывала свое превосходство, закатила ему настоящую супружескую истерику: где и с кем был? Когда он

попытался отшутиться, то получил к тому же еще и пощечину. Разгневанная, удалялась Н. по коридору, и С. думал о том, что эта родная, близкая девушка могла бы стать его, но понимал, что никому из них обоим это счастье не принесло бы.

А дальше продолжалось, как и прежде... Все принимали неразлучную пару за любовников; и никому в голову не приходило, что это одинокие-одинокие люди, которым судьба не велела быть вместе. Может быть, то было данью не судьбе, а мещанским представлениям о роскошной любви, а может быть, все дело в том, какое представление о любви стало витать в Москве да и в провинции в воздухе: брак — ступенька к какой-то совсем иной по уровню жизни...

А здесь Н. и влюбилась. Все их любовные истории начинались, когда один из них отсутствовал: они проводили вместе большую — за вычетом сна, учебы, обедов и т. д., собственно, и принадлежащую человеку часть времени; этот добровольный конвой отбивал у окружающих всякий любовный интерес. Но стоило им поссориться или разъехаться, как надвигались всякие интересные события.

В летней Москве, когда порядочные горожане, уважающие себя шлюхи и знатные педерасты возлежат на нудистских пляжах, Н., оставшаяся на практику, познакомилась с американцем. То была эпоха игры в разрядку, когда снова приподнялся повторно опущенный железный занавес, а в газетах стали появляться растянувшиеся на целые сериалы репортажи о как бы неведомой до тех пор стране — Америке.

И вот один из немногих американских туристов, кто отважился на русский неназойливый сервис, заблудился на Ленинских горах. Напоролся он не на профессиональную проститутку, что тут же отvezла бы его на какую-нибудь хазу и обобрала бы до нитки, а на девочку-женщину, с которой он, побродив до утра, лишь раз поцеловался... Н., в глазах иностранца идеал русской девушки, да еще по американским стандартам, настолько поразила гостя Москвы, что тот надумал жениться, а пока в течение года строчил на неделю по несколько писем. Она не могла не влюбиться в американца: в нем не было ничего не только от обрыдлой общежитской любви с лапаниями по углам и поспешного лишения девственности в забаррикадированной от четырех соседней комнате, но и от всей унижительной советской действительности, где человек — если он не жулик и не идиот — забит, придавлен и полупридушен как личность... К тому же Н. видела американца несколько часов; и при всей своей требовательности не смогла заметить ничего отталкивающего ни в его внешности, ни в душе. К тому же она плохо владела английским, он — ни бельмеса по-русски, идеальный случай для общения, когда вместо слов надо проявить что-то иное, глубинное, что есть в человеке.

Итак, она любила заочно американца, а рядом был все тот же С., посвященный во все подробности эпистолярной идиллии. Появление американца еще больше отдалило Н. от всех мужчин, кого она видела, еще больше сблизило с С. и в еще большей степени предопределило их одиночество и обособленность.

Но только ничего из всей этой эпистолярной любви получиться не могло и не получилось: одно из писем, так много обещавшее, оказалось последним... То ли телесное тепло какой-нибудь женщины, находившейся рядом, пересилило жар любви словесной, то ли... то ли... Впрочем, кто подсчитает, сколько может быть этих «то ли»...

Прокатило-проехало по Н., казалось бы, не с такой уж тяжелой судьбой какое-то свое молотило. Запутали-закрутили мелкие бесенята ее душу — вот и мается теперь она, кинутая безжалостно в одинокую, холодную жизнь. Когда же началось это одиночество? Может быть, с момента появления на свет, когда изо дня в день надо было отстаивать у жизни свое право быть собой... Отвоевывать надо было все: собственное представление о себе, свои мысли и свое место в жизни. И потому существование, обычно принимаемое как данность, предстояло завоевать. И эта постоянная борьба возвела пропасть между Н. и всей окружающей жизнью: все и вся гнуло судьбу на свой лад, а она сопротивлялась этому. Столетняя война — с учителями в школе, которые не понимали и не хотели понять, что им нечему учить незаурядного человека, с преподавателями университета, теряющимися перед грозной стихией борьбы, с каждым встречным, кто не хотел

признать права на существование огромного, большого космоса, что был в девушке... А результат все тот же — одиночество, неизбывное одиночество...

Одинокими, наверное, в этих тесно заселенных этажах были многие. Были дружба, знакомство, общение, но того, что дает только ощущение полной духовной и физической погруженности в другое человеческое создание, не было. И заменить этого ничто не могло.

Из таких одиноких подобралась и комната, и группа, в которой училась С. Это была почти самая завалаящая группа на курсе — сплошь вся из провинциалов, либо направленных на учебу сельсоветами, либо прошедших армию. В основном же девицы. Девицы пели на переменах свои привезенные из деревень и поселков городского типа песни — о несчастной любви, несбыточном счастье и злодейке-судьбе. Странно было слышать столь человеческие слова и простые, незатейливые песни в университете, где все претендовало на серьезность и свою значимость. Порой С. становилось неловко за своих товарок, и он незаметно прикрывал дверь аудитории, но дверь снова открывалась и под грязный побитый стеклянный купол университетского здания летела и летела вечная сердечная боль о неисполнимом счастье.

Особо любила петь крупная, ладненькая, курчавая от природы хохотушка Л. На просторе, в поле, у трактора ее стать, мощь, наверное, заиграли бы. Но здесь все это могло показаться чрезмерным. Некоторых раздражала и какая-то непреходящая веселость русской дивчины: она хохотала в столовой, когда ела студенческую тощую котлету, когда в свое дежурство мыла загаженную кухню, когда стирала... Она все время смеялась, хотя трудно было представить более общительного, доброжелательного и в то же время одинокого, несчастного человека. Поговаривали, что у хохотушки был жених-летчик, но он погиб и теперь она любит только его, мертвого. Был это или легенда — кто знает. Но только если Л. любила хотя бы погибшего, это было лучше, чем никого.

Когда к концу подошла учеба, хохотушка, которая была так честна, что не смогла продать душу и тело в какой-нибудь номерной ящик, так умна, что понимала: в родные края не стоит возвращаться, — так наивна, что распределилась на очередную комсомольскую стройку, и так беззащитна, что некому было ее отговорить это сделать, — так и осталась в памяти сокурсников как самое безмятежное и почти не обремененное думами создание.

Но не верьте этим хохотушкам. Особенно тем, которые некрасивы и на вид грубы: чаще всего это ранимые и уже раненые души... Сокурсники пробивались в люди, окапывались в Москве, а Л. все писала из своей Сибири бодрые, полные жизнерадостного идиотизма письма. Писала она о суровой, но притягательной красоте этого края, о прекрасных людях, что встретила она на этой земле. И всем борющимся за пядь московской земли эти письма были скучны и ненужны...

И никто не знал, что за этими письмами и как будто звенящим между их строчками смехом скрывалось другое. Никто не думал о хохотушке за тысячи верст от нее в тот день, когда она — покорно исполнительная — вдруг не вышла на работу. Не вышла на другой день и на третий... А потом рассчиталась и поехала домой. Дала телеграмму, чтобы ее встретили. Прилетела, правда, на день раньше и решила ждать своих. Поселилась в гостинице. Уже давно ей ночью не спалось, и она все думала и думала, отчего у человека вдруг жизнь не заладилась. Зачем человеку дана потребность любить, быть любимой — зачем эти муки? Зачем люди так унижают других, особенно в любви? И вообще что есть хорошего в жизни? Она, столько раз доказывавшая, что жизнь хороша и удивительна, давно подозревала, как все это не так на самом деле. Теперь она в этом не сомневалась.

Как же низко и подло ее раздавили. Что у нее осталось? Ничего.

Она подошла к окну. Внизу горели огни неродного большого города. На улицах — никого. И на Земле — никого. Для нее — никого... Открыла бесшумно створки и шагнула. Упала она на выступающую крышу ресторана и, умирая, слышала несущийся оттуда пьяный гул, брань и тошнотворную музыку.

Приехавшим утром старым родителям тело дочери выдали только на четвертый день — все разбирались, что да как. Ясно было одно: любовь... На том следствие и успокоилось. Но заболела душа всех тех, кто когда-то наивно поверил этому смеху, ушедшему в землю и вдруг разом замолкшему. Что же произошло? То ли сыграл, как водится на ударных стройках, какой-нибудь «условник» или приехавший по путевке кавказец комсомольскую свадьбу с Л., а потом, когда кончился срок жизни в Сибири, бросил ее здесь — оброчаченную, а сам уехал. То ли разнес скандальные байки о ней какой-нибудь бабник, а та не смогла вынести позора. То ли... То ли вообще ничего не было — и оттого жизнь показалась пустой. Нет, не при расстройстве психики человек идет на самоубийство. Он идет на это в состоянии самого трезвого рассудка, когда понимает, что ждать облегчения уже невозможно, когда никаких иллюзий не остается.

Но до той минуты, когда лежала — еще живая — хохотушка на крыше гостиничного ресторана и радовалась, что все закончилось — по крайней мере пьяное буйство внизу, было тоже далеко... И по длинному общежитскому коридору разносился, как казалось, беззаботный, глуповатый смех хохотушки.

Впрочем, тот смех, может быть, принадлежал вовсе и не ей — многие, не только она, беззаботно и чуть глуповато хохотали — казалось, что если сейчас кое-что не заладилось, то потом будет лучше, не подозревая, что лучше уже никогда не будет, что для многих это и есть лучшая часть жизни.

Еще мало кто из них думал, что жизнь может оборваться — физическим исчезновением либо по-другому — истреблением личности. Дети 1953 года, хотя позже и должны были пройти переучку и позабыть уроки великого актера середины XX века Хрущева, все же с трудом привыкали к мысли, что и после смерти Сталина в прекраснодушную, как всем внушали, эпоху людей за инакомыслие сажают в психушки, тюрьмы, лагеря, отправляют в ссылку, в лучшем случае выселяют за сто первый километр — в Тарусу, например. Нет, конечно, кое о чем догадывались, а то почему бы занимались бесконечным высчитыванием стукачей, внедренных в их среду кегебистов... И все же порой разрешали себе поболтать. Среди общежитских довольно скоро выделилась группа антисоветчиков. Конечно, ничем крамольным эти антисоветчики не занимались — просто позволили себе на полвершка больше человечности и уважения к себе. Но и то было наказуемо. Во все времена не любили людей выше других хоть на полголова, а советское время просто истребило таких в пятом колене. Теперь принялись за тех, кто хоть чем-то проявлял неприятие не столько устоев идеологических, сколько бытовых — особо опасались так называемых бесребренников, людей идеи.

В антисоветчики зачислили и С.: вроде бы не стукач, не сын знатных либо обеспеченных родителей, не общественик, не спортсмен, не отличник, все «не», «не», но тем не менее позволяет себе жить, как хочет... Не подхалимничает, не выслуживается перед факультетским начальством и перед преподавателями; не делает вид, что ангел, распутничает, попивает; вызывающе одевается, носит длинные волосы, как утверждали, даже подкрашивает их и делает «химию», не лезет в партию и в студенческое начальство; не молчит, когда с чем не согласен; ухмыляется, когда возразить нельзя.

В неких официальных кругах на таких ставят крест. Но люди тянутся к ним. С. не был каким-либо лидером и не стремился к этому. Просто подлецам и людям порядочным сразу становилось понятно, что перед ними человек не только безобидный, но и способный слушать другого, сострадать. Никто бы не сказал с определенной смелостью, что С. чрезвычайно умен, никто не назвал бы его человеком исключительным, но людям было хорошо с ним: он располагал к человечности, рядом с ним все внешнее, наносное теряло смысл. Наверное, это и вызывало самое большое опасение у тех, кто определял, к какому разряду отнести студента — к лояльным или антисоветчикам.

Но каково же было удивление обитателей этажа, когда самым заядлым антисоветчиком оказался человек, бывший, казалось, вне всякого подозрения. С. запомнил его еще с абитуриентских времен: тот ходил в солдатской форме на все экзамены, благодаря чему кое-как набрал нужные

для поступления баллы. На курсе ничем не выделялся, разве что своей серьезностью, насупленностью, какой-то пристальностью, которые давали повод принимать его за стукача... Но именно этот служивый совершил поступок, на который уже мало кто был способен: написал трактат, где сравнивал Сталина и Гитлера, где сопоставлял сталинизм с фашизмом... Уже был написан роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», но здесь, в России, новое поколение, лишенное своего прошлого, должно было заново открывать мир. Самодеятельный историк позвонил в американское посольство и договорился о встрече. Во время передачи рукописи он был арестован подосевшими сотрудниками КГБ, которые подслушали телефонный разговор. Был ли звонок в американское посольство, была ли попытка передачи рукописи, или все эти детали преступления нужны были для полноты картины, на самом деле, вероятно, было проще: настучал какой-нибудь сокурсник, читавший трактат, — этого никто не знает. Только студент не вернулся больше в общежитие, отправившись через все — так и оставшиеся неизменными со сталинских времен — этапы: следственная тюрьма КГБ, лагерь, ссылка... Так сломана была судьба человека, высказавшего мысли, которые менее чем через пятнадцать лет стали почти официально признанными. Так незаурядный человек, на пятнадцать лет опередивший официальную науку, был уничтожен как личность. Так надломилась судьба мальчишки, не догадавшегося, а может, и понимавшего, что живет в том же самом сталинском режиме, где жизнь человека по-прежнему не имеет цены. Где он теперь? Может быть, свихнулся во время допросов и заперт теперь в желтом доме, может, забит уголовниками, может, узнав то, что было неведомо никому из его прежних сокурсников, стал личностью, вознесшейся над обычными смертными, но места ему теперь в жизни все равно нет.

И, наверное, до сих пор в трещинах коридорной штукатурки, паркетных щелях осталась память о крике вызванной в Москву матери арестованного, которая как упала на колени и заголосила у порога комнаты сына, так и не могла встать: она знала, что отныне для этой земной жизни ее мальчик — хоть и живой — убит наповал. Она плакала и боковым зрением видела выбежавших на крик других студентов, которых миновали ее горести и матери которых могут спать спокойно — их сыновья не предатели, не политические преступники.

История с автором трактата должна была, вероятно, по замыслу ее режиссеров стать предупреждением для остальных. Собственно, для этой немудреной цели и допросили соучеников антисоветчика, соседей по комнате, взяв, конечно, обязательство не разглашать разговор — вернейший способ распространить слухи...

Когда С. узнал об исчезновении служивого, ему показалось, что он стал спускаться с крыши по приставной лестнице, а она вдруг начала падать: не удержи он равновесие — полетел бы вниз. Дело в том, что не так давно он сдал курсовую работу. Писал ее у либерального, так и светящегося смелыми идеями и неожиданными парадоксами преподавателя. Тот разрешил выбрать самому культурологическую тему; С. и решил написать о том, что мировая культура — и зарубежная и советская — развивается по одним законам, по двум полюсам: высокая культура и массовая... Знаний о современной мировой культуре у него, как и у всех советских, особых не было, их заменило интуитивное, пришедшее будто свыше предчувствие истины. С. гордился собой и, отправляясь к смелому преподавателю, работавшему, кроме университета, еще и в модном Институте искусств, за оценкой, предвкушал минуты интеллектуального триумфа: видный ученый по достоинству оценит ум, широту взглядов С. Но все вышло не так: раздраженный преподаватель велел подождать его на улице, у входа в институт. А когда вышел вслед за студентом, молча протянул ему курсовую, сказав, что С. такую курсовую не писал, он — не читал, что их — студентов университета — уж хотя бы ленинскому учению о двух культурах (народной и буржуазной) должны были научить. Либерал великодушно никуда не сообщил, но обязал завтра же принести другую курсовую работу...

С. не испугался произошедшего, а только расстроился. Впервые за время обучения заинтересовался научной работой — и вдруг такой конец! Да и трусость щеголеватого шестидесятника, который казался прежде таким свободным и независимым, ошеломила. Но сейчас — когда арестова-

ли сокурсника — он понял, от какой катастрофы избавил его либерал. Его, возможно, не посадили бы, а только вышибли из университета, отправив в армию — в какой-нибудь законспирированный штрафной батальон.

С. знал, что у него не хватит сил испытать то, что сейчас выпало на долю служивого: он не выносит, когда бьют, а там, конечно, бьют... Еще в детстве, читая и слушая бесконечные истории о мужестве людей, которых жгут железом, которым загоняют под ногти иголки, С. с ужасом понимал, что он бы не вынес и признался во всем, в чем ему предложили бы признаться. Не меньше страшила и судьба матери: та рехнулась бы, если с ним что-нибудь случилось. В общем, в себе С. не находил такого мужества, чтобы вынести истязания, которые он примеривал на себя, думая о судьбе несчастного сокурсника. Никто на курсе — кроме разговора с самыми близкими — не выказывал осуждения жестокой машине, заведенной в прежние годы и пожиравшей, пожирающей и сейчас молодость, счастье, жизнь людей.

Тогда С. понял, что он всего-навсего средненький человек, который может только молча — в лучшем случае на грани дозволенного — осуждать происходящее в этой проклятой Богом стране, но который не способен на решительные поступки. Страх оправдывался спасительной формулой: а что изменил его бывший сокурсник? Ничего! Только канул в неизвестность... Но, наверное, в природе существует потребность в бесстрашных, отчаянных людях, которые не думают о последствиях своих поступков. И, может быть, именно эти люди толкают вперед вонючий воз истории... А если все это не так?..

А как же я жил? Как? Не было ни особой любви, ни ненависти, ни милосердия, ни коварства, ни добра, ни зла... Просто жил, все время думая о будущем: вот когда-нибудь наступит настоящее, а сейчас надо подождать. Ждал-ждал, а оказалось, что и жизни подошел конец... Хоть бы отважился на какой-нибудь бессмысленный поступок: облился бензином и поджег себя на Красной площади. А так... Не мог совершить ни одно, ни другое, ни третье — все объяснялось неверием, что это одно, другое или третье хоть что-то изменит...

Отсюда, с космической высоты видно, что скорее всего он был прав: ни одно, ни другое, ни третье ничего не изменило бы. Собственно, о таких мелочах просто не задумываешься: жизнь — даже одного человека — она больше всего... Но там, на земле, с таким мироощущением жить нельзя — человек слаб и падок на всевозможные обманы, которые и есть, вероятно, сама жизнь...

Но отчего впервые вдруг таким пустым стал космос? Не радовали, как прежде, ни посылающие свой свет звезды, ни переливающиеся всеми цветами радуги близкие планеты, ни бескрайняя синь... Неужели там он действительно был обыкновенным серым человеком, на долю которого не выпало ничего, кроме как родиться и умереть?..

С. ловил себя на том, что, как и все люди, вовлеченные в чужую жизнь, присматривался к окружающим — иногда с чрезмерным любопытством, которое, он боялся, может перейти границы дозволенного. Нет, этот его интерес не относился к тому разряду, когда одни занимались любовью, а другие подглядывали в замочную скважину.

Его интересовало другое: как удавалось соседям по этажу находить смысл своего существования? Один писал стихи, другой — романы, третий — статьи, четвертый занимался любовью, пятый — фарцой, шестой — стукачеством, седьмой ходил почти ежедневно на футбол, восьмой — в пивнушку, девятый — на «плешку» у Большого театра, десятый пел в студенческом хоре, одиннадцатый — в церковном, двенадцатый вообще не пел... Тринадцатый мелко воровал, четырнадцатый ходил по вдовушкам, что подцеплял у Новодевичьего кладбища, пятнадцатый увлекался политической экономией социализма, а шестнадцатый — дзен-буддизмом...

В общем, всем удавалось создавать иллюзию, будто в их жизни есть смысл: они знали, зачем спят, едят, — все для того, чтобы подготовить себя к своему главному делу... А вот С. этого смысла не находил: спал, изредка ел, куда-то ходил, а зачем — не знал. Ведь должно же быть какое-либо особое предназначение в жизни! Часто ему казалось, ошибочно казалось,

что он никому ничего не давал — только издали согревал людей ровным, спокойным отношением, но ни с кем особо не сблизился: тем, близким, он в конце концов радости не приносил. С. не мог долго быть с кем-то, не мог любить отдельно взятого, конкретного человека — он любил человечество, а может, просто только самого себя...

Впрочем, тесного сближения с людьми боялся и сам С.: он знал за собой слабость — влюбляться безоглядно, почти по-женски, отдаваясь этому чувству до конца, без дистанции и уместной в таких случаях ироничной игры. А потому опасался этого чувства. Любить он мог не только женщин, с которыми связывало плотское чувство, но и мужчин — друзей, случайно обретенных знакомых, наконец, великий город, в котором теперь оказался. Но влюбленность — особо оглушающее его рабское чувство — проявлялась в любви плотской. Не то чтобы С. был, что называется, однолюбом, но новое увлечение раз и навсегда вытесняло предыдущее (вместе с его и горьким — если то было так — опытом) и становилось снова и снова первым и единственно стоящим. Умом С. понимал, что в любовных отношениях ему следовало бы быть более сдержанным, расчетливым и холодным: он знал, что люди принимают эту растворенность в любви за слабость, а слабых на этой грешной земле недолюбливают. Их пугает то вселенское по вместиности поле любви, которое исходило обычно от С. Но эта же сила любви, которая угадывалась в С. и притягивала к нему. Но уже вскоре происходило нечто странное: сила любви ошибочно принималась за слабость в любви. У возлюбленной появлялось желание обидеть, унижить С., попытаться хоть что-то нарушить в его спокойствии. Спокойствие это приходило к С. когда он начинал верить в чужое чувство: зачем в таком случае играть? Плести и расставлять сети, завлекать и заманивать в ловушки?.. Зачем все это, если пришла любовь?! Мелкая ложь, притягательный флер беспутного влечения, качели верности-измены — все это нужно в других случаях, но только не с С., не с его любовью. И когда С. обретал вселенское спокойствие в любви — оно принималось либо за космический холод, либо за склонность к самоуничижению. И каждый раз все повторялось именно так. Поднявшись на столь трудно дававшуюся ему точку, высоту любви, он неминуемо катился в бездну нелюбви...

К тому же так уж повелось, что у него должен был обязательно существовать предмет любовного поклонения — так сказать, идеал женщины. Причем идеал этот — С. подозревал — начинал гаснуть в случае удачного развития романа, когда чувства С. пользовались взаимностью... Нет, идеал потому и идеал, что недосыгаем. Конечно, С. страдал от неразделенной любви — в нескольких случаях писал даже стихи, а однажды, ну, совсем в детстве, грозился покончить с собой. Но покончил бы он с собой, если бы предмет его обожания пал к его ногам и сказал: «На! Возьми меня, я твоя...». С. совсем не знал бы, что делать в таком случае. Не снимать же штаны...

Случалось, С. терял и, казалось, надолго способность любить. Зачем все это? Только холод, только холод — его удел. Но... Если бы на свете можно было жить без любви. Она ждала — подлая — за любым углом.

Так было и тогда, когда в поисках работающего телефона — уже в общезитии высотного здания — С. познакомился с ней, дежурившей в тот день на телефоне. Встретившись, казалось, ненадолго, но, просидев рядом целый день — разговор с другим городом никак не давали, — они стали уже вечером людьми, несвободными друг от друга, опутанными невидимыми, но властными силами притяжения.

Что-то в мире или по крайней мере в сжатом пространстве малюсенькой комнаты произошло. Не став еще другими, они не могли остаться прежними. Как это всегда бывает при первой встрече, да еще ошарашивающей вспышкой обоюдного чувственного интереса, каждое слово, каждый жест, улыбка представлялись загадочными и полными не постигнутой до конца глубины смысла. Время забыло ненадолго свою принадлежность прошлому и не хотело знать о власти будущего, уже знающего, что ничего — ну, абсолютно ничего — из всего этого завихрения чувств не выйдет...

Он — в той поре молодого зверства, когда человек повернут только в сторону счастья и наслаждений, когда жизнь кажется беспредельной, когда не думаешь ни о своих грехах, ни тем более о расплате за них, когда вожденного надо добиться тотчас, не думая ни о каких последствиях, когда

каждый — палач, злодей, преступник, потому что кипит внутри кровь и молод; она — понимающая, что вступила в последнюю полосу своей молодости, немного уже отчаявшаяся, в то же время боящаяся полюбить — знала, как горько полюбить, тем более этого дикого мальчика, не способного — она понимала — на большое чувство. Она осознала себя старой, ничего не жаждущей, желающей просто покоя. Ибо знала: проходит все — абсолютно все: и великая любовь, и великая ненависть... Но сейчас что-то в ней вспыхнуло вновь, что-то опять чуть приподняло уже несколько тяжеловатое (не от физического веса, а от усталости) тело над землей... И она запорхала-запорхала по малюсенькой комнате.

Когда они после многочасового сидения встали, опутанные волновыми силами притяжения, над их головами не махал крыльями ангел, не сияло сияние, соединяющее тех, кого, как думают, сводит Бог... Но ведь кто-то, какая-то сила их свела и кому-то нужно было их сблизить?!

Когда они первый раз поцеловались (несколько встреч они говорили-говорила, не решаясь переступить эту грань), женщина в истерике разрыдалась. Еще мгновение назад она дрожала от нетерпения и, как сумасшедшая, прижимала к себе С., а сейчас стояла у стены и, по-бабьи закрыв лицо руками, рыдала... Она оплакивала сейчас девочку — с высоким, открытым лбом, большими, широко распахнутыми глазами, которые могли тогда видеть весь-весь мир, каждую травинку, каждую трещинку на стене, самое высокое облако; она оплакивала девочку, у которой не было никаких тайных желаний, кроме как получить на Рождество в подарок куклу с кружевным передником, съесть на Пасху сразу два шоколадных яичка, научиться лучше всех в классе вышивать крестиком; она оплакивала девочку, которой нужны были мама, папа, а потом все другие люди и которая еще ничего особенного не думала при виде любого мужчины; она оплакивала девочку, превратившуюся в женщину, которая постоянно первая влюблялась в понравившихся ей мужчин, но которые тут же почему-то бросали ее — может, из-за ее же влюбчивости; она оплакивала женщину, которая, после того как ее бросил последний любовник — голландец, решила на всем на этом поставить крест и жить только своей наукой, ни в кого не влюбляться, просто жить...

И вот теперь она боялась будущего, боялась, потому что знала: как всегда, она влюбилась. Влюбилась в этого мальчишку, который ничего хорошего ей не принесет. Она знала: и его обещания и клятвы ничего не стоят. Но сделать с собой ничего не могла: да, она жертва, но сейчас надо забыть об этом. И она забыла...

Но только ничего не могло получиться из всего этого — ничего. И она и она не позволяли себе еще и думать об этом, а это ничего не могло получить — знало свое дело и приступило медленно-медленно к крошению основания не только еще не возведенного, но даже и не заложенного храма любви. То маленькое, сейчас съезжившееся и скукожившееся «я», что сидело в С., нашептывало — пока как бы про себя, самому себе: ну куда тебе, мальчишке, влюбляться в такую женщину; дело не только в том, что у тебя ни гроша за душой — ты, конечно, не опускаешься до таких мыслей, даже вообще не думаешь об этом; конечно, ведь все ваше изнасилованное еще в отрочестве славными тысяча девятьсот шестидесятыми годочками поколение не опускается (как бы) до размышлений о деньгах и прочей дребедени; дело в другом — на самом деле ты не можешь никого и в том числе эту необыкновенную — редчайшую — женщину любить, потому что не любишь никого, потому что не способен по-настоящему ни к кому прилепиться-притулиться, потому что во всем мире, окружающем тебя, любишь ты только себя, только свое отражение, но и это не самое главное — главное, что на самом деле (и ты это понимаешь) ты играешь в то, будто сейчас невероятно влюбился.

Почему же у них ничего не должно было получиться? Потому что С. казалось, что настоящая жизнь, настоящая любовь — это, конечно, не сейчас, а в будущем; в будущем — и та женщина, лучше которой нет. Она же видела, что жизнь — это и есть то, что сейчас, а потом, может быть, ничего не будет. Этот день любви, может быть, первый и последний...

В день их знакомства на еще зеленые газоны, бесстыдно яркие клумбы выпал первый — мокрый, тяжелый — снег, напоминавший о том, как хорошо было летом и как надо было ценить тепло, снег, заставивший всех

одиноких вдруг с большей, чем обычно, болью задуматься о своем одиночестве.

Но любовь их кончилась раньше, чем успел растаять снег, — еще до Рождества. Все как-то было против нее: ветреная жизнь в лице молоденькой взбалмошной девчонки — соседки Хильды, смерть, напомнившая о себе в самый пик их любви смертью бабки С., и многое другое: постоянное безденежье С., который не мог пригласить взрослую женщину даже в кафе, влюбчивость С. в кого попало, полосы хандры и приступы депрессии, когда ему хотелось быть одному, наконец недовольство Н. этим романом; Н. уверяла, что С. заслуживает более возвышенной любви...

Особенно помешала смерть... В ту ночь они изрядно напились и до утра провели время без сна в кровати, а когда только-только заснули, разбудил стук в дверь, стучал дебил, разносчик телеграмм... Как ни старался С. прикрыть распахнувшуюся дверь, дебил все же углядел спящую в кровати голую бабу. Запах вина, окурков, любви мужчины и женщины так задел его отключенное обычно сознание, что он замер столбом у порога и не хотел уходить...

С. понял: случилось что-то недоброе, и действительно, в телеграмме сообщалось о смерти бабки. Он смотрел на разбросанные окурки, пустые бутылки, эту сейчас чужую, даже враждебную женщину и плакал; он еще не понял, что бабка умерла, плакал он от омерзения к себе, который в те минуты, когда старуха умирала и, может быть, взывала о помощи к нему, исходил спермой, стонал и целовал женщину... Бабка кричала, задыхалась, а в это время кричала и задыхалась под тяжестью его тела большая белая женщина, которая сейчас безмятежно спала.

С. — все еще голый — сел на корточки. И вдруг уловил за тонкой дверью шорох — резко рванул дверь: там на корточках сидел дебил, подглядывая в замочную скважину. Разочарованный тем, что ему помешали, почтальон повернулся и ушел.

С. каждый секундой Хильда вызывала в С. все большее раздражение. Хотелось грубо растолкать ее и выпроводить вон — забыть об этой ночи. Когда он, наконец, остался один, то как-то странно из сознания улетучилось плохое известие: почти беззаботно, в диком темпе убирал следы загула. Быстро в душ — смыть всю ночную грязь... И вдруг словно ударило: бабка умерла. Ему стало жалко старуху, себя: первая смерть близкого человека рушит многое... С. плакал, всхлипывая как ребенок. Но эти слезы все дальше отдаляли Хильду — словно она была повинна в его греховности, несовместимой со смертью.

Вернулся С. после похорон бабки в Москву только через десять дней; некогда большое, сильное, а теперь жалкое, как бы поруганное тело мертвой старухи, ее не нашедшее смирения лицо окончательно изгнали из С. мысли о Хильде и о возможности близости с ней. Обладание женщиной, ожидание сладостного конца этого обладания сделались для него чем-то гадливым и грязным...

Но так сразу эта любовь не могла уйти: где-то через месяц они снова оказались в постели. С. сам начинал думать, что действительно хочет продолжения, но будущего не могло быть, оно рухнуло постыдно и пошло. На устроенной им же самим вечеринке С. напился и стал целоваться с молоденькой соседкой Хильды; этого фарса Хильда не вытерпела, она заголосила, как воют русские бабы по покойнику, и выбежала вон, как бы в никуда.

Ту часть Земли, где он прежде был, закрыл слой облаков. Стало казаться, что он вдруг вырос до гигантских размеров и может сейчас своими руками разгрести эту пелену. Вот он все растет и растет, вот руки зависли в полете над Атлантическим океаном, а ноги — над Уралом. Он и действительно как будто материализовался в свое прежнее состояние. Но то был мираж... Похожим на титана он только представлял себя — на самом деле оставался бесплотной массой, не слившейся со всем космосом только потому, что эта бесплотная как бы масса пульсировала непривычным здесь видом энергии, которую можно условно назвать — разум, сознание... Но летящему хотелось верить, что еще немного — и он раздвигает мощными руками облака и увидит ту женщину, которую не смог или

не захотел сделать счастливой, всех других людей, с кем его свела и не успела свести судьба... Что они? Думают ли изредка о нем? Доходят ли до них в виде каких-либо толчков, импульсов его воспоминания? Чувствуют ли те, кого он вольно или невольно обидел там, в той жизни, его раскаяние?.. Нет. Наверное, не чувствуют! Да и вообще не вспоминают...

Он обречен быть теперь только с теми, кого его память переселила сюда. А скольких он забыл? Сколько людей прошли по бесчисленным улицам мимо него; сколько людей стояли рядом с ним в переполненных автобусах, вагонах метро... И никто его не вспомнит, ни в ком он не оставил следа.

И там — на Земле — он как будто летел и летел над жизнью, не соприкасаясь с ней, с людьми. Что же теперь хотеть?!

Воздушный пловец снова ощутил свою бестелесность. И когда он увидел приближающийся к нему из глубин пространства пятиэтажный кирпичный дом, в каждом окне которого стояли как бы знакомые и незнакомые люди, то заметил: все они безучастно смотрят на него, никак не удивляясь встрече с ним...

Наступал Новый год, и жизнь в высотке казалась недостижимой, притягательной и настолько желанной, что у С. шемило сердце — как бывает, когда ждешь чего-то очень сладостного, но запретного. Праздники — страшные дни для тех, кто оторван от дома, кто против воли живет общей жизнью с большим количеством людей. Никогда не знаешь, где и как проведешь праздничный день: ты не волен ничего выбирать...

И все же, когда он, преодолевая свое вечное смущение перед незнакомыми людьми, вошел в темную, сизую от дыма, пропитавшегося духами, людской плотью, винными парами, комнатку, столь маленькую, что, казалось, она раздалась, как резиновая, в стороны, чтобы вместить человек пятнадцать, половина из которых встретились друг с другом в первый раз, чтобы провести новогоднюю ночь. Вот тогда, на секунду, С. показалось: надо вернуться к себе. Но вот минута-другая, стакан водки, еще один — и убаюкивающее, коварное тепло забрало С. в свой оборот и незаметно соединило со всей стихией безумного веселья (в такие минуты, слава Богу, не думаешь о смысле бытия, тайне мироздания, жизни и смерти, личной вине и трагедии, на которую обречен землянин).

Чувствуя себя в привычной обстановке, С. расслабился, не зная, правда, к кому — кроме хозяйки — притулиться в этом пьяном ночном хороде. Он быстро прикинул, что единственный человек, кого он интересуется, — это взрослая, молодая женщина, вокруг которой крутились несколько мужчин. По тому, как они куражились, шутили, по их позам, жестам можно было догадаться, что каждый из них предлагал этой женщине закончить новогоднюю ночь в одной кровати. (С., правда, казалось, что, как всегда, он наводит напраслину на людей.) Но либо они ей все давно надоели, либо у женщины вообще никаких плохих намерений не было, но от желания насолить всем женихам на одну ночь она решила познакомиться с опоздавшим гостем — почти мальчиком. Особого умысла женщина не имела, хотя была в том возрасте, а точнее — не в возрасте, а в той стадии трезвого понимания жизни, когда уже подсознательно, почти невольно, скорее в силу привычки — прикидываешь, а что нужно этому, что — тому, стоит ли отдаваться течению и переспать с этим либо послать его к черту. Потому она лишь на секунду представила этого мальчика голым, зыркнув на него сверкнувшим кошачьим взглядом, сравнила с уже чуть оплывшими, грубыми телами крутящихся вокруг мужиков, а потом пришла к выводу, что хотя бы новогоднюю ночь надо провести по-особенному, то есть без никого, и решила заняться мальчишкой от нечего делать, почти бескорыстно, лишь бы отшить других претендентов.

Она почти не слушала, когда мальчишка нес возвышенную чушь об ожидающем всех в новом году счастье — она-то знала, что счастье мало кого ожидает, оно — удел избранных; знала, что оно бывает или не бывает, но существует в самом человеке; знала, что никакого чуда и в наступающем году не произойдет и она вернется, так и не написав диссертацию, домой, где будет делать вид, что учит студентов в местном пединституте, где снова будет жить с дочкой и мужем и где постепенно забудет тлетворный

воздух этого здания, где она провела три года, вырванные от незаметно, но неостановимо подступающей старости, омертвения души и тела, умирания духа...

Но слушать чирикание юноши было не так тошно, как пошлости тертых мужиков; к тому же она видела, как злятся они на мальчишку... Этого женщина и добивалась. Думая о чем-то своем, она пила, курила, выкрикивала что-то в общий хор нелепостей и делала вид, что принимает ухаживания своего нового кавалера. Но через некоторое время она поняла, что никакого ухаживания со стороны мальчика и нет: он просто изливает ей душу и прилепился как к матери родной. «Я для него старуха, тетка, никакого влечения он ко мне не испытывает, черт возьми... Ему, наверное, и в голову не приходит, что можно завалить меня на кровать. А может, он еще и девственник, на самом деле — мальчик?! Нет, скорее всего не мальчик, видно, женщину уже познал. Но тогда, черт возьми, еще обиднее: меня-то он не хочет!.. В общем, ничего не теряю: если мальчик, то я его раскрепощу, если не мальчик — докажу себе, что еще не годна для свалки... — думала красивая женщина, прижав тем временем свою ногу к ноге С.

С. действительно ни о чем таком в отношении своей собеседницы не думал. Он видел, что вокруг нее крутятся откормленные мужики, по сравнению с которыми он, нищий студент, ничто. К тому же женщина на самом деле казалась ему старой — «взрослой» на его инфантильном языке. Еще С. не был борцом и по своей врожденной осторожности не любил получать по морде от разъяренных самцов, у которых увели бабу. А перспектива быть измордованным к концу этой ночи казалась реальной... Все это вместе и привело к тому, что С. даже не заметил многозначительного аванса со стороны своей собеседницы и продолжал вещать...

Это окончательно рассердило женщину, и она пошла в атаку, понятную уже всем, кроме юноши. Непривычность ситуации — необходимость действовать самой на глазах у всех присутствующих — омолодила женщину: она сбросила груз изначального знания о любом конце любого начала и сама стала как будто девчонкой. То, что роль эта ей удалась, женщина скоро заметила: слишком одухотворенный мальчик пригласил потанцевать в холле — здесь она решила закрепить успех.

Танцевала она столь многообещающе, что вертевшийся в холле какой-то кавказец тут же стал тащить ее в свою комнату, мальчишка кинулся тащить ее в другую сторону. Хорошо, что рядом оказался один из ее старой гвардии: он бросился на помощь мальчишке, к горлу которого кавказец уже приставил нож. Бывший поклонник выбил нож, прижал к стене самого кавказца, за что тот прокусил ему руку около плеча. Благодарный мальчишка кинулся перевязывать руку, чтобы остановить кровь. Мужчины и мальчик так были потрясены случившимся, что тут же забыли о своем соперничестве и начали пить на брудершафт. Женщина сидела в стороне и не без смеха решила отдалиться стечению обстоятельств. Стечение же обстоятельств привело к тому, что она должна была приютить на остаток новогодней ночи у себя обоих. Основательно набравшийся студентик тут же заснул на полу, а его избавитель на законных правах перебрался к женщине в кровать...

«Отчего мы так там любим Новый год?.. — летело над Землей и думало о Земле бестелесное создание. — Что в этом празднике такого?!» И тут на него пахнуло первым снегом, выпавшим на еще зеленую траву, на еще черную, не замерзшую и не успевшую посереть землю, на желтые опавшие листья, на чуть промерзшие, словно накрахмаленные, зеленые листочки, приклеенные к деревьям и кустам... Морозный воздух отрезвляет — прочь людская суета, все ненужное и случайное, воздух проникает с дыханием во все частицы тела. На секунды человек растерян: как жить дальше? Чем? В воздухе запах смерти... Он никогда не знал почему, но запах смерти преследовал его в дни первоснега — может быть, от соединения аромата цветов и холода, обязательно присутствующих и в дни смерти. А может быть, поздняя осень и смерть соединились в его подсознании потому, что на перекресток осени и зимы прихотились смерти близких...

Да, с первым снегом окончательно понимаешь, что короткое, неулыб-

чивое русское лето, на которое было столько надежд, умерло, а с ним умерла и часть твоей души. Но на смену чему-то умершему в душе стало расти новое... Сначала не понимаешь, что же это за новое, но скоро поймешь — да это же Новый год! Единственная отрада — особенно для одинокого человека — посередине долгой дороги — зимы, в пустых, темных заснеженных равнинах однообразной жизни. Подумав об этом, тут же понимаешь еще одно: запах первого снега так ударил по нервам, так возбудил потому, что это было первое приближение, первое напоминание о Новом годе... И начинаешь, замерзая на замусоренных, обледенелых останках в ожидании автобуса, в сто первый раз погибая в нескончаемой очереди за синей тушкой, когда-то бывшей курицей, проклиная всю эту жизнь во время многочасового производственного собрания или во время промывки мозгов с экрана телевизора, мечтать о Новом годе — веселом празднике, когда можно будет в ожидании чуда забыть о своей смертельной усталости от жизни. Особенно устаешь в конце декабря, когда кажется, что сам черт — старый год — уселся на плечи и ты должен его тащить на себе. Еще чуть-чуть — кончится этот год и все начнется сначала, в том числе легкая, новая жизнь. Верить в это до исступления несколько часов, когда длится буйство... А утром — утром понимаешь, что долгожданного обновления — по крайней мере пока — не наступило; чувствуешь, что та же тоска теснит грудь.

Так — коротко — живет Новый год. Но потому он и сладостен, что в его горьком быстром конце заключена сама жизнь: вот она началась, а вот — закончилась... Но все равно любишь жизнь! Все равно ждешь новый Новый год!..

Он летел над Землей, будто наяву переживая свой любимый праздник. И какая-то высшая сила преподнесла ему подарок — он должен был увидеть себя в новогодние ночи сразу за несколько лет...

Накануне первого общежитского Нового года среди женской половины обитателей коробки разразился скандал, вскоре ставший известным и мужской половине. Уже давно девчонки стали замечать пропажу белья — трусиков, лифчиков, то есть всего того, что в магазинах не найти да и стоит недешево, тем более для студенток. И тут нашелся вор — своя же сокурсница, бывшая детдомовка. Вообще-то себя она воровкой признать не хотела, чем, собственно, и вывела из себя баб, собравшихся в умывалке (где и сушилось бельишко) на судилище. Детдомовка либо искренне, либо нарочно уверяла разъяренных девиц, что она ничего страшного не совершила, а просто брала трусики, лифчики и комбинашки на время... Ведь у нее появился любовник, а бельишко ее — срамное; в постель к мужику в таком не ляжешь... А у них — не у детдомовских — всего навалом: вот и позаимствовала она. У них в детдоме все было поровну. Да и если бы не любовник — надо было бы ей их белье, пропади оно пропадом.

Вот и сейчас попалась она потому, что Новый год собиралась встречать в компании со своим любовником. Теперь неизвестно, как быть?

Впрочем, как быть в этот первый для многих вне дома Новый год, не знали и другие. С. прибился к недавно сколоченной, еще находящейся в фазе неопределенных любовных чувств и потому еще не развалившейся компании из соседнего корпуса. Здесь были: вечно смеющаяся, инстинктивно старающаяся облечь плотское вожделение крутившихся в компашке парней в игру в «ручечек», «бутылочку» и т. п. девочка — из тех, кто собирает вокруг себя большой круг людей и без общения не представляет свою жизнь; источавшая волны еще только входившего в моду в Москве дезодорированного воздуха, красиво не выговаривающая русское мягкое «л» и думающая о том, как бы не ошибиться в выборе партнера маленькая девочка-женщина из Польши; хрупкая, почти романтическая, играющая на гитаре и временами немного грустная датчанка — бывшая жена крупного деятеля иностранной компартии; некрасивая, но своя в доску, самая веселая и бесхитростная русская девчонка, которую и звали все почти по-мужски — Антоныч; незадачливый паренек из какого-то московского технического института с тонкой, ранимой душой, сразу же влюбившийся в датчанку; казалось бы, безмятежный финн с непривычными для советских людей открытыми чистыми глазами, который все больше и больше, об-

стоятельнее и обстоятельнее влюблялся в веселушку из России; нахальный, избалованный и кичащийся чисто по-социалистически своими тряпками, деньгами и смазливостью мальчик из Будапешта, подбиравшийся к польке; здесь были и многие-многие другие, из которых одни появлялись реже, а другие чаще, но которых притягивало к компании то, что и притягивает в юности: чувственное томление — невозможность провести хотя бы один вечер одному — бескорыстность и безоглядность добра и зла...

С. в этом сборище как-то скоро стал своим, хотя и потерпел крах на любовном поприще: не влюбившийся в девчонку-заводилу, которая, собственно, и привела его в эту компанию, он завел сразу же роман с прибывшей к кружку москвичкой, но затем переключился на польку с датчанкой, которые, хотя и были задеты тем, что С. не обратил подобающего внимания на них, не спешили определить свои чувства — что-то их пугало в С. Он, правда, особо не печалился, лишь для вида приволакиваясь то за одной, то за другой, чем, правда, изрядно злил их поклонников; он был даже рад тому обстоятельству, что не занят...

Так, в смутном ощущении какой-то, непонятно к кому, но влюбленности С. встречал в своей компании этот Новый год. И когда казалось, что веселье и безоблачность новогодней ночи лишь предвосхитят обязательные веселье и безоблачность наступающего года, вернувшаяся в комнату после танцев в холле компания самой комнаты — по крайней мере в том виде, в каком они ее оставили, — не увидела... Огонь от зажженных восковых свечей уже сожрал саму елку, основательно подъял паркет, облизал черным языком стены и продолжал свое скромное пиршество в убогой общежитской комнате. Но самым страшным бедствием был не сам пожар, а его последствия: все обитательницы сгоревшей комнаты должны были вылететь если не из университета вообще, то из общежития наверняка: любое проявление вольной жизни, будь то веселье, отчаяние, рождение, смерть, пожар, цунами, непредвиденное землетрясение — все исключалось в этом мире несвободы. Новогодняя ночь вычертила пунктир всеобщей несвободы — надолго вперед.

Пепел засыпал не только комнату, еще некоторое время назад расцвеченную мишурой, но и все, что могло появиться в отношениях между этими людьми. Стало понятно, что ничего не получится у С. ни с полькой, ни с датчанкой, ни тем более с местной веселушкой. Все они были несвободны: от желания быть счастливыми сейчас и немедленно, но без всяких усилий. И С. им в этом был не нужен. И они все — не нужны ему.

Сколько было потом встреч Нового года — до тех пор, пока душа не перестала обновляться накануне этого праздника... А как перестала — так кончилось течение времени, жизнь как бы остановилась. Но до этого было еще далеко — сейчас же хотелось и надо было просто жить. А для того чтобы жить, в ту пору еще совсем не нужно было собирать себя по частям: глубоко внутри молодого тела сидел стержень, который пружинил при каждом столкновении с внешним миром и подталкивал душу все вперед и вперед.

...С. любил бесцельные шатания по Москве — особенно зимой, когда холодный воздух пробирается в грудь и ежесекундно дурманит и одновременно отрезвляет от безудержных мечтаний, когда легко идти по асфальтовой колее, так легко, что, кажется, сейчас взлетишь. Были только он и мир, и С. слышал, что в душе его звучит какая-то музыка — наверное, самой жизни, к которой надо только прислушаться, а уж ее мощный поток, казалось, никогда не прервется. И неважно, что этот летящий по-над асфальтом человек был нищ, нелеп в своей опрокинутости в самого себя, вызывающе доверчив и наивен: в нем была сила жизни. И сама эта сила жизни преображала черты лица, глаза и весь стан бегущего по асфальтовым волнам, вот только он сам не знал еще тогда, каким богатством владеет — всем миром.

Сейчас он действительно летел — и летел над всем миром, над Землей. Но не было и сотой доли бывшего триумфа в нем: казалось, владей-владей всем лежащим внизу. Только дерзкий дух мог вот так витать над Землей, но радости в том не было... И он неотступно, как говорили там,

вперив взор, все пытался найти свой след: ведь он там был... Был?.. И здесь, поглядев в сторону, он заметил знакомую фигуру...

С. все шел и шел, не замечая, что на него поглядывают многие встречные. Никто его не ждал и ничто его не ожидало; вроде бы можно было и не спешить. Но он спешил в такт с музыкой, которая звучала в душе.

Людей, что встречались ему, он действительно не видел, потому что был поглощен собой, хотел понять нечто очень важное в себе. И, кроме того, жители этого некогда великого города были ему абсолютно неизвестны: он терся об их бока в переполненных троллейбусах и автобусах, задышался от их дыхания зажатый в очередях, иногда скользил взглядом по их измученным лицам в метро, но их не знал, как знал, чувствовал, например, жителей своего провинциального степного городка. И дело не в том, что в маленьком городе многих знаешь в лицо: С., сам живя общей с ними жизнью, мог легко представить, какие радости и печали нагрянули на головы земляков. Но жизнь москвичей была абсолютно неизвестна ему: ни один московский дом не распахнул свои двери перед ним — люди жили замкнуто, своей, не у всех легкой жизнью, и им дела не было до какого-то нищего мальчишки; ни один человек (если не считать всяких темных личностей с самыми причудливыми желаниями) не остановился, чтобы заговорить с ним, — в этом городе и так все изнемогают от избытка разговоров. Иногда С. заглядывал в освещенные окна домов, пытаясь понять, чем же живут эти люди; внешне они жили теми же заботами, что и другие: хлопотали около плиты, слонялись полуголые в майках или лифчиках по квартире, сидели у телевизоров. Но думалось, что это еще не все: у тех, кто живет в великом городе, и жизнь должна быть особенная, такая же значительная и загадочная.

С. мог, казалось бы, узнать неизвестных ему людей этого города в университете. Но на курсе с первых же дней учебы обозначилось разделение на «москвичей» и «немосквичей» — «общежитских»: между ними не было никакого соприкосновения, считалось даже зазорным среди «своих» пытаться общаться с «чужими». Вскоре и С. как бы перестал замечать москвичей: к тому же из них в основном состояло студенческое начальство, которое он вообще презирал. Скажи ему, что кто-нибудь, ну хотя бы один из москвичей несчастен, что у них, как и у всех людей, болеют, умирают близкие, что они — тоже люди, С. не поверил бы... Все москвичи после занятий ехали домой, где у них были свои, собственные, как некогда у С., комнаты; их ждал если не приготовленный, как когда-то у С., бабкой обед, то какой-нибудь шмак еды в холодильнике, свой письменный стол, туалет, где можно ступить ногой без опасения попасть в говно... Что еще надо для счастья?!

По своему эгоизму не хотел С. думать о том, что счастье — материя неуловимая и быстро исчезающая. И что, если его нет, то нет и ничто — никакой достаток, никакой уют — его не принесет и не заменит. С. тогда и в голову не могло прийти, что будь он умен и по-христиански добр, то должен был бы отбросить свою оскорбленную гордыню, подойти если не к любому, то к каждому второму москвичу, провести рукой по щеке и сказать: «Брат мой, ты очень несчастлив. Сестра, чем тебе помочь?». Но ни братьям ни сестрам не нужно было сострадание провинциала.

И все летел и летел С. по улицам города, которого он и не знал, летел и летел среди людей, тоже незнакомых ему. Он и город существовали в разных измерениях. Вообще-то и города как такового, а тем более великого — не было. Было несколько невидимых городов — невидимый для простого смертного город властителей жизни, всех этих брежневых, щелоковых и андроповых; столь же невидимый город мафиози; город мелких жуликов-торгашей, много других городов и, наконец, город всех тех трудяг, у которых одна общая радость — с пропиской в паспорте на законных основаниях топтать московскую землю. Все эти города не впускали за свои незримые высокие стены никого из пришлых... Но был еще один город, демократичный и с распахнутыми воротами для всех, — город московского дна, точнее того, что раньше называлось богемой. Здесь были в основном все те неприкаянные, кому не жилось спокойно на своей родной земле, и

они устремились в Москву в поисках иной — чистой, одухотворенной и возвышенной — жизни, вот только пробиться и прибиться к этой вожделенной жизни они не могли и скитались теперь с липовыми временными прописками или вовсе без них по холодным и грязным московским углам; здесь были провинциальные красотки и красавцы, которые не могли удовлетвориться прозябанием в захолустье и которые во имя высокой Любви двинули в столицу. Одни из них быстро поистаскивались и приедались московской веселой публике, а Любовь так и не встречали, другие служители Венеры пропадали в водовороте столичной сексуальной революции; здесь были и москвичи — по вечерам они сбрасывали свои маски, и полчища переодетых Дорианов Греев отправлялись в город дна; здесь были гомосексуалисты, съезжающиеся со всего грешного Союза к сквернику около Большого театра, — они тоже искали счастья и любви, тем более что тогда еще никто не слышал о СПИДе и распорядился своей душой и телом, как хотел; здесь были лесбиянки — узаконенные в этой стране и потому ведущие не такой скрытый от посторонних образ жизни, как «голубые»; здесь были хиппи — гонимые тогда всюду и распознаваемые «мурорами» сразу по длине своих волос и по экстравагантной одежде; здесь были просто бездельники, которые от нечего делать, уже давно растратив любовный пыл, толклись то там, то в другом людном месте; здесь были сутенеры и бескорыстные, скорее по призванию, сводники и сводницы, которые без помощи ЭВМ, а только благодаря своему безошибочному определению самых необычных склонностей клиентов помогали жаждущим слиться в оргазме; здесь были просто импотенты, которые зазывали к себе бездомных парочек и ограничивались тем, что подглядывали; здесь были фиктивные жены и фиктивные мужья, которые все же хотели устроить свою жизнь получше, — вот только это удавалось с трудом; здесь были муровские шпики и осведомители с Лубянки — так, на всякий случай; здесь были беглые из тюрем и укрывающиеся от следствия — не найти другого места, где так легко спрятаться от всесоюзного розыска, как в Москве; здесь были любители каких угодно компаний и выпивки, но не с купеческим размахом, а скромно, скорее ради идеи; здесь были многие-многие другие — всех не перечислишь.

Где же располагался этот город? Нет, не у гостиниц с иностранцами — там властвовал уже иной мир, не в роскошных ресторанах, где царили фарца и торгаши, но и не на грязных хазах в новостройках... Этот город находился, как и полагается, в центре; его очертания проступали, правда, лишь с наступлением тьмы: там, где днем шаркали ноги тысяч людей, рядом с замершими большими магазинами, на улице Горького, проспекте Маркса и притулившихся к ним улочках расцветал воздушный, почти невидимый город любви. Сюда не раз, как и многие студентки московских институтов, хаживал и С.

Он любил бродить по этому городу любви... Только-только сумерки отступали перед натиском вечера — и С. летел по его улицам. Часто у него не было особой корысти — переспать там с кем-либо или еще что-нибудь в этом роде: хотелось просто свободно дышать, скользить мимо замерших домов, таких же легких людей, а главное — быть свободным, каким так трудно оставаться в обычной, дневной жизни. Нет, он, конечно, понимал, сколько грязи скрывается за флером этой свободной жизни, но сам этот город был — в своих помыслах и желаниях — честнее и откровеннее, чем большой.

...Уже из общежития в такой вечер выходил с особым настроением: чувствовал себя молодым диким зверем, готовым к ночной вылазке. Внутри пела музыка, к которой надо только прислушаться: она и подсказывает ритм бега, а когда надо предупреждает об опасности. Да... Без осторожности в этих дебрях не обойтись, но главное — инстинкт, нюх; нет его — считай, пропал. Этот инстинкт жизни, выработанный в провинции, спасал мальчишку.

Вот и вынырнул из метро и перед ним: нет, совсем не тот город, что изображен на карте; вот здесь, у этого большого серого дома, начинается его граница, вот опознавательные знаки, пограничники. Ловкими, но плавными движениями на подушечках сильных молодых лап — вперед и вперед.

Есть в Москве короткий миг, когда она действительно хороша, — это в конце мая — начале июня, когда воздух еще не прокален жарой, не заплесневел от бесконечных дождей, когда на деревьях свежая, прозрачно-зеленоватая листва, цветут вразнобой яблони, сирень, когда жители этого города легко дышат в предвкушении тепла, лета, отдыха, когда начавшееся лето кажется долгим-долгим и многообещающим, когда еще никаких сигналов и даже сигнальчиков, что все эти ожидания роздыха и летнего покоя — иллюзорны и ни на чем не основаны; когда по крайней мере начисто забывается (как будто ее и не было) долгая московская зима, когда город обезображивается завалами грязного снега, наледями, когда столица становится похожа на беспомощную, опустившуюся и разбитую параличом старуху, делающую под себя. В мае-июне к этой грязной старухе вдруг возвращаются свежесть и молодость... При желании — в этой громадине можно найти даже гармонию. И С. находил ее, эту гармонию: освободившийся от зимних испражнений город лежал чистый и умытый, в нем проявились правильные черты лица — прямые, а не съеденные придорожными снежными насыпями тротуары и бордюры; немногочисленные деревья о чем-то шептались с серыми, неуютными снаружи домами, нависающими свинцовыми тучами над улицами и площадями. И, казалось, есть в этой жизни светлая радость, есть лад.

Вот только утром, когда в лучах солнца легкий ночной город исчезал, исчезала и былая радость: хотелось поскорее забыть произошедшее. Нет, не было в этом городе никакого лада — прочь из него, прочь... Чтобы однажды снова — летящим и легким — прийти в него.

Все летело и летело бесплотное тело над Землей... То, что было там, закончилось, то, что ожидало здесь, оставалось неизвестным. Так и быть одному — среди всей этой безбрежности?.. Нет, теперь уже не так стало щемить в груди, когда вспоминалось прошлое. О чем, собственно, жалеть?! Жизнь? А видел ли, знал он ее? Приносила ли она ему радость? Что он знал о ней? Полунищету или самую настоящую нищету, голод, бесправность и унижение, которые исходили из всего хода земной жизни... Если и был, то кусочек — совсем небольшой — жизни, когда он был счастлив — в детстве, но как стремился он побыстрее уйти от него... Была порой свобода — а без нее он не мог существовать, к своему несчастью, — и потом, но уже очень многому вопреки. Да и этой свободе — с окончанием университета — безнадежно наступал конец... Как же так получилось, что он оказался таким совсем никчемным для той жизни, не приспособленным к ней?.. Хорошо, действительно хорошо, ему было только до семи лет, когда он жил только дома и домом, когда не было никакого соприкосновения с внешним миром, нет, скорее не соприкосновения (дело не в этом), а просто не было необходимости подчиняться ему, переставать быть самим собой. Он так и не понял там, на Земле, то ли он ненормальный и никак не может понять, что человек не может жить свободным, то ли этот мир, где он был, ненормальный: он должен обязательно подавить человека...

С. сам даже не предполагал, до какой степени пугала окружающих свобода, присущая ему. Уже при первом взгляде на С. настораживала какая-то особая, странно проявляемая свобода, сидящая внутри этого человека. Он мог и не говорить «нет» на тот или иной приказ, мог не выражать несогласия с каким-либо предложением; мог даже сказать «да» и согласиться, но становилось понятно, что С. ничего из приказанного не сделает... И не потому, что смел или решителен, а потому, что не может сделать то, чего не хочет. Нет, наступал, конечно, критический момент, когда не соглашаться становилось невозможным, — это грозило уничтожением... Тогда сила свободы странным образом пересекалась с другой силой, столь же крепко сидевшей в этом человеке, — силой выживания, и две эти силы — помимо воли С., вне его участия — шли на компромисс: приходилось согнуть шею и смириться с требованиями. Но то был лишь обходной маневр, чтобы в удобный момент взорвать изнутри ту или иную цитадель повиновения...

С. позволял себе не прочитать ни строчки из обязательного «Капитала», хотя без этого сдать экзамены по политэкономии было невозможно, — он чувствовал, что покалеченная до конца своих дней — несоответствием своей науки жизни — умная женщина-преподаватель испытывает к нему странную симпатию и разрешит обмануть себя; таким же образом С. сохранил свою девственность в отношении Энгельса и Ленина — он еще пытался из уважения к всеобщей легенде о Ленине как великом философе прочесть «Материализм и эмпириокритицизм», но скоро убедился, что автор — великий путаник, который должен вызывать, конечно, сострадание, но не что-то большее... С. не ходил на обязательные уроки физкультуры, но ему каким-то образом ставили зачеты; более того, месяцами пропускал военную подготовку, но и здесь его Бог миловал; после первого курса не поехал в обязательный стройотряд (не мог быть в скопище людей) и провалялся все лето на пляже у моря, летом С. мог жить только вот такой вольной жизнью; позже С. избавлял себя от сбора картошки — страшил не труд, а опять же жизнь скопом, где подавлялось его «я»; не ходил пересдавать «хвосты», когда казалось, что его унизили, а однажды — только потому, что обещал встретить на вокзале одну знакомую; не был за все годы в университете ни на одном собрании и ни на одном субботнике...

Наконец, завершением этого необходимого для С. обособления стал переезд в высотку: здесь комната, хотя и крошечная, предназначалась для двоих. На первых порах представлялось, правда, что ничего в его жизни не изменится; угораздило же — от безволия и нежелания объясняться со своими сожителями по прежнему общежитию — записаться вчетвером в одну комнату (на каждом этаже располагалось по одной большой комнате, в которую селили по четыре-пять человек). Выяснилось, однако, что С. неспроста вдруг потерял волю, когда решался вопрос о высотке: очень скоро два его сожителя ушли в дворники (им полагалось там по комнате), а третий — ушел к любовнице... И настал день, когда С. — после нескольких лет стадной жизни — остался в «своей» комнате один. Один — это значит он, какой есть, со своим скрытым «я», со всем миром. Комната в его сознании превращалась в огромные владения: он мог посидеть то на одной кровати, то на другой, мог более или менее по-человечески обустроиться...

Комната на одного означала право человека на свою, свободную жизнь. И С. в нее постепенно входил, в самого себя, в новый покой, как кит уходит в моря и океаны, поражая свидетелей этого заплыва своей свободой и величавостью, на самом деле не желая никого поражать ни тем, ни другим, а просто существуя именно так. Комната на одного позволила все больше и больше отпадать от общей студенческой жизни; нет, не презрение, не желание поставить себя над другими сокурсниками двигало С.: уйти в себя, возродить в себе снова человека важно было и для того, чтобы почувствовать необходимость быть рядом с другими людьми, полюбить их.

Сколько человеческого — как бы незаметно — исчезло в нем всего лишь за два года! Сострадание, жалость, желание помочь во всяких неурядицах — какие смешные и забытые чувства, когда сатанеешь от одного присутствия кого-либо рядом. Думалось ли два года назад, какое раздражение и ненависть станет вызывать африканец: тем, что никогда не убирал в комнате, допоздна не выключал свет, таскал девок, не разбирая при этом, где чья кровать, наконец, сморкался в полотенце или еще что хуже...

Черный поэт, вероятно, не виноват был ни в чем: просто он так и не смог привыкнуть к скотской жизни советских студентов. Ему так трудно давалось все это, что он становился раздражительнее и раздражительнее, а однажды взбесился совсем... Вдруг вскочил с кровати, заорал и давай кидать книгами, лежавшими стопкой на подоконнике, в белых. Каждый раз, когда книга попадала в голову онемевших от этой выходки обитателей комнаты, поэт радостно визжал и прыгал. Тогда-то С. — по какому-то наитию прирожденного санитаря из дурдома — схватил вафельное полотенце и скрутил африканца, повалив на кровать. Тот кусался, а потом стал требовать отпустить «поссать». Когда же С. выпустил его, африканец схватил свое обморканное полотенце и со словами «Иду вешаться!» понесся в туалет, что находился в конце коридора. С., может быть, и не подумал в ту секунду, что, если черный повесится или даже пожалуется на советских,

те сразу за плохое интернациональное воспитание вылетят из университета, но тут же кинулся вдогонку за африканцем... То ли африканец не был таким дураком и не спешил повеситься, то ли С. вовремя выломал дверь кабинки в уборной, но уже скоро С. притащил отбрыкивающегося и вопящего, как ребенок, черного в комнату, с помощью соседей снова привязал к кровати. Тот продолжал орать о своей ненависти к советским ублюдкам, вырывался и закатывал глаза. Стало понятно, что он или был до приезда в Москву сумасшедший, или только что сошел с ума и что сейчас у него приступ безумия. Но вскоре стало понятно, что никто ребятам помочь разобратся с негром не собирается, и тогда С. — на свой страх и риск — заставил африканца выпить сразу три таблетки подвернувшегося под руку успокоительного — седуксена. Сумасшедший заснул, а С. до утра прислушивался: дышит африканец или уже отдал концы от лекарства. Но с того вечера ни С., ни все другие обитатели комнаты с черным не разговаривали, а тот не замечал их: как всем сумасшедшим, ему неприятны были люди, раскрывшие его тайну...

С. с ужасом замечал, что ему не только не жалко несчастного, но и гораздо спокойнее делать вид, что того не существует вовсе. И только по прошествии нескольких лет, когда уже забылся ужас насильственного сосуществования, они смогли, избавившись от чувства неловкости, простить друг друга и заговорить. Хотя по-настоящему ни один, ни другой и не испытывали особой тяги к общению — впрочем, С. не испытывал такой тяги ни к кому из своих прежних соседей, будто и не жили рядом годы... Может быть, из стремления выжить в комнатухе, набитой людьми, надо было перестать замечать в себе и в окружающих людское...

С. часто думал: а есть ли желание общаться у тех, кто действительно испытал страдания, кто был пленником ГУЛАГа, — хотя ли они видят друг друга? А может, им присуща большая, настоящая человечность и они оставались людьми и в тех ситуациях, которые не снислись нынешним? В душе С. сомневался, но сомнения эти могли свидетельствовать о его холодности...

Тем не менее спасительное — на первых порах — одиночество пришло вовремя. Это только считается, что крепкое здоровье и сила — атрибуты молодости: как раз еще не сложившийся до конца организм наиболее уязвим. Чужой большой город, каторга общения, загнанность в пространство, равное размеру койки, голод, студенческая столовка-отравилка, неуемное курево и выпивка, непреходящее чувственное возбуждение, размышления о смысле и тщете жизни — все это подорвало защитную систему молодого тела и привело к сбою. Получив теперь возможность не быть двадцать четыре часа в сутки на людях, С. расслабился и сломался: головные боли и слабость несколько месяцев валили его с ног, как только он оказывался после занятий в своей комнате.

Только к концу дня, как с того света, возвращался С. — в холодном поту, с гадким ощущением во рту и разбитый — к жизни... Несколько минут в душе — и никто не подумал бы, что этот здоровый на вид, красивый молодой парень только что отдавал концы.

...И вот тут, когда С. становилось хорошо, возникал извечный вопрос о смысле жизни. Так уж устроен человек; то он молит: «Боже, дай мне выжить, и я буду рад малой толике жизни», то само обладание жизнью кажется чем-то само собой разумеющимся, и хочется чего-то большего, причем неизвестно чего, но со смыслом. Эта рефлексия, этот сомнение в возможности просто свободного существования губил саму стихию свободы, что была в С. Когда-то мечтал о славе актера: хотелось, чтобы его любили многие люди, а он — любил бы их и творил бы для них и для себя; но не осмелился даже попытаться стать актером — испугался неудачи и рано понял, что актерская зависимость от всего и всех не по нему... Писателем тоже не стал: до прихода самой почетной в России писательской славы надо, чтобы было о чем писать, а главное — чтобы писалось; С. же не мог смириться с тем, что приходилось выдавливать из себя строки; на самом деле ему нечего было поведать миру, а до чего-либо другого — халтуры там или патристического бреда — он не опускался. Решил было заняться сублимацией творчества — критикой, журналистикой, но понял, что и здесь ничего не добьется: не сможет вынести участи быть колесиком

или винтиком. Можно обрести смысл жизни в спортивном сексе: чем больше партнерш, тем азартнее, но то ли темперамент, то ли характер препятствовали и такому смыслу жизни. Наконец, можно не сидеть в нищете, а зарабатывать деньги — пойти в грузчики, дворники и т. д., но С. знал, что и этого не делает — ради какой-то чистоты идеи, что ли, или еще по какой там причине. Собственно, и идеи как таковой не было — только ощущение, что не стоит уж так заботиться о куске хлеба, надо уйти в себя и как бы просто сидеть и чего-то ждать, что-то понять в себе. Да и не сам грубый физический труд, а спуск с одного круга жизни на другой был немислим: С. чувствовал, что в нем — с еще неокрепшей душой, незатвердевшим — что-то может сломаться при погружении в мир всех этих дворников, истопников, работников бойлерной... Это потом придет поколение крепких ребят, которые будут верить в себя, в свое призвание и свое «я». Но для этого надо было родиться в какой-то цивилизованной среде. С. же так долго выбирался из совсем другой жизни к этой, что, окажись еще раз во внешне публом и как бы бездуховном мире, сломался бы от непосильной тяжести все начать сначала.

Потому и сидел С. в своей комнате, не имея часто не только лишнего, но и единственного рубля, но для него крайне нужна была оторванность — хотя бы на время — от диктата куска хлеба, от власти бытия. Он голодал, но не замечал этого: важнее ощущение своего духа и совсем другого образа — легкого человека. И о себе как о нищем никогда не думал: себя видел богатеем, которому подвластно все. Возможно, это было потому, что от перевоплощения плоти в дух он стал таким легким, что мог созидать себя из ничего. То было короткое и единственно возможное состояние, когда, отрешившись как бы от земного притяжения, он мог жить в соответствии с пусть и убогим, но своим духом.

И С. мог и был таким, каким себя представлял, — парящим над этой Землей, со всеми ее потрохами. Нет, он не считал себя лучше либо чище всех обитателей Земли, но, словно предчувствуя, что совсем недолго ему осталось вот так свободно плыть и плыть в потоке жизни, что наступит время, когда он ужаснется людскому горю и страданию, он отрешился от всего.

Но только много позже он действительно парил над Землей — со всеми ее потрохами: он видел, сам теперь утратив телесность, телесную сущность Земли; не только океаны, моря, реки, горы, города, пустыни, леса, то есть внешнюю оболочку, но и скрытое прежде от него нутро планеты: подземные океаны, моря и реки, отравленные смрадом и людскими нечистотами; заснувшие на время и бодрствующие, готовые взбеситься вулканы; грозно шевелящиеся очаги будущего землетрясения... Ему хотелось крикнуть: «Эй! Люди!» Но и крикнуть он не мог, — как выяснилось теперь, — лишившись земной сущности, и люди его, утратившего земную сущность, не могли слышать... Здесь, в этом космическом далеке, надо было привыкать к своей безучастности к земным делам, в их — людской — жизни. Надо отрешенно смотреть на предстоящую гибель детей, стариков, женщин и мужчин: люди теперь отдалены от него — навсегда. Только те, кто соприкасался с ним в его жизни там, входят в его орбиту. И они, только они, снова и снова с ним. Только с ними он теперь может общаться. А плакал и причитал он по жизни там людей вообще: поздно, ох как поздно захотел к ним, людям... тем, кого не знал, не видел, не слышал... и не любил. Нет, любил, любил!

Если бы эта потребность жить людской — общей — жизнью появилась раньше!.. Но тогда там, где он изнывал от необходимости быть среди живых, людей-то он любил меньше всего: казалось, что впереди долгая-долгая жизнь среди них и только среди них; успеется еще любить их, дорожить ими — в конце концов он еще так мало что успел сделать. Как в тумане, он слышал разговоры (газеты не читал, радио не слушал, телевизор не смотрел — все это было ненужным) о землетрясениях, извержениях

вулканов, железнодорожных катастрофах — всевозможных малых и больших смертных смерчах, в которых гибли люди... Все это происходило далеко-далеко от его малой орбиты, в которой крутилось его «я», заполнив собой всю ее без остатка. Его «я» со своими, считается, мелкими, ничтожными заботами о душе и о теле, трудно сказать, о чем все-таки больше думал он — о теле или душе, но в конце концов это, наверное, одно и то же. Душа просила покоя, молила о сохранении своей чистоты, тело же хотело соединиться с другим, разлепленным с ним некогда телом, чувствовать его каждым своим кусочком, долго-долго, словно с какой-то мягкой горы катиться, обнявшись, вниз, а потом еще долгие безуспешно пытаться слиться с этим другим телом, чтобы стать чем-то единым — с одним, общим кровообращением, одним — большим — сердцем, общими легкими, вдыхающими и выдыхающими один и тот же воздух; слиться так, чтобы даже слой пота, что единственно разделяет два тела, перестал быть преградой... Вот по этой любви томился он тогда. Если разобраться, то, наверное, все в его жизни в те дни так или иначе было связано с главным желанием. Нет, было, конечно, в С. и другое... Наверное, было... Но порой казалось, к собственному же ужасу казалось, что ничего другого и не было... Оттого же, что не удавалось никак слиться с этим телом, прапра-телом, самым желанным телом, с которым когда-то давно, очень давно расщепило, растащило, развело, мир чаще всего казался пустым и холодным, ничего не обещающим. Вот уж чего-чего, а покоя тело не хотело. Его хотела душа. А впрочем, кто знает, как делятся тело и душа?! Вдруг это все же одно и то же?.. Скорее всего одно и то же. Впрочем, тогда С. о душе почти что ничего и не знал. Эта наука о душе открылась ему позже, когда уже ничем иным, как душой, он — в отсутствие тела — и не мог быть... Но до этого времени было безмерно-безмерно далеко. Пока же, не зная, как разделяются душа и тело, С. просто жил, мучаясь не только своей порочностью, но и исключительным вниманием, почти любованием своей порочностью, заранее плача по своей чистоте, чтобы при первом подвернувшемся случае рассчитывать в который раз с этой пресловутой чистотой; С. жил, обреченный, как и все предшествовавшие ему колена («Х» родил «У», «У» родил «Z» — и так до бесконечности...), проиграть, а может, кто знает, все же выиграть в вечной попытке соединить небо и землю... Вот он идет, рожденный на счастье, свободный, почти свободный, гордый, крайне гордый. Думает он о великом — только о великом: в чем-чем, а в том, что он рожден на великое, не может быть сомнения, никакого сомнения. Рядом копошатся злобные, раздавленные, затравленные жизнью создания, что по привычке называются — люди... С. всегда немножечко (в этом никогда нельзя признаваться) подташнивает в толпе, например, в вагоне метро или в автобусе. И так, ты догадываешься, что такое человек, а здесь на тебя дышат зловонным воздухом изо рта, прижимаются к твоему носу мокрой от пота подмышкой, ты подозреваешь и другие, еще более отвратительные запахи. Бр-бр-бр!

Человек — *der Mensch* — это холодная белизна мрамора античных статуй либо, в худшем случае, золотистая, покрытая золотистыми же волосиками кожа отмытого, политого с ног до головы ароматами, лосьонами, дезодорантами живого человека. Человек — это, конечно, и многое-многое другое — не будем перечислять. Если все же нужно, то лишь коротко... Человек (*der Mensch*) — это... Нет, не будем все же перечислять. Это знал или знает тот, кто находится еще в розовом возрасте, каждый... Другое дело, что это знание ни на черта никому не нужно. Потому что человек (*der Mensch*) — это совсем не то... Человек (*der Mensch*) — это не самое высокое и низкое, ни Бог и ни Дьявол, ни белое и ни черное... Это всего понемногу вместе... Это прижатие пухленькой-препудленькой бело-розовенькой ручки к налитой молоком груди матери, и это прижатие — такое естественное в своем движении и такое бескорыстное (зачем иметь корысть к тому, что есть естество, что дано от Бога и рождения?!). Человек (*der Mensch*) — это судорожное, но неуловимо и неостановимо ритмичное движение руки запыхавшегося мужчины, подглядывающего в отскребанный от белой краски небольшой прямоугольник оконного стекла душевой на раскрасневшуюся от горячей воды женскую грудь. Впрочем, не обязательно женскую — грудь вполне может быть и мужской,

здесь бесчисленное количество вариантов. Уточнение насчет мужской груди, точнее возможных вариантов, понадобилось лишь для того, чтобы убрать подозрения, будто в первом случае — движение беленькой руки младенчика к груди — высокое, а ритмичное движение мужской руки, связанное опять же с грудью, — низкое. Нет ни низкого, ни высокого... Поэтому и не будем продолжать попытку дать определение человека (der Mensch).

К тому же сейчас речь идет о той поре, когда С. полагал, что человек — это что-то очень и очень высокое... Но все дело в том, что шел человек (С.), шел себе и думал о высоком, а тут бац! — и словно в телефонном автомате какой-то щелчок, а затем зуммер: длинный гудок — длинный гудок... Хочется — сильно хочется — чего-то (С. делает вид, что не понимает до конца, а на самом деле очень хорошо понимает, чего ему хочется)... Ни о чем — особенно великом — просто не думается. Надо будет для достижения этого проползти в грязи по колено и еще прихлебывать из лужи — поползет (!) и будет прихлебывать (!). А может, С. всего лишь наговаривает на себя? Может быть... Все может быть.

Вот только С. боится этого состояния, когда думаешь только об этом и когда все величие — и собственное и заимствованное у всего человечества (die Menschheit) — рушится вмиг. А может быть, именно страх перед этим, присущий ему, в соединении с желанием этого и предопределил особую падшесть С.?! Надо испытывать либо только первое чувство, либо второе... Впрочем, это опять из области надо. «Надо», «надо» — эта одна из самых гигантских областей человеческого сознания заманила в свои беспредельные края сотни поколений людей. Где же ты расположена, эта неведомая область «НАДО»? Где? Что же это за словечко такое — «надо»?! Где кончается твоя власть? И кто это тот, кто определил, что надо, а что не надо... Бессмысленно ломать голову над этим. Лучше давно понять, что следует (обойдемся ли без злополучного «надо»?) избегать этот край «надо» — мимо-мимо... Прочь от этого места, куда стекают и откуда не вытекают реки, куда влетает живой ветер, но откуда даже ему нет пути назад, куда улетают людские грезы и где они повисают на отточенных железных крюках, специально развешанных по искореженным от зноя, черным в своей голости, без листьев, будто окаменевшим деревьям. Все живое! Мимо-мимо... Только мимо.

Впрочем, насчет этой области «НАДО» он и сейчас, когда летел и летел вокруг знакомой планеты, ничего толком не знал... Не только ощущение свободы испытывал он, но и другое — ощущение долженствования, подчиненности какой-то силе, что управляет всем этим холодным космосом. Неужели это то самое «надо», что было и на Земле? Только все же не то... Это долженствование не давило, не принижало, а было как бы естественным продолжением его воли, его хотения... Долженствование и хотение только здесь, после конца земного существования, слились. И от этого и произрастало в душе (ах, старое-старое слово: «В душе...»). Он ведь теперь весь душа, только душа... чувство свободы. Какая-то высшая воля уместила его бестелесную оболочку именно в этой плоскости, заставляет совершать виток за витком вокруг Земли... Он сам не знает, когда это закончится, а только чувствует, что не сейчас, потому что ему еще многое, очень многое надо вспомнить о жизни там, где он был, потому что невидимая, а только ощущаемая аура воспоминаний создала внутри большого космоса как бы свой — малый — космос. Этот малый космос — концентрат его воли; большой космос — сгусток воли Иной, вселенской. Но в определенный миг эти воли перекрещиваются, не сливаясь до конца (о, насколько безмерно мала его воля по сравнению с волей иной!), и снова и снова начинается его причудливое существование, когда там его уже физически нет, а его дух все еще плутает и плутает там — и оттого тяжело и радостно... Наверное, наступит миг, когда его связь с былой, да, именно былой жизнью там оборвется. Но пока — пока он снова летит навстречу дымятосму густому материи и ему это радостно и больно, больно и радостно... Что из прошлого ждет теперь его?.. Что?.. А-а-а — Новый год! Еще один Новый год!!!

Видимая сторона Земли будто покрыта гигантской белой шкурой — убитого белого медведя. «Господи! Отчего она белая?!» — удивился летящий дух. А-а-а... то зима. На этой части планеты — зима. Может быть, близится и Новый год, кто знает. Он совсем не представляет, сколько времени прошло со времени его... его... Никак не хотелось произнести хотя бы про себя это проклятое слово... Произнести — означало окончательно смириться с тем, что навсегда отошел от жизни там... Там он всегда все — чувства, предощущения, страхи и радости — определял словами, и здесь эта привычка осталась неистребимой. Кажется, не произнеси слово — и ничего не было, ничего не будет... Но надо произнести: он не знает, сколько времени прошло после его... его смерти. Когда-нибудь он вспомнит, как это произошло — его смерть. Но не сейчас. Сейчас только предчувствие, что, когда он распутает свой жизненный клубок до конца (до конца ли? до какого конца? есть ли он?!), тут-то и произойдет страшное и великое. Но не из опасения перед этим не хочется сейчас думать о смерти. До того еще далеко — хотелось вспоминать и вспоминать о своей жизни там. Так, как раньше писали в романах и плохих стихах, по капле пьют драгоценное вино. Его вином стала прошлая, нет, скорее прошедшая жизнь, собственная жизнь. Вином? А может быть, виной? Как-то все спуталось: вином-виной, виной-вином. Но то неважно.

Там действительно, может быть, наступает столь удачно выдуманый людьми Новый год. Казалось чем-то беспредельно трогательным, а потому и поистине человеческим вот так взять и упорядочить Вечное Время в отрезки — час, день, месяц, год... Радоваться и встречать новый год — Новый год...

Он попытался изобразить что-то типа танца... Бал — все пляшут... Стало смешно над самим собой. Вполне возможно, что там сейчас и нет никакого Нового года, но он послал туда, на Землю, свое пожелание счастья... Как трогательно и это людское заклинание: счастья! счастья! Всем счастья!!! Это мольба о доброте богов — всем хочется счастья. И как они все там мудры, что не хотят верить, что боги не знают и не вмешают этим мольбам. Хотят забыть: там о том лучше не знать, лучше забыть.

Ему захотелось представить, что он на самом деле (?) встречает праздник — Новый год, наливает вина-вину и пьет его-ее. Он пьянеет — натурально пьянеет. И его куда-то несет и несет. Какое веселье! Как бы не опоздать к бою новогодних часов — не опоздать. Вина-вину. Кружится голова (смешно: ну, какая голова?! как и что там может кружиться?). Но кружится голова... Что там, впереди, видится? Что? В сгустке тоже ставшей праздничной, а потому красной материи отпечаталось видение...

Много-много лет назад С. действительно, как и довольно значительная часть человечества, верящая в чудо, готовился встречать Новый год.

Желание во что бы то ни стало необычайно, сверхъестественно провести новогоднюю ночь было связано у С. не только с языческой привычкой еще древнего человека выпрашивать у богов в танце вокруг костра счастья и удачи, но и по принципу от противного с тем, как аскетично, буднично встречался Новый год в детстве... Ощущение праздника заканчивалось на школьном вечере, который обычно проходил за несколько дней до самого Нового года... А потом — потом начиналось обычное каникулярное шатание по подъездам и подвалам, радостное своей свободой, но более ничем иным... Дóма в новогоднюю ночь не устраивали никаких особых аттракционов, вероятно, после всех растиражированных до миллионов испытаний, выпавших и на долю немцев-скитальцев, полагая, что покой и свобода — это уже счастье, уже праздник и что не стоит особым буйством чувств, всплеском веселья искушать судьбу... Люди того времени — начала 1960-х годов, — особенно из обездоленных, еще не вполне научились жить беззаботно и в веселье...

И вот сейчас С., выдраивший в угаре предновогодних приготовлений пол и приступивший теперь к украшению убогой комнаты серебристой мишурой и гирляндами, вспомнил один Новый год. Вспомнил и замер в своих движениях, уйдя туда, в прошлое...

Итак, до прихода Нового года оставалось не так много времени. Но не так много оставалось и дел... Он передвинул жалкую мебелишку так,

чтобы больше освободилось пространства в комнате — для встречи Нового года нужен воздух, много воздуха. Скромное угощение для ожидаемых гостей приготовил. Накрыл стол... Все это могло походить на настоящую жизнь, как у людей, у которых есть настоящий дом, деньги, свобода, а не нищенское прозябание... Он посмотрел на подвешенный к потолку казенный плафон, свет от которого резал глаза и старательно проявлял убожество комнаты. Нет, надо развесить по стенам, по потолку всякую новогоднюю мишуру. Как раз несколько часов назад, уже после того как достал две бутылки водки и одну шампанского, на последний, застрявший в брючном кармане рубль купил у прыгающей у лотка продавщицы-снегурочки серебряный елочный дождь и золотистый колючий снег. Пришпандорил все это богатство, которое поблекнет и обесценится уже утром. И все равно чего-то не хватает... А-а-а... Снежинка из ваты!.. Он не надеялся, что найдет у себя вату, но все же наткнулся на нее в одном из углов ящика. Теперь надо протянуть через всю комнату белую нитку (есть ли белая? вот везение, есть...), к ней привязать вертикальные ниточки и на них, потирая подушечками пальцев, привесить легкий кусочек ваты — настоящую снежинку. В один из моментов, когда он потянулся-потянулся, прицепляя к нитке очередную снежинку, больно ударился ногой об угол грубо отлитой чугунной отопительной батареи. И от боли, а еще больше от обиды, почти по-детски захлестнувшей его, он застонал и чуть не заплакал. Посмотрел на ушибленное место, видимое из-под задравшейся штанины, и тут сразу понял, почему ему стало так нехорошо... Это ведь новогодняя мета — он ударился о батарею тем самым местом, где и поныне блестит и пугает его своей кажущейся нехорошей мягкостью большой шрам. Господи, когда-то, только очень давно, он уже ощущал эту сватывающую дыхание и даже душу посередине ложбины, где соединяются ребра, дурноту... Но при чем тут Новый год?! Почему новогодняя мета?.. Вспомнил, конечно, вспомнил... То был тоже Новый год, только около пятнадцати лет назад. Это тогда еще делали из ваты снежинки, которые теперь, наверное, не делает никто... Боль от удара об угол грубо отлитой чугунной батареи прошла, но на смену ей пришла иная, та, оттуда, из пятнадцатилетней давности Нового года. Не столь сильно ощущаемое настоящее наложилось на гораздо острее чувствуемую боль прежнего, и две волны легкой дурноты почти стерли грань между прошлым и настоящим. И он не то что вспомнил, а явственно ощутил о д и н Новый год, бывший много-много лет тому назад...

В самом начале декабря он поранил ногу: на тоненькой, казалось, и без того готовой подломиться голени-палочке образовалась чудовищная дыра. К врачу мальчишку не повели — как-то уж привыкли в своей скитальческой жизни обходиться без них. Какими-то печеными луковыми шкурками, мазями Вишневого гноящуюся дыру залечили. И пока тянулась эта волынка, незаметно приблизился Новый год. Про ногу немного подзабылось, а тут еще подоспело новоселье — заканчивалось странное житье в барачном поселке, а с ним — хотя бы на время — не только мальчишеские, но и взрослые печали...

На старое место можно было теперь не возвращаться... Но вернуться пришлось в один из последних дней декабря. Все дело в том, что за подарок, полагающийся на школьной елке, уже был заплачен рубль. Этим обстоятельством все было предreshено; на рубль в подарок помещалось: двести мандаринки (съедаемые счастливым раз в году и не более), яблоко (когда бы это в провинции зимой торговали яблоками?!), шоколадка (!) и масса — ну, просто глаза разбегаются — шоколадных конфет... Представить, что такое могло остаться неполученным и несъеденным — просто невозможно. А главное — заплачен рубль!

Пришлось чапать на новогодний праздник. За день-другой он уже немножко отвык от вечного принижения, притеснения, своего щуплого «я», которые должен был терпеть в прежней школе и на которые был обречен впоследствии, но которые как-то уже совсем нестерпимы были в мрачном поселке...

Подходя к школе, занимавшей часть неровно побеленного барака, со страхом думал о том, как сейчас придется из последних сил делать вид, что никого из учеников и ничего не боится, что он вообще рад этой елке, веселью... Больше всего хотелось взять подарок и убежать домой. (Лишь сей-

час, вспоминая о том дне, подумал, наверняка — скажи он, что не хочет идти на елку, ему разрешили бы не пойти.) Но это сделать было невозможно. Некоторой защитой от всей этой хорошо знакомой грубой школьной жизни было чувство своего избрничества: как-никак о ни все остались здесь, а о н уехал из этого кошмарного места (тогда он не знал, почему так тяготился жизнью в этом месте, и почему словно какая-то злая сила иссушала его слабое тело и нестойкую душу; это много позже понял, что жил на территории бывшего лагеря, подло расположенного на ровной площадке между невысокими холмами, где очень удачно можно расположить смотровые вышки). Перед тем как взойти на деревянное крылечко и открыть скрипучую дверь школы, он собрал все свои слабые силеньки в кулак: будь, что будет... Вот темный коридор, вот оцинкованный бак с вытекающей из крана водой, к которому привязана на цепочке железная кружка, вот желтеющая от своей беспомощности лампочка без абажура. И вдруг в том самом классе, где его, как, впрочем, и всех других детей, столько мучили и унижали, нет ни парт, ни учительского стола, а только огромная, пышно-бедно наряженная елка... Можно забыть о страданиях, о несвободе и дышать этим воздухом из хвои, который перебивал запах пота, пыли и еще чего-то, что непременно бывает зимой в непроветриваемых помещениях, — запахом зверя, исходящим от скопления людей.

Первый раз все эти люди его не пугали: он словно защитился от них невидимой аурой собственной свободы. Без обычного содрогания взялся за руки с другими детьми и поплелся в то и дело сбиваемом с ритма хороводе вокруг елки. А еще через несколько минут даже улыбнулся: тихая, но щемлящая радость соединения со всеми и всем охватила его. Он стал даже дурачиться, что вообще позволял себе только дома или когда оставался один. Ах, эта неземная сила Нового года, которому подвластны даже самые мрачные детские души! Он крутит и крутит, нашептывает что-то ободряющее, заставляет прыгать и петать, петать и прыгать. Мальчика не узнать: куда девались былая пришибленность и волчья тоска в глазах?! Он стал частью этого зеленого дерева, принесенного на заклание в честь Нового года, частью людской пляшущей стихии, этого грешного мира... И-и — в этот момент чудовищная боль: танцующий рядом парень каблуком с металлической подковкой случайно ударил по недавно затянувшейся ране. Из нее что-то полилось — он нагнулся: на чулке — кровь! снова кровь! Маленькому сердцу от боли, обиды, духоты и крови стало плохо: оно забилось-забилось, чтобы, казалось, потом остановиться... Только бы не упасть — не упасть... Нельзя падать. Уже тогда он взвалил на себя эту теперь почти непосильную ношу: нельзя быть слабым, точнее, нельзя показывать, что ты так силен, что можешь быть слабым... Непристойно тем более — как девчонке! — упасть в обморок — от боли и духоты, от обиды на обманувший праздник. Нельзя сразу выйти из хоровода... И он тащился вокруг елки, не видя теперь ни красивых шаров, ни бумажных фонариков, ни светящихся лампочек. Немножко продержаться — и на волю, где воздух, где можно дышать, где свобода и где можно заплакать от боли и обиды...

На крыльце он прислонился к перилам: своего лица не видел, но почти зримо представлял, какое оно бледное, — щеки прилипли к зубам. А лоб при этом горел, словно раскаленный, — хотелось остудить его. Положил голову на перила — лоб провалился в снежную перину, показалось, что снег действительно зашипел от жара; к щекам же вернулся румянец... Что у него в руках? А-а-а — новогодний подарок... Он все же получил его. Тупо посмотрел на его содержимое: ничего не хотелось, хотелось только одного — оказаться сейчас дома, лежать в теплой кровати, отвернувшись к стене, и тихонечко плакать от жалости к себе.

Но до дома надо было добраться...

На поселок набросились дикие порывы ветра, которые несли какой-то неземной, будто космический холод. Они срывали с редких пригорков слои снега и обрушивали его на как-то сразу приземлившиеся, съживившиеся бараки: невозможно представить, что в этих краях бывает лето, нещадно жаркое солнце, пыль... Теперь здесь царил арктический холод, а если и пыль, то снежная. Как назло за те несколько часов, что «шла елка», дорогу занесло снегом, и автобус застрял.

Теперь предстояло добираться до города пешком. На секунду появилось желание вернуться в школу и переждать непогоду там, но реально

представить, как он снова окажется в бараке, должен будет что-то объяснять, не мог... Он стоял еще рядом с поселком, но понимал, что навсегда уже отторжен от него и от его жизни. Нет, конечно, можно было сделать несколько шагов и снова приблизиться к нему, но можно только в воображении. Как душа умершего человека витает, говорят, еще над Землей не в силах так сразу оторваться от нее, так и он словно летел и летел над поселком, еще не имея сил покинуть его, но уже не имея физической возможности вернуться назад. Назад... назад совсем невозможно вернуться... Можно только думать о нем и вспоминать, но только не вернуться туда...

Он стоял, обернувшись влоборота к поселку, и не думал о прошлом и о том, что неподвластно человеку вернуться в него, а как-то зримо, почти картинно сразу и целиком ощутил: вот он пронесется по орбите вокруг своей прежней жизни... Было немного грустно, хотя он и не любил и не мог успеть полюбить за короткое время это место.

Но надо было идти. Идти и идти... Начинало, пока еще чуть заметно, когда только-только синеют белизна снега и прозрачность воздуха, темнеть. Зажглись пока еще лишь в немногих окнах домов огни, красные фонари на заводских трубах, обозначив город... Там теперь его место, там, где светятся огни, он должен быть. Но ему показалось, что он никогда до города не дойдет. Ветер, колючая снежная пыль стремительно наступающая и со всех сторон обступающая темнота забирали последние силы и последние капли воли. Может быть, действительно присесть вот здесь за холмиком и переждать непогоду?.. Только что переждать? Дальше будет еще хуже: тут он все же вспомнил о кладбище, которое теперь уже осталось за спиной и о котором он старался не думать, о покойниках, которые выходят ночью из могил и ловят людей... Нет, надо идти и идти. Но идти становилось все трудней — болела рана, и гудела в жару и ознобе вся нога. Наст не выдерживал тяжести мальчишки — с каждым шагом становилось все труднее и труднее вытаскивать из-под снега проваливающуюся ногу, особенно боляную.

Он посмотрел вперед — и испугался. Ближе впереди ничего нет: ни белого снега, ни белой степи. Все это окончательно съела темнота. Ничего нет сзади: поселок потерялся в крошечной тьме, а может быть, исчез с лица Земли и город, и огни, связанные с ним, исчезли тоже.

Что-то завыло в стороне... Волки?! Он никогда не видел и не слышал волков, а только читал, что в степи шастают голодные волки. Стало еще страшнее. Ему уже мерещились тени стремительно несущихся волков, их горящие глаза... Но то все же просто выл ветер — по крайней мере так он успокаивал себя и шептал неумеючи и смущенно: «Господи! Боженька! Помогите мне дойти до города... Помогите...». И в этот момент всем телом (только плечи и шея торчали) куда-то провалился — куда, понять не мог. То была ложбинка, замаскированная снегом и ставшая его ловушкой. Через секунду он даже смирился со своим пленом: тепло, не пробирает до костей, до самого нутра ветер, никуда не надо идти, осталось только расслабиться и присесть (хотя бы на корточки) — тогда снег укроет с головой. Он словно в раздумье — расслабиться или нет — повел вокруг глазами и невзначай посмотрел на небо... Сколько звезд?! Сколько в этом клубящемся чернотой небе звезд!! Все небо усеяно... Вдруг одна звезда сорвалась со своего места и полетела — нет, то не звезда, он понял, а самолет, мигающий красным светом. Пассажирский самолет летел совсем над ним. Там было уютно и тепло, пахло счастьем, и люди, сидящие в нем, не подозревали о его беде. «Эй, люди, люди! — хотелось кричать ему, но он всего-навсего шептал. — Я здесь... Здесь... Мне хочется быть, хочется быть... Помогите... Помогите...».

Но самолет безучастно скрылся в темноте, и мальчик снова остался один на один со звездами. Он совсем не знал звезд, потому что никогда не смотрел на них, — некогда, надо жить своей непростой детской жизнью. Куда там до звезд?! Ему стало жалко, что не знает названия ни одной звезды — ну, ни одной... Тогда он решил выбрать какую-нибудь одну, свою звезду... Вот ты — какую-то пушистую, яркую и самую большую. Пусть она будет моей... МОЯ ЗВЕЗДА! И она улыбнулась ему, послала привет. Мальчонка решил разочек, последний разочек попытаться выбраться из ловушки — карабкался-карабкался... И выполз.

Он только не понимал теперь, в какую сторону идти, где город. Глупо было положиться на свою звезду, но мальчик решил идти на нее. Он шел, уже не понимая, сколько времени идет. Надо только идти и идти на звезду. Теперь ему даже было все равно, куда она приведет. Было жалко маму, бабушку, свой новый дом, но он ничего не мог сделать со своей волей и шел за звездой. Дорога стала труднее — в покатую гору, но он не чувствовал усталости, и вдруг он откуда-то покатился на животе, не замечая даже, как ободрал о наждачный наст лицо. «Кончилась МОЯ ЗВЕЗДА... Кончилась», — шептал он и долго-долго боялся открыть глаза, но когда открыл — увидел множество-множество звезд, только не над собой, а впереди. То огоньки в окнах домов... Город. Значит, его звезда не обманула — вывела.

Через некоторое время он доплелся до своего дома, вокруг которого уже бегали взрослые. Он был рад получить затрещину, слышать, как его ругают. Он пришел к ним — к людям, к жизни, своей новой жизни... В руках он держал кулек с новогодним подарком. Ничего не соображая, он покорно ждал, когда оттаит ледяная корка на ноге и его разденут... Он лежал на кровати, отвернувшись к стенке, и плакал от боли и обиды, а еще от счастья и любви к жизни.

Одуряюще пахло оттаявшими с мороза мандаринками, лежащими рядом, на стуле... Одуряюще пахло Новым годом... А он все шел и шел за своей звездой.

Человек, который так и раскатывал между подушечками пальцев вату, провел рукой по шраму. Новогодняя мета!.. Но некогда особо вспоминать. Надо готовиться встречать Новый год.

Осталась неиспользованной мишура, и С. из озорства обвил ее вокруг сиденья унитаза. То было первой случайностью, которая скоро — совсем скоро — должна была привести к некоей закономерности... Довольный тем, что все успел сделать, вышел встречать — еще пока своих, не парадных, но таких родных гостей — Н. и оказавшегося в Москве своего одноклассника, друга еще по домосковской жизни. Все трое чертовски оголодали, но, чтобы не разрушать порядка на столе, решили съесть кусок вареной колбасы — что-то С. останавливало от этого поступка, но так и не остановило. То стало второй или еще какой там по счету случайностью, приблизившей закономерную развязку...

Наконец пришли главные гости — двое иностранцев. Гости принесли свой выпивон — и все навалились на незнакомые тогда еще напитки — джин, «мартини» и т. п.

Опьянение от одного общения с легкими, какими-то заранее готовыми всему радоваться людьми, которые внесли в давно знакомую компанию новые темы для разговоров и обновили старые, соединилось с неминуемо подкрадывающимся опьянением от алкогольных напитков, и эта смесь сделала всех веселыми и раскованными. С. не мог припомнить, чтобы когда-нибудь на Новый год, да и не только в новогодний вечер, а вообще когда-либо, ему было так хорошо... Мгновениями это «хорошо» чуть-чуть настораживало: настораживало потому, что трудно было представить, как это может стать лучше и веселее, — ведь до пика веселья еще далеко... Настораживало, что в какие-то доли секунды С. начинало куда-то вести, а голова кружилась, но то он относил на счет выпитого, всякие же там появившиеся с рождения страхи, предчувствия и опасения, парализующие жизнь российского человека, С. решительно задушил.

Решили сфотографироваться...

Впоследствии С. и другие участники новогодней вечеринки часто и долго рассматривали фотографию, все пытаясь увидеть знаки, предсказывающие разыгравшуюся закономерность, но даже при самом пристальном разглядывании ничего невозможно было заметить. Вот сидят они — на удивление для той жизни красивые и нарядные, такие тонкие — и от легкости духа, и от обычного студенческого недоедания, такие готовые любить всех и вся и ухватившие, казалось бы, за край плаща фею счастья, что благосклонно спустилась в этот фантастический вечер к ним...

Потом снова сели за стол, готовые любить свое счастье, свою судьбу, этот вечер, и не зная, что что-то щелкнуло уже в невидимом счетчике, ко-

торый перевел явления из разряда случайностей в закономерность: не суждено уже было воплотиться в реальность ни этому счастливому вечеру, ни еще слабым токам, связавшим этих людей, ни самой встрече Нового года.

Трое русских хозяев еще пытались, а может быть, и действительно не замечали, что уже ничего невозможно, что все пошло под откос. Не замечали того и гости-иностранцы, еще не испытав на своей шкуре, сколь опасно связывать свою судьбу с совсем иной физической реальностью, где свое время (исключительно трагическое) и свое пространство (исключительно зыбкое) и где царит совершенно дурная закономерность.

Первой встала посередине все нарастающего веселья Н. и, сказав, что на секунду выйдет, стремительно удалилась. Прошла не одна секунда, шло время, а ее все не было. Тут какой-то страх, что начинается что-то дикое и чудовищное, подкатился к С., а вместе со страхом и прежде незнакомое, а теперь сразу угаданное ощущение, что его отравили, — все нутро, все кишки жгло нестерпимо. С. посмотрел на безмятежных иностранцев, уписывающих за обе щеки, и понял, что настала его очередь удалиться и никогда не вернуться за этот стол — по крайней мере за праздничный, по крайней мере до свершения какой-то дикой закономерности, до которой один шаг...

С. и встал вторым из-за стола, кинулся в ванную — там заперто: из-за двери слышались шум и всплески воды да стоны и рыдания девушки. С. оказался в туалете, который так старательно несколько часов тому назад украсил. Сил у него хватило только на то, чтобы обхватить унитаз и повиснуть над ним. Колочий снег из мишуры колол щеку, но не было сил сдвинуться — его все выворачивало и выворачивало, и конца тому не было видно.

Третьим встал из-за стола одноклассник С.: безуспешно торкнулся в ванную, в уборную, но услышал оттуда только извиняющийся стон и стремглав понесся, зажав рот, на общежитскую кухню...

До встречи Нового года оставались минуты... С. все казалось, что вот-вот он наберется сил и сможет встать, но силы все не появлялись, нутро же по-прежнему жгло и оттуда фонтанировало. С. лежал на украшенном мишурой сиденье унитаза, и слезы текли по щекам: он чувствовал, что то хорошее и прекрасное, что могло произойти в его жизни, — не произойдет... Послышался бой курантов, несшийся из соседних комнат, радостные возгласы и крики, а С. все плакал и шептал: «С Новым годом!.. С Новым годом...». Он так хотел сделать счастливыми сегодня своих друзей, своих гостей — старался с самого утра, а может быть, с момента своего рождения. Он так хотел — как никогда — сегодня счастья, начала какой-то иной, новой жизни. Ему казалось, что он сумел преодолеть сидевшую в нем ущербность, дрящущую с рождения, преодолеть плохую силу меты своей прищипленности. Но все напрасно-напрасно...

Вся троица помирала — может, и не помирала, но по крайней мере корчилась в болевых изгибах по разным углам, — и никакая сила воли не могла преодолеть это охватившее всех троих бессилие. Двое гостей-иностранцев сначала делали вид, что ничего не происходит, затем испытали смущение от нелепости ситуации: их пригласили в гости и затем бросили на произвол судьбы. Чинно подняли бокалы в честь Нового года и, столь дико встретив русский праздник в сердце уже давно заочно обожаемой ими России, отправились по домам...

Только к утру троица немного пришла в себя... С. проснулся — как был, в одежде — в ту минуту, когда этажом выше уже под утро раздались последние всплески веселья, последний топот — и все стихло. И от неотвратимости конца праздника, невозможности ничего изменить С. снова беззвучно заплакал — сколько слез у этого мальчика-мужчины в Новый год!..

С. пытался, хотя и предчувствовал полнейшую неудачу, «повторить» встречу Нового года. Придя в себя после отравления, подло усугубленного перепоем, отправился извиняться перед гостями и умолить их снова собраться у него. И вот все (будто бы все), как было чуть более двенадцати часов назад, снова впятером уселись за стол, только теперь не такой парадный, а со всякими разрушениями (здесь выедена целая гора салата, тут осталось в тарелке пять-шесть картошин). Но ничего уже не получалось, как прежде, — ни ожидания чуда, ни ощущения таинственности происходящего, ни необъяснимого веселья. Ровно. Все шло ровно-ровно, как бывает и в самый обычный, а не новогодний день.

И все же он наступил, этот год, новый... А это значит, что приблизились новые печали и радости, новые потери и обретения, новые дни, несказанные дни человеческой судьбы... А от новогодней ночи осталась беспечная фотография — с роком и без него...

И вот теперь он пролетел, словно гвоздь через тонкую фанерную перегородку, через ставшую объемной в сгустках фиолетово-красной материи матрицу с одного дня — новогоднего — земной жизни... Ах, как мы неистребимо любим новое, даже когда боимся его и опасаемся, но и нас — даже бесплотных — дразнит искус неизвестного...

Я начинал привыкать к новому существованию — по-сиротски все еще оплакивая жизнь там, но и понимал некие преимущества пребывания здесь... Порой все еще казалось, что надо куда-то спешить, бежать, лететь, но тут же подкрадывалось сомнение: а надо ли на самом деле спешить, бежать, лететь?! Непонятно, сколько времени прошло с конца моей жизни там, как долго мне вертеться здесь, — вдруг то, что называют писатели — вечность?! Может быть, и спешить никуда не следует, да и невозможно это желание осуществить. Быстрее лететь относительно чего? Быстрее — это на сколько, как?.. Он сейчас «живет», подчиняясь законам, велению какого-то иного времени, великого, большого, которому нет начала и нет конца. Имеет ли он отношение к этому великому времени, у которого нет начала и конца? Есть ли у него самого как некоего существа начало и конец, воздушный пловец не знал. Он только чувствовал, что всякие земные секунды и минуты, часы и сутки, годы и века здесь не имеют никакого значения, не идут в космический счет. Лететь и лететь — подчиняясь какой-то высшей сообразности, а может быть, всего лишь безразличной случайности, — его удел. И с этим не надо спорить, надо только подчиниться... Чувствовал ли он униженность, как бывало на Земле, из-за того, что надо подчиниться? Нет, совсем не чувствовал. Ведь здесь подчинение идет какой-то большей, особой, всеобъемлющей свободе, которая, являясь либо закономерностью, либо случайностью, намного больше, величественнее, чем воля какого-либо одного человека, кучки людей, наконец, всего человечества. Эта свобода и это подчинение — стихия и суть нового бытия...

И вот свободный летит и летит он над Землей, над своей жизнью там. И чем больше из той жизни он вспоминал, тем все легче и легче нестись в космосе. Что там видится впереди?.. Какая-то удаляющаяся (раньше сказал бы — «вдаль») фигура. Поразительная фигура поразительно красивой девушки — особенно в движении, в походке, покачивающейся в бедрах из стороны в сторону, а в спине — извивающейся, как мягкая, мускулистая пантера... И все это, вместе взятое, совсем не похоже на блядство, на чаще всего отталкивающую в таких случаях продажность. Эта девушка даже не осознает, что красива, что обладает сказочным, баснословным капиталом, желанным для многих женщин, — почти божественным телом. И, наверное, отсутствие гонора, обычного для красивых людей — особенно женщин, и создавало особое обаяние девушки, что сейчас так просто, без затей, но с неподражаемым изяществом перешагивала от одного сгустка материи, образовавшего что-то наподобие кочки в болоте, к другому. Вот только даже до спины видно, что она плачет — тихо-тихо так плачет — беззвучно, когда только слезинки катятся одна за другой... Кто же это? Кто?.. И тут он узнал ее...

Они жили на одном этаже, как и все обездоленные, в чем-то похожие друг на друга... Но речь сейчас идет о ней. И отчего она плакала? Наверное, оттого, что, дав многое, — природа там, или Бог, или еще Кто, — не позаботились о том, как сохранить это многое, это тело — совершенное тело ундины, гибкое тело лианы, это лицо мадонны, эти глаза, продолжающие с годами оставаться — нет, не наивными, а детскими, эти гибкие руки, так длинно-длинно переходящие в кисть, эти длинные пальцы, умеющие быть только легкими («перстами легкими, как сон»), — все это надо было кому-то охранять... Если природа, или Бог, или черт, или еще Кто создал такое совершенство, что лучше всей окружающей жизни, то — будьте так добры! — берегите его. Нет, никто не подумал: природа засыпала, Бог ду-

мал о пороках людей, черт — об их добродетелях, а Кто-то вообще ни о чем не думал, вряд ли обладая такой способностью, по крайней мере в нашем человеческом понимании и слова, и этого странного мыслительного деяния...

Она, Высшая сила, бросила девочку — назовем ее Г. — в неприкаянную беднящую семью, сходящую на нет в русском провинциальном городке: сначала умер — совсем молодым — отец, затем в возрасте моложе, чем сейчас бывшая девочка, умерла мать. Счастье, причем гигантское, если это понимаешь, выпало Г. в одном — у нее жива была бабка, бабке этой разрешили стать ее опекуницей, и посему Г. не отправили в детдом. Впрочем, грех жаловаться на судьбу — уже одно то, что бабка поддержала девчонку, — великое везение для тех, кто зачислен от рождения по ведомству горемык. Данное от рождения боролось в Г. с окружающей жизнью, и природная рафинированность, телесная и духовная хрупкость оказались сильнее закопченной от вечно дымящейся печки комнаты, вечной картошки с хлебом, вечной приниженности и своей ущербности в глазах других. Нет, она никогда не видела себя несчастной, страдальцей, сиротой — ее глаза смотрели всегда куда-то выше уровня людских лиц, по которым она могла прочесть свой приговор.

Г. же не знала его, не знала, потому что легко летела по земле. Это потом — когда уже из другой жизни она посмотрела на себя прежнюю, то удивилась: как же легко и почти счастливо она жила... Теперь у нее не было той силы, той уверенности в себе; счастье, что тогда она этого ничего не понимала... А то не смогла бы выжить. Она видела себя сильной, свободной и всемогущей, для которой все препятствия — трин-трава: девчонка, окончившая провинциальную школу и не имевшая денег на московских репетиторов, захотела — и поступила в университет... И вот она оказалась одна в этом вожделенном городе, где все обещало совсем иную, свободную жизнь и где ей давно уготовано свое место. Но и в этом городе она по-прежнему не понимала, насколько хороша и необыкновенна. Ничуть не думая о своей неотразимости, плелась она — словно разобранная — по длинным общежитским коридорам, стояла в очередях в столовой, согнув спину, сидела на подоконниках, покуривая чаще всего стрелнутую сигаретку...

Не каждый человек и не сразу мог понять, что за чудо явилось в облике чуть сутуловатой девушки перед ним. Для этого надо отрешиться от всего мелочного, наносного — и тогда вдруг разом чудо во всем своем покоряющем обаянии открывается.

Правда, не только среди богов и других вершителей наших судеб, но и среди нас — земных людей — мало кто расположен поражаться, а тем более заниматься чудом...

Вот и ходило наше чудо, неприкайное, никем — кроме своих товаров по комнате да по этажу — не приласканное. Правда, как-то незаметно все чаще и чаще рядом с Г. стал мелькать незнакомый парень, через некоторое время он — всей своей громадой — уже нависал над хрупкой Г., которая даже несколько выгибалась в противоположную от громады сторону, словно не выдерживала — даже на расстоянии — тяжести своего спутника. Так и ходила Г., склонившись набок, а рядом двигался человек-скала с тихим, вкрадчивым голосом. Впрочем, и она сама, и все другие быстро привыкли и перестали замечать тень...

Но в один из дней задрожала в тени своего вечного спутника гибкая фигурка — задрожала-задрожала, словно деревце на ветру, и прикинула в поисках опоры к скале; в руке Г. держала грязновато-желтый листок, который во всех других случаях оставался бы просто листком, а сейчас навсегда отделил эту девушку от всего мира, потому что из этого листка-телеграммы она узнала о гибели единственного родного человека на земле — своей бабушки. Здесь, в этой новой жизни, она как-то немного отошла от спокойной ауры своего дома, от самой старухи. Но вот сейчас, еще только узнав о смерти, но не осознав ее, она поняла, как почти каждый из миллионов, миллиардов людей в таких случаях, что никого любимее, никого дороже у нее не было, что теперь она совсем одна на свете, одна-одинешенька, и что так будет до конца жизни... А как же тогда жить?! Как?.. Куда делись друзья, знакомые, которые еще вчера были, казалось, намного нужнее в жизни, чем вечно нудящая, всем недовольная старуха. С друзьями были веселье, радость, интересные разговоры, а дома — дома навсегда вьезшийся

в каждый кусочек тела, в глаза старухи страх перед жизнью: что будет с внученькой завтра, особенно после ее смерти...

И что теперь действительно будет с ней? Как теперь хочется прижаться к бабушке, провести с ней хотя бы один вечер, а еще лучше — много-много вечеров и говорить-говорить... Сколько она слов не произнесла, сколько вопросов не задала, сколько раз не поцеловала... А теперь все поздно-поздно... Теперь одна, совсем одна. Одна под чудовищным, сильным светом, от которого не скрыться... Вот только если не двигаться и стоять в какой-то тени, что закрывает от света, не так режет глаза. Но что это за тень?.. А-а-а, какого-то человека — малознакомого, но в последнее время все чаще и чаще стоящего рядом. Она попробовала несколько выйти из-под глыбы, нависающей над ней, но тут же снова нещадно пожирающий сильный свет... Нет — надо спрятаться-спрятаться... Ближе прижаться, вжаться в этого человека — тогда станет не так страшно, не так одиноко. Да-да... Теперь надо неотрывно быть при нем — это единственное спасение, единственная надежда... Вот только еще не так давно что-то останавливало ее от сближения с этим человеком — как-то он был скучен и неинтересен, но это неважно; важно теперь только то, что в нем одном — возможное спасение...

С той минуты Г. не расставалась с человеком, в котором единственно обрела спасение-заточение, заточение в любви-нелюбви. Он помог ей похоронить бабуку, устроить поминки, уладить все квартирные дела — и за эти безумные дни, когда она или молчала, или плакала, Г. теперь, совсем разучилась быть одна, без человека, закрывающего от резкого, бьющего в глаза света... С ним она вернулась в университетское общежитие, не очень веря в сочувствие знакомых, а все ближе и ближе прижимаясь — в этой теперь совершенно одинокой жизни — к человеку, неотступно находящемуся рядом. Как-то так получилось, что скоро — она понимала, что слишком скоро (можно и подождать бы) сыграли свадьбу. А как же без свадьбы, как же без белого платья?! Плакалось в этот день еще больше, чем в обычные, но и смеяться — смеялось... Свадьба все же!

И как-то стало подзабываться недавнее прошлое... На минуту-другую она могла оставаться без своего спасителя; он, правда, за это время стал немного другим: уже не сиял благодарностью за то, что разрешили быть неотступно рядом, а как-то порой и сердился по этому поводу и нет-нет да и попугивал: а вот исчезну — как будешь без меня?.. И действительно — как?! Но когда так получилось, что спасателя и взаправду не стало — не то чтобы он умер или сбежал, а просто окончил университет и должен был ехать по распределению, — выяснилось, что само по себе это не так и страшно... Нет, в первые дни она не знала, как жить и куда себя девать, но как-то все в конце концов устроилось... И снова замелькала на этажах, на лестничных пролетах стройная, легкая фигурка, которая сначала неуверенно и чуть вбок, а затем все прямее и прямее плыла по течению однообразной в своей хаотичности студенческой жизни... Исчезла только во всем облике Г. надежда на неизбывность счастья, но то можно было отнести на счет степенности молодой замужней женщины... Можно было...

Тот, кто летел, обернулся — то есть еще раз хотел заглянуть в свое прошлое, мимо которого сейчас пронесся... Ему хотелось спросить Г. о чем-то очень важном — крайне важном. О том, была ли она когда-нибудь — после смерти бабуки — счастлива? Но не успел... Как не успел спросить многое другое и когда был там... Он все несся и несся дальше (дальше? кто здесь знает — что означает «дальше» или «ближе»?) А видел ли я там, на Земле, счастливых людей? Тех, кто мог бы сказать: да, я — счастлив? Сейчас он не помнил, совсем не помнил... Впереди какие-то лица-лица... Много лиц! А вот уже видны и фигурки — много фигурок. А-а-а, это все знакомые по прежней — студенческой — жизни. Вот только там он почти никогда не видел их всех рядом, так близко друг от друга... Вот пересекает по диагонали огромный космический экран памяти какой-то горбатик, похожий на большого сердитого ежа: торчащие, словно иголки, в разные стороны серые волосы, покатавшая спина и на всю жизнь подвернутая нога создают окончательное впечатление схождения с ежом...

От общей массы людей на огромной фотографии памяти отделилась фигурка — теперь девушки.

У нее поразительные глаза — поразительные ясностью, умом, кротостью и добротой, так странно соединившимися в одном человеке. Кротость и ум никак не могли скрыть даже очки, хотя, конечно, они, очки, что-то скрадывали с этого чудного лика, в котором соединялись особое знание о жизни и растерянность от обладания этим знанием. Не будь очков, многие люди не вынесли бы света, льющегося из голубых глаз. А кое-кто — не будь этого ограждения (в виде очков) — просто провалился бы в голубую бездну. И все же, все же... Как ни крути, как ни разглагольствуй о всяких там добродетелях, во всем облике этой девушки явственно ощущалась та общая, что и на большинстве людей того времени, печать — печать неизбежного трагического исхода... Можно быть каким угодно умным-заумным, прекрасным-распрекрасным, ясным-преясным, но где-то (для кого-то еще в далеком далеке) человека неизбежно ожидала огромная преогромная стена, о которую можно разбить голову, но проломить которую невозможно... Стена — это рок, витающий над каждым человеком, особенно в этой, с черной отметиной, стране. Рок заключался в неисполнении всего или почти всего задуманного, в бессмысленном прожигании дара, данного свыше, в ненужности ума, гибельности всего порядочного и т. д., и т. п.

На уникальную судьбу была задумана высшей силой девушка с глазами — голубыми безднами. Вероятно, в один год таких, как она, появляется на свете сотня — не больше: часть из них гибнет в утробе матери, часть помирает во младенчестве, пропадает во всяких катастрофах — в общем, к взрослому состоянию остается таких если не единицы, то всего лишь десятки. Разбросаны они по всем окраинам непомерно громадной страны, а потому даже если эти умники выжили физически, остается не меньше — выжить духовно... Провинция любит жрать таких людей.

И вот чудо — девушка с отметиной судьбы оказалась среди двухсот удачников, из которых одни поступили на престижный факультет нахрапом, с кондачка; другие взяли задницей — учением-мучением; третьи — просто решили пойти на дурачка и, к своему удивлению, обнаружили, что присланы по линии КГБ; пятые — удачно скрыли свою умственную неполноценность и пошли в авангарде советского студенчества, шестые — просто решили пойти на дурачка и, к своему удивлению, обнаружили, что им выпало счастье... Думается, все работало на исполнение случая, чтобы умница не попала в университет, но этого не случилось. В конце концов дело даже заканчивалось тем, что это мафиозное заведение — университет, где все двери открыты только «своим» — детям, внукам, племянникам и т. д., — готово было вывести к иному качеству и жизненный путь умницы; ей — провинциалке — было предложено поступить сразу после окончания факультета в аспирантуру, но она отказалась. И поехала горемычная к себе на родину, и писала, и писала о передовиках производства да о заготовке кормов. И непонятным осталось, почему она предпочла университету районные будни? Может, и в том поступке проявилась высота духа, непонятная таким, как С.? Может быть. А может, просто к тому времени произошел надлом в нашей умнице, которая рано поняла, что, уж коли несчастлива (а мало ли почему человек несчастен?), то ни гарантированное докторство, ни вполне возможное член-коррство, ни любой другой карьерный путь не спасут от несчастья женщину, которая несчастна... Только благодаря редкому уму наша дивчина рано — еще задолго до того, как добралась до конца своего жизненного пути, — поняла, что, кроме счастья, — все ненужное, все побочное.

Вот только где и когда ее переехало? Может быть, тогда, когда она пригляделась и увидела, что все неумные и все некрасивые вокруг как-то устраивали свою жизнь и не страдали из-за своего одиночества, а вокруг нее стена, ров, который не поспевает преодолеть ни один мужчина, потому что кто же решится тягаться с ее умом?..

Может быть, в те дни, когда одна из сокурсниц родила ребеночка и ей — без мужа, без отца — первой бросилась на помощь наша умница: на свою стипендию да на собранные с курса рубли купила коляску, распашонки да пеленки. Все она продумала — и то, как сдать на время, — на короткое время, до той поры, как через несколько месяцев закончит универси-

тет, ребеночка в дом малютки, где такие прекрасные условия и заботливые люди и куда можно каждый день приходить, молодая мать, которой поддержки ждать неоткуда, хоть как-то протянет. Вот только когда она поделилась своим прекрасным планом с молодой матерью, та секунду молчала, а затем зло, будто перед ней враг, прошипела: вот желаю тебе, чтобы ты, родив своего ребеночка, отдала его в детдом и ходила туда каждый день, а мы (она прижала к себе тельце) как-нибудь сами проживем, без твоей помощи, — не появляйся здесь больше никогда!

А может быть, надломилась она чуть позже, когда незадолго до окончания университета безоглядно влюбилась почти что в мальчишку... Вот только знала она, что ничего хорошего из этой любви не получится, что никогда они вместе не будут, что с окончанием университетских дней к концу придет и их любовь, что долго-долго, а может быть, никогда больше не сможет она полюбить... Кто знает с достоверностью, где и когда ломаются людские судьбы?!

Прежде С. любил дом, просто чувство дома. Сколько их пришлось поменять за свою недолгую жизнь!

Но теперь было ли у него хотя бы подобие дома? Дом — крепость! Дом, где он — сам по себе и сам себе и дому хозяин? Но ведь такого дома нет вообще у людей этой страны, любой дом — проходной двор для всех и всяческих бед, для всех и всяких чрезвычайок, неистребимых оперов.

...Вот вчера, в воскресное утро, какой тарарам устроили они, истинные хозяева жизни, в общежитии. Все живое, измученное дневными и ночными заботами, спит. Успокоение, казалось, пришло к самым беспокойным. Но что за странный, оглушающий стук — тарабам в дверь: открой! Нет, конечно, это не сон из очередного фильма про зверства фашистов: разъяренные эсэсовцы выламывают прикладом дверь... Нет, это совсем не сон. На самом деле кричат: немедленно открой! немедленно!!! Что случилось?! Придется натягивать штаны; где теперь рубашка? С. хотел было открыть дверь, но дорогу преградил сосед из смежной комнаты, шепчет: «У меня девушка! Это облава на посторонних, прошедших без пропуска... На меня уже пришла телега из вытрезвителя. Если попадусь еще раз — вышибут, точно вышибут из университета...»

С. снова ползлся к кровати: проще было бы дверь открыть, чем не открыть. Они ведь и действительно выломают — не прикладами, так чем-нибудь другим, похлеще... Но не пойдешь против себя, не перешагнешь через просьбу соседа. Другое дело, что симпатии особой к нему нет, да и он меня не жалуется. Конечно, все шишки посыплются на меня. Но хуже, если выгонят этого парня — совесть замучает до конца дней...

Из-за двери орут: «Открой! Мы знаем: ты не один! Открой, а то хуже будет!..»

Это точно — будет хуже. Но С. не шевелился, только голову закрыл подушкой. Толку от этого мало: ощущение, что стучат не по дубовой двери, а по его голове. Поразительные люди: вот стучат уже целый час, второй, третий — неужели больше нечего делать? И у них нет ничего более интересного в жизни? Лишь бы добиться своей цели: вытащить из постели кого-нибудь. (Интересно, кого же они ждут? Какой-нибудь стукач дал неправильную наводку, а то с чего бы они привязались именно к нему?)

Из-за двери время от времени то грозным, то проникновенным, взывающим к совести голосом сообщают: принесли запасные ключи — не вставляется ключ, мешает твой, пошли звать слесаря, слесарь пришел — начнем ломать! Особенно налегают на сострадание — и к кому? К себе же, выламывающим дверь.

Так устал от шума и крика, что почти с облегчением вздохнул, когда дверь наконец выбили: теперь можно заснуть. Какой там! Шесть человек ворвались в комнату (как только поместились?). «Кто у тебя? Где девушка? Мы знаем, что в эту комнату входила вчера девушка!» Тем временем девушка, воспользовавшись суматохой, прошмыгнула в туалет, расположенный в коридоре, а оттуда — незаметно на свободу... Попалась она только стоявшей у лифта и на лестнице охране, но не призналась, кто такая. Как партизанка!

С. лежал, небрежно откинув одеяло, как будто только что проснулся

и ничего не слышал. Знал, как хорош и как вызывающе чернеет на белой простыне его загорелое, ладное, легкое тело. Не случайно эти, ворвавшиеся в комнату, брызжущие слюной от своей беспомощности, орут: встать! немедленно одеться, пока яйца не оторвали! идти с нами! на очную ставку!

О! Мальчики в своей чекистской игре явно зарвались. С. вспомнил, что однажды в детстве, уже видел такое. То было в пионерском лагере: играли в гражданскую, вечную на этой земле гражданскую войну, в синих с зелеными. К вечеру игравшие от собственного же, пока еще театрально-го, насилия, жестокости и не находящей выхода подавленной чувственности, прущей в детстве в обнимку со зверством, распаялись так, что пошли бить стекла, громить столовую и гонять малышей... Мальчишки привязали веревками к спинке стула вожатого из противников, синих или зеленых, — черт не разберет! С пленного двумя-тремя лоскутами сорвали рубашку; оголились уже не мальчишеские, мужские в своем великолепии плечи, грудь, живот. Недоступный обычно для мести красавчик, и внимания не обращавший на щенков, а все приударявший за набухающими молодой плотью девочками, теперь — в их руках. Изменились условия игры: теперь они не старший и младший, не воспитатель и воспитуемый, а враги, враги по естеству-неестеству. У пацанов загорелись глаза и затряслись руки при виде этого мускулистого мяса, покрытого гладкой, золотистой, со светлым пушком, кожей: каждый из них мечтал о таком сильном теле, но не имел его. Пленный пытался чуть затравленной, но еще улыбкой сказать ребятам: «Ну хватит! Хватит! Пошутили — и будя... Шут с ней, с рубашкой, прощай, но теперь — хватит...» И эта его улыбка, все еще высокомерная и ослепительная, самодовольная, взбесила мальчишек. Один из них со всего размаху двинул кулаком пленного в челюсть, в нос, по губе. Из носа потекла кровь, дразнящая алым цветом, возбуждающая детское зверство. В глазах пленника — удивление, вытесняемое уже страхом, страхом перед толпой. Он пытается встать, вместе со стулом встать, корежится, играют мускулы, извивается гибкое, без жириночки тело! И это они — недомерки — властвуют над ним, владеют им! И тогда самый плюгавенький вцепляется зубами в плечо врага. Пленник взвыл от боли и возмущения, от боли и унижения, стал скидывать с себя присосавшуюся к нему пиявку, но какое там! Разве скинешь мальчика? Скинул, наконец скинул. Начал бить захватчиков ногами — по животам, куда попало... Пионеры отбежали.

Общественники, ворвавшиеся в комнату, принялись убеждать: понятно, что девица была не у С., а у соседа, и ему, С., надо только написать обо всем этом начистоту в заявлении. А если нет... то одевайся и топай, топай в штаб дружинников!

С. и его сосед, разведенные друг от друга на приличное расстояние (чтобы не сговорились), с завернутыми за спину руками пошли на допрос. Синие-зеленые долго-долго угрожали, канючили, мучили, но С. так и не сдался. Дали два дня на раздумья: напишешь заявление на соседа — и ты чист, чист перед ними... К делу подключился начальник общаги: и ему во что бы то ни стало требовалось признание С. Так и говорил, глядя студенту в глаза: «Знаю, что невиновен, но не признаешься — сейчас же подпишу приказ о твоем аморальном поведении...» С. не подписал. Сосед не взял вину на себя.

Сколько же лиц! Сколько моментальных снимков, снятых памятью летящего в космосе духа... Они, оставшиеся там, почему-то не могут оставить его... Теснятся прежние знакомцы вокруг него, что-то пытаются еще раз, в последний раз объяснить... А ведь он ни тогда, ни сейчас никого ни в чем не винил и не винит. Но еще тени из жизни там все теснятся и теснятся и ближе всех еще один сосед — из тех, из земных невидимок... Вот он наклонился ко мне, пытаюсь все, абсолютно все объяснить...

В человека-невидимку превращаются по-разному. Кто-то приходит в университет уже под тенью гигантской шапки-невидимки, накрывшей всю эту землю. Там, на своих славных ударных стройках века, на передовых заводах и фабриках, в совхозах и колхозах; в отдельных образцово-пока-

зательных школах подцеплял их обманный крючок, тащивший их потом до конца дней... Эти уже никогда не могли избавиться от своего прошлого, смиренно принимали его и в университетских стенах...

Кто-то попал в невидимые сети только студентом: сколько коварных ловушек на пути, одна малейшая из миллиона возможных оплошностей — напился и подрался, проголодался и мелко проворовался, проговорился, разболтался, размечтался, переспал, проспал, украл, совратил, обматерил, нахамил... Всего не перечислишь, и ты кандидат со скандалом и треском на вылет из университета — прямо в доблестную Красную Армию или в тюрьму (все зависит от случая, только случая!). И вот тогда появляется некто вкрадчивый и незаметный, который шепчет слово заветное, и тебя прощают... Хотя ты поддал, гавкнул и трахнул, прощают, но с условием — маленьким и незаметненьким, пустяковым: приди и скажи, приди и подтверди, приди и напиши, приди и подкажи, приди и наследи, приди и прошепчи, что кто-то где-то с кем-то задумал-удумал что-нибудь... Что — это даже неважно: для плана, отчета-пулемета — все сойдет, все сойдется!

Надо отрабатывать свое появление или пребывание в стенах храма наук. Конечно, не всем — есть счастливицы, которые без особых проблем стали студентами, или те, кто умом и зубрежкой, наконец происхождением застолбил за собой место... Есть счастливицы, кому не могли доверить такое важное и ответственное дело: недостаточно запятнаны, чтобы их турнули из университета, но достаточно понятны, чтобы им не предложена была честь, выпавшая на его долю... Некоторые из этих, чистеньких, даже не понимают, что ходят они по острию ножа, не понимают, как страшна жизнь: летают — порхают — болтают, уж болтают о чем угодно. Не догадываются, что бредут по сплошному минному полю. Впрочем — впрочем, это их спасение: если не ведаешь страха, то не страшно. Но он-то, он-то знает все. И как точно они — невидимки — определили, что он их боится: то был страх, впитанный из тлетворного воздуха еще матерями — отцами — дедами. Прибавьте сюда еще бурное воображение: дыбы для пыток, тиски для запястий, просто побои... И когда тебе сообщают шепотом, что с тобой хочет поговорить один человек, и вот этот человек протягивает красную книжечку, ты уже готов, ты уже наложил в штаны от страха. И ведь это только начало. Отработано пугающим голосом говорят: не бойся, мы теперь хорошие, мы не такие — такие были при Сталине, а мы — культурные, тонкие и интеллигентные, любим абстракционизм и джаз... И ты понимаешь: бойся-бойся! Они именно такие, только любят абстракционизм и джаз... Потом следует другая отработанная атака, намеком так: мы знаем, что ты сказал этому и тому, пятому и десятому, у тебя странные такие, смешные — хи-хи (совсем-совсем не смешно) вкусы в... постели, подумай, как тебе, так-так тонкому, такому хрупкому, трудно будет в казарме... или в камере... И ты готов — совсем готов: берите голыми руками, только оставьте меня в покое! В покое? В покое-то они и не оставят. Это только начало. А конца не будет.

Позже к этому привыкаешь. Раз, только раз, может быть, сорвешься: не отделаться от ощущения, что все знают о твоём тайном пороке. И вдруг тебя в лоб, с тихим презрением: ты ведь стукач, чертов кегебешник! И ты не отпираешься, ты, может быть, даже гордишься: да! да... да! И не догадывается, наивный дурачок, какой цепью связал он себя со мной; он знает, но молчит — пусть пока существует, но если... если... ему же хуже будет! Шутники уверяли, что в университете стучит каждый на каждого, но он-то знал, что не каждый на каждого, а один — на второго. Если посмотреть со стороны, то страдальцы — вторые. Но это только на взгляд со стороны. На самом деле пожалеть надо первых. Да, у них — особенно если рангом повыше — зачастую отдельные комнаты, даже с телефонами, они не бедствуют, не перебиваются от стипендии до стипендии, хотя и их не балуют особо. Но какая цена за это — вечный страх, что тебя разоблачат, высмеют, вечно надо знакомиться не с теми людьми, с кем хочешь, а с кем укажут, подлаживаться под них, заводить разговоры. Просыпаться по ночам, трястись от страха перед начальством и исходить блевотиной от омерзения к себе. Ох, как он ненавидел в такие минуты чистеньких, как их называл потом оговорами, хотя и понимал, что избавляет тем самым этих чистеньких от его пути. Слава Богу еще, что нет ни ада, ни рая... А если есть все это? Если есть?!

Ночевнику в космосе казалось, что именно об этом хочет спросить его тень. Но он сам не знал ответа. И некогда задуматься о серьезном — тени, тени из жизни там обступали его... Но кто там стоит сзади всех и не может пробиться? Да это же я сам в прежней жизни! Это же С.: вот уж кто меньше всех мне понятен... И он тоже хочет что-то вымолвить. Нет, пожалуй, и не хочет, а просто бредет по красноватому густку материи, склонив, как обычно, голову чуть на бок и беспечно улыбаясь.

С. летел по переходу из зоны «В» в зону «Б». Со стороны то был беззаботнейший и счастливейший человек, который благодаря спасительной поверхностности и легкости, а то и глупости не хотел считаться с той реальной жизнью, что окружала его. Излучение свободы, исходящее от С., удобно объяснять глупостью. Сам С. подозревал, что его многие принимают за пустышку, но, во-первых, почти не волновался по этому поводу; во-вторых, не знал, как стать или выглядеть другим — умным; а в-третьих, еще от бабки своей усвоил, что в жизни этой удобнее всего казаться человеком недалеким. Скорее всего о последнем обстоятельстве он и не думал — просто так уж устроен был: не мог себя заставить делать то, что нужно, но что не хочется. Нет, конечно, на какие-то компромиссы приходилось идти, но бесшабашность толкала к риску: месяцами пропускать занятия, например. За это полагалось исключение, но его как-то не трогали. Спасало, быть может, интуитивное ощущение опасности в исключительной, угрожающей его свободе степени, которое шло от простых кровей, от плесневой закваски, от утробной привычки (либо необходимости) недоношенного младенца цепляться за жизнь. По какому-то сигналу, идущему непонятно откуда, С. вставал со своей кровати именно в тот день, который должен был превратиться в трагический (по крайней мере в масштабе его судьбы), и оказывался именно в тот момент, когда его решали прижать к ногтю, на лекции с проверкой-поверкой — и как-то все сходило с рук. Несостоявшаяся гроза проходила, и С. снова впадал в сомнамбулическое состояние свободы, которое можно было принять за леность, но то было бы несправедливо! То было состояние свободы, замешанной на оговорках и оглядках, но чудом сохранившееся в пареньке, происходящем из рода, три последних поколения которого ссылались, раскулачивались, уплотнялись, переселялись и т. д.

С. не думал, какими словами объяснить свою веру — да, именно веру, потому что как же иначе назвать сущность его жизни? Тем более что чувство свободы сочеталось в нем с кроткой готовностью жить общей жизнью, выпавшей на долю его соотечественников. Свобода и в то же время готовность подчиниться судьбе — это соединялось в нем...

И вот он летит по переходу, ничем особенным не отличающийся от студенческой толпы — попробуй разгляди в незнакомом человеке из толпы буйство свободы или еще что-то там в этом роде...

Пять лет жизни в Москве подходили к концу... И это ощущение конца как бы витало в воздухе. Шел ли С. по улицам города, лежал ли на кровати и все думал-думал, говорил ли с кем-либо о пустяках, он да и, наверное, не только он, а многие соседи по высотке чувствовали приближение финала. Одна жизнь — вздорная, глупая, шальная, пустая, злая, озорная, притягательная, желанная, до слез родная, единственная, бессмысленная, неземная, может быть, самая лучшая из всех других, отпущенных одному человеку — иссякала, замирала, увядала; а другая — взрослая, строгая и совсем-совсем земная, холодная, доходная, долгая-предолгая и несвятая — пугающе брезжила впереди. Университетское житье-бытье, казавшееся порой тошным и невыносимым, с каждым предфинишным днем облекалось в мягкие, обманные складки ностальгического воображения. Что ждало впереди? В паспорте обитателей высотки стояла дата приговора — 2 июля 197... года. В этот день хочешь не хочешь, а выметайся из комнаты и из Москвы! Куда? В лучшем случае, именно только случае, частном и конкретном, — возвращение домой, в провинцию, где ничто хорошее никого не ожидало. В худшем — районные будни газетчика в отдаленных, крайне отдаленных углах страны, куда без насильственного распределения нико-

го не загнать. Но сейчас, в эти последние деньки, думать о будущем не хотелось.

В беспросветный угар прощания с настоящим, которое одной ногой шагнуло в прошлое, окунувшись С. Приехавшая было Москва стояла, как назло, такая обольстительная, вся какая-то младозеленькая, задрапированная припоздавшей в тот год сиренью, пропитанная дурманящими, особенно на голодный желудок, запахами шиповника и роскошно гибнущих пионов, прокаленная не таким уж частым в этих краях, зато от души жарящим в июне солнцем, овеваянная дразнящим, неистребимым и неиссякаемым духом столичной суматошной жизни, — поглотила, целиком поглотила С. в свои пучины: по ночам не спал, какой там сон! Эти теплые летние вечера, теплые июньские московские ночи! Разве такое может повториться? Нет... Никогда-никогда. Днем вместе с другими прожигателями остатка московской жизни ехали через весь город в Серебряный бор. Пляж там платный, но можно пролезть через дырку в заборе и сэкономить последние пятаки на метро. Вот так бы валялся на солнце всю жизнь — лишь бы не думать, совсем не думать о ней, о жизни. Как нравится девушка, что лежит рядом на бесплатно уведенном топчане! Как свободно и независимо чувствуешь себя, прыгая за волейбольным мячом рядом с такими же молодыми, мускулистыми, поджарыми коричневыми телами! Удар — ослепительная улыбка крепких, белых, не сношенных еще зубов, другой удар — идет на тебя волна здорового запаха молодой жизни, еще удар — столкнулся с упругой, масляной кожей сразу двух набежавших на мяч полубогов-полулюдей... А теперь — в обжигающую, ласкающую воду, и нет ничего — ни этого пугающего до тошноты будущего, ни всей этой слишком громоздкой жизни.

К вечеру приползаешь в свою конуру. Пожрать бы! В шкафу среди сваленной от вчерашней попойки посуды находится подсохший кусок черного хлеба — какое счастье.

Немного отлежаться — и другая забота: на что купить к вечеру бутылку? Как только заходит солнце и спадает дневной жар, начинается жар ночной... Обитатели высотки, с которыми за все эти годы и слова-то лишнего не сказал, все с жаром прощального знакомства потянулись друг к другу. С., отбросив свою внешнюю холодность и защитную сдержанность, стал завсегдагаем и любимцем сразу нескольких полуночных компаний. В вине нуждались лишь для затравки, символически, а вообще-то его заменяло опьянение, идущее изнутри, заменяли бешеная музыка и безумные танцы. К курсу третьему-четвертому студенческие танцующие захирели, но теперь даже самые увальни, даже самые степенные мужички кинулись в пляс... Но уже по заведенному ритуалу вся компания с бескорыстным вожделем ждала, когда на середину клетушки-комнаты выпрыгнет одним прыжком С. Если и был С. окончательно самим собой, то в музыке и танце: уходило все ненужное, лишнее, что осталось от прежней провинциальной жизни и новой, столичной; улетучивались скованность и забитость, и рождалось в гибком теле что-то иное — то, что сливалось с ритмом шумной, изломанной, с бубнами-бубенчиками, разорванной общей жизни. Но в этом почти диком, непредсказуемом, лишенном, казалось, рисунка и смысла танце — бесконечной исповеди — рождалось примирение с миром. Изгиб — и совместились маленькая, малейшая частичка земного бытия, заключенная в теле-лиане, со всем космосом; еще изгиб — и нет никаких страхов, опасений, вообще их не существует: весь мир создан для человека, для любви; новое движение в изгибе — и волны одной человеческой судьбы поглощаются, накрываются волнами вселенной. Это танец жизни! Большой жизни — огромной, бесконечной!

Эти безумные пляски не так давно пришли в Россию. Они так соответствовали истекающему времени: каждый танцует сам по себе, без пары, без оглядки на других — потому что каждый должен жить и живет сам по себе. Но человек не может без соплеменников, без близких и любящих — и потому танцуют всем скопом, толпой. Вместе и поодиночке, поодиночке и вместе... Только не взявшись за руки, только, пожалуйста, без рук...

Час — второй — третий — четвертый идет в пляске без передышки. Это уже азарт, это уже за пределом силы, что есть в человеке, это буйство молодой вселенской энергии. А потом — все: замер, кончился завод... Кончилась ночь, кончилась воля к жизни. Спать — спать — спать...

Засыпаю-аю-аю... Наваливаются просачивающиеся сквозь придавливающий сон страхи — земные страхи одинокого, очень одинокого, незащищенного человека. Они — эти страхи — и ткнут, почти соткали сон... Мохнатого звереныша выпустили из клетки: свобода? Можно подумать, что свобода... Только почему не чувствует землю? Да это и не земля вовсе, а площадка, поднятая на столбах и обнесенная сеткой, которую сразу не заметил. Прижался мордой к ограждению: высоко, да и сетку не перепрыгнуть... Снова загнали! Только решишь, что избавился от хозяев, от слезки, как понимаешь, что в который раз ошибся... Но что это? Сетка зашуршала и будто чуть сжалась... Вот еще шуршание — точно сетка сжимается, сжимается... Слышен злорадствующий человеческий гогот. Значит, снова попался-попался и теперь не выбраться отсюда...

Проснулся от гогота за стеной: кто-то перевеселился. Но что это за сон? Что он означает? И ведь точно-точно в последнее время С. ощущает, будто какая-то невидимая сеть наброшена на него: пока он еще свободен, но свободе его что-то угрожает... Нет, конечно, каждый из обитателей высотки ощущал на себе невидимое, пристальное внимание. И порой С. чувствовал, что вот это и то-то совершенно зря брякнул. Напрасно рассмеялся очередному анекдоту... Зря прошелся по коридору в обнимку с американцами... Да и его романы. Чего они одни стоят... Но такое думалось лишь изредка, в тяжелые грозовые вечера. А утром — утром становилось стыдно за эти опасения, за трусость. Но вот сейчас, при свете раннего, ласкового солнца, на душе заскребли кошки...

А через несколько дней опасения эти подтвердились... С. поехал, зная, что в последний раз, в свой родной степной город, с которым связывали лишь две могилы — матери, бабки — да воспоминания. Уже первая соседка, встреченная С., заманила к себе и шепнула: недавно приходили из КГБ, все расспрашивали о нем, о его семье. Не поняла она, что им нужно: вроде бы и ничего вразумительного и плохого рассказать не могла, но догадалась только, что дело принимает плохой оборот. Ей ли, не по своей воле оказавшейся в этом изъезденном солнцем краю поселенке со своим темным прошлым, не узнать прицел знакомого всевидящего ока!

Произнесла она только: «Беги! Беги отсюда... На твою квартиру уже есть хозяин. Там, в Москве, ты песчинка, здесь — малая, но гора, которую не задумаются — снесут... А когда об этом же шепнули С. еще двое-трое верных людей, понял: надо действительно бежать. Что я такого сделал? Что? И тут вспыхнула в мозгу молния-догадка: прошлым, последним при жизни матери летом он, уезжая на каникулы домой, дал адрес нескольким друзьям-иностранцам. Те прислали вежливые открытки. С. ответил им. А ведь эти оболтусы изнывают от безделья и тоски; вот и дело подвернулось стоящее: С. — шпион иностранных разведок в городе с гигантом медной и не только медной (об этом знала каждая собака, каждый суслик в степи) индустрии! Неплохо звучит. Пахнет не только премией, но и чем-то пожирнее...

То-то и мать о чем-то его расспрашивала. А в один из дней того лета произошло и вовсе невероятное... Как-то в жаркий день, тяжелый даже для привыкших к пришибленной зноем степи горожан, С. вернулся с пляжа, открыл дверь — и сразу чьи-то ненавидящие, но и переполненные ужасом глаза остановили его. И чьи глаза? Матери! Матери, которая, казалось, и смотреть так вообще не могла, а на него, любимого, — в особенности... С. оглядел себя с ног до головы: что в нем появилось столь безобразное, в глазах матери бьется непреходящий ужас? Будто он только что кого-нибудь зарезал, держит в окровавленных руках тесак и снова готов резать и колоть... Мать смотрит то на фотографию в студенческом билете, то на С., как будто сличает. С. никогда с подобным не сталкивался в своей жизни, и сердце у него ушло в пятки.

— Мама, мамочка...

— Н-н-не п-п-под-хо-ди! Не подходи ко мне!..

— Мамочка, что с тобой?..

— Со мной? А что с моим единственным сыном? Что произошло с моим сыном?..

— Ничего страшного, мамочка, ни-че-го... Целый день купался и жутко голоден...

— Куда ты дел моего сына?! Зарезал его, закопал, а теперь выдаешь себя за него?.. Не получится... Где мой сын? где?!

С. окаменел: не мог вдуматься и понять смысл материнных слов. Решил, что ошалел от жары. Инстинктивно протянул к женщине руку — погладить ее, странная такая, саднящая душу жалость объяла его...

— Не подходи! — по-звериному завывала мать.

С. лишь потом осознал и представил, какая жуть могла разыграться в комнате на третьем этаже; счастье, что он уже прошел в дом и стоял у окна с балконом, а не у двери, — дверь оказалась свободной, и мать, как безумная, с криком кинулась на лестницу — кинулась как в омут, как, отчаявшись найти спасение, прыгают с высокого этажа... Представить С. мог многое, очень многое: фантазией не обделен, но такое! Такое не могло присниться и в страшном сне.

И тут бывший мальчик, а ныне камень-мужчина разрыдался... Ничего еще не знал, но догадался, что с матерью, и с ним, и со всей их малой, но семьей произошло что-то страшное, непоправимое... Но что? С. плакал, долго плакал, будто похоронил уже тогда, в те жаркие, летние, а не осенние, холодные, как было потом, дни свою мать... Когда поднял голову, рядом стояла все та же соседка:

— Не хотели тебя пугать, говорить об этом, но Мария, мать твоя, сошла с ума.

— Сошла с ума?

— Думали, в прошлый раз было случайно, что после сумасшедшего дома...

— Сумасшедшего дома?..

— Да! Сумасшедшего дома, куда ее возили...

— Куда ее возили?!

— Думали, после сумасшедшего дома все пройдет. Пойдет на поправку... Но вот, видишь, снова все началось! Сегодня у всех высокое давление, а случается это у нее в такие дни...

Обухом по голове... За несколько минут беда свалилась на человека.

С. подошел к окну: мать стоит во дворе, у забора детского сада, и плачет. Как видеть такое? Кинулся было вниз, но соседка остановила:

— Не ходи... Один не ходи к ней!

— Не ходить?

— Да... не ходи. Она сейчас опасна! Приступ быстро пройдет. Но надо... надо вызвать психушку!

С. возмутился.

— Да вы что! Какую психушку?..

Сбежал к матери:

— Ма... ма... м-м-ма-ма... м-м-ма-м-мочка...

В ответ снова ненавидящий, безумный взгляд. И тут стало страшно, и он от взгляда, от ударной волны безумного взгляда попятился, дал слабину. Это было ошибкой: мать, увидев отступление врага, его слабость, вцепилась в руку С. (сколько сил оказалось в уже почти угасшей от болезни, полупарализованной женщине), потом ухватила сына за волосы:

— Где закопал тело моего бедного убитого мальчика?! Где?..

Психушка приехала вовремя: санитары отбили С. у матери. Впрочем, и отбивать особо не пришлось: как только Мария увидела людей в белых халатах, она по какому-то только ей ведомому опыту, только ей ведомому знанию о том, что сопротивляться бесполезно, как-то сразу сникла, как больная птица со склоненной вбок головой, заплакала и отпустила С. Миллионер посадил женщину в кофейного цвета воронок; Мария кинула на того, кого принимала за убийцу сына, торжествующий, но тут же ставший затравленным взгляд... Хлопнула дверца — машина тронулась.

А сын остался думать о том, что произошло на самом деле в его и материнной жизни. И позже он сидел в опустевшем доме и думал-думал.

Но так и не додумал до конца. Мешали слезы, жалость к себе и к матери. Сбежались прослышавшие о беде верные друзья; полчаса-час тягостного молчания — и понемногу-полегоньку на душе отпустило... Молодость! Она не любит, не переносит долгой и стойкой печали.

А утром, когда не без страха из-за вчерашнего С. пошел навещать мать, ничто при встрече не напоминало о произошедшем: матери только все время хотелось спать...

И С. тоже хотелось, когда вернулся со свидания, только одного: спать-спать. Так он не додумал тогда обо всей этой истории и о виновных в ней ни до середины, ни до конца: молодость все спешила жить, веселиться, любить и прощать...

Ни о чем не догадался он и чуть позже, через недельку-другую, когда в самом конце очередного свидания с матерью, уже после прощания с ней, к С. подошел невысокий, крепенький человек в стоящем торчком белом халате.

— Вы хотели побеседовать с лечащим врачом?

С. вздрогнул: вообще-то и в голову не приходило, что можно и нужно поговорить с врачом. Не привык еще быть взрослым. Но, устыдившись своей беспечности, промямлил:

— Да, хотел...

— Пройдем на улицу, за забор отделения, сядем на лавочку...

Сели. Разговор не клеился. С. все спрашивал о болезни матери, а врач — черт знает о чем, только не о лечебных делах. С. удивился: откуда врач знает так много о нем, мать, что ли, рассказывала? Но и мать откуда знает? Так они и расстались — врач и сын больной, не удовлетворенные друг другом. С. подумал только: не хотел бы никогда больше встречаться с этим врачом.

А вечером, когда собрались вместе с ребятами, С. был в истерическом ударе. Сел, изображая огурчика-врача, на стул и, проникновенно глядя в веселящиеся глаза зрителей, псевдоинтеллигентным голосом, с придыханием, но тем не менее произвольно жестковато вещал:

— У вас в Москве много знакомых иностранцев?.. Не много. Так только — сокурсники... Из Монголии и Болгарии? А я думал... Я думал, что уж в Мо-о-оскве-е-е! В Москве на каждом шагу иностранцы. С детства мечтал переписываться с кем-то из американцев (на секунду только долгий взгляд удава, затем улыбка: не берите, дескать, в голову, если очень нервный) или англичан (снова улыбка). Какое лекарство даем матери?! Да вы все равно не разберетесь в этом, бросьте, молодой человек — куда спешить?! Все, хм-хм-хм (С. бросает взгляд на невидимый, а лишь предполагаемый дурдом за забором), там будем... И вы (торжествующая уверенность в глазах): гены! Гены, мой друг! Есть наука такая... И я (абсолютное спокойствие по этому поводу). Говорят, в Москве выходят подпольные газеты. Никогда не видели?! В Москве-е?! Будущий журналист? Вообще не интересуетесь газетами?! Никакими? Странно-страшно... и даже ни одной запрещенной газетки не встречали? Ну, и молодежь! Молодость — это тяга ко всему честному, светлому, свободному. А знаете (шепотом), мать ваша оч-ч-чень, оч-чень волнуется за ваше будущее — берегите ее (с придыханием), берегите, одно неприятное сообщение о вас — и все, начинай сначала... Смирительная рубашка... Ой, что это я вас, такого нежного, пугаю?.. Забудьте-забудьте все, что я сейчас сказал.. Вот если попадется — мало ли что бывает... Газетка какая нелегальная — пришлите... По почте? Можно и по почте.

Под бурные аплодисменты С. низко раскланялся перед публикой:

— Об-б-язательно пришлю... С нарочным.

Хохотали до упаду: бенефис С. удался на славу. Посмеялись... На секунду-другую затихли почему-то, словно тень по комнате пронеслась (но какая тень — в летнюю азиатскую жару!) — и снова хохотать-танцевать...

С. поначалу танцевал как-то вяло, скованно — будто и не он, но потом разошелся и после долгих просьб показал свой коронный номер: танец на столе — ни одна рюмка, ни одна тарелка, ни одна бутылка не слетели. Веселись до упаду — веселись!

Когда С. бежал в Москву, все эти эпизоды вдруг сошлись в одну цепь событий. Он вспомнил еще: после дурдома никогда с матерью ни о чем таком не говорил, но в то лето, последнее лето ее жизни и лето их последней встречи, он все не мог оторваться от матери и со дня на день откладывал отъезд, а встревоженная женщина, уже почти готовая к самому худшему, осторожно спрашивала: «Почему ты не едешь в Москву? Тебя не исключили из университета?..»

Пронесло: все та же спасительная сила помогла С. — не исключили ни тогда, ни позже. Но сейчас — сейчас все стало понятно, почему мать,

уже давно скорее всего задетая крылом безумия, приняла его в то последнее лето за самозванца, за ненастоящего — лишь за двойника сына. Уже давно сын грубел, матерел, черствел, а она все видела в нем мальчика-с-пальчик, сладенького зайчика... Этого грубеющего-матереющего знала мало, а вот тот, прежний, был гораздо ближе, был понятен и знаком... Этот становился с каждой новой встречей чужим — совсем чужим, а тот, кто мысленно стоял перед ее глазами те сотни лет — от каникул до каникул-разлук, делался все родней и родней... Но какой же из них свой? По-настоящему родной? Настоящий? Может быть, все к этому шло и без помощи невидимок-видимок? А может быть, и нет, кто знает... Но встречи с ним и мать не выдержала, тем более что встреча была не первой: много лет назад они сослали — тогда еще девочку — вместе со всей семьей в степь.

И стало страшно... А когда на распределении хор дяденек и тетенок вяло спросил: «Ну, а вы, молодой человек, что думаете о своем будущем? Вернетесь домой?», — С. вспомнил, как добрая душа, инспектор курса, быстренько сунула ему в руку, уведя предварительно в самый темный, самый дальний коридор факультета, безымянную бумажку-запрос на одну человеко-душу, имеющую университетский диплом и столь нужную в медвежьем углу — Чалдоме, шепнула: «Там печное отопление, но тихо и прописка в Московской области». С. тогда услышал только: «тихо» и с ужасом: «печное отопление», а про прописку ничего не понял. Но сейчас, перед лицом хора, защищаясь, выпалил: «На меня есть запрос — в... в... (умоляющий взгляд на инспектора: подскажите название города)... в Ч-чалдом...»

Надо уползать-уползать в спасительный Чалдом! Уползать от себя, своей запутанности-никчемности, страхов, вечных страхов, которые он сам, может быть, и сочинил. Но месяц, целый месяц! Хотя бы месяц! Можно еще об этом не думать — и танцевать! Танцевать! Танцевать!

Смотрю на себя, летящего по-над землей, в жизни там. И все не пойму: как же случилось, что я, свободный и так любивший жизнь, ушел из нее?.. Может, моя бывшая земная легкость и объяснялась лишь тем, что я должен только запомнить и воспроизвести на космических матрицах своей памяти жизнь там, каждый ее малейший кусочек, запомнить-упомнить и воспроизвести для неизвестно кого жизнь людей, с которыми столкнула судьба?

...этот погибнет... эта удавится... эта сойдет с ума... этот сопьется... эта скурвится... этот будет просто тоскливо жить... этот... Перебирай все глаголы — и не переберешь!..

И все это — случайность?.. Случайность? Не слишком ли много случайностей на две сотни душ?

Вспомни-угляди от туда любого, подлети, загляни в его глаза... Что в них? Страх, страх, страх... И нет пути в будущее. Меченые! Меченые...

А случайность ли, что я тоже умру не от болезни, не от пули, не от голода, не от холода, а оттого, что устану жить? Надо будет угрохать столько молодых сил, чтобы выжить, а потом выбраться из Чалдома в Москву, зацепиться там... И вот когда, казалось бы, жить да радоваться, случайно невидимая пуля какая-то — из прошлого — настигнет! И не захочу больше жить! Не захочу танцевать!

Все это примет случайное обличье...

И вот теперь я лечу и лечу... Но почему затрясло от внезапно скрутившего предчувствия чего-то ужасного и непоправимого в этот раз?.. Неведомое, незнакомое, грозное и гигантское приближается и приближается. Куда бы увильнуть?.. Но нет воли, совсем нет воли... А это пугающее, грозное рядом... Удар... Еще удар... Куда-то падаю... Снова слу... слу... чайность?! Снова какая-то мета?..

Но есть ли я? Есть ли?..

Чем обреченнее, тем слаще...

* * *

Земли моей живой гербарий! Сухими травами пропах
ночной приют чудесных тварей — ежей, химер и черепах.
Час мотыльков и керосинок, осенней нежности пора,
пока — в рябинах ли, в осинах — пропащий ветер до утра
листву недолгую листает, и под бледнеющей звездой
бредут географ, и ботаник, и обвинитель молодой.

Бредут в неглаженной рубашке среди растений и зверей,
тщась обветшалый амфибрахий и архаический хорей
переложить, перелопатить, — нет, я не все еще сказал, —
оставить весточку на память родным взволнованным глазам,
и совы, следуя за ними и подпевая невпопад,
теньями светлыми, двойными над рощей волглою летят.

Чем обреченнее, тем слаще. Пространства считанные дни
в корзинку рощи уходящей не пожалеют бросить ни
снов птичьих, ни семян репейных, ни ботанических забот.
Мятежной твари оружейник сапожки новые скует,
на дно мелеющего моря ложится чистый, тонкий мел
и смерти тождество прямое ломает правильный размер.

Не зря ли реки эти льются? Еще вскипит в урочный час
душа, отчаявшись вернуться в гербарий, мучающий нас.
Пустое, жизнь моя, пустое — беречь, надеяться, стеречь.
Еще под пленкой золотою долгоиграющая речь
поет — а луч из почвы твердой жжет, будто молнии прошли
сквозь кровеносные аккорды угрюмых жителей земли.

* * *

1

Стало молчание золотом — влажный хаос языка
высох на солнце, проколотый, будто листок табака,

вскрылась в ларце червоточина, — но и пространству черед
сложенным стать, озабоченным — кто его скроит, прошьет,

кто сквозь замочную скважину — в доме уже никого —
крикнет, что стала разглаженной всякая складка его?

Ступятся ножницы, стукнется с лету в стекло воробей.
 Плакальщицей ли, заступницей встанет любовь у дверей,
 справа налево протянется ниточка жизни смешной.
 Речка, недвижимая странница, выбежит в город ночной.

2

Справа налево протянется ниточка жизни дурной,
 речь, неподвижная странница, город пронижет родной,

роща вздохнет онемелая, ветвь задрожит у огня,
 что я неправильно делаю? что ты берешь у меня?

Спят заведенья питейные. Время хмельное прошло.
 Надо бы выучить швейное, а не разрыв-ремесло

или уж — веровать в истину и ни черта не уметь —
 только широкими листьями в кроне дубовой шуметь

на расстоянии выстрела от лесопильных работ,
 там, где безумец у пристани чудную песню поет.

* * *

Всадник въезжает в город после захода солнца.
 Весело и тревожно лошадь его несется.
 Всадник звенит булатом, словно кого-то ищет.
 Не надрывайся, милый, не обессудь, дружище.

Город лежит в руинах, выцветший звездный полог
 молча над ним сдвигает бережный археолог.
 Стены его и рамы — только пустые тени,
 дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,
 стало могильной глиной, свалкою онемелой.
 В городе визг шакала, свист неумной птицы.
 Весть твоя опоздала. Некому ей дивиться.

Тень переходит в сумрак, перетекает в пламя.
 Всадник, гонец бесшумный, тихо кружит над нами.
 В пыльную даль летящий, сдавшийся, безъязыкий,
 с серой улыбкой, спящей на просветлевшем лице.

* * *

Декабрьское небо взъерошено,
 сомнительный воздух в груди,
 и ты, дорогая, не трожь меня,
 как Тютчев просил — не буди.

корявые дупла, извилины,
 палаты без ручки дверной —
 опора и дятлу, и филину —
 летающей твари земной.

Не он, говоришь?
 Микеланджело?
 Не ведая вечных забот,
 рассветной дорожкой
 оранжевой
 минутная стрелка ползет.

Прости недотепу, которому
 достался такой пьедестал,
 чтоб зимнему певчему ворону
 завидовать он перестал —

Но мокрой скатеркой
 полощется
 душа, обвисает без сил,
 влетая в промерзшую рощицу,
 в ряды молчаливых осин,

избавлен от тела тяжелого
 и час позабыв, и число —
 пусть дремлет, пернатую
 голову
 под черное спрятав крыло.

Доктору гуманитарных наук Александру Садецкому, предложившему автору беспроигрышный способ игры на рулетке

Раз, заехав в Баден-Баден
и оставшись на ночлег,
убедился я, как жаден
современный человек.
Там с пучками ассигнаций
муж, подросток и жена
с гнусным шулером толпятся
у зеленого сукна,
там иной наследник пылкий,
проигравшись в прах и пух,
смотрит с завистью в затылки
горжествующих старух.
И выигрывает шарик
миллионы в полчаса,
и Меркурий, как фонарик,
озаряет небеса.
Саша! Метод твой искусный
покорил меня давно,
почему же с видом грустным
я покинул казино?

Нет, к другой меня рулетке
тянет, тянет без конца!
Там покинутые детки
венценосного отца

без особенной охоты
покоряются судьбе,
не фортуне, а себе.
И царит над ними дама,
седовласа, как зима.
Кто она, мой друг упрямый?
Смерть? Гармония сама?
Улыбаясь, ставит крупно,
глядя в будущую тьму
по системе, недоступной
просвещенному уму.

Даже если Баден-Баден
наградит иной азарт,
если выиграть у гадин
вождеденный миллиард,
не ликуй, профессор Саша,
не гляди удаче в рот —
все равно царица наша
ту наживу отберет.
Лучше бедно жить и гордо,
добываясь до конца
превращенья грешной морды
в вид достойного лица.

* * *

Дорожащий неведомым, длинной рыжей ниткой на рукаве,
слов не вяжет, не помнит, знай бусинки ниже,
озираясь на две
удрученные вечности, горькую с мокрой, словно злая слеза.
И от солнца, летящего в пыльные окна,
прикрывает глаза.

Современникам, сцепщикам — быть молодыми,
видеть Лондон и Рим,
Незаметно умрешь, не расслышанный ими,
станешь ветром сырым
вырывать у растяпы на улице вешней
драгоценный билет
в первый ряд поздней осени, жизни кромешной,
в розовеющий свет.

Но не будет спектакля. Ни жеста, ни слова.
Ни меча-кладенца.
Засвистишь по привычке — смешно, бестолково, —
и уже до конца
шорох, шелест, обиженный шепот метели
станут речью твоей,
мелкий горный ручей в середине апреля —
пир воды и камней.

* * *

Законы физики высокой
мы постигаем с каждым днем:
крошится зуб, слабеет око,
вот-вот сорвемся, поплывем

мирами газовых скитаний,
и смерть положенной порой
стоит не райскими вратами,
а гнусной черною дырой.

Я огорчил тебя? Ну что ты!
Жизнь — это жизнь, ее не след
судить за ямы и пустоты
в вокзальной очереди лет.
Ведь умный физики не знает
и в биологии не спец.

Он незаметно умирает
и воскресает наконец.
Не узнаваемый живыми,
сжигает звезды по одной
и забывает даже имя
своей печали ледяной...

* * *

В долинном городе — пять церквей,
нестроен воскресный звон.
Вокзал дощатый давно в музей
истории превращен.
Здесь нет бездельников, нищих нет
и мало кто смотрит вслед
несущей в гору велосипед
красавице средних лет.

За длинным списком былых удач
и глупостей, за горой
далек и тих паровозный плач,
хрипящий, глухой, сырой...
И только рыбы спуют, легки,
в потоках прозрачной тьмы
и друг за другом бегут холмы
по кругу вперегонки.
Не убивайся — когда оглох
Бетховен, забыл ли он,
что после эха следует вдох
и после молчанья — стон?
Дождись рассвета, проси дождя,
стальным колесом стучи,
опровергая и бередя
усвоенное в ночи.

Лавируя, выгибая хвост,
форель говорливых вод
немой свидетельницей плывет
среди охлажденных звезд.
И расстилается низкий вой
гудка над речной травой,
и заглушает его раскат
невидимый водопад...

* * *

Тонких нот звуковой лепрозорий,
крючковатые оси ключей,
отворившие зимние зори,
и прославленный воздух ничей,
словно склеп, словно вены, в которых
бедный свет среди серых пустот,
тяжелея в немых разговорах,
виноградным дыханьем растет —

и в ночах опаленных, опальных,
где закат в темноту перелит,
сочинитель игрушек хрустальных
пересохший язык шевелит...
Не усвоив его партитуры, —
кто в меху, кто в защитном сукне, —
русской речи слепые фигуры
безнадежно толпятся в окне,

и за ними — за спинами, снами
и горбами — гремит неживой,
развернувший венозное знамя
прокаженный оркестр духовой,
знаменатель играет в числитель,
тонут ноты в цифири густой,
не умея создать заменитель
раскаленной мелодии той...

* * *

Пой, шарманка, ушам нелюбимым — нерифмованный воздух притих,
освещен резедой и жасмином европейских садов городских,

подпевай же, артист неречистый со зверьком на железной цепи,
предсказуемой музыке чистой, прогони ее или стерпи,

что ты щуришься, как заведенный, что ты слышишь за гранью
в голосистой вселенной бездонной и короткой, как дождь
проливной? земной,

Еле слышно скрипят кривошпы, шестеренки и храповики,
шелестят елисейские липы, нелетучие ноты легки,

но шарманцику и обезьяне с черной флейтою наперевес
до отчаянья страшно зиянье в стреловидных провалах небес,

и сужается шум карнавала, чтобы речь, догорая дотла,
непослушного короновала и покорного в небо вела.



Лики бессмертной в л а с т и

РОМАН

ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ

LXXV

Природа не выдерживает покоя; бесконечность статична, мертва лишь в воображении; точно так же и человек -- жив лишь, пока движется (душой ли, физически ли), и, пока жив, как и без воздуха и воды, не может обойтись без этой насущной потребности движения. Феодосий, словно вдруг что-то подтолкнуло его. — подтолкнуло же только одно: неопределенность, с которой надо было покончить, — сперва резко, как на нечто помешавшее ему, обернулся на мать и лишь затем, смиряясь, нехотя поднялся и, не произнося ни слова, что само по себе уже не по-христиански, не по-евангельски, принялся разглядывать ее. Высокий, худой, до изнурения успевший уже довести себя, в долгополом, ветхом монашеском одеянии с колючей власяницей под этим одеянием, он, как жердь, стоял перед матерью, явившись будто с того света к ней и не желавший узнавать ее. Лицо его, заросшее рыжеватой бородкой, еще мягкой, еще только оформлявшейся, как это и бывает у молодых людей на переломе взросления, казалось темным — то ли обветренным, то ли загорелым -- от падавшего со спины света, и точно такими же темными казались его нестриженные, невымытые и нерасчесанные волосы, подхваченные на лбу сыромятным кожаным ремешком и россыпью спадавшие по спине и плечам; что-то застарело несвежее, неопрятное, помятое было во всем его облике, нестираное, невымытое (кстати, как утверждает Нестор, за все время пребывания в печерском монастыре Феодосий мыл только руки, и не мыл ни тело, ни голову, и просил таким же невымытым похоронить его, что и было исполнено), и особенно бросались в глаза его босые, с коростами и болячками ноги. Он только что, перед появлением матери, выходил из пещеры, и полы его одежды, и ноги были мокрыми, были в грязи и некоего красноватого, словно отмороженные, оттенка, и только от вида этих ног, на которые и смотрела теперь мать с ужасом и не отрываясь, — только от вида этих босых, в струпьях и болячках ног что-то словно отрывалось и замирало в ней.

Но Феодосий не замечал этого состояния матери и не только не смущался сего своего затрапезного вида, но, напротив, был даже горд и держался, вернее, старался держаться перед матерью так, будто и в самом деле достиг величия и славы в услужении Богу, будто для смертного, как он, нет и не может быть ничего выше, чем подобная святость. в какой пребывал он. У матери же, однако, было иное впечатление. Она, как и подсказывал ей здравый рассудок (ее естественное, реалистическое восприятие мира), сейчас же перенесла все в область физических страданий, и святость, коей пытался гордиться сын, обретала для нее лишь смысл болезни, затяжной, принявшей опасные формы, и немедленно, сейчас, здесь надо принять меры; с житейской простотой она подумала, что хорошо бы помыть, переодеть и накормить его, то есть о том, о чем думает всякая мать, встретив избегавшегося и отощавшего сына, и движимая желанием приласкать

его, погладить все еще кажущуюся ей детской головку, обнять и прижать к груди это исхудавшее родное тельце, — движимая лишь этим материнским желанием шагнула было к нему, протянув руки, но Феодосий, как от чумной, откачнулся от нее, испуганно забежав перед собой глазами. «Молись, — затем произнес он, обернувшись на распятое и снова на мать. — Молись, молись, — даже вроде бы заговорщицким шепотом повторил он, словно перед ним стояла не мать, а грешница. вина которой и известна, и доказана и которой еще давался шанс покаяться и спастись. — Господь всемиловит, но он не признает ни родства, ни праздности, мы все равны перед ним. Молись!» И, чтобы подать пример (главное же, не натолкнуться на возражение и не втянуться в разговор, который, он знал, как трудно было вести с матерью), Феодосий, крестясь, опять опустился на колени перед распятым.

Он молился истово, беззвучно, вскинув глаза на Христа, пламя свечи, вздрагивая, освещало его шевелящиеся губы, как освещало и все лицо, и распятое, и перед матерью, продолжавшей растерянно стоять позади его, вновь открылась та изначальная и столь поразившая ее картина, когда под нависавшим изображением Иисуса, мучившегося на кресте, зачерненным сторбленным пятном бугрилась застывшая словно бы в сострадании к Спасителю фигура ее сына. Теперь в ней не возникло уже сомнений; ей лишь странным казалось, что отчего же, если Христос принял страдания за людей, продолжают мучиться люди, в чем здесь смысл, где истина и, главное, для чего нужно Богу отнимать у нее сына? Она не понимала и не хотела понимать этого; стержень жизни, если так можно назвать духовную силу человека, — стержень этот еще не был ни надломлен, ни согнут в ней, и она, выжидательно глядя на сына, на его вроде бы озорство или причуду, которым так ли, иначе ли, но наступит предел, искала лишь повод, чтобы вступить в разговор. Ей нужно было чем-то заняться, и она то присаживалась на чурбак, то вставала и, отряхнув юбку, присаживалась опять; когда же, раздраженная ожиданием, решительно направлялась к сыну, жестом прося не мешать ему, Феодосий торопливо и с непоколебимой и, казалось, железной стойкостью произносил: «Молись!» — и еще истовее, чем только что, поражая и покоря этим мать, начинал креститься на распятое. Он продельвал это всякий раз, едва она порывалась подойти к нему, с удовольствием, видимо, ощутив в себе это упорство и наслаждаясь им, и ни слезы, ни мольбы матери, с какими она приступала к нему, не могли ничего изменить в нем. Наконец, когда подошло время трапезы (было уже достаточно за полдень), он поднялся и, не глядя на мать, тихо, словно бы для себя произнес: «Хватит, устал я. Устал», — и, опустив голову, теперь уже выжидательно стоял перед матерью. Принесший еду Антоний — кусок черного хлеба, соль, лук, воду в кружке (сочиво, как называлась горячая пища, готовилось монахами лишь раз в неделю), — Антоний тоже стоял здесь же по предварительной будто бы договоренности с Феодосием, и, оказавшись между этими двумя строго смотревшими на нее отшельниками, мать Феодосия невольно попятилась к выходу, не находя ни что сказать сыну, ни что Антонию и только растерянно извиняясь и кланяясь им. Она хотела попросить, чтобы разрешили прийти завтра, и, когда Антоний, вышедший вслед за ней из пещеры, чтобы проводить до ворот монастыря (в ту пору еще условных), сказал ей, что она может прийти и завтра, и послезавтра, — схватив его руку и обливаясь слезами, она принялась торопливо целовать ее.

LXXVI

На следующий день, когда она утром пришла к сыну, все, что происходило с ней накануне, — все повторилось в тех же подробностях. Точно так же Антоний провел ее по слякотной дорожке до пещеры сына (лишь в дополнение будто моросил нудный осенний дождь, и от реки по низу, по-над землей, скользил ветер, клоня бодылья, взвихриваясь на уступах и полоща концы приподнятой юбки); точно так же сын встретил молитвой перед распятым и выдерживал, пока хватало сил, а когда она решалась заговорить, предлагал лишь, опустившись на колени перед Спасителем, мучившимся на кресте, молиться, молиться и молиться; и точно так же, едва подошло время трапезы, восклицанием «Устал, хватит» и с просьбой оставить его выдворил ее из пещеры, передав Антонию, чтобы проводил до ворот. Это же повторилось и на третий, и на четвертый день, и только в конце недели,

словно бы смилостивившись наконец над матерью, усадил ее перед собой и словами Евангелия, не позволяя ни в чем перечить себе, принялся излагать суть монашеского бытия. Он говорил с убежденностью, как если бы, кроме истины, какую преподносил, и в самом деле не существовало на свете иных, как не существовало будто бы и земной жизни для человека, а были только соблазны, было только — испытание, посылаемое Богом, чтобы затем по результатам воздать каждому. Он уличал ее в заблуждениях и указывал путь к спасению, еще вполне возможному, если, отказавшись от благ переходящих, она предпочтет получить вечные и посвятит себя служению Богу. Наконец, прямо сказал, что должна постричься в монахини, и для убедительности добавил, что только в таком случае обещает видеться с ней.

Убеждения одного вряд ли возымели бы столь быстрое воздействие, если бы не подключились к делу Антоний и братия, уплотняя рассуждениями своими, своими внушениями тот обруч безысходности вокруг нее (пока лишь словесный), который и сковывал ум, волю и принуждал к послушанию и смирению. Антоний читал ей наставления Христа из Апостольской книги, давал толкования вместе с братьями, словно бы случайно поочередно заходившими к нему, перед ней открывалась божественная картина мироздания, и сорокалетняя, полная еще жизненных сил женщина, лишь полторы недели назад решительно заявлявшая, что сын ее околдован, что она откроет ему глаза на истину и вырвет из нечистых, злых рук, — сломленная, напуганная муками ада и ободренная возможностью спасения, она припала к ногам Антония и с мольбой начала просить его, чтобы поручился за нее и порекомендовал в один из ближайших женских монастырей для пострижения. «Не ко мне, нет, к Богу, к Господу нашему», — отстраняясь от почестей, хотя они и приятны были ему, сказал он и послал за Феодосием и Варлаамом, тогдашним (после отбытия Никона в Тьмутаракань) игуменом монастыря. Варлаам предложил отслужить благодарственный молебен, благословил мать Феодосия, похвалив за мужество, так как более чем знал, что означало добровольное монашество, и затем все втроем, радуясь за ее слово бы состоявшееся уже спасение, вновь воздали хвалу Творцу. Тут же был определен монастырь, в котором ей надлежало принять пострижение, — монастырь святого Николая, что на Оскольдовой мопиле (так называлось место, где в свое время он был возведен), и на который предлагалось отписать все движимое и недвижимое имущество, не оставив для себя ничего, кроме миски, ложки и ковша, чтобы было из чего поесть и попить, и Феодосий, теперь уже сам пошедший проводить ее до ворот, впервые в этот знаменательный будто бы для него вечер позволил обнять себя.

Им, видимо, казалось, что они не прощались, а только расставались, чтобы, обустроившись (это относилось к матери), начать новую и более уже по-родственному (что было точно так же мечтой и надеждой матери) жизнь. И все же сквозь радость, скорее насильственную, чем естественную, потому что, собственно, чему же было радоваться достаточно еще молодой, полной сил и решившей запереть себя в монастырских стенах женщине, — сквозь радость поминутно на глаза наворачивались слезы, и она вдруг начинала смотреть на сына так, словно спрашивала: не обманул ли он ее, не насмеялся ли над ней преподобные Варлаам и Антоний? Сомнение возникало лишь потому, что слишком уж убогими выглядели и одеяние, и вся обстановка жизни, в какой вынужден был пребывать сын; она не могла забыть его босых, с коростой и болячками ног, его скудной, источающей плоть пищи, сырых пещерных стен и запаха немытого человеческого тела, ударившего ей в лицо сначала у Антония, затем и в жилище сына. Но Феодосий, как и в предыдущие дни, оставался жестким, неумолимым. Со словами «Бог милостив» он хотя и с трудом, но все же отстранил от себя мать, а потом долго еще стоял, глядя ей вслед и невольно возвращаясь к тяжелым и обычно нежелательным для него размышлениям. Над землей по всему неохватному горизонту низко плыли набрякшие дождем осенние облака, и под ними, как под огромной шатровой крышей, выступали словно бы из мглистого месива стены древнего Киева, очертания великокняжеского и монастырских строений с приютившимися вокруг них жилищами мастерового и торгового люда и куполами церквей и соборов, которым навсегда будто бы предначертано подпирать своими крестами небо. Ничего необычного вроде бы не было для Феодосия в этой картине (разве что удалявшаяся мать, на которую продолжал смотреть); и стены, и строения, и вся мглисто-пустын-

ная даль, — все было и привычно, и знакомо; и вместе с тем он смотрел сейчас на все с жадностью, как смотрел, может быть, только на мученический лик Христа, распятого на кресте, и прежде заглушавшая им мысль, что нет в отдельности ни преходящей (на земле), ни вечной (там, за чертой) жизни, а есть только одно неразделимое целое, составляющее мир бытия, — мысль эта вновь, словно огнем, опалила его; вечность там, но вечность и здесь, и, как стоял Киев до него, Феодосия, так и стоит и будет стоять; и будут в нем обитать люди, будет жизнь, раздираемая, добавим к слову, противоречиями и самоуничтожающая (для чего-то?) себя. И как ни покажется кому-то подобное невероятным или странным, но не проводами матери, не драматичностью самой этой минуты прощания (ведь что-то сыновнее должно же было быть в нем), а лишь унылостью картины, тянувшейся к горизонту, и мыслью о единстве бытия, ставившей под сомнение преходящее значение человеческой на земле жизни (может быть, от рождения и до смерти человека это и есть для него и вечность, и бессмертие?), — этой именно унылой картиной и мыслью и запомнился Феодосию сей словно застывший в нем, как застывают мгновенья, зафиксированные в словах, сырой, холодный осенний вечер.

Едва он вернулся в пещеру, как тут же припал к распятому и простоял так, молясь, более чем до полуночи, пока силы вконец не оставили его и пока, каясь (все же была потребность покаяться за содеянное!), не почувствовал, что чист душой и перед собой, и перед Богом и что готов вновь безропотно принимать свои иноческие лишения. Разумеется, он не сразу забыл о матери: но ведь монастырское бытие, как и всякое иное — житейское ли, светское ли, государственное ли, — столь же вовлекает человека в круг своих однообразных будничных дел, за которыми, вернее, за исполнением которых не то чтобы забывается, что, кроме означенного, есть еще мир, не менее наполненный человеческими страстями, и что он тоже — под десницею Божьей; чтение молитв, истязание плоти и онова круглосуточное почти стояние перед распятым, — да не для того ли все это, чтобы человек не помышлял о мирском? Несколько раз у Феодосия все же возникало желание съездить в монастырь святого Николая и справиться, как устроилась там мать, он даже намечал дни, когда бы мог сделать это, но затем, занятый своими делами (к тому времени он уже был избран игуменом монастыря вместо перешедшего в другой монастырь, Киевский, Варлаама), переносил срок поездки то на осень, то на зиму, то на весну; и, пока намечал и переносил, не тревожа душу и не испытывая ни сомнений, ни угрызений совести, из женского монастыря пришла весть, что мать его, инокиня Ксения, тихо, умиротворенно почилла в день престольного торжества и что тело ее предано земле сразу за церковью, на монастырском кладбище. Весть была столь запоздалой, что ехать туда было уже бессмысленно, и Феодосий только помолился за упокой ее души, снимая тяжесть со своей. Он так и не нашел время выбраться к ней на могилу и помолиться, и, утешаясь мыслью, что придет час и в вечной уже жизни он наконец соединится с ней и что Божья благодать осенит их родительское и сыновнее счастье, — утешаясь сей важной для него мыслью, даже не пытался прилагать усилий, чтобы узнать хоть какие-либо подробности об иноческой жизни и кончине матери.

LXXVII

Да, мать Феодосия и в самом деле умирала тихо, умиротворенно будто, никого ни о чем не просила, не вспоминала ничьих имен и ни разу даже не обмолвилась о сыне, с которым либо уже не надеялась, либо не хотела повидаться, и пожилая черница, посланная прислуживать ей в келье (черница эта была своего рода специалистом по подобным делам, и ее приставляли к умирающим и в монастыре, и в миру), была более чем довольна кротостью новопостриженной сестры, инокини Ксении. «И вовремя соборовалась, и схиму приняла, и все безропотно, с покорностью и в здравом рассудке», — делаясь впечатлением, говорила черница, словно и впрямь было что-то особенное в том, что «безропотно» и «в здравом рассудке». Скоротечная же история ее была, в сущности, так проста (и столь предсказуема, вполне можно было бы добавить), что иного исхода и нельзя было ожидать от подобного резкого поворота судьбы. Уже на следующее утро после того, как она распрощалась с сыном, ближе к полудню за ней была послана подвода,

а к вечеру, далеко оставив позади себя и Киев, и пещерный (печерский) монастырь, в котором, припав перед распятым на колени как раз в эти часы молился Феодосий, она въехала в ворота своей будущей обители. Ворота захлопнулись, навсегда отгородив ее от прежней, мирской жизни, две монахини провели ее к настоятельнице, где она тут же подписала отречение от всей своей подвижности и неподвижности, остававшейся в Курске, а на другой день между заутреней и обедней ее провели в невысокую монастырскую церковь, сняли цивильное, одели в иноческое и усадили на скамью для пострижения.

Не знаю, может быть, это было только ее впечатление, но она как-то сразу словно бы присмирела и душой, и телом, ощутив на себе непривычное, показавшееся ей холодным и колким монашеское одеяние. Ей подали текст, который она должна была прочитать, давая обет перед Богом, но руки сейчас же задрожали, как только книга оказалась у нее, глаза налились слезами, буквы поплыли, слились, и она, чувствуя эту свою беспомощность, стесняясь ее и еще больше расстраиваясь, не могла вымолвить ни слова. Ее не принуждали, нет; но едва только, успокоившись, принимала из рук святителя книгу, все вновь начинало плыть перед глазами, так что в конце концов, чтобы не потерять времени, игуменья сама взялась прочитать текст, а будущая новопостриженная раба Божья Ксения лишь повторала за ней слова, не в силах ни вникнуть, ни понять их, а только чувствуя некое их божественное будто бы начало, некую (чью-то!) власть, смыкающуюся над ней. Сестры-монахини отвели ее затем под руки в келью, зажгли свечу перед ликом Богородицы в ризе с младенцем Христом на руках (образок показался ей, как две капли воды, похожим на тот, какой она видела на столике в пещере у Антония) и, посоветовав помолиться перед этим светлым ликом, ушли, оставив одну свыкаться с новым, непривычным и тяжелейшим иноческим бытием. Может быть, если бы она умела, она сразу бы погрузилась в мир молитв, чтобы забыться в них, подменив жизнь естественную, реальную жизнью иллюзорной, придуманной, в которой есть только духовное, соединяющееся с Богом, и нет телесного, то есть физического; но она еще не умела так молиться, не умела предаваться до самозабвения воображенным картинам и переселяться со всей своей реальностью в тот хотя и красивый, полный благоденствия, но нереальный мир; по-житейски просто, как если бы все заключалось в переезде из одного дома в другой, она осмотрела келью и, найдя ее достаточно приличной (во всяком случае, не столь ужасающе убогой, какими помнились ей жилище Антония и жилище сына), решила прилечь, чтобы отдохнуть от преследовавшего ее все эти дни физического и нравственного напряжения.

Человека более всего обычно беспокоит неопределенность. Для инокини Ксении неопределенности уже не было, жизнь ее определилась — в лучшую ли, худшую ли сторону, пока не думала, не хотела думать; главное, сын был рядом, по крайней мере так ей казалось, и самой уже возможностью видеть его оправдывалось все, на что она решилась, приняв пострижение. Нужно теперь только приспособиться, прижиться в этой новой обстановке, что было делом времени, и, самоубаюкиваясь сим обнадеживающим будущим, она не заметила, как заснула спокойным впервые за последние две недели глубоким, умиротворяющим сном. Ни на вечернюю молитву, ни на вечернюю трапезу не стали поднимать ее; игуменья сама заходила к ней, чтобы убедиться в ее безмятежности, и, воздав хвалу Господу, умеющему укреплять слабые души рабов своих, не велела трогать ее. «Еще уснет», — затем тихо, про себя, добавила она, разглядывая полное еще мирских красок лицо спавшей Ксении. Как ни строга, как ни безжалостна, казалось, была игуменья, но в ней нет-нет да и просыпалось нечто человеческое, делавшее ее отзывчивой и доброй. Она с жалостью смотрела почти на всех, поступавших в монастырь, особенно на молодых, которым жить бы да жить, рожать детей и радоваться семейному счастью, но которые по разным, конечно же, причинам (да и не всегда знавшие, что их ожидает) обрекали себя на затворничество, то есть если не на физическую, то на духовную, это уж наверняка, смерть.

Сестру Ксению, так ее теперь называли, разбудили, когда было еще темно, и велели идти к заутрене. В небольшой каменной церквушке с сырым, холодным полом и сырыми, холодными стенами она более трех часов простояла, слушая проповедь, духовное пение и молясь. Ее поставили в по-

следнем ряду, рядом с дверью, от которой тянуло сквозняком, да так, что в конце службы ее трясло, словно в лихорадке; потом скудная, хлеб да вода, трапеза и опять молитва, но уже в келье; потом ее посылали чистить и топить печи в обители (попасть на кухню надо было еще заслужить такой чести), убираться у игуменьи, тереть шерсть на копытца (на носки, вязавшиеся монахинями для продажи), носить с речки воду и еще, еще на множество разных, коих всегда не счесть в большом хозяйстве, дел, а между ними, едва выпадала свободная минута, надо было вновь вставать на молитву и восхвалять Господа. После вечерней службы и трапезы она не чувствовала уже ни рук, ни ног и не испытывала никаких иных желаний, кроме одного — поскорее добраться до постели. В первый же этот день своей иноческой жизни она более чем почувствовала, что означало отречься от себя и принадлежать Богу; что бы ни заставляли ее теперь делать, все связывалось с ЕГО именем, и нельзя было ни возразить, ни ослушаться ЕГО; нельзя было, во-первых, потому, что брался на душу тяжкий грех, который затем за всю переходящую земную жизнь едва ли покаяниями и молитвой можно будет снять с себя, и, во-вторых, ослушницу могли подвергнуть епитимье, что считалось уже наказанием не от людей, а от Бога. И на второй, третий, пятый день все повторилось в том же порядке, а затем потянулись недели, месяцы сего бессмысленного нравственного труда, и, прежде живая, энергичная женщина, Ксения вдруг поняла, что у нее не только было отнято ее прошлое, но отнято будущее и что самой надежды на встречу с сыном теперь уже не было у нее. «Господи, ты отнял у меня сына, зачем же отнимаешь у меня жизнь?» — молясь, произносила она, не желая еще верить в открывшееся, еще сомневаясь и стараясь вернуться к надеждам, питавшим ее. После того как она исповедалась, — очистилась душой, вернее, облегчила душу, то есть после того, как о ее тайных страданиях узнала игуменья, а через нее и многие близкие к ней сестры-монахини, Ксения еще яснее ощутила стену, кем-то возводившуюся уже не только между ней и жизнью (жизнью вообще, то есть мирской, какой она жила прежде), но и между нею и Богом, которому служила и который в лице ли сестер-монахинь, в лице ли келарши или игуменьи, призванных будто бы выражать ЕГО волю, не слышал ее. И стена эта — нет, отнюдь не была воображенной; она была реальной, хотя и невидимой и невесть будто из чего состоявшей, и, как слепой, немощный котенок (что случается иногда и с народами, обманутыми щедрыми посулами), тыкалась в нее, не находя ни просвета, ни щели, через которую можно было бы выбраться на простор и облегченно вздохнуть. Она ни с кем уже не делилась мучившими ее сомнениями, и всплеск чувств, прежде, как вулкан, вырывававшихся из нее, теперь непомерной тяжестью оседал в ней, она все более замыкалась, ей по неделям не хотелось ни с кем говорить, и в то время как игуменья казалась, что Ксения смирилась, что кротостью и воздержанием обошла многих в обители, — с ней происходило лишь то, что происходит со всяким человеком или обществом, когда болезнь не лечится, а загоняется вглубь, особенно если дело касается нравственных начал или основ жизни. Лицо ее обескровилось, она спала телом, как говорили о ней, и до того ослабела, что несколько раз, не выдержав многочасовых молений, падала в бессознательном состоянии на пол. Ее относили в келью, крестили образом Богородицы, зажигали у изголовья свечи, но запоздалое сие внимание уже не трогало Ксению, и, когда в очередной раз ее уложили в постель, она уже не смогла встать и, ни на что не жалуясь и ни о чем никого не прося, тихо, умиротворенно именно, словно избавления, ждала смерти.

LXXVIII

Бог прибирает людей, народы, государства, и сколько их за века кануло в небытие — насильственно ли умерщвленных, обманно ли, или решившихся добровольно (от невыносимости жизни, конечно же, да, да, от жесточайшей невыносимости и неприемлемости навязывавшихся основ) покинуть сей мир? Тихо ли, без внешних ли проявлений борьбы, гордо унося с собой тяжесть неотмщенных обид, или буйно, с желанием справедливости и возмездия (что, по сути, неисполнимо и делает нас лишь смешными), — кто может сказать, что достойно и что недостойно, если никому еще, ни отдельным личностям, ни народам, ни государствам, обреченным на гибель

и смерть, не удавалось отвести от себя всеильную руку Творца; и если на всякую человеческую смерть, как и смерть народов и государств, смотреть не с точки зрения покойного, которому уже все равно, что останется после него на земле, а с точки зрения живущих, то уважение обретает тот, кто не оставляет свою боль для мучения других, а уносит с собой в могилу. Так умирают в большинстве своем люди простые (невольно напрашивается: сильные), полагая, может быть, что и в самом деле облегчают участь остающихся жить, и не подозревая даже, что то очевидное будто бы благо, какое приносят своим молчанием, вовсе не благо, а лишь неотвратимое наказание, каково, если перелистать страницы истории, только и заслужило человечество за свою жестокость и равнодушие к страданиям ближнего. В могилу уносятся не обиды, нет, а опыт жизни — тот единственный, какой обретается не заучиванием проходных истин, не зубрежкой канонов или исследованиями понятий добра и зла (что само по себе, разумеется, имеет смысл как приложение к главному), а познается в трудах и общении, неся в себе истинный заряд реализма, и, не получая этого заряда, этих генов мудрости, поколения за поколениями вынуждены проходить все тот же протоптанный уже предшественниками на земле круг и повторять те же ошибки — столь вроде бы очевидные и столь элементарные, — от которых, как от колоды на шею, повешенной властителями, столетья ждут и не могут дожидаться избавления и личности, и народы, и государства (хотя ведь разве нельзя бы, осмотревшись за те же столетья и разобравшись во всем, не подставлять с покорностью шею под подобного рода пусть даже просто идеологическое, которое, впрочем, куда страшней, чем социальное ярмо?). Но пока разумом своим дремлют народы, не дремлет власть; этот вечный сеятель зла, это крапивное семя, столь очевидное лишь в великокняжеских будто бы, царских проявлениях, на самом деле так широко рассеяно по миру, что трудно бывает иногда даже предсказать, в ком и при каких обстоятельствах оно может прорасти до глобальных размеров. Если где-то и в чем-то происходит на земле противостояние, то в центре его непременно окажется стремление получить богатство и власть. Это только принято говорить, что люди гибнут за металл; гибнут они не за металл, а за то, что стоит за этим металлом, — власть, власть жестокая, непримиримая, безраздельная, толкающая людей и на насилие, и на унижение, лишь бы затем (пусть даже просто ради власти, как это в большинстве своем и бывает среди правителей, включая и духовенство, эту идеологическую надстройку общества), — лишь бы наслаждаться затем своим божественным возвышением над простолюдьем.

Жестоко обманувшись и вполне осознав свой обман, мать Феодосия между тем даже отдаленно не представляла себе, кем, от чьего имени и с какой целью был преподнесен ей сей страшный подарок. Не просто же сыном, не церковниками, которые и сами-то — лишь исполнители, лишь инструмент некой направляющей мысли, некоего стержня, что ли, воплощенного в понятии «власть» и еще до появления христианства начавшего закладывать для себя основу бессмертия; нет, ей даже отдаленно не приходило в голову, что может существовать некий стержень, некое корневище, угнездившееся на теле естественной человеческой жизни и поражающее недугом величия (ведь бессмертие не само по себе, а в преемственности) обыкновенных, простых, смертных людишек. Ложь, насилие, интриги, фарисейство в быту и делах державы, — всё, всё, все атрибуты зла ради услаждающей минуты возвышения; даже узурпаторство, даже отцеубийство или детоубийство, как водится это у коронованных особ (и водится среди народа, только не фиксируется историей); и это, что узаконено в миру, еще железнее узаконено в сфере духовной, то есть в идеологии, где от века и донныне (и безоговорочно) поделено все на пастырей и паству, на Творца, представленного верхушкой иерархов, и Божьих послушников, рабов, долженствующих лишь внимать и не прекословить ни в чем. Человек скрывает и свои прелести, и уродство под одеждой. Но есть еще одежда для человечества, и одежда эта — идеология; ею прикрывается все противоестественное, что происходило, происходит и задумывается в общественной жизни для блага одних и ущемления права других, преступления выдаются за благодеяния, а преступники, попортившие народ, при этом чем больше, тем лучше, возводятся на исторический пьедестал; и не кощунственно ли после этого звучит, что смерть примиряет людей, уравнивает их в правах и успокаивает

их страсти и что о покойнике следует либо молчать, либо говорить только хорошее, как это и происходит на царских ли, на иных каких-либо похоронах? Не фарисейство ли это, причем у гроба да к тому же возведенное в ранг приличия? Но если поступки владык, обычно обрастающие тайной, хоть через столетия, но предстают перед взором людей в их истинном свете и значении, то эти же поступки, трагически отразившиеся на судьбах простолудинов (а ведь мы признаем, что каждый на земле человек одинаково наделен способностью радоваться и страдать) и представляющие собой ценнейший урок жизни, — поступки, отраженные в судьбах простолудинов, закапываются вместе с покойным в землю, чтобы навсегда раствориться там. И в церкви, в которой лишь чуть больше года назад ее постригали в монахи, и затем на кладбище перед тем, как опустить гроб на веревках в могилу (для чего специально были приглашены в монастырь люди), — об инокине Ксении говорили только доброе, восхваляли ее иноческий подвиг (хотя, в чем он состоял, никто толком не смог бы ответить) и, видя в страданиях лишь то естественное, что посылается будто бы Творцом для испытаний, радовались за покойную, что она столь безропотно, с достоинством и хвалю Господу на устах прошла выпавший ей на долю земной путь.

Так думала игуменья, так думали монахини, отпевавшие Ксению в церкви, а затем пришедшие на кладбище и торопливо крестившиеся при виде опускавшегося в могилу гроба (нет более траурного зрелища, чем монахини в черном, венцом стоящие вокруг могилы и гроба); так думал и Феодосий, когда, получив спустя несколько недель весть о смерти матери, удалился к себе в пещеру и, опустившись на колени перед распятым точно так же, как встречал мать, то есть спиной ко входу, молился за нее и воздавал хвалу Господу. Понимал ли он, за что хвалил Господа? За что вообще было хвалить его? И понимал ли значение той миссии, той своей роли, какую выпало сыграть ему самому в этой, по сути, страшной семейной драме; драме народа, если признать, что всякое обобщение состоит из сложных частных и что по обобщениям (и с фарисейской ссылкой на них, как на некое будто бы проявление желаний и воли народа) складывается и социальное, и нравственное устройство государственной жизни? Нет семьи — первоячейки, первоосновы жизни, — нет и не может быть ни народа, ни государства, как, впрочем, и без права собственности на землю, когда людям не за что бороться и нечего защищать; могущество державы, да какое уж тут могущество, пусть даже просто благополучие, — разве может оно хоть когда-либо наступить, если власть предрержащие из века в век с помощью испытанных, а теперь новых и новейших идеологий только и делают, что стремятся как можно больше народа, предварительно до нитки обобрав его, переместить из жизни земной к вратам вечного рая? Нет, мысль сия, как она была недоступна Феодосию, так и сегодня остается недоступной многим и многим, может быть, даже искренне полагающим, что только в страданиях и через них обретается нравственность и что спасение, достигаемое лишениями, аскетизмом, молитвой, — что спасение выше жизни, а потому и думать надо не о жизни, но о спасении и стремиться к нему. Я не теолог и не верю во всеобъятность человеческого познания; но по тем историческим сведениям, которые удалось почерпнуть из сокровищницы человеческих мыслей, всегда полагал и полагаю, что не Иисус Христос виноват в том, что учение его, изначально направленное на прославление жизни, получило столь странное, если не сказать больше, извращение, что, превратив в идеологию, его приспособили к потребностям светской, самодержавной власти, для которой подавление желаний и воли народа есть первейшая и необходимейшая статья выживания. Нет, нет и еще раз нет, не Иисус Христос виноват в том, что столь извращено его учение и что именно в извращенном своем виде оно более плодит не носителей добра, а носителей зла, интуитивно чувствующих беспрекословную (и не столько даже в духовной, сколько в светской иерархии) вертикальную подчиненность и, словно по лестнице, стремящихся любым способом подняться и встать над людьми (царь Иоанн — в сфере своей, державной, Феодосий — в своей, сколь ни покажутся несовместимыми по масштабности сии два однотипных явления). Две недели Феодосий не выходил из пещеры, усердствуя в молитвах за упокой души матери, чем и снискал еще большее уважение у братии по монастырю и расширил границы молвы о своей неподкупной святости.

LXXIX

Цель жизни не может состоять только из обещанного вечного блаженства; ожидающие нас золотые врата рая, к коим только и следует обращать помыслы и дела, — это прекрасно; но есть, то есть непременно должно быть еще нечто такое (в любых идеологических посулах), что не в мифическом будущем, а сегодня, здесь, на земле, приносит удовлетворение. Так ли, иначе ли, но иноческие усилия Феодосия не могли не принести ему вознаграждения, и те нравственные силы, которые, несомненно же, были в нем и помогали переносить ему наложенные на себя лишения, — нравственные силы те, получив наконец после избрания его игуменом монастыря простор для деятельности, не могли не развернуться в истинном своем проявлении. И тут, по-моему, нет нужды хоть что-либо домысливать; в дошедших до нас источниках прошлого кратко и емко сказано, что «Феодосий, сделавшись игуменом, выказал в высокой степени талант устроителя и правителя. Внешние знаки власти не только не пленяли его, но были ему противны; зато он умел властвовать на самом деле, как никто, и своим нравственным влиянием держал монастырь в безусловном повиновении». «Главное, — значит далее в источниках, — чего требовал он — это беспредельное послушание воле игумена, послушание без всякого размышления. Оно ставилось выше поста, выше всяких подвигов изнурения плоти, выше молитв». Итак: власть, власть, власть как некая естественная будто потребность для проявления личности; и неважно, что исходит она вроде бы не от себя, а от Бога (однако Бог — в имени, а человек — в телесном воплощении и с набором самых разнообразнейших страстей, желаний, чувств), неважно и то, каким способом она достигнута и чем, какими строгостями и лишениями по отношению к другим ли, к себе ли поддерживается и укрепляется, а важно лишь, что она есть и что ее можно проявлять безоглядно, своевольно и во всем под неусыпной охраной Божьего имени, теша душу, наслаждаясь и возвеличиваясь в своих глазах. Разумеется, Феодосий даже себе не смог бы признаться в подобных мыслях, потому что разом обесмыслились бы его дела и жизнь; за наслаждение властью надо было платить, и он, как тысячи и тысячи подобных ему (и не только в духовной, но и в иных сферах бытия), платил той страшной платой нравственного оскудения (платой нравственного самообмана), какую и поныне готовы взимать и взимают иерархи планеты с доверчивого и бесправного человечества, примирившегося или, вернее, почти уже примирившегося с сей предписанной ему участью.

Как устроитель Феодосий прежде всего решил очеловечить пещерную жизнь монастырской братии, хотя это и не соединялось с идеей иноческого угнетения плоти и даже противоречило ей, и, подыскав удобное место, возвел церковь во имя Пресвятой Богородицы и в память о матери, так как история с ней была еще свежа в нем и волновала его, а возле церкви поставил кельи, в которые и перебралась из сырых, тесных пещер изнуренная и отчаявшаяся уже братия. Затем, чтобы окончательно узакониться в значении монастыря, послал в Константинополь за уставом к бывшему постриженнику печерскому Ефрему-скопцу. «И чтобы строжайший по святости», — наказывал Феодосий гонцу, и Ефрем-скопца, стараясь уважить просьбу бывшего сопещерника, подобрал и в самом деле строжайший, по какому жили в то время сплудвижники студийского монастыря в Константинополе. По этому уставу инок ни душой, ни телом не принадлежал себе; ему предписывалось только либо работать на монастырь, либо в промежутках между работой с усердием молиться и соблюдать воздержание. Для Феодосия устав хорош был еще тем, что в нем объявлялось грехом «всякое переименование приказания игумена», а согрешившего надлежало строжайше наказывать. И Феодосий соблюдал и наказывал. Если находил в келье инока что-либо, что не положено было иметь ему, забирал и швырял в огонь; если замечал излишек съестного, тут же выбрасывал в воду, а однажды даже наказал келаря, подвергнув его епитимье лишь за то, что тот подал не те хлебы братии, какие приказано было (для воздержания!) подать ей. Хлебы были выброшены в реку, и два дня всем запрещено было даже появляться в трапезной. Нет, Феодосий не давал послаблений ни себе, ни другим, бдительность его доходила до такой щепетильности, что он по несколько раз иногда обходил по ночам кельи и, если слышал, что

монахи разговаривали между собой, сердито стучал им палкой в дверь. Я так и вижу перед собой эту крадущуюся во тьме фигуру юного старца, это усохшее уже почти в аскетическом самоистязании тощее существо, готовое с палкой в руках наброситься на любого, осмелившегося нарушить монастырский устав. Он потому, видимо, и не спал, что невыносимой была для него сама мысль о том, что кто-то из братии решил позволить большую вольность, чем позволял себе сам Феодосий; только Богу разрешено все, и только он не подотчетен ни перед кем, а для всех остальных — лишь одно уравниное положение послушников и рабов (впрочем, как же все это узнаваемо в нашей сегодняшней жизни!).

Надо сказать, что устроительные заботы то в большем, то в меньшем объеме, но постоянно, до смерти занимали Феодосия. Потребность проявить себя, казалось, не иссякала в нем ни на минуту, и если он не работал, то молился или напевал псалмы, что было любимейшим его занятием, а если не молился и не напевал, то работал — молот зерно для братии на ручных жерновах, таскал дрова, топил печи, тербил шерсть для пряжи, неустанным сим примером побуждая к подобной же деятельности остальных и укрепляя в них веру в святость их богоугодного дела. Он лишал их возможности хоть в чем-то проявить себя, кроме разве что иноческих подвигов, и правдолюбством своим, своей строгостью в исполнении монашеского обета подавлял их волю (да иначе, видимо, и не мог бы столь безраздельно господствовать над ними). Под конец жизни он заложил еще одну церковь, каменную, и тоже в честь будто бы Пресвятой Богородицы, хотя и не без тайной опять мысли о матери. Со строительством этой церкви связано имя еще одного человека — бежавшего в свое время в Россию католика Шимона (в православии и пострижении Симона), но не оно, не имя этого чужеземца, завещавшего монастырю свои капиталы, определяло и определяет интерес к сему Божьему храму. На возведение его были приглашены мастера из Царьграда; они же привезли с собой все необходимое для оборудования церкви и службы в ней, и когда над крышею начали уже вырастать купола, то есть в самый разгар завершения строительства, из Константинополя вдруг было получено Феодосием сообщение от тамошнего Первосвятителя митрополита Георгия, что будто бы ему, константинопольскому митрополиту, стало доподлинно известно, что приказание пойти на Русь и построить в печерском монастыре церковь получено было царьградскими мастерами от самой Богородицы и что она же вручила им икону, то есть свой облик, написанный не художником-богомазом на земле, так как человеческий талант есть лишь отражение таланта Божьего, а писанный на небесах и потому являющийся произведением небесного искусства (хочу, кстати, заметить, что, может быть, как раз отсюда и идет у нас на Руси деление икон на явленные и писанные и отсюда же — столь глубокая вера в иконы явленные?). Где, когда и каким образом Богородица спускалась на землю, чтобы вручить все это греческим, царьградским мастерам, константинопольский Первосвятитель не уточнял; да и к чему было уточнять, если действия Богородицы, как и действия самого Спасителя, не подлежали и не подлежат обсуждению; их разве что следует только принимать и в них верить; главное заключалось в другом — в значении, какое Богородица придала возведению (в ее честь!) церкви в печерском монастыре, успевшем, едва образовавшись, достаточно уже прославиться своей религиозной строгостью и благочестием. Для братии это означало, что их аскетический, иноческий подвиг не пропал даром, что молитвы и усердие в истязании плоти получили соответствующее одобрение, а для Феодосия — еще очередной повод к ужесточению монашеского бытия. Но легенда пришлая, как бы ни была хороша и приемлема, она не могла не обрасти теми или иными подтверждениями местного значения, и одним из подобных подтверждений, вошедших затем в Несторовский патерик, было обращение Феодосия (в молитвах, разумеется) к Богородице, чтобы она указала место, на котором следовало бы возвести церковь. «Пусть кругом будет роса, а где стоять церкви, ее не будет», — сказал он, что и было исполнено ею. А к следующему утру попросил, чтобы все повторилось наоборот, то есть чтобы кругом было сухо, а где стоять церкви, выпала бы роса. Богородица с точностью исполнила и это к изумлению печерской братии, вышедшей посмотреть на чудо (столь возвысившее затем Феодосия в святости), и — как ни покажется нам неправдоподобной сия легенда, не ли-

шенная, впрочем, ни определенного романтизма, ни смысла, но, может быть, все воспринималось бы по-другому, если бы не то практическое, что было извлечено из нее. Находясь уже почти на смертном одре, Феодосий написал киевскому князю Святославу Ярославовичу, что поскольку печерская церковь есть детище самой Богородицы — от замысла и до иконного лика, — то и обитель возле нее должна быть освобождена от власти и князей и духовных владык; и печерский монастырь с тех времен, как утверждают летописцы, «надолго пребывал независимою общиной».

(Боже, из чего только не научились люди извлекать для себя прибыль!)

LXXX

Власть обычно на что-то опирается и требует от предержателей ее непременной — убийствами ли, разорением ли народа, собственными ли страданиями — платы; у царей, королей, шахов, премьеров, президентов всегда под рукой аппарат насилия и войска (теперь говорят: демократические законы, которые тоже ведь ничто без опоры на силу), а у некоронованных, как Феодосий, только беспредельная подчиненность вере, то есть идее, на службу которой вкладется жизнь, и непогрешимость (в большинстве случаев ради самой же непогрешимости), коей, впрочем, как и всякой иной силой, можно более чем в повиновении держать доверчивый людской род; и если цари, короли, шахи, премьеры, президенты расплачиваются за свое величие и блага чужими страданиями и жизнями, то Феодосию и всем другим, подобным ему и не успевшим еще занять ничего чужого, награбленного для расплаты, оставалось только жертвовать собой, своими желаниями, удобствами, здоровьем и жизнью. Не надев еще короны Российской державы, Иоанн вынужден был вступить в борьбу с боярами, князьями, духовенством да и со всем народом за право безраздельного господства над ними (и дело тут не в том, был ли у него иной выход или не было); стремясь к той же, хотя и несравнимой по масштабам цели, Феодосий мог бороться лишь сам с собой, со своими желаниями и волей, одновременно и разрушая их, и укрепляясь в них же, и как бы мы ни спрашивали себя теперь, стоило ли за минуты властительского торжества лишаться семьи, отцовства и вообще радости жизни, видимо, страсть стоять над людьми настолько сильна и, может, даже естественна в человеке (как бы ни протестовал против этого наш разум), что все противостоящее ей не выдерживает соперничества, меркнет и подавляется ею. Есть честность житейская и есть показная, которой можно давить на окружающих, и — не заключено ли нечто подобное и в святости? Во всяком случае, честность и чистота жизни, чистота помыслов, как можно было бы добавить, хотя перечнем этим, конечно же, не исчерпываются достоинства, необходимые для получения святительского сана (да и монашеский аскетизм — что это, жизнь или извращенно-показное подобие ее?), — честность и чистота точно так же нужны предержателю духовной власти, как корона и трон царю для царствования, и если и есть здесь различие, то лишь в том, что корону и трон можно добыть, подняв меч и столкнув народы, то есть пролитой людьми кровью или интригами, подкупом, убийством и опять же кровью, тогда как власть духовная обретается только ценой личного, пусть даже показного, на что тоже требуются усилия, безгрешия. Так что пути различные, но цель одна, и в конце концов все равно все смыкается в единый над людьми узел порабощения.

Понимал ли Феодосий все так, как изложено здесь, начав с детских почти лет и вполне осознанно, как говорится в патерике Нестора, прокладывая путь к святости или, не имея иной возможности проявить себя (ведь личность пробуждается в человеке по-разному, непредсказуемо, в разные периоды жизни, и характерно тут, пожалуй, лишь одно — потребность поиска и действий), почувствовал, даже, может быть, интуитивно, что только через служение вере и можно такому, как он, простолоудину достичь высот славы и бессмертия, — свидетельств нет, все унесено в могилу, и хранящиеся мощи Преподобного не могут ничего сказать нам; но я все же склонен полагать, что Феодосий не слепо, не на ощупь подвигался к цели, иначе не проявилось бы в нем столько непомерной — и по отношению к себе, и по отношению к матери, а когда избрали игуменом, и по отношению к братии — жестокости, сродной самодержцам, привыкшим толпа-

ми отправлять людей на казнь ради незыблемости трона и власти; беспощадность к себе делала его обладателем огромной духовной силы, и многим, пребывавшим (как и ныне) в темноте и невежестве казалось, что он и в самом деле был наделен от Бога повелевать. Иноческое бытие Феодосий возводил почти до святости, и чем ревностнее соблюдал его сам, тем выше возрастало значение его личности: и среди монастырской братии, и среди народа, да и при великокняжеском дворе, — и возможность влияния, то есть удовлетворение или, вернее, наслаждение, получаемое от сей возможности, лишь удешевляло в нем, служа оправданием, потребность в новых и новых строгостях. Самоистязания, именуемые в иноческом мире подвигами, казалось, были для Феодосия самым желанным из всех монастырских дел. Он первым приходил в церковь на богослужения и последним уходил из нее, а в великую четырехдесятницу, как сообщают летописи, «от заговенья до пятницы вербной недели запирался в тесной пещере», хотя, как и у всех, у него была своя, игуменская, келья. Летом, по ночам, обойдя с палкой в руках притихшую обитель, он спускался к реке, выбирал место поудобнее у воды и, раздевшись до пояса, присаживался и начинал негромко, самозабвенно напевать псалмы. Комары тучами налетали на его тело и до крови искусывали его, но он словно бы не замечал их; он отдавал плоть на истязание, то есть выполнял, как объяснялось впоследствии, лишь то богоугодное дело, какое будто бы подсказывалось ему самим Творцом, и сколько затем ни брались иноки повторить сей игуменский «подвиг», ни у кого из них не хватало ни сил, ни терпения, ни воли. Это-то и делало Феодосия человеком исключительным, святым или почти святым при жизни, добрая слава о нем, словно бы подгоняемая ветром, распространялась в народе, к нему шли за справедливостью, и он никому не отказывал в заступничестве; к словам его прислушивались и при разбирательстве тяжб, и в великокняжеских хоробах, сам князь Изяслав ходил к нему за благословением и страшился его проклятий, и вскоре монастырская братия начала замечать, что всякий раз после подобных общений — с князем ли Изяславом или позднее Святославом, изгнавшим брата и занявшим его место (что, разумеется, тут же было осуждено Феодосием) — что-то будто происходило с их игуменом, то ли обновлялось, то ли возрождалось в нем, и он не то чтобы давал послабления членам обители, но словно бы какою-то затаенной благодатью одаривал их. В голосе его, в осанке и во всем выражении лица, вымученного недоеданиями и молитвой, проступало величие, он смотрел уже не перед собой, не на распяты, не на иноков, коленопреклоненно толпившихся перед иконостасом в церкви, а за горизонт, туда, в вечность, где для него было уже уготовлено надлежащее место.

Может, и запоздало, но к Феодосию все же пришло осознание, что не только покорством и самоистязаниями, то есть жесточайшим иноческим отрешением, человек способен добиться известности и влияния, но и делами истинно благими; и с этой целью, чтобы еще более укрепить свою значимость среди братии и особенно среди мирян, он построил рядом с монастырем двор для престарелых, больных, увечных (подобные заведения позднее стали именоваться богадельнями) и, как свидетельствуют записи прошлого, «давал на них десятую часть монастырских доходов, а по субботам посылал хлебы в тюрьмы». Он заступался не только за простолюдинов, но и за правителей, когда на них вдруг обрушивалась несправедливость, ведь борьба за высшую власть никогда не стихала между князьями, и подобное вмешательство в великокняжеские дела и возможность влиять на них как раз и породили у Феодосия желание попытаться подчинить своей воле всю нравственную жизнь державы. У меня нет подтверждений, насколько удалась ему сия государственная, можно сказать, затея; пока ясно лишь одно, что, сколько бы человек ни обретал власти, он не может насытиться ею; так было и с Феодосием: чем больше ее оказывалось у него (святости, если соотноситься с патериком Нестора), тем насущнее возникала потребность приумножить ее, и, надо сказать, основатель пещерского монастыря не упустил ни одной из открывавшихся перед ним подобных возможностей. Дело в том, что из руководимой им обители, славившейся иноческим благочестием, строгостью и ревностным служением вере, многих приглашали настоятелями в другие монастыри, а затем выдвигали на святительские посты и возводили в сан архиепископов и мит-

рополитов, и для Феодосия важно было, чтобы все эти выдвиженцы не отрывались от родного монастыря — обетованной для них земли спасения — и распространяли бы везде, куда простиралось их влияние, полученные ими правила послушания и строгости. В духовном завещании он прямо указывает, что только за таких, кто всегда будет «искать защиты в печерской обители», он станет молиться перед Богом. И завет сей более двух столетий оставался непререкаемым для печерских постриженцев; какая бы епархия ни возглавлялась ими, они непременно раз в год или раз в два, три года съезжались в монастырь (словно бы на инструктаж), делились впечатлениями, договаривались на будущее и строжайше выполняли договоренности. На державу, в сущности, была накинута нетленная паутина единой духовной (читай: монастырской) воли, которая, как мне представляется (хотя и с перемещенным уже центром), продолжает и ныне многих и многих держать в повиновении. А мы говорим: добро, зло... Да соизмеримы ли те крохи благодеяний, столь щедро записанные за Феодосием, с его главным делом — примером истязания плоти и послушанием? Земля приняла его со всеми этими и его плодами жизни, как она принимает всех, но затем мощи его были выкопаны и перенесены в церковь Богородицы к алтарю, иноческий «подвиг» увенчан святостью, а имя — бессмертием.

LXXXI

Когда инок Афанасий и богомольцы, пройдя через Киев, подошли к печерской обители, был уже поздний вечер, монастырские ворота были закрыты, и чернец, дежуривший возле них, приподняв заслонку, сказал, высунувшись лицом в окошечко, что в этот час в монастырь не велено уже никого пускать, что ворота откроются только утром и что пришельцы могут пойти на приютский двор, что в сотне шагов за монастырской стеной, — ту самую богадельню, которую основал Феодосий, — и переночевать там. Возле богадельни возвышалась небольшая часовенка, и богомольцы сначала помолились в ней, а потом вошли в дом с низким потолком, низкими дверями и подслеповатыми оконцами. Служитель богадельни, вышедший встретить их, мрачно пояснил, чтобы располагались, где отыщется место, что вечерняя трапеза уже прошла, хлебы, присланные игуменом обители, съедены и что — Бог милостив и сохранит всех до утра. Позевывая и крепясь, служитель затем удалился к себе. Он, видимо, столь непринимался разного рода паломников и так привык к этой своей обязанности встречать, что явись к нему теперь хоть сам киевский князь, принял бы и его с тем же равнодушием и произнес бы эти же заученные слова приветствия (и отказа, потому что и в самом деле покормить гостей ему было нечем), какими только что словно бы окатил пришедших через всю Россию сюда богомольцев. Афанасий отчетливо помнил, как переглянулись усталые, обносившиеся в дороге старцы и как затем, приоткрывая двери и заглядывая в кельи, они пошли подобрать место, где можно было бы пристроиться. Всюду на нарах и на полу сидел и лежал народ, в кельях, казалось, некуда было ступить от тесноты; однако хоть и с трудом, но все же удалось найти уголок и, воздав хвалу Господу за доброту и милосердие, приютиться в нем. Кто-то, развязав узелок с припасами, принялся за трапезу, кто-то, разувшись и подстелив пропахшие потом портянки под себя, укладывался уже на ночлег (как ныне российский люд, гонимый нуждами, заполняет вокзалы и спина к спине размещается на полу и на лавках в них); Афанасий же — от обилия ли впечатлений, нагонявших бессонницу, просто ли по молодости, то есть от полноты сил физических и духовных, да и за неимением узелка с припасами, так бы кстати пришедшегося теперь, — Афанасий достал из котомки патерик Нестора, прихваченный в дорогу (надо заметить, что затем и в зрелые годы, и в старости, до самой почти последней минуты жизни он не расставался с ним), и, притулившись перед зажженной свечой почти к самой стене, принялся, благословясь, в который уже раз перечитывать его.

Никто не может отрицать, что есть так называемая религиозная романтика и что она, как и всякая другая, столь же властно захватив человека, ведет его по своим запутанным коридорам пусть и к воображенному, но желанному свету; Афанасий как раз и пребывал теперь в этом состоянии,

когда все духовное, нравственное было возбуждено в нем, и он не то чтобы в конце туманного коридора земной жизни видел для себя свет жизни иной, небесной, вечной (что же еще, как не золотые врата рая ожидают всякого, кто особенно с юных лет вступает на путь спасения), но — свет этот был столь необыкновенно ярким и так манил своим благоуханием и теплом, что Афанасий, поглощенный сим видением, сим Божьим для него благовестом, не замечал ни тесноты, ни зловония, исходившего от немых, старческих в большинстве своем тел, ни всех тех иных неудобств, связанных с дорогой (когда человек располагается на голом полу), к которым только кажется, что можно привыкнуть и не реагировать на них. Время от времени у него все же затекали то рука, на которую облокачивался, то ноги, которые иначе, чем поджатыми, нельзя было держать и некуда протянуть их; он чуть менял положение и снова углублялся в чтение, стараясь как можно основательнее постичь самую суть иноческого подвига преподобного печерского основателя. Как и большинство людей, начинающих с молодых лет путь в веру, Афанасий не то чтобы не замечал, но был не в состоянии (тогда, по тому времени) даже отдаленно, даже намеком разглядеть всю ту жестокость, с какой Феодосий обошелся с матерью, по существу, убив ее, и с какой затем, прикрываясь Божьим усмирением, ужесточал иноческий быт, выставляя прежде молитв, и поста, и воздержаний беспрекословное подчинение игумену; как и автору патерика Нестору, Афанасию казалось, что желание власти, то есть эта безрассудная относительно народа и жизни вообще, не знающая ни границ, ни предела страсть стоять над людьми, вовсе не страсть и не безрассудная, а всего лишь — святость, положенная от Бога, и эта-то святость и проникла теперь в душу Афанасия и волновала его. Ему хотелось походить на Феодосия, и он всей плотью своей сознавал, что полон силы и воли повторить, да, именно повторить подвиг печерского основателя, и как только дочитал до того места, где рассказывалось, как Феодосий, съедая комарами, напевал псалмы, сидя на берегу Днепра, давно вынашивавшееся желание, уподобившись Феодосию, на себе испытать сие богоугодное истязание — это обуревавшее Афанасия желание, искавшее выхода, подняло его и вывело из душевной кельи к реке.

Ночь была тихая, лунная, одна из тех ночей, в какие, может быть, и выходил Феодосий к Днепру, и эта внешняя, погодная, что ли, скажем так, схожесть только сильнее вдохновляла юного Афанасия; перед ним живо предстало прошлое, как этой же вот тропинкой, так же озарявшейся холодным, мертвым лунным светом, спускался к реке худой, бородатый, немых и со струпами по телу под одеждой и власяницей преподобный печерский игумен (да чего, собственно, было печься о теле, когда следовало думать о душе!), — спускался во всей этой неприглядности, лишь подчеркивавшей величие и святость души, и Афанасий, невольно старавшийся теперь подражать этому созданному воображением образу (как воображением же мы создаем образ Спасителя), шагал неторопливо, горбясь будто под тяжестью земной жизни и силясь не смотреть по сторонам и не восторгаться тем, что в лунной ночи распаивалось перед ним. Возможно, что для монахов, особенно молодых, не успевших еще как следует познать ни мирской, ни иноческой жизни (к коим и относился тогда Афанасий), уже в самый момент пострижения перемещавшихся будто из дня солнечного в сумрак ночи (да иначе и не предстает перед нами мир иной), — для молодых, подобных Афанасию иноков тихая красота летней лунной ночи является не просто красотой, но видится ими как некое символическое потустороннее будущее, как идеал, к которому устремлены их помыслы, и Афанасий в этом отношении не только не был исключением, но, напротив, каждую минуту, казалось, готов был всей своей молодой плотью перейти в сие символическое будущее и раствориться в нем. Для него словно бы не было сиюминутной жизни, а была только вечность; не было ни света, ни тьмы, ни движения, ни самого себя, спускавшегося вдоль кустарников и трав к воде, а была только эта застывшая в студенном матовом свете даль, и была только мысль и только — нечто воображенное, словно самой Божьей благодатью обволакивавшее его. Так случается лишь во сне, когда человек перемещается в детство — неповторимое, доброе, приукрашенное (от потребности, может быть, ощущения той родительской теплоты, какая так ли, иначе ли всю жизнь подпитывает нас); но сколь ни велико было

это сладостное забытие да и как ни крепился Афанасий, чтобы не поддаться искушению, минутами все же словно что-то подталкивало его, он останавливался и, прислушиваясь к тишине, оглядывался вокруг.

От реки, со свежекошенной поймы тянуло запахом подсыхающих трав; кое-где там были уже сметаны стожки; которые хотя и не очень ясно, но все же были видны Афанасию, а за ними, за этими стожками и поймой, лоскутно открывалась хлебная нива: полосками пшеница, полосками рожь, овсы, ячмени, гречиха; под белесовато-матовым лунным светом их было трудно различить, они, казалось, сливались в одно бескрайнее голу-боватое пространство, подпиравшее своей дальней, по самому будто горизонту, чертой силуэты строений и стен древнего Киева. Но, пожалуй, величественнее всего представал Днепр, огромным кривым ятаганом словно бы брошенный в густое залуненное разнотравье; по берегам его, как некое живое будто бы обрамление, курчавились вербы, за ними кое-где проглядывали сады, а еще дальше, на стыке земли и неба, черной каймой очерчивал округу смешанный — береза, дуб, сосна, ель — лес. Он казался таинственным, был тогда еще полон диких зверей, птиц и опасен для углубившегося в него в одиночку человека. Афанасий торопливо крестился, опускал голову и шел дальше, но затем опять невольно вдруг останавливался и с жадностью всматривался в панораму тихой, словно застывшей в неподвижности лунной летней ночи. Как ни старался он сосредоточиться на иноческом подвиге, который шел повторить, но что-то более значительное и естественное, чего не в силах был остановить в себе, властно пробуждалось в нем. Как деревенский человек, вернее, бывший деревенский подросток, лишь по сиротству и особой будто смысленности, как говорили о нем, отведенный в монастырь, он с наслаждением вдыхал все эти запахи трав, сена, наливавшихся хлебных колосьев, и столь основательно будто бы заложенная в гены русского человека крестьянская (нравственная) привязанность к земле, к деревенскому труду и жизни, как бы тяжки ни были и сей труд, и сия жизнь, — все это с живостью просыпалось в нем, притягивало и искушало его твердою будто бы, но в то же время столь, оказывается, способную размягчаться и поддаваться мирским искушениям волю.

LXXXII

Цель жизни есть стремление к бессмертию (хотя бы имени); смысл жизни — это выбор пути (и деяний) к достижению цели; и в то время как человечество, до предела осложнив себе поиск надуманной непостижимостью и сложностью, пытается ответить на вопрос, что есть суть бытия (ответ же чаще всего подгоняется под запросы властей), — и цель, и выбор пути к ней остаются неизменными, и с неизменной же слепотой, призывая поводырей и боготворя их, мы ходим вокруг да около истины, топчась на ней и не удосуживаясь наклониться, поднять и образумиться, то есть освободиться от сковывающих нас социальных и нравственных пут. Разумеется, слово «бессмертие» в данном случае нельзя воспринимать в буквальном значении, потому что ведь даже продолжение рода, то есть желание обзавестись семьей, а затем землей, домом — что это, если не устремленность все к той же конечной цели? Одни люди, рождаясь, начинают затем своей деятельностью, своей энергией жизни готовить для себя бессмертие — войнами, покорениями других народов, как Александр Македонский или Наполеон Бонапарт, внушениями и верой, как Иисус Христос, научными ли открытиями, творениями ли культуры или зодчеством; другие, менее энергичные, коих большинство и кои как раз и составляют народ, готовы довольствоваться лишь обещаниями будущих благ и вечного рая и, обманываясь таким образом (и не без помощи, вернее, не без воздействия определенных сил), слепцами же как приходят в мир, так и уходят из него. Все это в тех же, если не в больших масштабах можно наблюдать и сегодня, как люди мечутся между идеологией партии и церковью, не замечая даже, что и протрастства-то для метаний между ними нет или почти нет, тогда как то реалистическое, что одно только и могло бы расставить все по местам, — реалистическое это, как и во все времена (и с некой будто гордостью или скорее пренебрежением), мы даже не пытаемся рассмотреть, а просто отбрасываем, как вредное и непригодное ни на что измышление чуждых нам личностей; сказанное тем более (кроме, разумеется, пар-

тии) относится и ко временам инока и митрополита Афанасия, и та тяга к крестьянскому труду и жизни, к миру обычных деревенских, от весны до весны, забот, какая пробуждалась в нем, когда он теперь, останавливаясь и вглядываясь, спускался к Днепру, — если бы не сдерживал в себе, не боролся с ней, могла бы привести его к истинному пониманию жизни и предназначения человека в ней. Но образ Феодосия, дополненный — против патерика — воображением, да и все те догматы о спасении и вечном блаженстве, какими до краев затуманено было сознание, — все это и предreshило исход борьбы между надуманным, сказочным и реальным в пользу надуманного и сказочного, и Афанасий, выйдя наконец к реке, решительно сбросил с себя все до пояса и, напевно молясь, на что только и был способен, и заранее предвкушая блаженство, то есть святость, которая непременно должна будет от предстоящих иноческих процедур сойти на него, сел на траву и, как на иконостас, устался на лунную дорожку на воде, живо рассекавшую до раки на противоположном берегу могучее течение могучей по тем временам реки.

Первые мгновенья ему даже приятно было сидеть здесь, на траве, у воды; после тесноты и удушья кельи, хотя он как будто и не придавал этому значения, он наслаждался всем, что было вокруг, и, казалось, всей силой легких вдыхал свежий ночной воздух, полный, как я уже говорил, запахов неповторимой поры сенокоса, цветения и созревания; налетавший легкий ветерок охлаждал то спину, то грудь, лицо, проникая чем-то будто одухотворяющим в самую сокровенную глубь души (есть, есть, думал Афанасий, и Божья милость, и Божья благодать, нисшедшие теперь на него), и этот-то ветерок, эта ласкающая тело и душу прохлада, воспринимавшаяся им и в самом деле (после бесконечных дневных переходов, человек, где Бог пошлет, недосыпаний, как и бывает обычно в походах, недоеданий и пр., и пр. неудобств) как некая заслуженная будто бы уже за иноческое усердие награда, поднимали в нем дух, укрепляли решимость и настраивали на новые и теперь словно бы еще более приближавшие его к святости лишения. Он уже не молился, а пел, да, почти пел, адресуя хвалу Господу, и, трудно сказать, мир ли изменился вокруг или изменился взгляд, каким под напором нахлынувших чувств смотрел перед собой Афанасий, но — только что неподвижное будто, будто застывшее в матовом лунном свете пространство воды, луга, полей и леса за ними, — пространство это казалось одухотворенным, наполненным вечными, неумирующими токами жизни. Но так длилось недолго, и всякий раз затем, когда Афанасий вспоминал об этом своем сидении у Днепра, его охватывала дрожь, как если бы по спине, по всему телу протягивали игольчатым катком — волнами, волнами, то слегка, то надавливая так, что казалось, кровь начинала брызгать из проколов и теплыми красными струйками стекать на траву. Не было ни первого, ни второго, ни третьего укуса, да и вообще комары (он помнил это ощущение) не кусали, а жалили спину, грудь, лицо, лезли в глаза, звенели над ушами, чувствуя раздолье и по-своему, видимо, наслаждаясь им, и — кому нужно было сие истязание, действительно ли Богу, имя которого, конечно же, несовместимо с понятием «кровопиенец», или Афанасию, решившему испробовать свою волю на крепость (в молодости каждый проходит подобную школу или по крайней мере хотя бы испытывает потребность в ней), но так ли, иначе ли — терпение человека не беспредельно; позволив себе раз, другой раздавить на теле напившихся крови комаров, Афанасий затем, словно ошалев и позабыв о святости и о вечном блаженстве, ожидавшем его, принялся, вскочив, отбиваться от комаров, омутом круживших над ним и не желавших расставаться с обретенным раздольем, и наконец схватив одежду, кинулся прочь от реки — вверх, на простор, на ветерок, где не мнимое, а действительное блаженство и успокоение могли ожидать его.

Только на середине пути от реки до богадельни он остановился и дрожавшими руками (дрожа, если точнее, всем своим существом) принялся одеваться; и уже не зуд тела, не укусы, не сами комары, продолжавшие виться над ним, лезть в лицо, глаза, уши, а другое, куда более страшное, чем боль истязаемой плоти, торопило его. Путаясь ногами в долгополой своей одежде, он побегал не в богадельню, а к часовне, чтобы, припав там к иконе Божьей матери с младенцем Иисусом на руках, принести покаяние и просить милости; и — едва оказался возле часовни, как та же потреб-

ность покаяния, словно на страшный суд, бросила его в распахнутую дверь, за порог, за которым во мраке и сырости как раз и должно было совершиться самое важное и святое для него сейчас дело. Он кинулся было к иконостасу, где, возвышаясь над всеми, была вделана известная ему икона, но со странным чувством словно бы онемения как вкопанный остановился перед ней. Нет, в часовне ничего не изменилось с того часа, как он с вечера вместе с богомольцами был здесь; так же пахло гарью угасших свечей, воском, гнилью половых лаг и нижних венцов, и еще тем, что обычно исходит от многолюдства и стойко, в веках, не выветривается из наших церквей; так же мрачно чернели глухие почти бревенчатые стены с двумя лишь узкими оконцами, скорее напоминавшими бойницы и служившими не столько для света, сколько для проветривания, и так же зиял разобранный в куполе для ремонта проем, сквозь который и спускался теперь столб белого лунного света и, нимбовым полукружьем падая на икону Богородицы, словно бы из всей этой сырости выхватывал ее. Афанасия поразило это явление, это диво, — будто бы Богородица вместе с дитем прямо с небес сошла сюда, — которое открылось перед ним и которому сколько ни пытался затем дать толкование, так и не мог, распознав, с одной стороны, природную простоту явления, а с другой — боясь чисто из религиозных уже соображений отвергнуть и не признать чуда; но до сомнений этих было еще далеко, еще надо было пережить сии выпавшие минуты испуга и удивления, и он, вместо того чтобы, припав к иконе, приступить к покаянию и молитвам, холодно ежась от охватившего его страха и невольно шаря позади себя руками, чтобы не наткнуться на что-либо, шаг за шагом, пятясь, отходил к двери. Он и теперь, вспоминая, ясно видел это высветленное лунным потоком лицо Богородицы, которое казалось ему живым, как и живым казался младенец Иисус, детскими пухлыми ручонками пытавшийся высвободиться из белоснежных небесотканых простынок; и впечатление это было тем сильнее, чем поспешнее Афанасий отодвигался к двери и чем пристальней всматривался в Богородицу и ее чадо. Он знал из патерика Нестора о явленной печерской иконе, которая, конечно же, должна была храниться в обительском соборе, а не здесь, в часовне; но рассудок рассудком, а очевидное было так очевидно, что затмевало рассудок, да к тому же икона словно бы подвигалась за Афанасием по мере того, как он отходил к двери, и в живых чертах лица Пресвятой Богородицы он видел теперь не тихую и всеохватную вселенскую скорбь, которая, как печать, нестираемо (и на всех почти иконных изображениях) лежала на ее лице, а нечто величественное, что отличало ее материнство от материнства других и поднимало до божественных высот славы и святости.

LXXXIII

Оказавшись за дверью, то есть выйдя уже из часовни и не оборачиваясь на нее, как ни хотелось ему сделать это, он вдруг услышал, как кто-то из темноты дверного проема окликнул его. Голос был не то Богородицы, не то самого Бога, скрывавшегося в глубине, за Богородицей, и следившего за всем, что происходило в часовне и за ее стенами, — да, да, голос самого Господа, хотя и негромкий, невнятный, и, пока Афанасий, заколебавшись, решал, что ему делать, вернуться или уйти, до слуха донесся уже совершенно ясный голос дьяка-писца, пришедшего доложить, что прибыли гости, вызванные митрополитом, и что пора идти встречать их. Старый и грузный Первосвяtitель, полулежавший в кресле с закутанными в меха ногами, открыв глаза, долго не мог сообразить, где и в каком времени пребывает, и полным удивления старческим взглядом искал часовенку, из которой, как ему казалось, он только что вышел и в которую так настоятельно звали его. Но часовенки не было, как не было и всего того лунного пейзажа, так памятно запавшего тогда в душу, а на глаза попадались только те знакомые предметы, наполнявшие гостиную, — обитые красным сафьяном лежак, скамьи, кресла, стол с трехпалым бронзовым подсвечником на нем и иконы, иконы в золотых и серебряных окладах и ризах, — которые с того самого дня, как он был торжественно возведен в сан Первосвяtitеля, были поставлены здесь и сопровождали его жизнь. В камине, живо потрескивая, горели поленья, только-только будто принесенные прислуживавшим в этот день чудовским послушником (в свое время и Афа-

насия посылали в эти же палаты прислужить тогдашнему митрополиту), и вид этих полыхавших березовых поленьев, и тепло, исходившее от них, и, главное, повторный и настоятельный доклад дьяка-писца, переминавшегося у дверей с ноги на ногу и не желавшего, видимо, уходить, не убедившись, что поручение выполнено. — главное, этот повторный и четкий доклад, не оставлявший Афанасию ничего для сомнений в истинности происходившего, окончательно разбудил его. «Ладно, ладно, вели подать облачение», — сказал он, нехотя и болезненно морщась переменяя положение своего грузного тела в кресле и пытаясь высвободить ноги из меховых шкур.

Пока принесли облачение и готовили его и пока затем, поддерживая под руки, помогли подняться и облачали, митрополит Афанасий, напрягая память, пытался восстановить, с чего и для чего он вспомнил о столь давнем своем иноческом паломничестве в Киевский печерский монастырь; не для того же только, чтобы в сотый уже, наверное, раз пережить тогдашнее позорное и так и оставшееся неведомым никому малодушие, и уж вовсе не для того, чтобы -- лишь ради воспоминаний; была же необходимость, была цель, важная, требовавшая разрешения, и в поисках этой цели, ключ к разрешению которой, если бы его не разбудили и не помешали ему, уже находился бы в его руках, — в поисках этой цели, вдруг и так по-глупому ускользнувшей от него, он как бы шаг за шагом возвращался ко всей той страшной действительности — отъезду Иоанна из Москвы с казной, Двором, свитой и событиям, последовавшим за этим отъездом, -- которая, как тяжесть, лежала на нем и озадачивала его. «От чего пала Византия, вот вопрос, — вспомнил он, — занимавший меня». И вслед за этим с еще большей ясностью вспомнил, что по поводу гибели Византии говорил Иоанн, вроде бы только отвечавший на упрек князя Курбского, убежавшего в Литву и Польшу, но на самом деле выкладывавший, может быть, самое главное свое убеждение относительно роли и значения духовенства в государственном устройстве державы. Конечно, в иноческом отречении не было пользы ни народу, ни государству; откуда же взяться могуществу (да и людским резервам, говоря языком современности), если человек лишен собственности, ничего не производит и не имеет, кроме разве что власяницы на теле, призванной истязать плоть и таким образом угождать будто бы Богу, да еще кроме рабской души, обреченной на вечное послушание и безволие; Иоанн прав, находя ущербность в подобном образе жизни и выступая против поповского верховенства (согласно выражению, взятому из его письма), и митрополит Афанасий, вновь теперь придя к этому странному, казалось бы, и страшному по еретической сути заключению, оправдывавшему Иоанна, на мгновение вдруг словно бы замер в ожидании, как бывает, когда не хочется спугнуть или разрушить мысль, и помогавшие ему облачиться послушники из Чудова монастыря недоуменно переглянулись. Ведь мысль скрыта, и оттого неведомы и необъяснимы поступки человека, как они казались теперь необъяснимыми послушникам в Первосвятителе.

Вряд ли, думаю, кто-либо возьмется отрицать, что Церковь, то есть церковные иерархи, служа Богу, не понимали или, вернее, не могли понимать, что служат, в сущности, великокняжескому Двору, трону, единой и нераздельной, какой особенно хотел видеть ее Иоанн, царской власти; разумеется, иногда церковники в лице лучших своих представителей поднимались против засилья властей, брали сторону народа и, стоя на своем, умирали, высоко, гордо неся увенчанную нимбом святости голову (как было, к примеру, с митрополитом Филиппом, о котором еще пойдет речь), и это-то заступничество духовенства за народ да и за князей, бояр, на которых падала несправедливость, как раз и не нравилось Великим Князьям, как не нравилось оно Иоанну, и если он мирился еще с подобным положением, то не потому, что был набожным, как утверждают историки; нет, не это (до поры!) сдерживало и усмирало его, а государственная, как мы бы сказали сейчас, необходимость, то есть то идеологическое начало, какое Церковь и только Церковь несла в те времена в себе и без которого не было бы ни объединенного народа, ни державы. Понимал это и митрополит Афанасий, хотя, может быть, и не с такой ясностью, как царь Иоанн, и, понимая, недоумевал и удивлялся действиям Иоанна. «Для чего же тогда уничтожать то, без чего невозможна государственная жизнь?» — словно бы обращаясь к царю, мысленно продолжал Афанасий. Как никогда, может быть, он был теперь близок к разгадке Иоаннова замысла, и, если бы еще усилие с его

стороны, еще шаг, он оказался бы у самого подножья этой ужасающей истины, над разгадкой которой бьется вот уже не одно поколение историков и философов; но — то ли не хватило времени, то ли навыка обобщить, что по отдельности представляло простым, понятным и ясным, — будучи уже на подходе к истине, Афанасий вдруг остановился, даже будто попытился, как попытился в свое время в часовне, ошеломленный живым явлением Богородицы. Жизнь, однако, смешно полагать, что она повторяется буквально; она повторяется сутью, стержнем, основой, заложенной в ней, как в рисунке человеке новым и не всегда оправданным риском, а в трусливом — трусостью; по крайней мере для Афанасия круг возможного и дозволенного был очерчен уже самой святительской судьбой, и если бы даже он до конца осознал это, то и тогда вряд ли позволил бы себе выйти за сей означенный круг; но он не осознал и потому в поисках своих казался свободным, искренним и, поднимаясь теперь против Иоаннова зла, не держал даже в мыслях хоть что-либо изменить в испокон заведенном устройстве жизни. Все от Бога, полагал он, и власть духовная, и власть светская; причем духовная, считалось (и это тоже испокон), что стоит ближе к Богу, а потому главнее, выше, хотя и не выказывается святителями, а только (для соответствующего поведения) подразумевается ими. Но это-то как раз и не устраивало Великих Князей, особенно Иоанна. Он тоже был как будто бы за порядок, установленный отцами и дедами, но соподчиненность на равных с духовенством (даже на равных!) Богу, соподчиненность эта оскорбляла его; все должно подчиняться в державе ему, царю, а он — Богу (что как раз и соответствовало всеобщему закабалению и подгонялось под формулу: «Вольны миловать и казнить вольны же»). Но чтобы ослабить укореившуюся уже идеологию, идеологию Церкви, именно ослабить, так как насущная потребность в ней державы всегда была, есть и, наверно, будет в веках, требовалось создать нечто новое, некую третью, что ли, силу подавления внушением и насилем, которая находилась бы при царе и подчинялась ему; это-то и лежало в центре зловещих Иоанновых планов, и если бы митрополит Афанасий до конца бы разгадал их, что мог бы он предпринять в защиту народа, отечества? Под прикрытием идеологии любое насилие — благо; или, вернее, подается столь приукрашенным, что иначе как за благо невозможно принять его; и, главное, сей обман, сия ложь, обернувшись общественной необходимостью, готовы смести любую плотину правды, возводящуюся на их пути, и тем более заглушить любой одиноко раздавшийся, хотя бы и из уст Первосвятителя, голос, призывающий к здравому смыслу. Но Афанасий не сознавал и этого; он чувствовал только, что некая не духовная уже, а государственная миссия (в связи именно с отъездом Иоанна из Москвы) возложена теперь на него и что надо что-то предпринять решительное, чтобы не дать развалиться державе, и в судорожных поисках этого решительного, что одновременно могло бы и образумить Иоанна, и предупредить смуту, готовую вот-вот, как казалось ему, разразиться, — в поисках этого решительного утешался мыслью, что съезжавшиеся по его просьбе архиепископы, епископы и архимандриты, с которыми собирался держать совет, помогут разобраться в сложившейся ситуации и внести ясность в нее.

LXXXIV

Оттепель с дождями, грозами в самый, казалось бы, разгар зимы, остановившая Иоанна и весь его царский обоз в Коломенском, охватила почти всю серединную Россию, санные дороги размякли, реки вскрылись, между деревнями, посадами, городами, как это и бывает в распутицу, связь прервалась, и привычно зимняя, торговая, ярмарочная жизнь, когда мужик ли, мастеровой ли везет на базар все, что наработано им и подлежит продаже или обмену, — жизнь эта, веками определявшая социальное и нравственное состояние державы, словно бы остановилась, замерла в преддверии грядущего перемены. У природы, как видно, тоже есть, как и у всякого живого существа, свой способ предупреждения и защиты, и люди только не научились еще угадывать и распознавать подаваемые ею знаки; предчувствие надвигающихся бед и страх от этого предчувствия, то есть те людские опасения, которые, сгущаясь, определяли общественную атмосферу жизни, — опасения и страх по незримым будто проводникам передавались силам

стихии и возмущали ее. Над всем пространством между Суздалем и Москвой словно с бесовской удалью полыхала гроза, удары грома, казалось, прокатывались над самой землей, и рассекавшие мрак вечернего неба молнии вонзались не в июньские травы, не в зеленые березняка или дубрав, на что хотя и беспокойно, но привычно смотреть, а в поосевшие на полях и посеревшие под дождем снега. Суздальского епископа Еливерия гроза застала как раз на середине пути, взмокшие кони уже почти по грязи тащили его санную кибитку, Елевферий мелко крестился, не разжимая персты, и всякий раз, когда удары грома обрушивались на крышу кибитки, душа и грузное тело его вдруг словно бы уменьшались в объемах, как перед страшным судом, на который за свои ли, чужие ли грехи разгневанный Бог вызывал его. Оконца кибитки были плотно задернуты шторками, но свет молний на мгновенья пробивался и через них и озарял крупное, испуганное, окаймленное густой седой бородой лицо епископа. Он еще не знал, для чего митрополит пригласил его; новости и всегда-то, как и теперь, не враз доходят из столицы в провинцию; но и тон послания Первосвятителя, и требование как можно скорее прибыть к нему, и эта заставшая в пути непогода, и, разумеется, то неуловимое, чем обычно (перед социальной грозой) насыщается атмосфера общественной жизни и что не мог не замечать и не чувствовать суздальский епископ, следивший, как и всякое духовное лицо, за настроениями и веяниями в народе, — все это, настораживавшее своей неопределенностью, тяжелым грузом откладывалось на его благочестивой душе. Едва добравшись до какой-то придорожной обители, он тут же велел отстоять молебен и затем, разместившись в игуменских палатах, так и застрял в них, пережидая грозу.

Точно то же происходило и на рязанской дороге, всю ночь, начавшись с вечера, не стихали раскаты грома, о заснеженную землю бились молнии, разогнав по избам насмерть перепуганных деревенских и посадских людей, и епископ рязанский Филофей, засветло успевший добраться до монастыря, лежавшего на пути, и устроиться в нем, хотел даже крестным ходом обойти вокруг собора с иконами Петра и Павла, покровительствовавшими сей безвестной, в сущности, обители, но только во всю ночь не прекращал службы, для иноков отменена была вечерняя трапеза, а схимник Никодим, опустившись на колени посреди двора и воздев к небу руки, просил Господа за людей о прощении и милости. Застряли в пути и архимандриты Андронникова, Троицкого, Симоновского, Спасского монастырей и еще ряд епископов, снарядившихся было по санной дороге в стольный — сорока сороков церквей — град Москву, и только ростовскому святителю Никандру удалось чуть опередить стихию и явиться под стены стольного града; но и ему последние версты до Кремля пришлось преодолевать с трудом, и когда санная кибитка его, наконец, остановилась перед митрополичьими палатами, — и кони, и люди, сопровождавшие епископа, выглядели настолько усталыми, измученными, что, казалось едва держались на ногах. Над крупными лошадей валил пар, и возница разворачивал попоны, чтобы накрыть вспотевших животных. Но сам Никандр — нет, он не был усталым; если что и тяготило его, так только те постоянные тревожные думы, которые, несмотря на то, что забот в епископии было предостаточно, вот уже какой год занимали его. Он был сторонником взглядов Преподобного Нила Сорского и инока Вассиана (князя Патрикеева) и полагал, что если монахи отрекаются от собственности, то и монастыри не должны иметь ее; нет двух святостей: для иноков, для настоятелей, а есть лишь единая для всех, равно как и одна святость и одни каноны для всей Церкви; но сия еретическая мысль, сей возврат к изначальности веры, то есть к основам ее, настолько основательно, он понимал, затрагивал и личные интересы святейших иерархов (это с одной стороны), что невозможно было, не рискуя навлечь на себя опалу, даже просто заговорить о таком несоответствии, и с другой, что он тоже понимал, без собственности, без владения землей, вотчин, приносивших доходы, невозможно было содержать многочисленные монастыри и церкви. Ни жизнь экономическая, ни жизнь нравственная, ни политическое устройство державы — ничто так не интересовало Никандра, как это несоответствие между изначальностью веры и ее воплощенностью, много раз он пытался доверительно поговорить об этом с митрополитом Афанасием, которого чтил за честность и прямоту и к которому питал даже некую привязанность (еще по житию в Чудовом монастыре), и ему казалось, что на-

конец-то выпадала возможность осуществить это давнее желание. Ни о каком отъезде Иоанна, разумеется, он не знал и не имел понятия, что и для чего замышлялось самодержцем; слово «закабалить» он не воспринимал в том доподлинном его для жизни человека значении, в каком это же слово в его именно глубинной сути как раз и ужасало теперь митрополита Афанасия. В представлении Никандра все люди — рабы, Божьи овечки, послушные или, во всяком случае, должны быть послушными пастырю, в каком бы сане — великокняжеском, царском или святительском — ни проступала сия пастырская воля; он был, можно сказать, одним из тех на Руси деятелей, духовных ли, мирских ли, которые, любя порассуждать о сути явлений и даже признавая приоритет глубинного над внешним (что как раз и лежало в основе учения Преподобного Нила), ни в чем, однако, не позволяли себе выходить за общепринятые рамки бытия, как, впрочем, было с епископом и теперь, когда вопрос, занимавший его, воспринимался им лишь как вопрос веры и не соединялся ни с интересами и жизнью народа, ни с интересами и жизнью державы. С этим-то своим залежалым багажом проблем, надеясь наконец разрешить их, он и прибыл к Первосвятителю.

В боярской шубе и более похожий на боярина, чем на лицо высшего духовного звания, он вылез из саней и, поддерживаемый с двух сторон посланными встретить его послушниками (теми самыми, из Чудова монастыря, которые в этот день прислуживали Афанасию), был приведен в переднюю, где обычно приходившие к Первосвятителю дожидались его выхода. Никандр уже не раз прежде бывал здесь и сейчас же, как только вошел, воздел взгляд на икону Христа в золотой и с драгоценными камнями в ней ризе; наложив крест и слегка поклонившись, как было пристойно его сану, и сотворив затем небольшую молитву, то есть попросив у Господа крепости для себя и удачи для дела, сбросил с плеч боярскую шубу, которую тут же подхватили послушники, и обернувшись на скамьи, обитые, как и в гостиной, красным сафьяном, сел на одну из них. Выход митрополита хотя и не был равен выходу царскому, но Никандр знал, что в духовном мире были свои и еще более четко выполнявшиеся ритуалы, своя субординация и подчиненность, и любое отступление от этих правил не то чтобы осуждалось или наказывалось (снизу вверх по цепочке: подчинение, подчинение, подчинение — до самого Бога!), но было невозможно, как невозможно или немыслим для святителя мирской грех; и, зная это, лишь смиренно оглядывал богатую — позолота с бронзой и серебром — обстановку передней.

Красота, как и мир человеческих общений, разными людьми воспринимается по-разному; одни готовы видеть в ней несметность богатств, другие — нечто божественное, способное облагораживать души; у Никандра же, сколько ни бывал он здесь, всегда возникало лишь чувство некоего будто величия, некоей непреходящей, как ценность, вечности, которая, с одной стороны, вроде бы подавляла, а с другой — приобщала к сей высшей тайне тайн бытия. «Да, красота есть дело божественное», — полагал он, восхищаясь, в сущности, делом рук человеческих — мастеров частью именитых, частью безвестных, но равно сумевших обессмертить само творческое в человеке начало. «Да, да», — повторял он, не забывая, однако, оборачиваться на дверь, из которой вот-вот должен был появиться митрополит, и, когда наконец, опережая митрополита, из распахнутых дверей вышли духовники, Никандр поднялся и готовый на поклон и на лобызания, как принято было тогда, двинулся к центру передней. Он ожидал увидеть полного сил старца в тяжелом и так шедшем Афанасию святительском облачении, каким запомнил на последней, около года назад, встрече, но — даже слегка откатнулся, едва митрополит Афанасий, измученный думами и бессонницей, появился в дверях. «Что с ним? Не болен ли?» — решил Никандр, сейчас же увязывая это с возможностью нового избрания Первосвятителем и оценивая свой шанс на освобождавшееся место.

LXXXV

Может быть, если бы Иоанн в самый момент отъезда из Москвы не вспомнил бы о Сильвестре и, стоя у окна в своей кремлевской палате и глядя на запруженную людьми и санными упряжками площадь, не поже-

лал бы, чтобы сей или подобный ему духовник, ворвавшись, именем Божиим остановил бы и отвратил от столь рискованного, как выясняется теперь, шага (и какой бы уже сделан, и невозможно было ничего ни изменить, ни исправить), — бывший служитель придворного Благовещенского собора иерей Сильвестр не являлся бы здесь, в Коломенском, Иоанну в видениях и не мучил бы его. Как только после ужина и молитвы Иоанн входил в гостиную, вернее, как только, устроившись в кресле перед камином, погружался в свои неизменные и неотвратимые думы (ему все же хотелось найти нравственное обоснование своим зловещим замыслам, правую, так сказать, основу для оправдания и перед современниками, и перед историей), в кресле напротив, в котором в течение многих лет прежде, когда была жива еще Анастасия, неизменно сживал иерей, вдруг, словно в реальности, являлась его добродушно-привлекательная фигура — в том до мелочей знакомом Иоанну одеянии, в каком во все годы их душевной близости царь и самодержец России неизменно, казалось, видел его. Но Иоанн никому не рассказывал ни об этом видении, ни о том, что предстало перед ним и тоже будто бы наяву, когда уходил в спальню; он не хотел, чтобы хоть кто-либо знал о его душевных страданиях, да и гоже ли вообще, думал он, со столь оголенными и не всегда с лучшей стороны представлявшими его мыслями являться перед рабами, коими он считал всех, даже родных, близких, если удел их — лишь знать каждому свое место и дело и безропотно выполнять его; нет, он даже помыслить не мог, чтобы поделиться с кем-либо, пусть и с Марией, своими этими страшными, терзавшими совесть видениями, которые одновременно и пугали, отталкивали Иоанна, заставляя с ужасом ожидать наступления вечера, и привлекали и втягивали, как в некую азартную игру, что ли, в которой хотя и было заранее известно, на чьей стороне выигрыш (в чем, в чем, а в непогрешимости своей Иоанн всегда был убежден), но ход игры, то есть ход жизни, в которой были и вершины побед, и промахи, — ход жизни, когда теперь, на повторе, можно было многое и осмыслить по-другому, и подправить, и обосновать, и наконец выигрышно сравнить деяния свои с деяниями предков — отца, деда да и всего царствовавшего (века!) рюриковического клана, — ход этой жизни, уже прожитой, но в некоем новом будто свете являвшейся Иоанну, куда сильнее даже, чем азартная игра, втягивал и держал в напряжении его себялюбивую царскую душу.

Иногда казалось, что Иоанн даже торопился уединиться в гостиной, что, разумеется, немало удивляло не только его любимцев: Салтыкова, Басмановых отца и сына, Грязного, Вяземского, Скуратова-Бельского и хитроватого, пронырливого, «работавшего» лишь на себя, как мы бы оценили теперь, архимандрита Левкия, — но и тех из царского окружения, в том числе и Марию, которые, не зная или, может быть, не желая знать ни о царских заботах, ни об интригах, всегда вращавшихся вокруг тронов, жили лишь верой в царскую добродетель и в необходимость и правоту всего, что задумывалось и совершалось ими. За храмом Вознесения в доме приходского попа продолжали устраиваться попойки, на которых неизменно верховодили все те же плотно притершиеся к трону Басмановы, Вяземский, Салтыков, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский; они, видимо, как и сам Иоанн, уверовали в свою вседозволенность и непогрешимость и, не сдерживаемые никем и ничем, так как Иоанну было не до них, спешили удовлетворить свои разыгравшиеся молодые страсти. На третий ли, на четвертый ли день к ним присоединился брат царицы князь Михаил Черкасский; хотя он был уже помолвлен с одной из знатнейших и богатейших невест Москвы (в какой-то степени даже родственницей цагя, как считалось), но это не мешало ему с головой окунуться в кутежи, привнеся в них некий восточный, что ли, если так можно сказать, привкус. Вспыльчивый, смуглый, нагловатый кавказец, гордившийся, с одной стороны, своим княжеским происхождением, а с другой — таким, в сущности, немислимым для мелкого азиатского княжича родством, каким было родство Темрюков с российским царствующим Домом, — он вызывал зависть и ревность у Иоанновых любимцев, считавших себя ущемленными; тайно, не стовариваясь пока, они плели заговор против этого самозванно, не по праву возвысившегося чужеродца. Но до исполнения этого заговора (многие не доживут и падут прежде, чем Иоанн положит страшную опалу на Михаила Черкасского и его семью) было еще далеко, еще, казалось, и намек не было на сии

грядущие расправы, и все веселились, забываясь в кутежах, распутстве и не думая о будущем; уединенность и бездеятельность Иоанна, к которой так ли, иначе ли они начали привыкать, даже устраивала их, и к полудню, когда сходились в поповской трапезной, чтобы опохмелиться и поговорить, главной заботой их была та самая оттепель, которая удерживала Иоанна и весь его царский обоз в Коломенском и позволяла столь весело им и вольготно проводить время.

Царица Мария недомогала. С тех пор как был похоронен ее сын царевич Василий, она недомогала почти всегда и, ссылаясь теперь на это свое болезненное состояние, оставалась в палатах, выходя, и то иногда лишь, к заутрене или к обедне, чтобы помолиться вместе с царствующим супругом и хотя бы мысленно, взглядом пообщаться с ним. Душевный мир ее, мир ее переживаний был еще более скрыт от других, чем мир переживаний и дум Иоанна, она по-своему оценивала и отъезд из Москвы с казной и Двором, и замкнутость, даже некую озлобленную вроде бы молчаливость супруга, к которому, как ни стремилась, но не сумела ни привыкнуть, ни прикипеть душой; она, видимо, не понимала его так же, как Иоанн не понимал ее с ее восточным, мусульманским, что ли, толкованием роли жены, матери, женщины. Христианство, которое она приняла, не смогло нарушить в ней уже устоявшихся основ жизни, память возвращала ее в детство, где все-все было иным: и люди, и вещи, и нравы, и сам дух бытия, если сказать обобщенно, она готовилась жить по одним законам и. принужденная теперь жить по другим, в самой основе чуждым ей, проникалась той глубокой тоской, которая одних, более слабых, повергает в апатию, иссушает и духовно, и физически, других же, способных к противостоянию и борьбе, наполняет тяжелой и затаенной злобой. О Марии можно было бы сказать, что находилась на распутье и не решалась, к чему склониться, к озлобленности ли, на что было у нее куда как достаточно причин (но имелась и та, человеческая, супружеская, что удерживала ее от этого шага) или к апатии, то есть смирению и безволию, против чего поднималась ее восточная и, может быть, даже непомерная гордость. Но, возможно, она еще верила, что отношения ее с Иоанном наладятся и что она обретет наконец то семейное счастье, какое, как я уже говорил, одинаково необходимо как людям простым, селянам, мастеровым, торговцам, так и царствующим особам, и надежду эту поддерживал в ней как раз прибывший к этому времени в Коломенское ее брат, князь Михаил Черкасский. Хотя и редко и, может быть, с неохотой, но он все же в перерывах между кутежами и прочими разного рода увеселениями заходил к ней, и главной темой его разговоров была мысль о мюридстве, какую Мария должна была внушить царю. Ведь каждый по-своему думает о будущем. Думал о своем будущем и князь Михаил. Ему хотелось (и не без дальнего прицела) видеть Иоанна окруженным по кавказскому образцу мюридами, готовыми в любую минуту пойти на смерть за него, то есть хотелось (хоть в этом!) изменить на свой лад давно устоявшийся старинный, русский, царский обычай, и тогда, как он полагал, не будет у российского самодержца ни проблем, ни печалей. «Войско! Небольшое, но верное, преданное войско», — говорил князь Михаил сестре, пробуждая в ней определенные, национальные чувства, а когда уходил и она оставалась одна, идея мюридства и в самом деле представлялась ей спасительной не столько даже для Иоанна, сколько для нее самой, готовой еще побороться и за себя, и за свое счастье. Мрачный, вымученный вид Иоанна беспокоил ее, и, желая хоть чем-то помочь ему, то есть угодить, как это воспринималось ею, она готовилась именно этим внушением мысли о мюридстве восстановить расположение Иоанна к себе и терпеливо выжидала, когда откроется возможность для подобного разговора. Такая возможность открылась лишь в самый канун отъезда из Коломенского, когда вновь ударили морозы, уплотнив лед на реках, выпал снег и установились дороги; но до этого дня и часа было еще более трех недель, которые надо было прожить, видя дичавшего, да, именно дичавшего будто бы на глазах в своей беспредельной озабоченности супруга, видя не просыхавшего от попок брата, и всю ту нравственную, то есть безнравственную, праздную, как вернее было бы сказать, жизнь Двора, которая словно в неизменности (а если изменилось что, так только к худшему) перекечевала вместе с царем, казной и обозом из Москвы сюда, в Коломенское.

LXXXVI

Странно, но являвшийся перед Иоанном Сильвестр не говорил ни о чем, не задавал никаких вопросов, а только молчаливо смотрел на царя, как это случилось еще недавно, в те времена, когда, сидя в этом же кресле перед камином и беседуя с самодержцем, произносил что-либо важное или удачное и хотел увидеть реакцию Иоанна. Догоравшие в камине поленья в дополнение к горевшим вокруг свечам освещали его с затаенной хитрецою лицо, он смотрел немножко исподлобья, как никто не позволял себе смотреть на царя, и, может быть, как некогда печерский постриженец Феодосий, сживавший у Великих Князей Изяслава и Святослава Ярославовичей, получал наслаждение от той сверхвласти, какую в эти минуты будто бы обретал над самодержцем. Но он и в самом деле (и не только минутную) имел власть над Иоанном, которая возникала и поддерживалась на двух основаниях: на религиозной начитанности и благочестии Сильвестра, что производило на Иоанна впечатление, и на живости ума и добродушном характере, то есть на умении, не ущемив ни в чем самолюбие собеседника, внушить ему нужные мысли. Кроме того, хотя сам иерей и не имел семьи, но как раз в эти годы работал над своим знаменитым «Домостроем» — книгой, воспевшей, по существу, теплоту семейной жизни, семейное, если так можно сказать, благочестие и строгость нравов (хотя и не без определенных и естественных, разумеется, для того времени переборов), и Иоанн, позволявший себе распутство, но в глубине души тяготевший к семейному очагу, — Иоанн невольно, словно за очищением, тянулся к Сильвестру и не замечал за ним многое, чего не разрешал другим. К тому же у Сильвестра было доброе, даже в некотором роде округлое, то есть почти мужицкое лицо, окаймленное густой русой бородой, широкий, с ранними залысинами лоб и живые, с огоньками хитрости или мудрости, как воспринимал их Иоанн, глаза, то вдруг обращавшиеся в глубь себя, то начинавшие прощупывать собеседника, побуждая его на ответ и втягивая в разговор; и затем, за разговором, исчезали детали внешние и оставалось только то расположение, какое как раз и испытывал Иоанн к своему Богом будто бы посланному духовнику.

Позднее именно это умение втянуть в разговор и властвовать в нем и было поставлено в вину Сильвестру оговорившими его перед Иоанном людьми, ему приписано было чародейство, каким он будто бы околдовывал царя и намеревался извести его, во что, во-первых, трудно поверить уже потому, что иерею, пользовавшемуся расположением самодержца, незачем было, даже согласно простой логике, и з в о д и т ь его, и, во-вторых и, может быть, главное, подобное обвинение ничем исторически не подтверждено; но тем не менее оно было, его усиленно насаждали в общественном мнении, и Иоанн, вознамерившийся тогда освободиться от всех и всяческих опеки, не мог не принять этой, в сущности, лжи и, придав ей государственное, как и положено в таких случаях, звучание, расправился и с Сильвестром, и с Адашевым, а заодно и с их друзьями-пособниками, коих, искореняя, искореняя, так и не смог, однако, искоренить до конца; правда, была и другая, более веская и не оглашавшаяся причина, подтолкнувшая Иоанна на сей несправедливый, жестокий шаг, и заключалась она, как ни парадоксально, в самом Иоанне, в его страстном при слабой, трусливой душе желании самоутверждения, и если даже простому смертному, и даже когда он видит, что виноват, трудно дается признание, то что остается царям-самодержцам, чьи непогрешимость и власть не имеют границ? Если нужно (для исправы все над той же «избранной радой»), чтобы Анастасия считалась отравленной, низведенной чарами «зловредного» иерея, то и не могло быть для Иоанна иного, чем только — отравлена; если требовалось (для укрепления беспредельной самодержавной власти) оклеветать и убрать с дороги знатнейших ли воевод, бояр или представителей духовенства, не желавших потакать царскому честолюбию, царским в ущерб жизни народа, государства замыслам, — клевета принималась им, как это и было с теперешними кутившими у него на глазах любимцами. Суд над Адашевым и Сильвестром — заочный, позорный, на котором была решена участь сих государственных мужей, если и вспоминался Иоанном, то лишь как подтверждение общей и непререкаемой его правоты; он и теперь, когда ни Адашева с братом, ни их подручных, замученных и удушенных по темницам и кельям,

не было в живых, испытывал к ним не меньшее, чем и тогда, озлобление и готов был с той же непримиримой жестокостью, если пришлось бы повторить все, учинить расправу над ними. Еще сильнее, казалось, он ненавидел Сильвестра; ненавидел, в сущности, за то, что не мог забыть своего расположения к нему; иерей, томившийся в Соловецкой обители (старый, больной, закованный в колоду, но не смирившийся), — иерей вызывал в Иоанне то болезненное противоречие, которое не только теперь, но и всю жизнь затем неотступно сопровождало его; он был ненавистен Иоанну, но был и необходим, когда являлась потребность покаяния (как, например, составление синодика убиенных в причину) и когда для излияния души нужен был предметный возбудитель и слушатель.

Сильвестр продолжал, откинувшись на спинку, сидеть в кресле, в камине потрескивали горевшие березовые поленья, и свет от них, озарявший и лицо Иоанна, и лицо иерея, казалось, наполнял гостиную не то чтобы некими мелькавшими, как рябь на воде под солнцем, бликами, оживлявшими все, но словно бы вырывал из прошлого и восстанавливал перед Иоанном те картины жизни, которые и будоражили, и одновременно согревали теплотой его отчужденную в ночи от людей царскую душу. Минутами он с такой реальностью переносился в прошлое, что начинал слышать голос — не этого, нет, не теперь явившегося к нему духовника («Да он же на Соловках, да, да, на Соловках, так почему же он здесь?» — спрашивал себя Иоанн), а того, что приходил тогда, чтобы наставительским душевным разговором расслабить и обратить к добру склонное к озлоблению Иоанново сердце. Анастасия и сыновья Иван и Федор покидали гостиную, им пора было на покой, и шорох их шагов, подростковые голоса сыновей, еще наполненные весельем, и стук захлопнувшейся за ними двери, — все, все доносилось теперь до Иоанна с ожившим вокруг него прошлым миром, и как ни хотелось ему повернуться и посмотреть, действительно ли Анастасия и сыновья выходили из гостиной и не снится ли все это, но — он не только не поворачивался, а и не решался даже шелохнуться, чтобы не разрушить столь много значившее для него видение. Но хотя он и не шевелился, однако проходило мгновение, и перед ним опять уже сидел не тот, не располагавший к себе иерей Сильвестр, а этот, явившийся словно бы специально потерзать душу, вернее, чтобы, сорвав покрывало благодати, обнажить на ней те ужасающие рубцы царских деяний, те кровавые желваки чужих убиенных душ, коими уже вполне достаточно к тому времени обозначилось правление сего посланного будто бы Богом на Русь (но за какие грехи?) нелюдя-самодержца. Иоанн, разумеется, не думал о себе так; он лишь читал, и то в смутном, неясном изображении, это на лице и в глазах Сильвестра, и в нем поднималось то возмущение, какое иногда вдруг оборачивалось не желанием немедленных, кровавых, мстительных действий, а желанием словесно, с холодной расчетливостью и достоинством отвести бросившиеся обвинения. Следует, кстати, заметить, что Иоанн, по свидетельству современников, был зело горазд на речи, говорил много, охотно, а когда не было подходящей аудитории, то есть слушателей, перед кем изощряться, произносил тирады молча, мысленно и для того лишь, чтобы не терять набранной формы. Он и теперь готов был разразиться градом оправдательных слов и унижить, раздавить, растоптать осмелившегося дерзнуть духовника, но вопросы, задававшиеся Сильвестром, были таковыми, что не просто и не словесами только можно было ответить на них. Щурясь хитровато, с ехидцей, Сильвестр скорее даже не спрашивал, а утверждал, разумно соблюдая приличие: дескать, руки-то твои, Государь, сызмальства в крови, или есть что возразить, а? Не на матери твоей, с нее что взять, а на тебе да на боярах мученическая смерть отцовых братьев, дядьев твоих Юрия и Андрея. Не отвечаешь? Молчишь? Казалось, бывший духовник наслаждался теперь местью за свою несправедливость, и наслаждение было тем значительней, чем меньше, он видел, оставалось у Иоанна шансов оправдаться. «Молчишь?» — чуть ли не со зловещим уже прищуром и так же молча, мысленно, взглядом лишь передавая вопрос Иоанну, продолжал Сильвестр, и Иоанн, приготовившийся было возразить, лишь с ответным прищуром смотрел на иерея; он знал, что все в державе с тех пор, как умер отец (а было Иоанну тогда три года), делалось его именем, что и мать, и бояре, окружавшие ее и служившие будто отчизне, ссылались на него, трехлетнего Великого Князя и Государя всея Руси, как было и с опалой на

князей Юрия и Андрея. Все, все происходило тогда у него на глазах, но он был настолько мал, что не мог ничего запомнить; и, чтобы хоть что-то ответить теперь Сильвестру, Иоанн чувствовал, надо было прежде разобраться самому, то есть (пусть лишь силой воображения) восстановить события тех лет, с которых, собственно, и начиналось его грозное (зловещее, по свидетельствам западных современников) правление.

LXXXVII

Смерть отца если в какой-то степени и помнилась Иоанну (в чем я глубоко сомневаюсь, если учесть даже необыкновенную будто бы одаренность сего великокняжеского отпрыска), то лишь некой вдруг возникшей во дворце озабоченной суетой. Любивший не праздно вроде бы, а в трудах, как считалось им, проводить время, Василий III еще в сентябре, в день святого Сергия, отправился на охоту в Волок Ламский, и всю осень до морозов и снега Елена оставалась в Кремле одна с сыном; она хотя и грустила по уехавшему мужу, но трехлетний Иоанн, бывший у нее на руках (на руках всевозможных нянек и мамок, разумеется) и требовавший забот и догляда, настолько занимал ее внимание, что лишь с первым морозом она наконец спохватилась, что не было вестей от Василия, и с беспокойством кинулась к митрополиту Даниилу за утешением; и хотя Первосвятой, находившийся и сам в неведении и тоже начавший было уже беспокоиться, как мог утешил ее, но Елена, словно бы предчувствовавшая беду, продолжала волноваться, приказала снарядить нарочных в Волок Ламский, однако в день, когда они должны были выехать, неожиданно пришло известие, что Великий Князь и Государь Василий III уже в Воробьево и что с часу на час его надо ждать в Кремле. К нему тут же, чтобы встретить с почестями, отправился митрополит Даниил с епископами, некоторыми думными боярами, воеводами, дьяками, царица Елена подняла дворцовых слуг и поваров, чтобы приготовить застолье, обрядила малолетнего сына, царевича Иоанна, будущего самодержца России, который ни сном, ни духом не ведал, что именно теперь, в этот вечер, в эти самые минуты, когда, облаченный в прекрасный, шитый золотом, то есть почти царский наряд (так хотелось Елене, так дорожила она своим первенцем, принесшим столь долгожданную радость в обездетившийся было уже великокняжеский дом), он, полненький, нежный, розовощекий и славный, как в те дети в его возрасте, бежал по гостинной, забавляясь и озорничая и ясно сознавая только одно, что у матери приподнятое настроение и что оттого ею все будет прощено ему, — что именно в этот зимний морозный вечер судьба его была уже Божьей волей предрешена и что через сутки он, еще и понятия не имевший, что есть такая категория человеческих страстей, как власть, будет провозглашен Великим Князем и из рук умирающего отца (из рук в руки, как говорят в таких случаях) получит молодую, тогда лишь набиравшую мощь державу. Нет, он не знал этого, как не знала и Елена, полная молодых материнских сил (и с европейским, как все считали вокруг, воспитанием, придававшим ей некую особенную будто привлекательность); может быть, никогда прежде она не была так хороша, как теперь, и так нарядна, как только можно быть нарядной Великой Княгине, да и в желании поскорее увидеть мужа тоже было нечто особенное, передававшееся ей ее беспокойством. Но шло время, а Великий Князь все не появлялся; уже опустились на Москву ночные сумерки, уже в который раз выгребли из каминной золу и положили новые поленья, и царевич Иоанн, дважды покормленный, был на руках няньками отнесен в спальню, а Великого Князя все не было, как не было и вестей из Воробьева, и охваченная новой тревогой Елена не знала уже, что подумать и что предпринять. Во всех палатах дворца, казалось, словно бы удушливо сгустилась атмосфера озабоченности, и, как при покойнике, все были молчаливы, ходили на цыпочках, а если и разговаривали, то шепотом, и гнетущая эта тишина лишь усиливала общую, перераставшую в страх тревогу Елены.

Но что же на самом деле случилось там, в Воробьево, куда прибыл, как было передано Елене, Великий Князь, и откуда, чуть передохнув, должен был поспешить к ней, в Кремль? В великокняжеском дворце в Воробьево царило все то же смятение, какое царило в кремлевском, но только не от догадок и предположений, а от того, каким увидели не прискакавшего

на коне, в здравии, как бывало, а привезенного (и даже как-то скрытно, таясь) полуживого, вернее, полумертвого Государя. Из саней его перенесли в постельную палату, он был в забытьи, а когда очнулся, велел пригласить уже прибывших к нему митрополита с епископами, боярами и воеводами; летописцы свидетельствуют, что, увидев Великого Князя в том предсмертном состоянии, в каком — ни у кого уже не оставалось сомнений в исходе дела, все были настолько потрясены, что не могли удержаться от слез и плакали, и только сам умиравший был тверд, в ясном уме и отдавал нужные распоряжения. В пути, когда ему сделалось плохо, он уже лежал на одре, в церкви, отпеваемый святителями Иосифова монастыря, но теперь болезнь вроде бы отпустила его и он, присмертно бодрясь и стараясь этой бодростью своей успокоить столпившихся у его постели митрополита с епископами и боярами, среди которых был и князь Михаил Львович Глинский, родной дядя царицы, наказывал всем, чтобы и в Москву привезли его скрытно, дабы никто из народа ли, из иностранных ли послов не проведал о его теперешнем недомогании. Он, видимо, еще надеялся на что-то и с мольбою просил придворного лекаря Николая Булова: «Брате Миколае! Ты видел мое великое жалование к тебе: можно ли тебе сделать мазь или иное что, чтобы облегчить болезнь мою?» Но что мог Булов? «Тело свое раздробил бы тебя ради, государя, но дума моя немощна без Божьей помощи», — удрученно, почти в слезах ответил он, обернувшись на митрополита и святителей, черным плотным кольцом стоявших вокруг постели умиравшего Великого Князя.

Перевозить в Кремль Василия III решено было ночью. Михаил Львович Глинский, некогда служивший польскому королю Александру и прошагавший во главе королевских войск, сражаясь и насильничая, почти половину Европы, а затем, после неприятностей в Польше (его обвинили в отравлении Александра и стремлении самому сесть на престол), переметнувшийся в Россию на службу к Великому Князю и Государю Василию III (через это-то сближение и явилась при великокняжеском дворе будущая царица Елена), — Михаил Львович, взявший теперь на себя руководство делом, с вечера еще направил мастеровых к Москве-реке, чтобы по льду, настиллом, навели мост. Лед был еще тонок, его следовало подкрепить досками, и в середине ночи, когда работы на реке были завершены, из дворца в Воробьеве в кромешной тьме, не зажигая факелов, чтобы не привлекать внимание, выехали царские сани, запряженные четверкой цугом, как было по западному образцу велено князем Михаилом Львовичем; по обе стороны коней, которых вели под уздцы, и вдоль саней и на замыканиях шли, можно сказать, точно так же цугом ратники, отобранные из княжичей и детей боярских и вооруженные более топорами и баграми, чтобы, не дай Бог, если что, нашлось бы чем рубить постромки и удерживать сани, дабы не скользнули под лед. Опасения были столь явными, что многие из бояр, не менее Михаила Львовича гораздые в подобного рода походном искусстве (да и несмотря на тогдашнее всеислие сего высокопоставленного при Дворе князя), засомневались и предложили прямо по льду на руках перенести Великого Князя на тот берег. Митрополит, тоже опасавшийся худшего, отправился со святителями в церковь молить Господа о покровительстве. Но Михаил Львович, уверенный (в соответствии со своим западным образцом), что переправа завершится успешно, ни о чем не хотел слышать. В ночи, во тьме он то забегал вперед, то шагал вровень с царскими санями, держась за них и прислушиваясь к столам.

У самой кромки реки, благополучно миновав спуск, ратники и сани остановились. Надо было (людьми, разумеется) обозначить края настила, чтобы направляющий в темноте не сбился на голый лед, к тому же Михаилу Львовичу пришлось в голову освятить начало предстоящей операции, и пока посылали за митрополитом, пока, найдя его в церкви, везли к переправе, все вынуждены были стоять на морозе, на ветру, молча, безропотно перенося сию выпавшую им на долю тягость (частью по нужде, частью по глупости, как это и бывает обычно при дворах, где помыслы услужить всегда ставятся выше существа дела). Наконец, когда митрополит крестным ходом — в ночи, в кромешной темноте — прошел по настилу, была дана команда трогать, и направляющий, взяв под уздцы ведущую в цуговой упряжке лошадь, вывел ее на мост. Князь Михаил Львович непонятно для чего и непонятно каким образом (то ли разговорился с митрополитом Да-

нилом, то ли с кем-то, кто должен был вернуться в Воробьево), несколько задержался на берегу, и, только когда царские сани миновали середину реки, торопливо кинулся догонять их. Но, прежде чем он догнал их, там, впереди, случилось то страшное, чего как раз и опасались бояре; передняя ли лошадь сошла с настила или в возникшей неразберихе и суете кони сбились в кучу, сломав цуг и перепутав постромки, только вдруг лед под лошадьми затрещал, хрустнул и — не прошло и мгновенья, как и ездовые, и кони уже плескались в воде среди ледяного крошева, хватаясь и топя друг друга; те, кому положено было рубить постромки и держать сани, не растерялись, и когда Михаил Львович, не столько перепуганный, сколько раздосадованный таким оборотом дела (что ему было, в сущности, до гибнущих людей, до гибнущего Великого Князя, он достаточно повидал на своем веку, гуляя с мечом по чужим, ни с какой стороны не трогавшим его сердце землям), подоспел к ратникам, царские сани были уже в безопасности: их оттащили от полыньи — с обрубленными постромками и оглоблями, и, что особенно насторожило князя, из кибитки не доносилось стопа, словно Государь всея Руси, только что чуть не утопленный, чуть не пущенный под лед, был мертв.

LXXXVIII

Но Василий III, укутанный в шубы и все же достаточно продрогший, был лишь в забытьи. Его перенесли во дворец, и — начало уже светать, когда он очнулся и открыл глаза. Смирившись, что ему уже не поправиться, что смерть неизбежна и близка, он первым делом, повелев уничтожить прежнюю духовную грамоту, писанную еще при митрополите Варлааме («Сжечь, сжечь, чтобы и соблазна ни у кого не было воспользоваться ею!»), принял в присутствии Даниила, князей, бояр составлять новую, по которой великокняжеский титул и державу передавал своему трехлетнему сыну Иоанну, а за братьями Юрием и Андреем сохранял уделы, соответственно Дмитровский и Старицкий. Затем по настоянию Василия бояре и князья должны были целованием на кресте присягнуть в верности новому (трехлетнему) Великому Князю, и первыми к кресту подошли думные бояре Иван и Василий Шуйские, Михаил Юрьевич Захарьин, Михаил Львович Глинский, Воронцов, Тучков, казначей Головкин и дворецкий Шигона, а также братья Государя, удельные князья Юрий и Андрей. Процедура сия тотчас почти была перенесена за стены палаты, дворца, весть о предсмертном состоянии Василия разнеслась по стольному граду, и ко двору начали съезжаться бояре, князья, воеводы, иностранные послы, накануне еще, однако, успевшие проведать об этом печальном событии; стекались сюда и люди простых и иных званий, заполняя площадь между дворцом и соборами Успения и Благовещения, и, как всегда в таких случаях, говорили о Великом Князе только доброе, выпытывали друг у друга о его болезни, сокрушались и жалели его. Но Василию было не до народа; он спешил управиться со своими предсмертными делами и наказывал братьям, удельным князьям, чтоб держались бы заедино, как прежде, и служили племяннику верно как в делах воинских, так и в земских и не нарушали бы крестного целования. Шуйских, Захарьина, Воронцова, Шигону, Головкина особенно просил присмотреть за Еленой и младенцем Великим Князем, чтобы не нуждались ни в чем и не испытывали притеснений, а князю Михаилу Львовичу, как близкому, по жене, родственнику, прямо сказал, что «за моего сына Иоанна и жену мою Елену должен охотно пролить всю кровь свою и дать тело свое на раздробление». Оснований для подобных забот, разумеется, было у Василия вполне достаточно. Он знал — и по своей тягбе за великокняжеский титул с племянником Дмитрием, внуком Ивана III, и по истории с Василием Темным, когда крестное целование нарушалось и не ставилось ни во что, да и вообще из событий прошлого, не меньше нашего, конечно же, известных ему, — сколь беспощадны бывают претенденты, рвущиеся к власти. Таким именно и представлял перед Василием брат Юрий. У историков, правда, нет единого мнения в отношении этого удельного князя. Одни и теперь считают, что он неповинен, оговорен, тогда как другим представляется, что нет дыма без огня, то есть не будь Соломония бездетной, не возникло бы у Юрия, считавшегося главным после Василия претендентом на великокняжеское место, самой этой мысли — венчаться на цар-

ство. Все двадцать лет, пока Василий жил с Соломонией, теплилась и укреплялась в Юрии эта затаенная надежда, он был противником, хотя и не явным, развода и пострижения Соломонии, и можно только догадываться, какие чувства испытывал теперь к Елене и ее сыну Иоанну. Не будь их, не было бы сейчас осложнений, и шапку Мономаха и бармы возложили бы на него; но — он и были; была Елена, был трехлетний племянник Иоанн и духовная, по которой вручались ему трон и держава, и пятидесятидвухлетний удельный князь Юрий, полагавший, и тоже не без оснований, что имеет больше прав на княжение, чем малолетний (от чужеземки!) царевич, — пятидесятидвухлетний удельный князь Юрий, и прежде не отличавшийся сдержанностью, был полон не столько скорби, сколько гнева, сверх меры нагнетавшегося в нем. Василий вглядывался в его бледное, будто похолодевшее, обескровившееся лицо, и минутами казалось, что более чем ясно прочитывал его тайные мысли.

Князь Андрей — удельный князь Старицкий, как его назовут потом — был человеком несколько иного склада (и оттого, может быть, участь его вызывает большее сочувствие); жизнерадостный, веселый, он не тяготился своим положением, не стремился, как Юрий, к власти, и так как ему не в чем было таиться перед братом-Государем — ни прежде, ни теперь, — то и переживания его, его крупные, как горох, слезы, скатывавшиеся по щекам, казались искренними, естественными. Он заходил к Елене и держал на руках малолетнего царевича Иоанна, прежде чем явиться сюда, к умирающему брату. Смерть эта и перемены, которые неизбежно, как и всегда, произойдут после похорон, при новом правлении (править, конечно же, он понимал, будет Елена со своим дядей, князем Михаилом Львовичем, zelo гордым, как говорили о нем, на услужения и власть, и братом, князем Иваном Глинским), — смерть Государя и перемены в правлении пугали его не тем, что может что-либо измениться в его удельном княжении; он был вне подозрений, и ему как будто не грозили опала и притеснения; ему жаль было брата, который, едва познав отцовство, должен был, собственно, во цвете сил уходить из жизни, жаль было Елену с ее вдовой теперь судьбой и трехлетнего чернявенького Иоанна, коему беззаботно бегать бы еще по лугам, да спать, да набираться сил и грамоты, и это-то чувство, возникшее в нем не из княжеских, а общечеловеческих соображений, ставило его в разряд людей доверчивых (что как раз затем и погубит его), добрых, умеющих искренне сострадать и плакать. Нет, если уж говорить откровенно, Старицкий удельный князь не понимал, что происходило вокруг, о чем думали в эти минуты, видя умирающего Государя, бояре, князья, святители; ведь кощунством именуется лишь то, что становится достоянием гласности, как определили бы мы теперь, а все скрытое, не получившее огласки, может лишь (да и то не среди вельмож, не при Дворах) терзать душу одного-единственного человека; для кого-то, правда, и подобные терзания есть кара, но для большинства не пойманный — не вор, как было теперь и с князьями Шуйскими, которые не хотели никому уступить своего старшинства при великокняжеском троне, и с князьями Бельскими, желавшими восстановить свой престиж (между этими княжескими родами и развернется затем жесточайшая схватка — на десятилетие, на весь, в сущности, период малолетства Иоанна), и с князем Воронцовым, имевшим на все свои виды, и с Овчиной-Телепневым-Оболенским, пытавшимся уже теперь пробиться не по чину поближе к переднему ряду, и тем более с князем Михаилом Львовичем, как никто, пожалуй, получившим возможность (ведь власть будет в руках Елены, его племянницы) возвыситься при Дворе. Накануне, ночью, чуть не утопивший Государя в Москве-реке, он стоял теперь как ни в чем не бывало — скорбный будто, но уже устремленный весь в то грядущее за в т р а, которое ликующе возбуждало его всегда жаждавшую власти натуру; он, казалось, еще явнее приосанился, когда Государь, вновь набравшись после недолгого молчания сил, сказал, обращаясь к боярам и указывая им на Глинского, что хотя он и «чужой нам», но чтобы считали его за своего, потому как «мне слуга и ближний по Великой Княгине». Василий словно бы раздавал роли, определяя, кому что делать и кем быть после его смерти, и хотя все вроде бы слушали со вниманием, но, как это с очевидностью раскроется потом, делали свой расклад и по-своему определяли себе и другим места у трона. Кощунственно, да, но так было; и точно так же, хотя давно уже нет в Кремле ни Великих Князей, ни царей, проис-

ходит теперь между новыми и новейшими властителями, что, однако, достойно не меньшего сожаления.

Только между святителями, казалось, было единство, они и в помыслах, и в делах держались так, будто и в самом деле предполагали быть вечно с Великим Князем; они старательно, хотя и со скорбью, готовились к таинству, какое вот-вот должно было совершиться на их глазах, и желание Василия постричься в монахи перед смертью, высказанное им еще в Волоке духовнику своему протоиерею Алексею и любимому старцу Мисаилу: «Не предайте меня земле в белой одежде», — желание это казалось им священным и вдохновляло, и умиляло их. Они обсуждали между собой, как ловчее выполнить это великокняжеское намерение и, памятуя, что Василий хотел, чтобы постригал его кирилловский игумен, заблаговременно еще послали за этим игуменом, но, получив теперь известие, что его нет в Москве, обдумывали, во-первых, как доложить об этом Великому Князю, и, во-вторых, не отправить ли уже сейчас за троицким игуменом Иоасафом. Между тем князь Старицкий Андрей и князь Иван Глинский приняли в очередной раз уговаривать изнемогавшего (может, даже и от обилия предсмертных забот) Государя, чтобы велел им сходить за Еленой и сыном и привести их. Князья давно уже предлагали ему это, но Василий, говоря, что вид его ужасен (он, казалось, живо гнил и исходил зловонием), что малолетний сын может испугаться такого отца, не хотел надрывать, то есть отвращать от себя кровное свое державное чадо; но князья продолжали настаивать, а когда подключились к ним дворецкий Шигона и Первосвятитель митрополит Даниил, Василий согласился, и Андрей Старицкий и Иван Глинский ушли за Еленой и Иоанном.

LXXXIX

Сначала, как и попросил о том Василий, возложив на себя крест святого Петра Митрополита (Петра чудотворца, как по некоторым другим источникам), принесли ему трехлетнего сына Иоанна. Его внес на руках брат Великой Княгини князь Иван Глинский, сопровождавшийся мамкой — боярыней Аграфеной Васильевной. Бояре, святители расступились, освобождая дорогу, и все взоры устремились теперь на трехлетнего державного властелина, испуганно озиравшегося вокруг, и на мамку, словно прося у нее защиты. Василий велел им подойти поближе, к самой постели (в сущности, своему смертному одру), и, когда протянутый на руках младенец почти завис над умирающим, подняв крест святого Петра Митрополита и держа его перед сыном, Василий с трудом, с усилием выговаривая слова, произнес: «Буди на тебе милость Божия и на детях твоих! Как святой Петр благословил сим крестом нашего прародителя, Великого Князя Иоанна Даниловича, так им благословляю тебя, моего сына». Затем наказал мамке — боярыне Аграфене, чтобы неусыпно берегла своего державного питомца, не «отступала ни пяди», и, услышав голос приближавшейся супруги, велел вынести сына. Да мог ли тогда хоть что-либо запомнить Иоанн? Он узнал обо всем лишь в пересказах: сначала от Шигоны, который продолжал, как и отец, служить при Дворе Иоанну, а точнее, его матери, объединившись в черных, как говорили, то есть далеко не бескорыстных замыслах с дядей Великой Княгини Михаилом Львовичем, и в еще больших подробностях от Воронцова, одно время даже ставшего любимцем подраставшего самодержца (чего как раз впоследствии и не простили ему заревовавшие его бояре); нельзя полагать, что в пересказах не было правды, она была и подавалась, может быть, даже более неприкрашенной, оголенной; но вместе с тем и не только из желания подольстить будущему царю, но и из привычного всем нам стремления облагородить отечественную историю — одно, казавшееся ненужным, опускалось, тогда как другому, менее значительному, но представлявшемуся важным, отдавалось предпочтение, и если что и отложилось в памяти Иоанна из тех событий, то лишь, что он не плакал, будучи на руках у Ивана Глинского, что, еще дитя дитем, держался с великокняжеским мужеством, удивив и обнадежив этим и отца, и бояр, и духовенство. «Тит широкого ума, да-да, Тит широкого ума на престоле», — повторено было хотя и про себя, мысленно, многими это некогда сказанное на рождение Иоанна изречение.

Едва вынесли испуганного Иоанна, как в постельной палате появилась

Елена. Она давно уже просилась к мужу и теперь, ведомая под руки князем Андреем и боярином Челядниным, была вся в слезах, в изнеможении и голосила, как голосают обычно деревенские женщины, лишаясь кормильца и оставаясь с детьми один на один с жизнью; перед Еленой, разумеется, не вставали эти заботы о хлебе насущном, так как она теряла не кормильца, не просто супруга, страшась вдовой судьбы, но — властителя державы, перед кем все или почти все преклонялись и трепетали и с уходом которого все непредсказуемо могло повернуться и для нее, и для сына, и для державы. Ведь это только кажется, что цари и царицы вольны и беспечны в своих делах и помыслах; власть, как и все сущее на земле, не может существовать без присмотра и поддержки, и если не подкрепляется личным ли присутствием и авторитетом (пусть и не в народе, пусть только среди близких бояр), насилем или устрашениями и подачками, она слабеет, тает и заменяется новой, более волевой и могущественной, и Елена если и не осознавала до конца, чем все это угрожало ей и сыну, то утонченным, женским, материнским чутьем своим предчувствовала, предугадывала беду и страшилась предстоявших смут и бессилия своего перед ними. Она причитала и голосила так громко, с таким отчаянием и так, казалось, искренне, неподдельно, что все вокруг было заполнено этим ее душераздирающим воплем, и Василий, видимо, предчувствовавший это и потому так оттягивавший встречу и прощание с ней, — Василий только и делал, что утешал жену, говоря, что ему лучше, что у него ничего не болит и что он не собирается покидать ее. Эти ли слова, просто ли здравый смысл, вдруг проявившийся в ней, или, может, нечто иное и более естественное и сильное, что в подобных случаях укрепляет в нас волю и определяет поведение, — глаза Елены осушились, она притихла, и в эти-то минуты и состоялся тот короткий, записанный летописцами прощальный разговор, который, став затем достоянием истории, как некая бытовая, семейная из жизни высокопоставленных особ зарисовка, дошел и до нас, приземлив возвышенное до простого и показав, что и властителей подвигают те же человеческие пороки, что и обычных смертных. Елена спросила, несмотря на заверения Василия, что ему лучше и что он не собирается покидать ее: «Государь Князь Великий! На кого меня оставляешь, кому детей приказываешь?» Великий Князь, и тоже несмотря на только что произносившиеся им заверения, цену которым более чем знал и знал, для чего говорил их, ответил: «Благословил я сына своего Иоанна государством и великим княжением, а тебе написал в духовной грамоте, как писалось в прежних грамотах отцов наших и прародителей, как следует, как прежним великим княгиням шло». Добавив затем в нескольких словах, как ей править державой, пока Государь мал, как держаться с боярами и как боярам ходить к ней для государственных дел, он согласился выполнить просьбу Елены и благословил второго своего сына, Юрия, осенив крестом Паисиевским, чтобы не уравнивать с Иоанном. Дело в том, что Юрий родился глухонемым (в наказание, как говорили при Дворе, то ли Елене, то ли самому Василию за насильственное будто бы пострижение Соломонии и развод с нею) и понятно, почему Елена так трогательно относилась к нему. Когда же младенца унесли, она опять заголосила, и Василий, почувствовавший, видимо, что силы окончательно покидают его, а ему хотелось еще принять обряд пострижения, — в последний раз поцеловался с ней и попросил увести ее.

Был глубокий вечер, время подвигалось к полуночи; вторые сутки не смыкавшие глаз бояре, князья, духовенство, допущенные к Василию и томившиеся ожиданием, когда же, наконец, либо наступит облегчение, либо явится смерть, открыв дверь к той страшной неопределенности, которая словно бы уже угрожающе поднималась из-за гроба Великого Князя (надо сказать, что малолетство правителя пугало не только Елену, но почти всех, кто хоть на полшага решался заглянуть в будущее), — бояре, князья, духовенство, ожидавшее, конечно же, скорее кончины, чем выздоравливания, поочередно то выходили из постельной палаты, чтобы подкрепиться и отдохнуть, то вновь, как на дежурство, возвращались в нее, в мир горевших свечей и холодно, даже как-то могильно будто сверкавших окладов и риз в этом своем свечном обрамлении, мир копоти, которая, накопившись, дымком нависала над постелью, и зловонья, исходящего от заживо будто бы гнивавшего тела Государя. У митрополита Даниила, когда он выходил из постельной палаты, то ли от копоти и удушающего зловонья, то ли от пред-

чувствий, которые, чем решительнее он старался отгородиться от них, тем тревожнее охватывали его (судьба и в самом деле готовила ему бесчестие от бояр и смерть), стояли в глазах слезы; он вытер их платком, перекрестился, и, так как ничто, кроме движений, пусть и бессмысленных, бесполовых, не могло приглушить в нем душевного смятения, опять направился в палату к умирающему Государю. Василий после разговора с Еленой как будто задремал, болезнь словно бы отпустила его, лицо выглядело спокойным, дыхание было ровным, и это обманное улучшение, замеченное даже митрополитом, породило волну надежд, что не все еще кончено и что по меньшей мере до утра можно оставаться спокойным за Государя. Князь Юрий и некоторые близкие к нему бояре покинули дворец и разъехались по домам. Князь Михаил Львович, удалившись в соседнюю палату и позвав Воронцова, начал прикидывать вместе с ним (в предварительном, разумеется, плане) будущий расклад влиятельных лиц при Дворе, кого из бояр полезно будет приблизить, кого отдалить, притеснить, а кому дать послабление. Зело (да простится мне употребление этого слова) поднаторевший в подобных делах, и давно вынашивавший свои честолюбивые замыслы, и почувствовавший, видимо, как азартный охотник, что зверь подбит и добыча близка, он держался с Воронцовым так, будто вопрос о власти, перешедшей к нему, родному дяди Великой Княгини, решен и ни у кого, в том числе и у Воронцова, не должно возникать сомнений на этот счет. Да и то сказать, в теперешнем (очередном) замысле его было достаточно логики, ведь Елена супружеством своим, своим положением при Дворе обязана ему, и он вправе был ждать от нее благодарности. «Власть если берут, то сразу, решительно», — в то время полагал он, не высказывая, однако, этого главного Воронцову. Князь Андрей и брат Великой Княгини Иван Глинский отправились на половину Елены, чтобы побыть у ней и поддержать ее, и вслед за ними в том же направлении, но только к своей сестре, мамке Иоанна боярыне Аграфене Васильевне Челядниной, ушел князь Овчина-Телепнев-Оболенский. Событию этому, возможно, и не следовало бы придавать значение, да никто тогда и не заметил сего житейского поступка (и то сказать, возбранено ли зайти к сестре, хотя бы и мамке теперь уже Великого — трехлетнего — Князя и Государя?); ведь принято считать, что грядущее готовится лишь в умах и деяниях людей, которые заметны и всегда на виду и от которых как раз и ждут этих деяний, тогда как история не то чтобы изобилует, но хранит достаточно примеров, когда вдруг, словно по волшебству, выступает вперед и возвышается не тот, кого прочили, а тот, на кого и внимания-то не обращали; Михаилу Львовичу и в голову не пришло бы теперь последить за молодым красавцем-князем, родным братом великокняжеской мамки Аграфены, тогда как в столкновении именно с ним и суждено будет слуге двух властителей, Александра и Василия, потерпеть крах, падение и смерть. Овчина-Телепнев-Оболенский постоял вместе с сестрой у постельки Иоанна, безмятежно спавшего в эту поворотную для судьбы России декабрьскую ночь, беззвучно, глазами обежал его белые, с детскими перевязками у запястий пухлые ручки, его младенческое, полное удовлетворенности, покоя и жизни личико со сбившимися на лоб и щеку черными прядками волос и затем, присев в кресло и откинувшись в нем, задремал, не предполагая даже, наверное, какая счастливая случайность уже подстерегала его. Проводив брата и деверя, Елена перед сном решила зайти в детскую, чтобы навестить сына, и как раз и застала у Аграфены ее брата, князя Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского. Князь встал, молодой, красивый, пышущий здоровьем и силой, и слегка смутившись, поклонился и направился к выходу; и все бы, вероятно, закончилось на этом, если бы, обернувшись, князь не увидел бы от самой уже двери, как удивленно и заинтересованно Елена разглядывала его.

XC

Около полуночи Великий Князь очнулся, подозвал к себе митрополита Даниила и с какой-то детской вроде бы обиженностью сказал: «Исповедал я тебе, отец, всю свою тайну, что хочу монашества; чего же так долежать? Сподоби меня, облещись в монашеский чин, постриги меня». Даниил, глядя дываясь, медлил с ответом. Он только что, поддерживаемый боярином Михаилом Юрьевичем Захарьиным, доказывал брату Государя князю Андрею

и стоявшим на его стороне Воронцову и Шигоне, что нет большего блага для отходящего, чем пострижение, что, неимущими приходя в мир, неимущими и должны уходить из него, как то угодно Господу нашему, и что так, постриженцами, чья православие, уходили из жизни предшественники Василия Великие Князя, на что Андрей, Воронцов и Шигона возражали, доказывая, что за Государем нет и не может быть грехов и что — во всем величии власти он должен предстать перед Богом. «Князь великий Владимир Киевский умер не в чернецах, — говорили они, — а не сподобился ли праведного покоя?» Но, мне кажется, не эта внешняя сторона спора, дошедшая до нас, занимала митрополита, когда, склонившись, он вглядывался в лицо умиравшего Василия. Хорошо знавший историю митрополит не мог, разумеется, не подумать о том, что пострижение за минуту до смерти — это ложь, это желание обмануть Господа и предстать перед ним чистеньким; всю жизнь властвовать, грешить, а за минуту, да, именно, за минуту до смерти — отмыться от всего и вытереть руки? Конечно, не столь же прямо и откровенно, как пишу здесь, думал и оценивал все митрополит Даниил; в нем, может быть, лишь смутно созревала догадка о сем запасном ходе, предусмотренном для владык, а вернее, найденном ими, через который, процарствовав в свое удовольствие на земле и погубив, изничтожив сотни и сотни тысяч душ, потому что стоять над другими — это уже грех, они прямехонько проскальзывают в рай, избегая страшного суда и ответа, — смутная догадка эта, имевшая одновременно и реальную, если беспредвзято смотреть на все, и еретическую основу, как раз и удерживала митрополита Даниила от ответа. Василий же, все более чувствовавший, видимо, близость своей кончины, раздраженно уже, насколько хватало сил, повторил: «Так ли мне, господин митрополит, лежать?» Хотя, в сущности, он был уже не жилец, но — был еще страшен; все помнили, как он расправился со знатным боярином Берсеном Беклемишевым, казнив его на Москве-реке лишь за дерзость иметь свое, отличное от государева суждение, помнили, как принародно был отрезан язык у дьяка Федора Жареного всего только за излишнее многословие, а дьяк Долматов за отказ поехать с посольством был сослан на Белоозеро и умерщвлен; да, Василий и на смертном одре был страшен именно этим прошлым, стоявшим за ним, то есть своим будто бы тихим, мирным, не лишенным даже сердечности к пребывавшим в стране чужеземцам, но жестким, самодержавным к согражданам-россиянам правлением. Владыка Вассиан, видя, что все смотрят на митрополита и на Великого Князя и ждут, чем закончится это вдруг, за минуту, можно сказать, до смерти возникшее между ними противостояние, как отголосок прошлых, возникавших на почве притяия и неприятия чужеземцев (Даниил особенно не любил и не принимал Максима Грека с его переводами, которого, напротив, ценил и обожал Василий), — владыка Вассиан, чтобы уберечь митрополита, торопливо напомнил ему, что образа Владимирской Богородицы и святого Николая Гостунского, во имя которого как раз и была возведена Василием церковь в Кремле, доставлены, как того требует ритуал, и что дворецкий Шигона пошел приказать великокняжескому духовнику протопопу Алексию, чтобы нес из церкви (и тоже для ритуала) служебные дары.

Кому-то более везет в описании жизни, кому-то в описании смерти. Великому Князю и Государю Василию III, можно сказать, повезло и в том, и в другом; так же, как подробности развода, женитьбы и княжения, сохранились и дошли до нас многочисленные подробности его кончины и всех тех дел и мер, какие предпринимались и совершались вокруг его смертного одра. Мне же хотелось бы сосредоточить внимание только на одном — ритуале пострижения, провести который так важно было для умиравшего Великого Князя. Он, казалось, и говорил, и думал только об этом, забыв о жене, сыне и державе, оставляемой им на малолетнего Иоанна; видимо, как и при жизни, своя персона занимала Василия настолько, что все остальное, считавшееся прилагаемым и потому второстепенным (сколь бы ни говорили нам о патриотичности и народности собирателей русской земли, потому как — нет хозяина, который не присмотрел бы за живностью во дворе), — все остальное, составлявшее фон жизни и чего нельзя было взять с собой за черту, отодвигалось, меркло и выпадало из памяти Государя. Можно предположить, что пострижением Великий Князь хотел лишь соблюсти традицию, как соблюдал и в княжении, стараясь не отступать от положен-

ных отцом и дедом канонов; но можно истолковать и так, что знал, да-да, знал все же за собой грешки, несмотря на исконную будто бы законность своей власти, и считал, что лучше подстраховаться и предстать перед Господом этаким безгрешным чернецом в монашеском рубище; дескать, а о великом княжении и знать ничего не знаю, раскаялся и отрекся; это второе, наверное, и было главным и руководило теперь Государем. Но и с великокняжеским титулом, то есть с почетом и властью, как это раскроется нам, Василий не желал расставаться раньше времени. Подозвав духовника, он спросил его: «Бывал ли, когда душа разлучается с телом?» — и, услышав, что «да, мало бывал», велел стать возле постели, у ног; рядом с ним поставил стряпчего Федора Кручицкого, некогда видевшего, как отходил на тот свет отец Василия Иван III, и, наказав им, чтобы не упустили момент, когда душа начнет отделяться от тела, и дали бы знать митрополиту Даниилу и игумену Иоасафу, чтобы начинать пострижение, еще раз и обращаясь уже более к митрополиту и игумену повторил: «Смотрите же расщадительно, не раньше, не позже». Затем, как гласят источники, велел дьяку крестовому Даниле петь канон мученице Екатерине да канон на исход души.

У крестового дьяка был мягкий, красивый голос, и, едва он запел, все настолько притихли, что, казалось, и язычки пламени на свечах, только что словно перемигивавшиеся между собой, вдруг разом замерли, внимая божественному пению; слова канона, и без того трагические (и одновременно возвышенные, как и все в церквях), соединенные с мелодией, вернее, как будто нанизанные на нее, трогательно расслабляли не столько, может быть, душу умиравшего Великого Князя, сколько всех тех, кто стоял перед ним. Василий опять будто задремал, но почти тут же очнулся и невнятно, как в полусне, заговорил: «Великая Христова мученица Екатерина, пора царствовать; так, госпожа, царствовать», — и, взяв образ великомученицы, приложился к нему. Потом приложился к мощам святого Николая, еще прежде принесенным ему, поздравил и простил Воронцова, на которого чуть было в самый канун своей болезни не наложил опалу, попрощался с Андреем, напомнив ему, как умирал их отец, Иван III. «И мне, брат, так же смертный час и конец приближается», — и после этих слов уже только крестился и повторял: «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи». Язык начал заплетаться, он снова «просил пострижения, брал простыню и целовал ее; правая рука уже не могла подниматься, боярин Михаил Юрьевич поднимал ее ему, и Василий не переставал творить на лице крестное знамение, смотрел вверх, на образ богородицы, висевший перед ним на стене». Так рассказано о последних его минутах, и, на мой взгляд, тут ни убавить, ни прибавить; Государь исходил душой, но призванные не упустить момент протопоп Алексий и стряпчий Федор не подавали знака, и митрополит, видя, что можно и запоздать с пострижением, велел старцу Мисаилу внести в палату монашеское одеяние. Князь Андрей и боярин Воронцов кинулись было к Мисаилу с намерением отнять у него это одеяние, но митрополит Даниил решительно остановил их. «Не будет тебе нашего благословления, — сказал он князю Андрею, — ни в сем веке, ни в будущем; хорош сосуд серебряный, а лучше позолоченный», — и, велел приподнять на подушках обезжизненное почти уже тело Василия, надел епитрахиль на игумена Иоасафа, но затем сам постриг Великого Князя, поименовав его иноком Варлаамом.

Очевидцы кончины Великого Князя свидетельствуют, что «поднялся плач и рыдание неутешное во всех людях» и что «митрополит и бояре унимали людей от плача, но голосов их не было слышать», настолько велико было горе, осознававшееся ими. Возможно, так оно и было, потому что есть и более близкий к нам пример — смерть и похороны Сталина, этого тирана-диктатора двадцатого века, когда и народ, и вся страна словно застыли в растерянности и трауре, как жить без НЕГО (а в день похорон сей властитель унес с собой как бы напоследок еще сотни жизней, погибших от скученности и давки); да, возможно, так оно и было, как с бесстрашием вроде бы, а в сущности, неистребимым, как и во все времена, лакейством зафиксировано очевидцами для истории; но если взглянуть приземленно, то есть реалистично, то можно увидеть, что одни, кому ничего не оставалось, кроме как выказать чувства, плакали, рыдали, забываясь горем, другие, кому надо было обряжать покойного и служить отходную, делали все

и со старанием, как и положено в таких случаях, тогда как те, на кого возлагалась держава и на ком лежало выполнение великокняжеского наказа, — тут же, в ночь, не теряя ни минуты, принялись за свое. Еще шло построение, когда было послано за Юрием; когда же дмитровский удельный князь прибыл, митрополит Даниил отвел его и его брата, князя Андрея, в переднюю и, держа перед собой крест, велел присягнуть им на кресте, целованием на верность Великому Князю всея Руси трехлетнему Иоанну Васильевичу и его матери Великой Княгине Елене, чтобы служить им верно во всем и не искать из-под них государства; затем к подобной присяге были приведены бояре Захарьин, Воронцов, князья Михаил Львович и Иван Глинские, дворецкий Щигона, и, лишь когда завершено было это государственное дело, решили пойти к Великой Княгине, пребывавшей пока еще в полном неведении, объявить ей сию печальную весть и утешить ее.

ХСІ

Игумен троицкий Иоасаф и старец Мисаил вместе с монахами Иосифова монастыря одевали покойного Великого Князя по монашескому образцу. Подложили под него черную постель, как свидетельствуют все те же беспристрастные вроде бы очевидцы, затем принесли из Чудова монастыря одр и положили на него тело усопшего Государя. Крестовые дьяки с протопопом Алексием, как это бывало и при живом Великом Князе, начали служить заутреню, а митрополит Даниил, окруженный толпой святителей и бояр и предводительствуя ими, продвигался к покоям Елены. Великая Княгиня еще не спала. Она только что вернулась из детских, пробыв возле сыновей своих Иоанна и Юрия более часа и поговорив сердечно, по-женски с мамкой Иоанна боярыней Аграфеной Челядниной. Как ни глубоко бывает сознание опасности и как ни готовится человек к восприятию худшего, что только может произойти с ближним, но — так уж устроено наше сознание, что состояние надежды всегда выше в нас, чем состояние обреченности; так ли, иначе ли, но после разговора с Аграфеной, умевшей всегда сказать нужное и вовремя, Елена вернулась к себе несколько успокоенной; и, пока горничная готовила ей постель, сидела в кресле в легком раздумье, полагая, что, возможно, и в самом деле права Аграфена (она была намного старше и многоопытней Великой Княгини), и, Бог даст, все обойдется, и, прежде, столь дорого доставшееся ей семейное счастье вновь воцарится в великокняжеском доме. Она вспомнила, как ездила с Василием по монастырям, вымаливая для себя у Господа и святых-чудотворцев, к мощам которых прикладывалась, чадорождения, как ходила пешком в святые обители и пустоши, сопровождаемая лишь все той же Аграфеной Челядниной, раздавала богатые милости монастырям, отцам-отшельникам и просто богомольцам, облеплявшим паперти соборов и церквей, и в то самое время (было это уже на третий год замужества), когда Василий (для того только, видимо, и женившийся на ней, чтобы занять наследника) начал было грустить и разочаровываться в ней, — в это-то самое время, однажды в пути, когда возвращались с очередного богомолья, она почувствовала, что забеременела и сообщила об этом Великому Князю; месяцы ожиданий, несчетное множество бессонных ночей, проведенных в тоске и страхе за будущее, — все, все, что так мучительно тяготило ее, вознаграждено было этим долгожданным и великим счастьем, и если на чем и останавливалось теперь ее внимание, то лишь на том неповторимом моменте, когда, войдя после вечерней молитвы и ужина в гостиную к отдохнувшему Василию, поделилась с ним сей радостной вестью. Картина та более чем с живостью вставала перед ней, высвечиваясь во всех малейших подробностях, и в согласии с этим душевным состоянием лицо Елены казалось спокойным, умиротворенным и оттого, может быть, как никогда, красивым, дышавшим силою любви, молодости и материнства. Отчего-то, и она не могла бы даже объяснить отчего, но ей вдруг и тоже как некое, связанное с чем-то тоже отдаленным воспоминание явился брат Аграфены красавец-князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. «Какой приятный», — подумала она, стараясь припомнить, видела ли его когда прежде при Дворе, в свите мужа; в какое-то мгновенье ей даже показалось, что он стоит за ее спиной, за креслом, и

она, краснея, торопливо обернулась; но в это время, разрушая ее воспоминания и мысли, ей доложили, что пришел митрополит Даниил с боярами и просит, чтобы Великая Княгиня приняла его.

Елена сказала, чтобы входили, и встала, готовясь встретить их. Она не сразу догадалась, зачем митрополиту со святителями и боярами вдруг и в столь поздний час понадобилось прийти к ней, и не могла представить себе, что не втроем, не вчетвером, даже не впятером, а всей траурно, но с богатством наряженной толпой, как были у Государя, заявятся теперь к ней со своей печальной (но, конечно же, чтобы поддержать и утешить) вестью. В комнате было полусумрачно, горело всего несколько свечей: в красном углу, под иконой Богородицы, и на столике у постели, в облитом воском трехпалом бронзовом подсвечнике; все они были за спиной Елены и затеняли лицо, тогда как лица входивших, едва перед ними распахнулась дверь, — лица входивших, освещенные прямым, хотя, и неярким светом, сразу же и более, чем любые произнесенные слова, сказали Великой Княгине, какое горе постигло ее. Не желая еще поверить в то, что, по существу, было уже вполне ясным ей, и стараясь хоть в чем-то найти оправдание теплившимся еще надеждам, она снова и снова обегала своим неуловимо-мгновенным взглядом тяжелые, седобородые (за исключением разве что князя Андрея, да своего брата князя Ивана, да князя Овчины-Телепнева-Оболенского, успешшего пристроиться к толпе и даже пробиться к центру) лица вошедших; лица эти были неумолимы, как неумолима была смерть, настигшая Великого Князя, и, в то время как Елена, более чем понимавшая это, все еще не хотела верить в свершившееся (ведь надежда от рождения и до последней минуты сопровождает человека в жизни), — перед глазами все слилось, накренилось, поплыло, она шагнула было вперед, чтобы удержаться, и в беспомощности рухнула на пол. Ее подняли, уложили на кровать, и только тут митрополит Даниил понял, что нельзя было всем скопом входить к ней; он подал знак, чтобы все вышли, затем велел позвать придворных лекарей — тех самых немцев, которые не столько, видимо, лечили Василия, сколько кормились возле него и устраивали свое благополучие, — и не на шутку обеспокоенный тут же обратился с молитвой к образу Богородицы, крестясь и кланяясь ей.

Хотя время подвигалось к рассвету, но над Кремлем, над Москвой, над всей (в тогдашних ее границах) Россией стояла темная, глухая декабрьская ночь, и не ведавший пока еще ничего народ своим привычным, отключаясь от забот, сном, как спал и малолетний Иоанн, уже поставленный судьбой (в радость ли, в наказание ли, тогда неведомо было никому) над державой. В придворном Благовещенском соборе продолжалась служба заутрени, хотя и протопоп Алексей, и любимец Василия старец Мисаил, и крестовые дьяки валились с ног от усталости; монахи из Чудова монастыря продолжали готовить тело Государя к выносу в церковь Успения, где боярам, князьям, народу предстояло попрощаться с покойным, а триицкий игумен Иоасаф послал подводы за каменным гробом. Лежавший на одре и ничем уже не распорядившийся Великий Князь Василий продолжал, однако (и даже настоятельнее, чем при жизни), заботить людей. Одни готовились к похоронам и всецело были поглощены этим; Елена со своим окружением настолько предалась горю, что митрополит Даниил, всерьез обеспокоенный за нее, до утра не выходил из ее палаты; некоторые князья и бояре, разойдясь по дворцу и рассевшись по лавкам, дремали, или казалось, что дремали, готовые отдаться на волю судьбы и, как всегда, уповавшие на свою родовитость; князь Михаил Львович и князь Воронцов, более других, видимо, полагавшие, что, кроме них, некому взвалить на себя все несчетнопроблемные, если взглянуть по-государственному, дела державы и не желавшие (что, может быть, гораздо точнее) упустить своего звездного часа, — князья эти, уединившись будто для отдыха и в согласии каждый со своими интересами и представлениями грядущих событий, обдумывали (почти в буквальном смысле) завтрашний день. Конечно, будет преувеличением сказать, что ими и что в эту именно ночь разрабатывалась и определялась судьба России; нет, тем более что чужеземцу из ненавистного тогда всем литовского рода Михаилу Львовичу бояре ни за что не позволили бы занять великокняжеский трон, как бы ни желал этого дядя Великой Княгини и какие бы меры ни предпринимал для этого; как опытный придворный, он, разумеется, не мог не понимать этого; но ведь вблизи власти, да когда

она мнится почти уже в руках, человек становится жесток, безрассуден и неуправляем, и, готовя участь отдельным вроде бы личностям, Михаил Львович и Воронцов, в сущности, предопределяли и участь России и россиян. Да, вот так, просто, уединившись в тиши, в ночи и предопределяли, попирая историю и не соизмеряясь ни с чем, тогдашнюю жизнь людей (как, впрочем, предопределяют и ныне, скрытно, за глухими дверьми и стенами кремлевских дворцов). Князь Михаил Львович Глинский, заложив руки за спину, метался по палате, переместившись в то воображаемое, чем он уже теперь пытался руководить, тогда как флегматичный и не столь возбужденный Воронцов (в конце концов не он же родственник Великой Княгини!) стоял у окна, освещенный со спины свечами, и лишь по движению плеч, то сгорбленно опускавшихся, то расправлявшихся, можно было предположить, сколь окрылены (минутами) и сколь принижены, тяжелы (и тоже минутами) были его мысли.

ХСII

Там, где возникает вопрос о власти, все делается, во-первых, быстро и, во-вторых, непредсказуемо, безжалостно и жестоко. И не всегда только теми принародными, на площадях, казнями, от которых затем вовек, бывает, не отмыть рук; обманы, подлоги, ложь, доносы, интриги, заговоры, — на все лады и со всеми правдивыми будто бы, точнее, правдоподобными подробностями, — все, все пускается в ход, обретает законность и вес, и любителям поворошить в исторических пластах часто приходится лишь с удивлением констатировать, как это жившие тогда и все видевшие не умели разглядеть творившегося при них и над ними злодеяния. Еще не был снят траур по усопшем Великом Князе, то есть не прошло и недели, как он был похоронен (рядом с отцом, при стечении народа и с великими почестями), а Великая Княгиня Елена, ставшая фактической при малолетнем сыне правительницей державы, удивила и озадачила многих и многих — и не только при Дворе — своим первым и достаточно волевым решением. Она приказала освободить и вернуть из заточения в Московку князей Ивана и Андрея Шуйских, в свое время наказанных Василием III за отъезд их к Дмитровскому удельному князю Юрию. Закованные в колоды и кандалы князья были разосланы по разным городам, и участь их, как полагали, была предопределена, когда вдруг по ходатайству будто бы духовенства и бояр, как было сказано в грамоте и словно бы в упрек только что похороненному мужу, Шуйские не просто были помилованы, но с почестями приняты при Дворе Михаилом Львовичем, Воронцовым и Шигоной.

Разумеется, мало кто знал, что на самом деле крылось за сим государственным будто бы поступком Елены. Говорили, и это считалось официальной версией, что будто, освобождая Шуйских, то есть оказывая им милость (если учесть, что родовитые князья эти, изгнанные еще потомками Дмитрия Донского с наследных владимирских земель и с тех пор державшие сторону Новгорода, являлись не то чтобы врагами, но извечными недоброжелателями московского великокняжеского дома и постоянно, как могли, вредили и досаждали ему), Елена намеревалась показать, что желает примирения и что намерена править не насилем, а добротой, чтя и уважая исконную знатность боярских и княжеских родов (о чем особенно важно было заявить ей, считавшейся — по брату и дяде — чужеземкой). Она, может быть, действительно стремилась к лучшему и, искренне веря, что творит добро, не посчиталась даже с тем, что бросает порочащую тень на только что похороненного и памятного всем еще по своему пышному княжению мужа; но как раз это, что должно было, как надеялась она, возвеличить ее, вызвало лишь недоверие и настороженность к ней. Первый государственный шаг был сделан не в сторону народа, не к боярам и духовенству, чья благожелательность надежней всего подкрепила бы ее, а в сторону неких не раскрытых еще тогда заговорщиков — родного дяди Михаила Львовича, боярина (дворецкого) Шигоны, набравшего при Дворе силу, и князя Воронцова, скорее всего только лишь примкнувшего к ним. Во всяком случае, как бы ни возражали историки, ссылаясь на документы, дошедшие до нас и потому, дескать, верные, что ни о каком заговоре тут не может быть и речи, но — логика событий да и логика характеров действо-

вавших тогда на государственной арене личностей тем не менее ясно подсказывают, что заговор был и что так ли, иначе ли, но нити его непременно должны были сходиться на родном дяде Великой Княгини. Михаилу Львовичу естественно было предположить, что вряд ли Елене позволят спокойно править державой и что угроза прежде всего будет исходить от братьев Государя, то есть ее деверей, князей Юрия и Андрея, которые вполне законно, если соотнестись с укладом прежних времен, могли претендовать на великокняжескую власть. Тоска родовитых бояр по этому старому укладу, отмененному еще Иваном III, и неприятие Елены как чужеземки, сколь ни заискивала бы она перед сими давно и прочно укоренившимися на русской земле вельможами, — это общее и еще при жизни Василия зрелее недобольство среди именитых бояр, отчасти и среди духовенства, могло переметнуть их в сторонники к Юрию или Андрею (прежде всего, конечно же, к Юрию, вокруг которого уже возникала попытка объединиться, за что, собственно, и были наказаны князья Шуйские) и обеспечить успех. По мнению Михаила Львовича, надо было предупредить подобное развитие событий и устранить с дороги, по возможности физически, опасных претендентов. Действием таким, с одной стороны, защищались бы права Елены и Иоанна, так как, кроме названных удельных князей, братьев Государя, некому было претендовать на престол, а с другой (и в зависимости от обстоятельств) — можно бы самому еще на шаг приблизиться к заветной цели. Так или почти так рассуждал Михаил Львович, и неважно было, о чем думали, что замыслили или не замыслили, как прояснилось потом, удельные князья, — известный придворный интриган и всеевропейский вояка, старавшийся во всем следовать своим западным образцам, оказавшись теперь волею судьбы почти у самой вершины власти, не мог не сделать последнего усилия и, засучив рукава, не броситься в новое и пагубное для него авантюрное дело.

Он понимал, что действовать предстояло утонченно, продуманно, с надлежащим обоснованием, чтобы не повредить Елене, не бросить на нее ненужную тень; правительница должна быть чиста, как чистым, незапятнанным хотелось оставаться и самому Михаилу Львовичу, и тут-то, перебирая варианты, он и вспомнил о Шуйских. Ход мыслей Михаила Львовича был прост: Шуйские, если их вернуть ко Двору, уже в силу своего характера не захотят пребывать на вторых ролях, вновь начнут искать службы у Юрия, надеясь на его возвышение, и таким образом дадут повод ко второй и окончательной расправе и над собой, и, конечно же, над дмитровским удельным князем. Обдумав сие дело сперва наедине, Михаил Львович уговорил затем Шигону, Воронцова и митрополита Даниила бить челом перед Еленой за Шуйских. К челобитчикам на свою же погибель присоединился близкий соратник Даниила дьяк Федор Мишурин. Спустя несколько лет вместо благодарности Шуйские распорядятся схватить дьяка, раздеть донага, положить на плаху перед воротами тюрьмы и отрубить голову, как, впрочем, и митрополит лишится сана по настоянию все тех же Шуйских, устремленно рвавшихся к власти. Но, как и всегда и перед всеми, будущее и перед митрополитом, и перед дьяком, да и перед Шигоной, Воронцовым и самим Михаилом Львовичем (так ли, иначе ли, но расплата всегда настаивает людей) было темно, неведомо, скрыто за горизонтом, хотя и грезилось в заманчиво-радужных тонах обретаемой власти; и подстегиваемые этим обманно-радостным грядущим заговорщики явились к Елене и изложили свои соображения. Как и полагал Михаил Львович, разговор был недолог, Елена живо поняла свою выгоду, поблагодарила своих, завещанных ей мужем Государем опекунов за радение правителю, правительнице и державе и, повелев собрать думных бояр и привести в тронный зал соответственно одетого сына Иоанна, — именем своим и трехлетнего Великого Князя и Государя всея Руси огласила высочайшую милость.

Иоанн впервые тогда сидел на отцовском великокняжеском троне, что позднее даст ему право сказать, что он не помнит даже, с каких лет правит державой, словно в этом-то и заключена исконность власти; пухленький, нарядный, черноволосый, только что приведенный из детской, где опекаемый мамкой Аграфеной играл со своим глухонемым братом Юрием, Иоанн лишь недоуменно крутил головкой, оборачиваясь то на мать, то на бояр, сидевших на лавках с чинно выставленными на грудь бородами, то на митрополита и опять на мать и на Аграфену, которая, казалось, одна только

могла объяснить происходящее, и в детском сознании его вращалась лишь одна страстная мысль: когда же наконец завершится это его «заклучение» на троне и можно будет снова вернуться с мамкой Аграфеной к своим безграничным детским радостям. Бояре были мрачны; Елена — в упоении; вирус власти, как он возбуждает всех, кто прикасается к нему, возбуждал и Елену, ей приятно было как женщине чувствовать себя в центре внимания, приятно было повелевать, лицо ее дышало красотой, молодостью, властью, и она вся зарделась, когда по завершении торжества подошел к ней подталкиваемый Аграфеной князь Овчина-Телепнев-Оболенский и сказал, как она необыкновенно хороша: и как женщина, и как властительница, и как мать. Он поклонился тем же поклоном, как и в день смерти Государя, когда произвел на нее впечатление, но не удалился, а только уступил почтительно место Михаилу Львовичу, тоже выдвинувшемуся поздравить правительницу. Между прочим, несмотря на всю свою придворную изощренность, дядя Великой Княгини даже представить не мог, какого соперника (и, может быть, уже наутро) получит в лице уступившего ему место молодого князя.

ХСIII

Нет человека, который, оказавшись вблизи власти, не попытал бы счастья хоть маленькой толикой заполучить ее для себя. В то время как Михаил Львович, проворачивая свой грандиозный замысел (он-то рассчитывал не на толику и не на малую), рассылал гонцов с вестью об освобождении Шуйских, выдвигал на дороги подставы, чтобы князья, получившие волю, как можно быстрее могли добраться до Москвы, и готовил им встречу в кремлевском великокняжеском дворце, то есть в то время как весь поглощен был подготавливавшейся им по западному образцу ловушкой, в которую разом должны были попасть и Шуйские, и не ведавший пока еще ничего брат покойного Государя князь Юрий (после похорон князь оставался в Москве, хотя доброжелатели говорили ему, что быть на глазах опасно и что лучше бы уехать ему к себе в Дмитров), — чета Челяднинных, бояр не очень родовитых и захудалых, неожиданно получивших теперь прямой или почти прямой (через воспитательницу Иоанна мамку Аграфену) выход на правительницу Елену, не могли упустить выпавшего им шанса и со своей стороны не приложиться к тому пирогу власти, какой, они видели, бесхозно оставшись на державном столе (правительница — женщина в соку, а государь — мал летами и несмышлен, даст Бог, можно и приручить его), вот-вот начнет растаскиваться теми, кто преуспеет. Так почему бы не преуспеть им, Челяднинным? Хоть и принято полагать, что в возвышении князя Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского действовала только одна дружина — его молодость, статность и ум, но, если даже, отбросив домислы, обратиться лишь к фактам истории (ведь по смерти Елены был не только схвачен и казнен князь Овчина-Телепнев-Оболенский, но и Челяднины: боярин обезглавлен, а Аграфена сначала пострижена в монахини, а затем ночью удушена и пущена под лед), — если обратиться лишь к этим фактам, как сейчас же явится мысль, что и заправилой, и активнейшей исполнительницей всего дела была боярыня Аграфена.

Чуть старше Елены, но выглядевшая молодо, как только могут выглядеть женщины, умеющие последить за собой, и обладавшая к тому же бесхитростным с виду, мягким, добрым, покладистым характером, упрощавшим ей ее общение и с людьми вздорными, честолюбивыми, закоренелыми и неисправимыми, как все тот же Михаил Львович, интриганам, и с гордецами, откровенно презиравшими всех стоящих ниже себя (при Дворе, как и в обществе в целом, и даже, может быть, гораздо сильнее, чем в простонародье, господствуют зависть, недоброжелательство и ложь), Аграфена тем не менее была не так проста и наивна, как представлялась со стороны; как и все вокруг, она играла определенную, но свою, со скрытою от других целью роль, и, умея подойти к Елене с тонкой и потому неуловимой женской лестью, она использовала каждую подходящую минуту, чтобы напомнить молодой вдовой правительнице о своем брате и в самом лучшем, выгодном свете преподнести его. Это ведь мы только полагаем, что человек от рождения своенравен, себялюбив и самостоятелен в восприятии мира и что никому

и ничего (особенно воспитанным в грамоте) внушить нельзя; нет, можно, можно и массам, и отдельному лицу, каких бы твердых убеждений оно ни придерживалось (что, разумеется, вполне приложимо и к европейски образованной Елене), и Аграфена Челяднина, вряд ли сумевшая бы охарактеризовать или объяснить свои стремления каким-либо философским изречением, тем не менее поступала словно по-писаному, стараясь одновременно влиять на обе стороны: на брата, красавца-князя Ивана, чтобы действовал смелей и решительней (зная по своим чувствам о женских слабостях Елены, она указывала на них брату и поучала его), и на правительницу, обрисовывая перед ней достоинства брата, князя-красавца, по ночам, при восковом свете горевшей свечи (и перед иконой Богородицы, на которую денно и ночью теперь молилась, соединяя образ Елены с образом Богородицы), — при восковом, тусклом свете горевшей свечи шепталась с мужем, тоже служившим при Дворе боярином Челядниним, втягивая его в дело, открывая ему перспективы будущего успеха и возбуждая его. Слово бы само собой Елена то заставляла князя Ивана Овчину-Телепнева-Оболенского в детской у Аграфены, куда тот заходил будто бы проведать сестру, тут же возникал непринужденный будто, но тщательно подготовленный князем и Аграфеной разговор, производивший нужное на Елену впечатление; то она заставляла его на заутрене в церкви, куда князь приходил тоже с сестрой и ради нее будто, становясь за ее спиной в отдаленное и затененное место; то по совету все той же Аграфены, вошедшей в полное или почти полное доверие к Елене, Великая Княгиня начала приглашать красавца-князя к обеду, к ужину, оставляя затем для беседы в гостиной, и в тот первый вечер, когда князь Иван, засидевшись, как обычно, у Великой Княгини, ни в полночь, ни за полночь не вышел от нее, Аграфена, счастливо прослезившись, крестясь и сознавая, что: «Свершилось!» — кинулась к себе, рухнула на колени перед образом Богородицы (подняв для этого и мужа с постели и поставив рядом с собой) и молилась, молилась, славя могущество Пречистой Девы и Господа, их благородные дела и милость.

Между тем, как и предполагал Михаил Львович, братья Шуйские, Иван и Андрей, прибыв в Москву и явившись ко Двору, недолго оставались спокойными. Особенно это относилось к Андрею. Осмотревшись и по-своему оценив возможности малолетнего Государя и правительницы при нем (Глинских как чужеземцев, в том числе и Михаила Львовича, он даже не брал в расчет), то есть поняв, насколько возросли шансы дмитровского удельного князя Юрия на великокняжеский престол (из оставшихся братьев покойного Государя Юрий был старшим), Андрей Шуйский решил действовать. Не зная и не подозревая, что за ним следят и что от него только и ждут действий, он отправился к своему влиятельному родственнику и однокорде Горбатову-Шуйскому и начал уговаривать его отойти к князю Юрию. «У малолетнего — чего же выслужить? — говорил он. — А возвысится Юрий, и мы первые при нем». Но Горбатый-Шуйский отклонил предложение, и тогда князь Андрей, боясь доноса и желая упредить его, сам решил донести на Горбатого-Шуйского, что будто бы это Горбатый уговаривал его, только что вернувшегося из заключения, бежать к Юрию. Михаил Львович, выслушав в присутствии Шигоны и Воронцова донос, велел схватить сперва Горбатого-Шуйского, а затем, когда оговор открылся, схватить князя Андрея, его людей, а заодно и людей дмитровского удельного князя и учинить им допрос. Чтобы придать делу характер чрезвычайности, допрос сказано было проводить под пытками, и хотя даже подобная мера не дала или почти не дала никаких результатов, разве что кроме одного, что многие из допрашивавшихся княжат, детей боярских и холопов были замучены до смерти, но Елене все же доложили, что Андрей Шуйский будто бы вновь взялся за старое и подбивал бояр перебежать от Великого (трехлетнего) Князя Иоанна к Юрию и что если на самого Юрия и не удалось добыть прямых улик в измене, то для вящей верности (и пока есть повод) следовало бы удалить и его, дабы спокойнее править, не оглядываясь и не чувствуя над собой висящий топор. «Вчера вы крест целовали сыну моему, — ответила Елена, глядя на стоявших перед ней бояр во главе с дядей, Михаилом Львовичем. — Так и делайте, что надо для пользы Государства». Она сослалась на то, что все еще скорбит по мужу, тогда как и чувства, и мысли ее были уже всецело поглощены неожиданно возникшими отношениями с князем Овчиной-Телепневым-Оболенским; ей требовалось

время, чтобы сжиться и со своей новой ролью при Дворе, ролью правительницы, и с той новой любовной связью, с которой, во-первых, надо было таиться (таиться пока, как думала она) и, во-вторых, которую ни на час, ни на день не в силах была прервать; и ради этого, своего, личного (и по-женски понятного) малого счастья в сравнении с общей судьбой державы Елена готова была перепоручить Михаилу Львовичу, Шигоне, Воронцову все, что касалось государственных, то есть наиважнейших для жизни страны и народа, дел. Дмитровский удельный князь Юрий в ту же ночь был схвачен вместе со своими боярами, холопами, закован и отвезен в ту же темницу, в которой томился и умер определенный туда Василием III юный царевич Дмитрий. Стены темницы все так же сочились сыростью, на необработанном (с тех пор!) полу еще видны были следы сундуков с казной, отправленных Василием несчастному царевичу, и ошеломленный случившимся князь Юрий скорее почувствовал (с первых же минут этого своего заключения), чем осознал, что ему уже никогда не выбраться отсюда; именем малолетнего Иоанна он был обвинен в измене и спустя полгода уморенный голодом (по западному образцу, видимо, как все это представлял Михаил Львович) тихо, в молитвах и муках скончался, отдав душу Богу.

Малолетний Иоанн, причастный к совершившемуся злодеянию лишь тем, что по смерти отца был наречен Великим Князем, сидел на коленях у матери, когда пришла доложить ей о кончине князя Юрия. Елена на мгновение словно бы замерла, выслушав Воронцова, выдвинувшегося вперед Шигоны и Михаила Львовича (по каким уж там своим соображениям, но на сей раз говорить поручено было именно этому заговорщику), затем, справившись с охватившим ее волнением (ведь преступление, под каким бы предлогом ни совершалось, хоть на миг, но непременно сомнением или болью — при известии о нем — отдается в душе преступника), опустила Иоанна на пол и, повелев боярам идти в тронный зал, спустя четверть часа уже обсуждала с ними детали предстоявших похорон. Несчастного удельного князя решено было предать земле ночью, тайно, чтобы не вызывать ни среди народа, ни среди придворных и иных вельмож ненужных толков и пересудов, и эта-то сторона дела — тайная — и вовсе не была известна малолетнему Государю всея Руси, чьим именем только и могло подобное совершаться в державе. Если что-то и мог запомнить тогда Иоанн (что, повторяю, весьма и весьма сомнительно для его лет), то лишь смятение, с каким мать, увидев Воронцова, Шигону и Михаила Львовича перед собой, опустила его на пол, и поспешность, с какой, бросив мамке Аграфене: «Присмотри», покинула затем детскую. Да еще мог бы запомнить, как наиважнейший придворный боярин Михаил Львович, всегда знавший только одну ласку — погладить юного Великого Князя по головке, — на этот раз только снисходительно окинул взглядом малолетнего будущего самодержца России и, подумав, видимо, про себя, что сего и приручить можно, с поспешностью же кинулся догонять уже маячивших спинами в дверях Шигону и Воронцова.

XCIV

Можно было бы сказать и так: сделав свое черное дело, Михаил Львович радостно потирал руки; не в буквальном смысле, разумеется, потому что никогда и ни в чем не позволял себе опускаться до привычек простолюдинов, тем более что к заветной цели, по существу, был сделан еще только первый, хотя и важный и, возможно, самый значительный шаг. Вместе с Шигоной, часто даже не оповещая Елену, он принимал иностранных послов, прибывавших в державу, решал дела вотчинные, пытался влиять и на духовные, правда, пока только намеками, в беседах либо с митрополитом Даниилом, либо с троицким игуменом Иоасафом, метившим в Первосвятители и вполне при поддержке все тех же Воронцова, Шигоны и самого Михаила Львовича имевшим на это шансы; словом, если быть точнее, многоопытный в придворных расстановках дядя Великой Княгини, поддержанный умиравшим Василием, не то чтобы уже чувствовал себя хозяином во дворце, но с достаточной откровенностью давал понять, что вопрос сей решен и что измениться уже ничего не может. В душе, да-да, в душе — он потирал руки, как если бы то, что хотел приобрести, лежало в кармане и оставалось только поговорить с Еленой и затвердить все. Он полагал, что

со стороны племянницы не будет отказа (да ей просто деться некуда, думал он), и был немало удивлен, даже озадачен, когда вдруг, словно на стену, наткнулся на ее холодность. Было это весной, а когда в середине лета во второй раз решился (все по этому же вопросу) зайти к ней, Елена приняла его уже не одна, а вместе с князем Овчиной-Телепневым-Оболенским, который стоял рядом, по правую от нее руку, и надменным выражением голубых глаз куда сильнее, чем словами, говорил о своей при Великой Княгине значимости. Светлые волосы князя волнисто спадали на плечи, на ратные доспехи, в которые был одет и которые придавали его молодой, стройной фигуре величие, светлая и тоже курчавившаяся борода его, отличавшаяся от боярских тем, что не свисала клином на грудь, а лишь округло обрамляла светившееся самодовольством и здоровьем лицо, подчеркивая — в самом соку — возраст, и Михаил Львович, прежде не замечавший или почти не замечавший этого князя (мало ли кто отирается возле Елены, но — есть ли что выше родственной связи?), — Михаил Львович впервые и с ясностью вдруг понял, что, устраняя одну опасность, не уберется от другой, вернее, не сообразил по своим преклонным летам, что и у вдовей племянницы есть женская слабость и что ни трон, ни обладание властью не способны оградить ее от потребности любви и жизни. Он словно бы очнулся, пристально и с прищуром разглядывая молодого, светловолосого и голубоглазого красавца-князя, неожиданного и властного, как можно было заключить по виду его, соперника, сумевшего уже основательно преуспеть у Елены, и, как это обычно и бывает в таких случаях, не найдясь сразу, что сказать племяннице и как поступить, Михаил Львович затем, вернувшись к себе, еще более растерялся и засуетился, хватаясь, как за соломинку, за те мысли, нелепые и невыполнимые в большей части, какие еще с живостью будто, как это казалось старому прожженному царедворцу, приходили ему; он получил удар, от которого, если с реальностью посмотреть на все, трудно или почти невозможно было оправиться, и тут неважно, что он думал о племяннице (что будто не ему, а себе она вырыла яму), и неважно, что, может быть, впервые по-родственному искренне успокоился за нее, — Елена была холодна и неумолима, она не допускала его к себе, не отвечала на его настойчивые (в записках) просьбы принять и выслушать, и в первых числах августа он наконец по распоряжению князя Овчины-Телепнева-Оболенского был схвачен, закован и отвезен в темницу. Вместе с ним в ту же ночь схвачены были со своими людьми и Воронцов, и Шигона, и жизнь только еще раз подтвердила, сколь неизбежны насилие и кровь там, где делят власть.

Есть преемственность трудовая и есть деляческая, плодящая похожих, как две капли воды, друг на друга придворных интриганов, и — не от великого ума, разумеется (ведь стать любовником правительницы еще не означает стать государственным мужем), князь Овчина-Телепнев-Оболенский, объявив Михаила Львовича заговорщиком и отравителем Василия III, — по аналогии с тем обвинением, по которому дядя Великой Княгини будто бы пытался отравить польского короля Александра, когда служил ему, — не нашел ничего лучшего, как с тем же утонченным коварством действовать против него. Точно так же, как Михаил Львович уморил голодом дмитровского удельного князя Юрия, Овчина-Телепнев-Оболенский приказал голодом же уморить недавнего своего предшественника-временщика, и могучий властитель-чужеземец не протянул и полугода, как был уже — скелет скелетом — положен в гроб и тайно, ночью, как все тайное издавна делалось и делается у нас на Руси, вывезен в одну из подмосковных обителей, отпет и похоронен на монастырском кладбище, вблизи церквушки, среди безвестных, пребывавших будто бы в блаженном покое за свои земные иноческие труды чернецов. Чтобы не высылать свидетелей, Овчина-Телепнев-Оболенский сам сопровождал гроб с телом усопшего (так просила Елена), затем стоял на панихиде в церкви и на кладбище перед могилой, пока не вырос над ней темный земляной холм с крестом, а на рассвете, едва забрезжило белизной небо, был уже во дворце и ждал пробуждения Елены.

И с этого утра — точно те же честолюбивые планы, какие вынашивал Михаил Львович, скрывая их даже от друзей-заговорщиков, вынашивал и любовник Елены князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. Как всякий временщик он, во-первых, не считал себя временщиком и полагал, что положение его если и не совсем еще прочно, то тут лишь дело времени, и,

во-вторых, чем сильнее, как это казалось ему, привязывал к себе Елену, тем дерзновеннее подумывал уже о великокняжеском троне. В конце концов в жизни всякое возможно; возможно было замыслить и такое при недалеком уме и раздутом честолюбии, в чем, надо сказать, сей князь мало чем отличался от прежнего временщика или, точнее, от подобного рода исторических личностей; но между замыслом и осуществлением всегда есть расстояние, которое надо умело, если хочешь достичь цели, пройти, и, как тать, как безумец, пожелавший занять то, что не может и не должно принадлежать ему (в данном случае речь шла о державе и державной власти), — как тать, как безумец, единственно сознающий, что действовать надо в темноте и дерзко, князь Овчина-Телепнев-Оболенский решительно как будто, хотя и таясь в душе и с оглядкой двинулся на стезю так называемой государственной жизни. Обстоятельства ни при Дворе, ни в стране не благоприятствовали ему. Правда, ни смуты, ни вроде бы намек на нее пока еще не было, духовенство служило в церквях, бояре, выставив бороды, сидели в Думе, сельский, посадский, торговый, мастеровой люд, поглощенный заботами дня, делал свое, ратники — свое дело; но при кажущемся спокойствии чувствовалось, что назревают события и что опала на Юрия и на Михаила Львовича — это только начало того зловещего, что вот-вот вихрем обрушится на державу и кроваво разгуляется по ней. Ведь давно замечено, что есть предчувствие масс, народа, и хотя до сих пор никто толком не может сказать, на чем оно основывается (на каких-то очевидных, разумеется, для современников приметах, по которым мысль, устремляясь в будущее, приближается более или менее к истине), но — для времени Елены характерно уже то, что правление ее, какие бы меры она ни решилась предпринять, воспринималось как деяния слабобольной женщины после властного, твердого, мужского правления Василия. Возможно, что и мнение это было не случайным, так как и о Государях, и о их супругах всегда складывается определенное при Дворе суждение; было такое и о Елене, ей не доверяли уже по ее дяде-перебежчику, косились на нее и как на чужеземку, особенно когда после похорон мужа первым возле трона поставила именно своего дядю-чужеземца; когда же сей могущественный, как это казалось всем, временщик был схвачен и обнаружилась ее связь с Овчиной-Телепневым-Оболенским, принялись осуждать уже за эту связь, то есть за распутство и за то, что над старейшими, родовитейшими мужами отечества посмела возвести сего выскочку-верхогляда. В сущности же, недовольство, казалось, выросло из ничего, из местничества; одни, может быть, более разумные бояре продолжали молчать и мириться с подобным положением, другие позволяли себе хотя и не громко, таясь, но все же роптать, а третьи, более решительные, начинали задумываться о побегах в Литву и Польшу. Но, как гласит давняя пословица: пока гром не грянет, мужик не перекрестится, в равной мере это можно отнести и к народу, и к великокняжескому Двору (да и ко всем, всем, включая и нынешних наших правителей), и для Елены и ее опекунов таким громом оказался вдруг объявившийся побег князей Бельского и Ляцкого в ненавистную тогда для Руси Литву.

Когда знатные или незнатные люди бегут из державы, это первый признак ее неблагополучия; и неважно, какими (для современников) эпитетами правители награждают сих беглецов, сих изменников, коины нарекают их, — проходят десятилетия, века, и правда восстанавливается, рассаживая судей и жертвы их по надлежащим местам. Но не из трусости, конечно же, люди покидают родную землю, и не от великого ума и силы спешат заклеймить их властолюбцы; за риторикой обвинений, исходящей из дворцовых палат, если приглядеться, всегда можно уловить то паническое настроение, тот панический страх переворота, который как раз и подталкивает предержателей корон на жестокость и несправедливость. Побег князей Бельского и Ляцкого был воспринят Еленой и первейшим ее советником как сигнал назревавшего переворота, и взоры их, естественно (да и прежде всего), были обращены в сторону старицкого князя Андрея. После гибели Юрия только он мог еще претендовать на престол и только вокруг него могли объединиться недовольные бояре. Надлежало срочно что-то предпринимать, и Овчина-Телепнев-Оболенский, признававший, видимо, из всех государственных мер лишь меру насилия и веривший лишь в одну силу — силу ратную, кстати, уже использованную им в деле с Михаилом Львовичем, начал решительно выдвигаться на арену действий.

XCV

Нам стараются внушить, как внушали народу прежде, что государство не может ни на день, ни на час, ни на минуту оставаться без правителя, что иначе наступят разброд, хаос, всеохватное беззаконие, смута, двинутся поработители, чтобы грабить и убивать, и, главное, что, дескать, все огромное простолюдье, испокон привыкшее видеть над собой защитника и покровителя в лице князя, великого князя или царя (кем, впрочем, мнят себя по отношению к народу и все нынешние представители власти), — что, дескать, все огромное простолюдье, как стадо, лишившееся вожака (вот, вот оно, истинное их, а не фарисейское мнение о народе!), разбредется, обессилет и погибнет; в суждении этом, разумеется, можно разглядеть некую видимость правды, иначе никто бы и не поверил в него, да, повторяю, только видимость, так как сама правда, всегда (и привычно уже) скрываема властителями за пологом славословия, заключена совсем в другом: в страхе потерять власть, как для клеща тот кровеносный сосуд, из которого черпаются его силы, и в надежде на то, что народ, запуганный хаосом и поработением (как если бы и то и другое действительно может произойти мгновенно, то есть за день, час или за минуту), безоглядно присягнет кому повелят. Нет, жизнь, поданная в словах ли, картинах ли, и жизнь, реально протекавшая, столь же, видимо, в данном конкретном случае соотносимы друг с другом, как живой с мертвецом, и лучшим примером для подобного утверждения служит история, единственно дающая нам, если не искажена и не приукрашена, живой урок жизни. Государства если и не оставались без правителей, говоря точнее, если правители ни на час, ни на день, ни на минуту не лишались своих — династических ли, иных ли — державных корон, приносивших им славу, достаток, власть, то народ... Народ либо бросался на произвол судьбы, это в лучшем случае, либо отдавался на разграбление временщикам, которые, сменяя друг друга, как грибы, вырастали у тронов. Народ не в счет, о нем забывают, едва открывается возможность делить власть; и неважно, происходит ли это сегодня или происходило вчера, столетие назад или во времена Елены и после, когда вокруг малолетнего Государя столпился сонм бояр и будущий самодержец всея Руси, именем которого вершилось все, еще лишь набираясь крововой боярской мудрости, в коротких штанишках бегал по палатам дворца, — все течет, все-все, но мало что или, вернее, почти ничто в глубинной сути своей не изменяется в противостоянии народа и власти.

В жизни любого государства, даже самого могущественного, всегда достаточно проблем, чтобы решать их; и лишь условно можно разделить их на внешние и внутренние, смотря по тому, какие в данный конкретный момент выдвигаются вперед и привлекают внимание. Есть периоды подъема экономического и духовного, есть периоды войн и упадка, но есть и так называемое безвременье, когда все, что призвано составлять и направлять общественную жизнь, — все, все ветшает, приходит в разрушение и тлен, и не в порче народа, как пытаются доказать некоторые социологи, тут дело, не в том, что люди перестали трудиться, потеряли ориентир и вкус к бытию; у народа всегда была, есть и будет своя жизнь, и если бы не мешали ему в обустройстве, не притесняли и не грабили — поборами, кабалой, набегами, — он процветал бы вечно именно по своему естеству, трудолюбию и разуму; у него нет программ самоуничтожения, самоедства, их обычно навязывали и навязывают ему, миражно выставя перед ним врата к благоденствию, и я глубоко убежден, что до тех пор, пока, опомнившись, народ не добьется для себя истинного просвещения, он вновь и вновь и даже, может быть, с еще большей легкостью будет подвергаться обману, ограблению и унижению. Историки говорят, что ко времени воцарения Иоанна собирание русской земли было либо уже, либо почти завершено и что оставалось только сообразовать и укрепить саму государственность, то есть структуру власти, и что дед и отец Иоанна, да и сам самодержец настолько преуспели в этом сложном деле сообразовывания и я, что заслуживают (в историческом, конечно же, плане) полнейшего одобрения. Если встать на точку зрения бытующего тотального патриотизма, с помощью которого бросали и бросают в бой цвет нации, ее отборнейшую молодую элиту, под град осколков и пуль и губят ее (да и на так на-

зываемых великих стройках, испытывая холодом, голодом, надрывая здоровье и калеча физически и нравственно), — если встать на точку зрения этого взращенного и оберегаемого предержателями власти патриотизма, коим неизлечимо уже как будто заражено общество, то ответ будет однозначен: «Да!» Да, отгрохали отцы-благодетели державу (усилиями, потом, кровью, костями простолюдинов) и так, добавлю, чиновничьи спеленали ее, что народу ни дыхнуть, ни пошевелиться, ни тем более встать во весь свой могучий рост. Но если, отбросив этот навязанный, ложный государственный патриотизм, встать на точку зрения того истинного, который построен не только на защите общественного будто бы, но и личного блага и который познается лишь двумя путями: обретением собственности и просвещенностью, то есть познанием истинных человеческих ценностей, то оценка прошлого будет иной: да, державу отгрохали, а толку не смогли или не захотели дать ей и поставили ее и весь простой люд в ней (своих же подданных, искренне веривших им) в условия вечной кабалы, забитости и застоя. Всякий свежий росток жизни, от которого можно было бы ожидать пусть хотя бы плодов просвещения, — как он уничтожался прежде, так уничтожался и теперь, едва зародившись, да и не кем-либо со стороны, а самими же нашими людьми-люмпенами, коим, по темноте своей, невежеству или корысти нет будто бы ничего слаще, чем поедом есть друг друга. И пусть не думает читатель, что я искусственно стремлюсь наложить обстановку нашей действительности на прошлое; нет, нет и нет, скорее наш день и наши события есть зеркальное отражение прошлого — тех самых времен, когда великие князья и государи земли русской закладывали для нас сии злосчастные державные гены.

В исторических источниках больше всего похвал достается Ивану III, умевшему будто бы править прозорливо и просвещенно, и если-де не смог до конца оторвать нас от Азии, то по крайней мере настолько — и в политике, и в экономике, и в науках и искусствах — подвинул к Европе, что, сделав следующие властители еще хоть шаг в этом направлении, Россия счастливо влилась бы в семейство цивилизованных западных государств; при этом раболопно добавляется, что почти все его начинания в державе оказались столь основательными и перспективными, что Василию хватило на все царствование продолжать дело отца, да и Иоанн, несмотря на болезненное свое стремление к оригинальности, до смерти почти следовал им же. К слову сказать, и многие последующие Государи всяя Руси не без пользы для себя оглядывались на деяния Ивана III. Но что же все-таки он совершил, чем прославился сей высочайший благодетель: удушением Новгорода, то есть последней на Руси вольности, подав пример коварства и жестокости Василию и Иоанну; развитием искусств, наук, ремесел, но — что же могло измениться в быту народа в его жизнедеятельности, если плоды просвещения даже близко не попадали ему; ими пользовались лишь в палатах владык светских и владык духовных, и — не фарисейство ли, когда искусству для князей пытаются придать общенародный, чуть ли не общенациональный характер? Далее: развитием торговли? Во-первых, привозилось мало, да и то, что привозилось, оседало в кладовых великих князей и их челяди, а уж затем, если оставалось, перепало иным, но тоже государевым людям. Простому же человеку полагалось лишь дивиться великокняжеским нарядам и вещам. Закордонные — ганзейские ли, английские ли — купцы за подобные ублажения предержателей власти и их вельмож получали преимущество в торговле по сравнению с купцами отечественными и, как это только и могло происходить, наживались за счет россиян и обирали их. Вслед за дедом и отцом Иоанн особенно поощрял подобную торговлю. Можно, конечно, возразить, что не все было так, что многое выглядело иначе, и — кто может сегодня измерить выгоду и ущерб от такого ведения дел? Нельзя отрицать, что было и полезное, да я и не отрицаю; народы должны общаться, обмениваться открытиями, торговать, но отчего лишь дурное воспринимается нами от подобных общений и мы не перенимаем главного, что не разрушает, а укрепляет достоинство и личность в человеке, делает его гражданином, хозяином; до сих пор так и не отдана у нас земля крестьянам, и держим мы их в батраках, тогда как в тех самых западных странах уже тогда, в том изначальном для нашей государственности веке, у каждого клочка земли был свой владелец, крестьянин трудился на земле, горожанин в городе, и

ни те, ни другие не были лишены собственности — самой органичной движущей силы жизни. Господи, да есть ли хоть кому-либо и ныне дело до народа, его нужд, страданий, радостей? Кто искренне хотел бы помочь народу — бессилен, а у кого сила и власть — озабочены ее упреждением и устройством. Так происходит сегодня; так было всегда; такой и досталась держава Елене с ее малолетним сыном-Государем, и вопрос для них заключался не в том, что России опять, как и прежде, угрожали Казань, Крым и Ливония, каждую минуту готовые вскинуть меч на ослабленную Москву, то есть не в жизненно важных для государства проблемах, а в интригах, поочередно, в третий уже за полугодие раз вспыхивавших при Дворе и представлявших опасность для трона.

XCVI

У Овчины-Телепнева-Оболенского, чтобы начать действовать против старицкого князя Андрея, не было под рукой Шуйских. Но, как и при всяком грязном деле, примкнув к которому, можно достаточно пожить-ся, сейчас же и словно из-под земли возникли нужные люди. Люди эти старательно донесли князю-временщику, что еще в сороковину по смерти Василия, когда Елена, отказав князю Андрею в просимых им городах, кои он собирался присоединить к своей вотчине, преподнесла вместо них традиционные собольи шубы да коней с отделанными серебром седлами и сбруей при них, — еще тогда, на сороковину, удельный князь будто бы выразил недовольство правительницей, а вернувшись в Старицу, даже прилюдно пригрозил, что будто бы никогда не простит ей этого. Так ли все было на самом деле и мог ли обычно веселый, жизнерадостный, добродушный и довольный всем князь Андрей проявить столь неразумное раздражение, или всего лишь сработала молва, пущенная в ход каким-либо затаенным завистником, кои всегда отираются возле личностей, кормятся за счет их и затем их же и предают, или, что достовернее, удельный князь и говорил, и действовал лишь в контексте общего недовольства, подавшись настроению большинства, вернее, искушению хоть раз в жизни подняться против силы, от рожденья будто бы нависавшей над ним и давившей его, — трудно установить; ясно лишь, что для Овчины-Телепнева-Оболенского это был повод, был тот порог, от которого следовало начинать дело, он тут же напомнил Елене о недовольстве Андрея, что старицкий добряк не столь уж и благодушен, если, не таясь, бросается подобной угрозой, и что нет ли тут связи между ним и бежавшими в Литву изменниками Бельским и Ляцким, то есть дал понять, что не затевается ли заговор против законных правителя и правительницы (чем, разумеется, встревожил и напугал Елену), а в Старицу были посланы люди, чтобы внушить князю Андрею мысль о недоброжелательстве к нему со стороны Елены, способной-де в одночасье расправиться и с ним, как с Юрием. Подобное (подстрекательское, конечно же) сообщение по замыслу Овчины-Телепнева-Оболенского должно было побудить старицкого князя к действию: засуетится, забеспокоится, а растерянность и раздраженность — не лучшие советники, натворит глупостей — и вот он, тепленький, в сетях; и династическая честь защищена, и вина посягателя доказана, а там — все в руках Божьих.

Подобный прием, когда обманом провоцируются и стравливаются стороны, известен давно; он не то чтобы стар, но древен, и можно только диву даваться, как это ни во времена Елены, ни теперь люди не могут уяснить для себя всей простоты сего ужасающего приема и, словно простаки, клюют на обман, возбуждаются, ожесточаются и плодят беззакония, страдания, смерть. Да есть ли, так и хочется задать вопросом, такое понятие, как просвещенность, и предшествует ли вообще хоть что-либо нашей жизни, что мы могли бы воспринять, осознать и, осознав, не повторять? Увы, одно дело — удивляться, восклицать, сетовать и совсем другое — стоять на том повторяющемся кругу жизни, на каком так ли, иначе ли оказывается каждое поколение, отрицая и круг, и самую мысль о повторении. Власть сиюминутных страстей, видимо, всегда выше разума, и только это, наверное, и позволяет временщикам ли, когда на кон ставятся судьбы держав, иным ли каким (меньшего масштаба) злым силам создавать ситуации, нагнетать обстановку, очерствлять, губить и нрав-

ственно, и физически души людей. Как и в великокняжеском дворце, в Москве, в палатах Елены и среди ее окружения, так и в Старице, на подворье удельного князя и среди его окружения, обстановка, казалось, нагнеталась не по дням, а по часам. Как челноки, засновали между Москвой и Старицей посланцы чиновные и так называемые доброходы, то есть явные и тайные подручники временщика; они доносили не то, что видели, что было в действительности, а то, что приписывалось им видеть и доносить, и — не прошло и двух, трех недель, как в напуганном воображении Елены старицкий князь предстал необратимым изменщиком и заговорщиком, а в столь же напуганном воображении удельного властителя зловеще встал образ правительницы, только и занятой будто бы тем, чтобы схватить и погубить его. Ни очное объяснение, на какое с неохотой и осторожностью, но все же решился князь Андрей, ни грамота, взятая с него о поддержке правительницы и Иоанна, не изменили положения, а, напротив, лишь еще более осложнили все.

Овчине-Телепневу-Оболенскому между тем казалось, что теперь стоит лишь, как медведя из берлоги, выманить князя Андрея из Старицы, как сейчас же все решится, князь почувет неладное, еще более засуетится, боясь мстительной правительницы, побежит в Литву и схваченный, так сказать, с поличным уже не сможет оправдаться. Нужен был лишь предлог, чтобы пригласить старицкого князя в Москву, и вскоре предлог такой объявился. Елена решила собрать знатных бояр, воевод на совет по казанскому делу (это был как раз тот момент, когда освобожденного из заключения и обласканного великокняжескими дарами бывшего казанского царя Шиг-Алея вновь решено было посадить на казанский престол как надежного подручника Москвы и среди юртовой казанской знати уже зрел для этого заговор; Россия, к слову сказать, не раз уже пыталась с помощью подобных властителей-подручников усмирить и приручить Казань, и это была лишь очередная и неудачная, как выяснилось потом, попытка); боярам и воеводам было разослано приглашение от имени малолетнего Государя и Елены; послано таковое и в Старицу, да еще направлен добродой, должный тайно предупредить князя, будто вызов в Москву — это всего лишь уловка и что следует крепко подумать, прежде чем отправляться ко Двору. Можно представить, какое впечатление произвели на старицкого князя эти два сообщения. В сущности, он загонялся в угол, из которого, куда ни ткнись, всюду погибель. Князь Андрей не то чтобы боялся Елены как правительницы, но боялся как чужеземки, не способной осознать всего глубинного значения корневых великокняжеских основ, и боялся бояр, которые, он знал, вились возле нее и которым еще важнее было для своего возвышения свести на нет династический род; но, кроме этих политических, как мы бы сказали, опасений, была еще житейская сторона дела, которая повлияла или могла повлиять на решение князя Андрея. Шла первая половина апреля, снега всюду поосели, дороги размякли, реки вскрылись, наступала пора морозящих дождей, заморозков, туманов, когда не только в поле, но и на подворье все казалось пропитанным промозглой сыростью, выезжать в такую погоду не хотелось, и, сказавшись больным, князь Андрей остался в Старице безвольно дожидаться (авось пронесет!) исхода столь неприятно складывавшихся для него событий.

Елена повторно направила гонца в Старицу, настоятельно требуя, чтобы князь явился в Москву, затем послала придворного лекаря-немца Феофила (того самого, который не столько лечил, сколько устраивал свое благополучие и кормился от щедрот покойного Государя), и когда Феофил доложил, что болезнь у князя мнимая, что дело, как видно, не в Юлезни, а в чем-то другом, более важном, чего он, лекарь, не может ве-дать; и когда следом за докладом Феофила пришло сообщение, что вокруг старицкого князя появились некие лишние люди, коих у него никогда прежде не было, и что люди эти не сказывают, откуда и для чего собрались у князя, — сомнений ни у Елены, ни у временщика при ней уже не было; предстояло действовать, и действовать быстро, решительно, чтобы не допустить бегства и перехватить изменника, и для этого в ночь к Волоку посланы были полки под началом князя Никиты Хромого-Оболенского и князя Овчины-Телепнева-Оболенского. Временщик со своим хотя и не очень близким родственником спешил, ему надо было выказать пре-

данность и службу Двору, дабы оправдать перед честным миром свое возвышение. Но не вполне, видимо, доверяя ему, а, может, только для подстраховки, для надежности, желая избежать, как трактуют историки, излишнего кровопролития, Елена тут же, в ночь, снарядила в Старицу еще одно посольство, составленное из трех видных духовных лиц: крутицкого владыки, симоновского архимандрита и спасского протопopa, наказав им, чтобы попытались еще раз уговорить князя Андрея прибыть в Москву, а на случай, если откажется, наложить на него проклятие. Меры Москвы казались и в самом деле необходимыми и решительными, но и в Старице, чувствуя надвигавшуюся угрозу, по-своему готовились противостоять ей. К подворью удельного князя уже с вечера начали стекаться ратники, а сам князь, желая, как и Елена, видимо, бескровно уладить дело, в окружении близких к себе людей диктовал дьяку наказ, адресованный Великому (малолетнему) Князю и Государю всея Руси Иоанну. «Ты, Государь, — отчеканивал слова князь Андрей, которые дьяк едва успевал записывать, — приказал к нам с великим запрещением, чтобы нам непременно у тебя быть, как ни есть; нам, Государь, скорбь и кручина большая, что ты не веришь нашей болезни и за нами посылаешь неотложно; а прежде, Государь, такого не бывало, чтобы нас к вам, государям, на носилках волочили». Дьяк обернулся, намереваясь было сказать, что подобными речами мира не достичь, а что, напротив, это лишь сильнее раздражит и правительницу и бояр (в конце концов ведь не малолетнему же Иоанну предстояло решать все), но князь Андрей, поскольку в эту минуту и в нем, очевидно, страсти преобладали над разумом, резко прикрикнул на дьяка: «Пиши!» — и с тем же скрытым вызовом додиковал послание. Его передали князю Федору Пронскому, и, едва начало смеркаться, он с надежной охраной на рысях отбыл из Старицы в Москву. Но ему не удалось добраться до столицы. По дороге люди Овчины-Телепнева-Оболенского перехватили его на берегу речушки, у переправы, вспыхнул короткий бой, Пронского и его людей заковали в колоды, но в этой скоротечной схватке одному из ратников, сыну боярскому Сатину, как повествуют летописцы того времени, удалось ускользнуть. На рассвете он прискакал в Старицу — весь в грязи, мокрый, с откровенной рукой — и, рухнув на пол перед князем Андреем, сообщил ему, что и Пронский, и все бывшие с ним люди схвачены и что, видимо, полки Еленины вот-вот будут в Старице, чтобы схватить самого князя. Почти тут же пришла весть из Волока, что и там полки и что путь на юго-запад, к границе с Литвой, отрезан.

XCVII

Но оставался еще открытым путь на север, к Новгороду, и сподручно ли, не сподручно ли было князю Андрею идти туда, но он не имел выбора. К тому же с новгородцами, постоянно терпевшими притеснения от Москвы и признававшими (на тот период, разумеется) над собой лишь один княжеский род, род Шуйских, сложились у князя Андрея если и не дружеские, то, во всяком случае, неплохие отношения (ведь он тоже, как мы бы сказали теперь, притеснялся центром), и, может быть, это-то и подтолкнуло его к действию. Не медля ни часа, он собрался с обозом, семьей, воеводами, служившими ему, и ратниками и второго мая, еще всюду на полях и до низинам плотно лежал утренний молочный туман, двинулся к новгородским областям. Впереди себя велел отправить надежных детей боярских с грамотами, в которых, обращаясь к новгородцам и окрестным поместным людям, словно бы напоминал им, что «Князь Великий молод, держат государство бояре, и вам у кого служить? Я же вас рад жаловать». Видимо, ему ничего не оставалось, как пойти на такой шаг — открытое противостояние Елене и Иоанну; одни историки осуждают его за это, другие признают, что иного старицкий князь и не мог предпринять, чтобы спасти себя, семью, достоинство и честь рода, и упрекают лишь за непродуманность, неподготовленность и поспешность, обрекавшие предприятие на провал. И все же — по мере того как князь Андрей продвигался с обозом и войском к новгородским областям, к нему присоединялись все новые и новые люди, частью недовольные тогдашней прижимной политикой Москвы, частью лишь просто для того, чтобы

поразмяться, как говорили тогда, поиграть застоявшейся в плечах силой, а заодно и поднажиться за счет насилий и грабежей. При каждом серьезном деле непременно являлись подобные охотники, и сколько стоит мир, столь и не иссякает резерв сих темных, авантюрных примыкателей. Уже на второй день похода в полках князя Андрея открылась измена, несколько детей боярских бежали из стана, одного из них удалось поймать, его пытали, связав и опустив по самую шею в ледяную воду, и, когда он в числе заговорщиков назвал поименно почти весь свой полк, дело было прекращено и замято; и, может быть, на этом бы и завершился бесславный поход старичьего князя, если бы в это самое время не появился в стане верный князю Андрею воевода князь Юрий Оболенский с отрядом детей боярских и ратников. Неделю назад сей воевода по распоряжению Елены был направлен с этим же своим отрядом в Коломну, но, узнав, что его хозяин, покинув Старицу, спешным порядком движется к Новгороду, нарушил приказ правительницы и поспешил на подмогу к своему властелину. Он догнал князя Андрея на Березне, у Едровского яма, но в тот же день и почти в тот же час настиг князя Андрея другой Оболенский — Овчина-Телепнев, и, преградив Андреевым полкам путь к Новгороду, встал лагерем в Тухоле, верстах в пяти от Зайчьего яма, и изготовился к бою.

На рассвете полки князя Андрея, усиленные отрядом воеводы Юрия Оболенского и новгородцами, и полки князя-временщика Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, посланные будто бы Еленой и Иоанном, как если бы малолетний Государь и впрямь мог кого-то куда-то посылать, выстроились по обе стороны большого пахотного поля с только-только начавшей куститься озимой рожью, имея позади себя: князь Андрей — лес и деревню за лесом, в которой располагались обоз и резервный полк, а князь Овчина-Телепнев-Оболенский — раздольное, словно океанская волна, взгорье с кустившимися по нему дубровником и березняком. Пушек не было; предполагалось, что все решится в схватке, и оба князя в полном вооружении, на конях (и в окружении сопровождавших их лиц), чуть выдвинувшись вперед войск, старались разглядеть и оценить обстановку. Туман, застилавший округу, медленно, словно растворяясь над землей, стекал к реке, к оврагу и открывал пространство и ратников. На рожь, на траву ложилась роса, по-весеннему обильная и едущая, и подернутый сиреневой дымкой березняк, вот-вот готовый одеться в зелень, и сучковатые, не разбуженные еще от зимы дубы, и зеленя озимых, и лут, и речка, и небо, спешащее расчиститься от облаков для солнца, — все, все это, словно картина на полотне, было развернуто перед глазами противостоявших друг другу князей, воевод, ратников. Великий Толстой в одном из рассказов написал с удивлением и недоумением, что как это люди на фоне неповторимой, умиротворяющей, созданной лишь для жизни и радости природы думают не о жизни, а готовятся убивать друг друга; великому гуманисту казалось, что любое сражение, большое или малое, противоречит естеству человека и его разуму и что только безумцы способны подвигать общество на подобные кровопролития. Но многовековая история наша и история мировая, к сожалению, избилуют именно примерами неразумия и безумства, и ни красота, которая должна спасти мир, как заявил другой знаменитый романист и философ, ни столь же вековые призывы к справедливости и добру, прозвучавшие, может быть, в тот самый день, как образовалась первая общность, — ничто не удержало человечество от войн, разрушений и разграблений. Видимо, столь же в человеке заложено стремление к разуму, сколь и сильны в нем инстинкты к дикости, нацеливающие его к захвату территорий, богатств и власти. Но одно дело, когда стоят, изготовившись к бою, войска защитников и войска поработителей, и совсем другое, когда свои против своих, как было теперь, здесь, на Березне, вблизи Тухоля и Зайчьего яма (как, впрочем, не раз и не два и до, и после этого бывало у нас на Руси, и в чем, пожалуй, мы и по сей день держим первенство среди других народов и государств). Что же заставляет простых людей надевать доспехи ратников и идти на безумие? Россияне — может быть, самый по характеру незлобивый, терпеливый и доверчивый люд, им нечего делить, кроме разве клочка земли у порога, как было всегда и как сохраняется, не смотря на великие большевистские посулы, и теперь; но делищие власть

в Кремле втягивают их в свою кровавую схватку, и приведенные к верности и вдохновенные все тем же обманно-государственным патриотизмом вчерашние сеятели и кормильцы готовы убивать друг друга. Так и хочется воскликнуть: да будет хоть когда-либо воспринят народом сей поучительный исторический урок? Ответа нет, глухо. Видимо, красота действительная не в силах соперничать с красотой воображенной и прав обычно оказывается не тот, кто несет истину, а тот, кто пусть обманно, пусть самой что ни на есть грубой ложью возбуждает в людях надежду на благо и счастье. Так где же разум, где же справедливость, и озарит ли она когда-нибудь своим радужным светом души несчастных простолудин?

Когда окончательно рассвело, полки увидели друг друга, и стало ясно, что сражения не избежать; когда, иначе говоря, пора было с той ли, другой ли стороны проявить решительность, — войска, словно замерев, продолжали стоять перед полем озимой ржи, как перед свеженакрытой малахитовой скатертью, которую нельзя было и страшно было запятнать кровью (во всяком случае, могло быть и это чувство: все по той же логике, что красота спасет мир), и со стороны ли князя Андрея, который не был уверен в своих ратниках, разумеется, по более важным причинам, чем только умиротворяющая ясность майского утра, со стороны ли Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, у которого тоже имелось не мало оснований для беспокойства за надежность подчиненных ему полков (по количеству ратников, как говорят историки, силы были примерно равны), — как следствие нерешительности, явилось предложение провести прежде переговоры, чем начинать дело. С той и другой стороны войск к середине ржаного поля выехали князь Андрей в сопровождении воевод (кстати сказать, настроенных на сражение и не желавших мира, который, как предчувствовали они, ничего не мог дать им, кроме обмана и расправы над ними и князем) и князь Овчина-Телепнев-Оболенский, окруженный верными ему воеводами и боярами, которые, напротив, понимая непредсказуемость исхода битвы, предлагали временщику пойти на любой обман, любую хитрость, лишь бы заставить старицкого князя отказаться от своей затеи и поехать с повинной в Москву к правительнице и малолетнему Государю. В нескольких сажнях друг от друга всадники остановились. Сняв шлем и оголив свою белокудрую голову, Овчина-Телепнев-Оболенский заговорил первым. Он сказал, что не имеет зла на князя Андрея, что и правительница, и Великий Князь Иоанн полны христианской милости и готовы простить раскаявшегося и что негоже родовитому князю оставлять «гробы родительские, святое отечество, жалование и бережение Государя своего, Великого Князя Василия, и сына его». «Да ехал бы ты к Государю и к Государыне без всякого сомнения, и мы тебя благословляем и берем на свои руки». Лицо Овчины-Телепнева-Оболенского выглядело настолько открытым и добродушным, да и весь он казался настолько искренним, будто никогда не задумывал и не способен был задумать ничего тайного ни против кого, что невозможно было даже предположить, чтобы он лгал; и хотя считается, что лицо и глаза — зеркало души, но скорее, не зеркало души, а тот основанный будто на правдивости инструмент обмана, каким испокон и успешно пользовались и продолжают пользоваться незаурядные в артистизме, но нечистые на руку люди. Но пока осознание этого обмана явится к князю Андрею, пока (в темнице уже) сей роковой миг представит перед ним в истинном значении слов и действий, вернее, доверчивости и бездействия с его стороны, — должны пройти время да и определенные события, чтобы охладилась страсть и возобладал разум; теперь же, когда, глядя на него, все ждали, что он ответит, и когда, предваряя ответ и в знак примирения, разумеется, старицкий князь снял шлем и оголил голову, вздох облегчения, казалось, прокатился по рядам доселе неподвижно стоявших полков.

XCVIII

После устроенного Овчиной-Телепневым-Оболенским застолья, на котором князья, только что противостоявшие друг другу, в присутствии воевод, бояр с той и другой стороны по-братски обнялись, вполне будто бы

удовлетворенные исходом дела, они в спешном порядке, чтобы к утру быть у Елены, сели на коней и, наказав полкам двигаться: одним — в Москву, другим — к Старице, — в сопровождении близких к себе людей покинули стан. До полуночи не слезали с коней, измотанных гонкой и почти уже валившихся с ног; затем, подремав несколько часов в обители, где перепуганный игумен предоставил им свои палаты и все имевшиеся лучшие кельи, согнав иноков в сырую и холодную каменную трапезную, и, получив подставку, вновь были уже в седлах и мчались где по проселку, где напрямик, через посевы, топчя их, к стольному державному граду. Овчина-Телепнев-Оболенский держался впереди, увлекая и торопя всех. Он, казалось, не скакал, а летел как на крыльях, восторженно воображая, с каким торжеством явится теперь к Елене (главное же, представляя себе, насколько ближе был теперь к заветной цели); и неважно, что не состоялась сражение, не пролилась кровь, не захвачены знамена, пленные, — он одержал победу, которую так ждала от него Елена, и мысленно уже принимал вознаграждение. По-своему испытывал удовлетворение и князь Андрей; хотя, кроме упреков и новых ограничений, нечего было ему ждать от Елены, и все же — мучительная неизвестность теперь отступит от него, все объяснится, и жизнь вновь — и для него, и для семьи: жены и сына Владимира — войдет в прежнее спокойное русло; он думал о Старице, о вотчине, которая хотя и мала, но своя, и утешительная мысль эта, будто и он, как Овчина-Телепнев-Оболенский, мчался к славе и власти, укрепляла его. Конь под ним (из великокняжеских, как видно, конюшен) шел играючи, легко неся его негрузное, хотя и в доспехах, худощавое тело, и, как ни символично было, что мчались навстречу поднимавшемуся утру и дню (навстречу определенности, как это воспринималось князем Андреем), что-то гнущее все же, казалось, нависало над кавалькадой и сопровождало ее; даже окрыленный успехом временщик, мысленно принимавший, как уже говорилось, награды и поздравления, — даже он, гордо подставлявший ветру непокрытую белокудрую голову, нет-нет да и оборачивался на плененного удельного князя, как будто желая уже теперь «соизмерить с историей ценность происходящих событий». Пожалуй, он один только знал, что совершалось или скорее уже совершилось в эту ночь в стане на Березне, близ Тухоля и Зайчьего яма, и в Новгороде, куда для укрепления будто бы были посланы полки Никиты Хромого-Оболенского, и где, с вечера войдя в город, свирепствовали ратники этого воеводы. Они хватали, как им представлялось, изменников, били кольями, заковывали, пытали; с княжеского подворья, на котором орудовали сии подручные Хромого-Оболенского, всю ночь доносились мученические стоны, пугавшие затворившихся по избам и не смыкавших глаз горожан, и эти-то стоны, но не как предзнаменование затяжного народного бедствия, а как ступень восхождения к власти, казалось, умиротворяли душу временщика. Еще более ужасающее происходило в стане на Березне, близ Тухоля. Андреевы полки неожиданным, лихим наскоком были разоружены, воеводы и бояре схвачены; их согнали в избу, а в ночь, в эти сумрачные еще предрассветные минуты, когда не ведавший ни о чем старицкий князь приближался к Москве, их по одному вздергивали на дыбу, добиваясь признания в измене и заговоре.

Коварство страшно тем, что от него нет защиты; когда оно открывается, обычно поздно бывает что-либо предпринимать. Мысль эта, что его обманули, пришла старицкому князю лишь во дворце, когда он дожидался приема правителя и правительницы. Великий Князь и Государь всея Руси Иоанн еще нежилась по малолетству своему в постели, да и Елена желая, видимо, показать власть, не торопилась приступать к разговору. Сопровождавших князя Андрея бояр и детей боярских увели в соседнюю, как сказали, палату, чтобы покормить, но — шло время, а они не возвращались; кроме того, у дверей палаты, где находился князь, появились какие-то незнакомые, странные люди, державшиеся, однако, весьма вольно, и у князя Андрея складывалось впечатление, что если он и не схвачен еще, то с минуты на минуту, то есть вот-вот, должно произойти это страшное, чего он, помня об участии брата Юрия, больше всего опасался. Несколько раз к нему заходил Овчина-Телепнев-Оболенский. Князь Андрей вскакивал, чтобы объясниться с ним, но временщик, по-своему озабоченный чем-то или, может, только игравший в озабоченность, выказывая

незаурядные свои задатки артистизма, столь всегда, как и ныне, необходимые деятелям при Дворах, — временщик лишь жестом давал понять, что надобно подождать еще, что он не в силах диктовать правительнице, и, подозрительно оглядев комнату, столь же торопливо, как входил сюда, удалялся из нее. Только в двенадцатом часу дня пришли от правительницы бояре и, словно под конвоем, повели князя Андрея в тронный зал. Елена, по подсказке ли временщика, по своей ли амбициозной прихоти, не захотела по-семейному решать дело, а предпочла придать ему государственный характер, что заранее уже обрекало старицкого удельного князя на опалу и казнь.

Люди, взятые по отдельности, большей частью добры; но когда собираются вместе, уже не закон личности, а закон толпы начинает возобладать над всеми. Толпа по ложной, но красиво поданной посылке может одинаково возликовать и одинаково ожесточиться и творить беззаконие и зло. Подобное свойство вполне можно было бы назвать ахиллесовой пятой общества. Распознав ее, видимо, еще в древней древности, правители и поныне успешно используют ее, и хотя Елену, образованную будто бы по-западному, нельзя считать искушенной в подобных политических играх или интригах, но с точки зрения своих интересов она поступила так, как только и следовало поступить ей. Тронный зал, когда князь Андрей вошел в него, был полон, сошелся почти весь Двор и все кремлевское духовенство во главе с Первосвятителем митрополитом Даниилом; ведь разбирался, как было оглашено, не династический семейный скандал, а дело о государственной измене, и желающих поглазеть (а тяга эта, равно как и в народе, бытует и среди вельмож), чтобы затем иметь право сказать, что и «я был» и «я видел», а при случае и выказать верноподданническую преданность, — желающих было столько, что за рядами бояр некуда было упасть яблоку, так стиснуто, голова к голове, стояли вельможные, всех родов и рангов дворцовые слуги. Прямо впереди, на троне, восседал Великий Князь и Государь всея Руси (как он именовался в ту пору) Иоанн. Шел ему четвертый год, и, как все мальчишки-барчуки в эту пору, ухоженные, богато одетые и причесанные, он выглядел кукольно красивым. Черные волосы его, то ли курчавившиеся от роду, то ли немного завитые, картинно обрамляли его розовощекое (горбоносость тогда еще не проступала так, как позднее, в зрелые годы и в старости) лицо, спадая крупными волнистыми локонами на спину и плечи, прикрывая маленькие уши и белую и в белом же воротничке шею, да и сам он в великокняжеской, шитой золотом (и, разумеется, на его рост) одежде словно бы утопал на безмерном относительно его детского тельца троне. Он сидел так, придвинутый к спинке, что не мог согнуть ног, и они, обутые тоже в позолоченные сапожки, — снизу, от бояр, казались рощими прямо от головы. Малолетний Государь удивленно, даже слегка испуганно бегал вокруг себя глазами, не понимая, что происходит, для чего он здесь, среди взрослых, с вожделием и любопытством разглядывавших его; он то оборачивался на мать, сидевшую по правую от него руку и тоже одетую с необычной торжественностью, то на митрополита, стоявшего по правую (и тоже в торжественном облачении) руку, но более на мамку, боярыню Аграфену Челяднину, которая вернее всех по детскому пониманию его могла объяснить суть дела. Несмотря на то, что лучи солнца не проникали сюда сквозь окна, в зале было достаточно светло, так что вполне можно было разглядеть и хмурые лица бояр, создававших, как было видно по ним, тяжесть государственного вопроса, который предстояло решить им (в сущности же, лишь подтвердить желание Елены и желание временщика), и лица особ духовных, выстроенных как по ранжиру, по сану и званиям от Первосвятителея к двери и тоже, как и бояре, с высшим будто бы осознанием ответственности и прав, предоставленных им людьми и Богом, готовые не на милость, как следовало бы ожидать от них, а на необходимую будто и оправданную жестокость; да, уже по этим лицам, на которые падал из окон дневной свет, можно было ясно понять, что готовилось совершиться; но то ли правительнице, то ли митрополиту Даниилу показалось, что света этого недостаточно, и по обе стороны трона были поставлены и зажжены свечи; они горели в высоких позолоченных подсвечниках и придавали грандиозность всему этому торжеству и великолепию.

XCIX

Но не великолепие, не торжественность удивили князя Андрея; он бывал и на более пышных, какие устраивались в великокняжеском дворце Василием III и на которых Василий усаживал князя Андрея справа от себя на почетном месте; удивило же и поразило теперь другое — обилие бояр, духовенства и всякого иного чиновного при Дворе люда, прежде и на порог не допускавшегося при разбирательстве подобных (семейных, как все же полагал старицкий удельный князь) дел. Он чуть приостановился, пытаясь сообразить, для чего созваны были сюда эти люди и что могло скрываться за столь странной предусмотрительностью, но, как это обычно и бывает в таких случаях, когда готовишься к одному, а встречаешь другое, — только сильнее забеспокоился и не обладавший и раньше необходимым для персон его круга и положения мужеством так и продолжал, горбясь, стоять у дверей, словно простреливаемый обращенными на него тяжелыми взглядами бояр, правительницы, духовенства. То, в чем минуту назад князь Андрей еще сомневался, — что его схватят — теперь представало более чем реальностью, и если на что и можно было еще надеяться, то лишь на честность временщика, на его заверение: «...а мы тебя благословляем и берем на свои руки», какое дано было им на ржаном поле близ Тухоля и Зайчьего яма и в которое, высказанное столь искренне, нельзя было не поверить. Князь Андрей, как ни было панически распылено его внимание, кинулся искать глазами этого спасительного для себя сейчас князя. Он искал его возле трона, где восседала правительница, но ведь при Дворах ни прежде, ни теперь не любят импровизаций; давно стоявший наготове возле дверей Овчина-Телепнев-Оболенский вдруг, словно вынырнув из-за спины князя Андрея, с резвостью, присущей его молодым летам, и степенностью, к какой обязывало положение, двинулся вперед, к трону, кивком пригласив старицкого князя следовать за собой. Временщик выглядел торжественным и красивым, как только могут выглядеть полководцы, вернувшиеся из победоносных походов, и хотя, повторюсь, сражения не было, не пролилась кровь в открытом бою, но значение успеха от этого не умалялось, а, напротив, только более возрастало; ведь не города же ходил брать, не земли, а пресекал измену и спасал отечество, и — кто и в чем мог упрекнуть его? Поклонившись и испросив дозволения говорить, Овчина-Телепнев-Оболенский не стал лукавить; да и к чему мелочиться в домыслах, когда для обличения достаточно сказать лишь то, что было, — собрал войско, шел поднимать Новгород и рассылал грамоты, чтобы возмутить народ; не слукавил и относительно заверений, какие дал князю Андрею от имени Государя и правительницы; он как бы и себя выставлял на осуждение и тем еще выше (нравственно уже) поднимался в своем успехе. Даже князь Андрей, совершенно уже как будто раздавленный тяжестью обрушившихся на него обвинений, — даже он, загнанный, по существу, в угол интригами временщика, благодарным взглядом окинул его.

Все смотрели теперь на князя Андрея и ждали, что он скажет; ждали покаяния, которое одно только и могло спасти его, но Елена не дала ему говорить. Она поднялась и волею своего малолетнего сына, Великого Князя и Государя всея Руси Иоанна, начавшего уже от неподвижности елозить на троне, неспешно и оттого, казалось, величественно перечислила все давние и недавние неправды, числившиеся за старицким князем, не преминув с укором добавить, сколь щедро он бывал жалован и своим братом, покойным Великим Князем Василием III, и сидящим теперь на державе ее сыном Иоанном, и ею; для Елены важно было, видимо, произвести впечатление, создать подобие справедливости, и, заметив по сосредоточенно притихшим боярам и духовенству, что желаемое достигнуто, кратко и резко, как научил ее (смею полагать) временщик, изложила суть главной вины старицкого князя — измена Государю и посягательство на его державный престол. Не-ет, женщины — это не только милые создания, и глубоко ошибается тот, кто рассчитывает на их сердечность и снисходительность; там, где делится власть, там все равны; равны в жестокости — и Великие Князья, и Великие Княгини. Отличавшаяся как будто бы мягким характером, доброжелательная и ласковая, пока жила с Василием, и особенно по-женственному расцветшая в своей новой вдруг открывшейся безоглядной любви, она казалась неузнаваемой — и в холодности, с какою произносила слова, и в той

отнюдь не женской непримиримости, с какой держалась перед деверем да и перед митрополитом, святителями и боярами, с удивлением (и не без зага-енного страха, потому что знали, сколь тяжела бывает рука у предержате-лей великокняжеской власти) взиравшими на нее.

Это был ее звездный час. Ни до, ни после Елена не чувствовала себя столь властительницей, как сейчас, когда всё, всё, казалось, не только бы-ло подчинено, но было покорно ей. Говорят, что есть наслаждение в самом процессе повелевания, некий зловещий, я бы сказал, садизм, и если хотя бы на веру принять это утверждение, но ведь и не принять его нет оснований, то становится более чем очевидным и устремленность, и поведение Елены; возможно, и белокудрого своего красавца, своего наделенного (ею же!) вла-стью любовника она видела теперь лишь в толпе, в той череде слившихся воедино бородатых боярских и не боярских лиц, которые были перед ней. На мгновенье ли, с основательностью ли, огрубляя и ожесточая ее женскую душу, в ней страсть власти одерживала верх над страстью любви, материн-ством, жизнью, и — можно ли было ожидать от нее в эти минуты снисхож-дения и милости? Кроме того, имелось и еще обстоятельство, не дававшее поколебаться ей. Схваченные на Березне, близ Тухоля, служивые люди князя Андрея, среди которых были и довольно известные, связанные род-ством даже с временщиком, — князь Пронский, двое князей Оболенских, князя Иван и Юрий Пенинские, князь Палецкий и еще, еще, перечень ко-их занял бы всю страницу, — служивые люди эти, а вместе с ними и многие дети боярские подверглись пыткам, кое-кто был уже умерщвлен, и надо было хоть чем-то оправдать это творившееся беззаконие. Князь Андрей, ничего не знавший об этом, продолжал еще надеяться на лучшее, но Еле-на — она была осведомлена обо всем, и, оправдав она теперь старичьего князя, спрос за беззаконие будет с нее, нет, нет, измена и посягательство на трон не прощаются, и нельзя не то чтобы допустить, но даже подумать, чтобы хоть малая тень вины пала на великокняжеский Дом, и движимая уже этим чувством — чувством самосохранения — Елена обрушилась и на временщика. Она заявила, что ни ею, ни Великим Князем и Государем всея Руси Иоанном, на которого (продолжавшего вертеться на троне) оберну-лась, произносятся эти слова, не давалось никаких подобных поручений, что князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский действовал от себя и что тоже дол-жен держать ответ за это.

Не позволив ничего сказать князю Андрею (да и всем, наверное, как и ей, казалось, что в его оправданиях уже не было никакой нужды), она ве-лела удалить и старичьего князя, и Овчину-Телепнева-Оболенского, ни-чуть, кстати, не огорчившегося таким поворотом событий. Уже спустя час, прощенный Еленой, он был у нее и обговаривал с ней (за вторым завтра-ком с чаем и сладостями), как поступить с князем Андреем. На разговор приглашены были и митрополит Даниил, и дворецкий Шигона. Елена еще сомневалась, предавать ли казни старичьего князя; ведь как-никак, родной дядя ее малолетнему, княжившему теперь Иоанну, а ей деверь; не лучше ли, как предлагала она, лишить его прежней вотчины, дать взамен какой-либо городок подальше от столицы и поселить там без права выезда и без права набирать и держать у себя служивых людей; митрополит колебался и готов был склониться на сторону правительницы, благо и сан, и положе-ние обязывали его к этому, но Шигона и особенно Овчина-Телепнев-Обо-ленский настаивали на других, более решительных мерах. Временщик с проворностью, будто и в самом деле рвался схватиться с противником и по-разить его, почти кричал, что если не убрать князя Андрея, то ни мира, ни спокойствия в державе не будет и неважно, что нет сейчас достаточных про-тив него улик (он-то ведь знал, насколько все было инспирировано, подлож-но), они будут, князь не утихомирится, не смирится, и коль уж не за тепе-решние, то за будущие его измены и посягательства следует освободить от него державу. Временщик наседали и на Елену, и на митрополита, поддер-живаемый дворецким Шигонкой, требовал искоренения всего рода, всех, кто так ли, иначе ли был связан со старичьим изменником, и в конце концов ре-шено было схватить князя Андрея, его жену, сына Владимира и, заковав, отправить в темницу. Кроме того и особо, на чем настояли Овчина-Телеп-нев-Оболенский и Шигона, предстояло определиться относительно приняв-ших сторону старичьего князя новгородцев.

Выведенный из тронного зала князь Андрей вновь оказался в знакомой

уже палате — один, без какого-либо общения с внешним миром, и под охраной, безмолвно стоявшей за дверьми. Ему подали еду, молча, как заключенному, но затем, как если бы и в самом деле что-то произошло в его пользу, освободили из-под стражи и отпустили на его московское подворье. Уже вечерело, когда он, чуть ободренный, но все еще опасавшийся, что Елена не успокоится на этом и предпримет что-либо еще, чтобы унижить его и показать свою власть и власть своего малолетнего правителя — ободренный, но продолжавший еще с опаской как бы оглядываться назад, он вошел в дом и, пройдя по безлюдным почти комнатам на свою, княжескую, половину, в задумчивости остановился перед образом чудотворца Петра, висевшим в красном углу гостиной. Ни служивших ему бояр, ни детей боярских в доме не было; их все еще удерживали в великокняжеском дворце, как подумал он, да и от тех, что остались с войском и двигались к Старице, не было никаких вестей, обстоятельство это вызывало тревогу, и, чтобы хоть как-то успокоиться (да и потому, что иначе как к Богу, не к кому было обратиться за справедливостью), князь Андрей спустился в маленькую семейную церковь, похожую скорее на часовню при монастыре, и, запалив свечи и припав на колени перед иконостасом, начал истово молиться, прося силы на покаяние и защиты у Всевышнего перед правительницей, правителем и судьбой. Но в то время как он начал уже чувствовать, что вот-вот будет услышан и Всевышний лицом повернется к нему, дверь в часовню с грохотом распахнулась, и люди Овчины-Телепнева-Оболенского, бросившись к князю, жестко схватили его за локти и, выворачивая руки, потащили во двор, заполненный ратниками. К полуночи с тяжелой колодой на шее и на ногах он был водворен в темницу с сырыми стенами и постелью из прошлогодней прелой соломы, и с этой минуты ему уже не суждено было увидеть свет; он так и не узнал, что случилось с его женой и сыном Владимиром, которых тоже схватили, но на рассвете в Старице посланные туда временщиком люди, что случилось с боярами, верно и до конца служившими ему и которым он уже ничем не мог помочь, и какая участь уготавливалась народу, державе намерениями и делами великокняжеского Двора; князя Андрея, как и брата его, Юрия, уморили голодом и похоронили тихо, бесшумно, увезя в Старицу, а упомянутых изменников-новгородцев, схваченных более по навету, чем за дело, били спустя два дня батогами на полом месте под кремлевской стеной, а затем по высочайшему повелению Иоанна, как значилось в грамоте, зачитанной им, повесили на столбах с перекладиной вдоль дороги, на определенном друг от друга расстоянии, ведущей от Москвы к Новгороду.

С

Между миром воображенным и миром действительности лежит не только то различие, что первый — бестелесен, послушен и повторим, а второй — жесток, непредсказуем и неумолим в своем естественном движении; сжатый во времени мир воображенный обычно бывает куда больше наполнен страстями и размышлениями (что как раз и делает человека либо человеком, либо безумцем, готовым в любом даже шорохе или звуке увидеть угрозу себе, державе, миру), чем реальность, требующая лишь сиюминутных, быстрых решений и действий. Если бы Иоанн, погруженный в воспоминания, смог бы теперь хоть чуть-чуть стать наблюдательнее, он бы наверняка заметил — по горевшим в камине поленьям, — что не прошло еще и четверти часа, как он, войдя в гостиную и сев в кресло, увидел перед собой бывшего своего духовника иерея Сильвестра, и что еще меньше времени прошло с той минуты, как иерей скорее с лукавством, чем с мстительностью задал тот обвинительный вопрос: «А что, царь, кровь-то с малолетства у тебя на руках: и дядьев, и бояр их, да и новгородцев, али не так?» — который, чтобы ответить на него, как раз и отбросил Иоанна в мир тревог, домыслов и волнений, столь вязко, как трясина, какую уже ночь цепко засасывавший его. Лицо царя было каменно неподвижным, бледным, обычно сверлящие пространство глаза прикрыты, но он не дремал, нет, а жил; жил в том воображенном и со сгущенными страстями мире, который, казалось, более чем реально окружал его, а когда открывал глаза, все тот же Сильвестр со знакомым во всех черточках святительским лицом и характером (с добродетельной будто бы, как заверяют историки, лостью, без которой

невозможно было бы ни завладеть умом и сердцем самодержца, ни отвратить его от злых намерений и безмерных жестокостей), — все тот же Сильвестр, являвшийся теперь словно бы для мучительства, иронично, взглядом разрушал все оправдательные построения Иоанна.

Любые видения являются к человеку по своим законам и не подчинены обычной, житейской логике, и вряд ли правомерно было, хотя бы и опальному иерею, обвинять Иоанна в том, что мать ли, бояре ли, пользуясь его малолетством, чинили жестокость и насилие; дело, конечно же, заключалось в другом — в той атмосфере жизни, в какой формировалась душа будущего самодержца России, и Сильвестр пытался лишь узаконить это исходное, лишь иронизировал пока, раззадоривал царя, чтобы затем перейти к главному и уличить в злонамеренных убийствах и лжи. В отличие от того, как иерей вел себя прежде, когда наставлял Иоанна, открывая ему библейские истины и страшая неотвратимостью кары (происходило ли это здесь, в гостининой коломенского дворца, или в палатах кремлевского), — теперь, вызванный к жизни лишь царским воображением, скорее напоминал по самовнению и предвзятости самого Иоанна, чем себя; в нем не то чтобы не было того благочестия, какое, к слову сказать, далеко не каждому святителю удается блюсти смолоду и до конца жизни, за которое как раз Иоанн и полюбил и приблизил его к себе, — нет, благочестие было, и Сильвестр готов был и теперь терпеливо и со смирением наставлять самодержца; но, воскрешенный Иоанном как противовес, как частица не до конца еще уничтоженной царской совести и подвластный (по законам являющихся людям видений) если и не во всем, то уж наверняка в главном царской воле, он и говорил, и делал не то, что хотел и мог бы сказать и сделать и что соответствовало бы его благочестивой натуре, а то, что требовалось для самоочищения Иоанну и не соединялось с постулатами христианской добродетели. В поведении Сильвестра проглядывало теперь точно то же садистское сладострастие, какое с юношеских лет запойно впитывал в себя Иоанн и какое затем стало для него столь же составной частью жизни, как воздух, земля, вода, потребность труда, пищи, переживаний и дум для каждого смертного. Но царь не возмущался Сильвестром, не уличал его в сем страшном, живущем, кстати, не только в хоробах властителей грехе, и не возводил гневного взгляда на бывшего своего духовника; ведь диалог с совестью — это нечто другое, чем с живым, способным на самостоятельное мышление оппонентом, и, задавшись целью определиться в истине, Иоанн не мог позволить себе опуститься до мелочей — бытовых, житейских, к коим, как увидим в дальнейшем, как раз и причислялось им садистское сладострастие; он чувствовал себя представшим не перед Сильвестром, а перед историей, где полагалось утверждаться не насилием, а достоверностью фактов и словом, и в этом отношении стремление Иоанна не только понятно, но и объяснимо, и царю даже можно было бы посочувствовать, если бы он и в самом деле собирался принять истину и следовать ей; но все мучительство его заключалось в том или, вернее, происходило от того, что извечную ложь властей он старался обрядить в тогу истины; он не спорил с Сильвестром и не для него искал оправдания, когда, прикрыв глаза, опять и опять погружался в мир ушедших событий и стихнувших страстей; воспроизводя их и живя ими, он стремился вывести из них ту для истории правду, по которой зло прошлое, творившееся великими князьями и государями всея Руси над людьми, как и зло будущее, кем бы из кремлевских властителей ни творилось, получило бы прочную, неоспоримую и не искоренимую никем правовую основу.

Только что подброшенные в камин и охваченные пламенем сухие березовые поленья ружейно потрескивали, кидались искрами, теплом и светом отдавая словно бы уснувшую в кресле худошавую, уже не молодую, но далеко еще и не старую фигуру Иоанна; он пока еще был с шапкою черных волос на голове и такими же черными бородой и бровями, напряженно сдвинутыми к переносице, что одно, может быть, и выражало теперь истинное состояние его души; кресло напротив было пусто, Сильвестр объявлялся в нем только тогда, когда Иоанн открывал глаза, и призрачность, как и тишина, царившая в гостининой и за дверью, за которой, как и накануне, страждуще бдил архимандрит Левкий, — все, все, все, замерев, словно оттепельная ночь за окнами, державно сосредоточенное во мраке Иоанновой души дождалось своего страшного для народа часа. В избе приходского священника в оче-

редном кутеже забавлялись царевы любимчики: отец и сын Басмановы, Афанасий Вяземский, Грязной, Салтыков, Малюта Скуратов-Бельский; усиленные прибывшим из Москвы братом царицы князем Михаилом Черкасским, они уже не думали и не вспоминали о самодержце; воля державного властителя есть воля высшая, и — наскучит бездеятельность, явится сам, благословясь у чудовского архимандрита. Ни Басмановы, ни Вяземский уже не бегали в царский дворец и не упрашивали архимандрита Левкия, чтобы зашел к царю и напомнил о них, не приносили охочему до кутежей святителю закусок и питья, и обделенный, во всяком случае, каким казался себе, чудовский настоятель с присущими ему желчью и цинизмом придумывал для себя новый объект при Дворе для интриг и гонений; козлиная бородка его, сосулькой спадавшая на грудь, вздрагивала и загибалась крючком — тем сильнее, чем напряженнее и циничнее были его мысли, и, словно спохватываясь, что его могут подслушать (сам ли Господь, Иоанн ли, что пострашнее), троекратно, воровски, торопливо накладывал на себя крест. На половине царицы стояла та же безмолвная тишина. Сказавшись больной, Мария (в девичестве Кученей, как уже говорилось) по-прежнему выходила только к молитвам да к обеду или завтраку, когда накрывался стол; она лежала теперь в постели и, как и царствующий супруг, не спала; лишь маленькая свеча, как ночник, освещала ее лицо, болезненно бледное, худое, но не лишенное той властной прелести, той лепоты, поразившей сперва Шиг-Алея, а затем и Иоанна, по которой, не соотносясь с титулом, уже можно было бы назвать царицей, ее худые, не знавшие работы руки и особенно глаза, которые полны были глубокой, ничем не вытравимой женской тоски. Ее мучили свои думы, свои воспоминания, то возвращая к ее прошедшему в мусульманстве детству, то к свадебным торжествам, к счастливейшему, как ей казалось тогда, но не принесшему счастья замужеству, к рождению, болезни и похоронам сына, князя Василия, столь трепетно ожидавшегося Иоанном наследника, но вместо надежд принесшего только горе и разочарование (все, все, что связано было с Василием, все, повторяясь, представляло перед ее глазами), то мыслью и воображением переносилась к мужу и холодела от той простой истины, которая открывалась перед ней. Она ждала любви, хотела семьи, дома, и материнское начало в ней, если бы ему суждено было развернуться, возобладали бы над всеми иными потребностями жизни; но чувствительная ко всякой даже малейшей лжи в делах любви, семьи, дома (как, впрочем, и любая благовоспитанная женщина) Мария не могла ни понять, ни принять холодности к ней Иоанна (по крайней мере ей так представлялось), и, не находя сил от гордыни сделать первый к сближению шаг, отвечала еще большей и даже в чем-то презрительной холодностью великому, но для нее чужому властелину России. Точно так же, как Иоанн ждал ее в гостиниой, она ждала, что он придет к ней, и, сбиваясь с православных молитв на свои, с детства вошедшие в кровь и сердце, просила у всевышних владык лишь одного, чтобы хоть как-то облегчили ее тяжелейшую с царствующим супругом женскую участь.

СІ

Люди часто по наивности полагают, что царь, как, впрочем, президент или премьер, только для того и стоят у власти, чтобы править, и что у них нет или, во всяком случае, не должно быть никаких иных забот, кроме как о благе народа и государства. Непросвещенность и непосвященность наша лишь усиливают это чувство, и, сколько бы ни подавала примеров история, — достоверных ли, вымышленных ли, обросших легендами, — нам всегда кажется, что то, что творилось в прошлом, неизменно уходит в небытие и не может иметь отношения к нашей действительности. Царь — это хозяин огромной общности с теми же в идеале функциями, что и несравнимые по масштабу у хозяина дома, семьи, двора; и точно так же, как трудно представить, чтобы глава семейства не позаботился о состоянии своего жилища, своих чад и не накормил бы скотину и не убрал за ней, — невозможно или по крайней мере почти невозможно представить, чтобы правитель занимался чем-либо еще, кроме насущных державных дел. Так подсказывает логика — обыкновенная, житейская, по которой живем и судим о жизни, равняя все на свое восприятие, мысли и чувства; в идеале, повторяю, так бы все, наверное, и происходило, если бы... если бы общество не дели-

лось на народ и власть и если бы власть не нуждалась в постоянном, повседневном своем упрочении. В то время как народ печется о хлебе насущном, кормя себя и господ и воздавая (уже за одно лишь это!) хвалу Господу; в то время как по великой доверчивости своей испокон надеется на справедливость и доброту власти (а как же, ведь все мы — и правитель, и пахарь — одинаково люди), часто не только не вникая, но и не желая вникать во все то, что будто бы для него и его именем предпринимается во дворцах и хоромах, — венценосцы не думают о народе; жил-де, всегда, сколько ни дави, ни угнетай его, и будет жить вечно; власть, власть, власть, безудержная, неохватная, — вот главное, вокруг чего сосредоточены их помыслы и деяния. Так во многом было и с Иваном III, в подобных заботах начинал княжение и Василий III, отец Иоанна, умертвив истинного наследника трона царевича Дмитрия; с опалы на деверей Юрия и Андрея и уничтожения их пыталась утвердиться на престоле и мать Иоанна, Елена, и нечем иным, как именно этим, то есть упрочением своей власти, как раз и был теперь занят Иоанн, неведомо на сколько из-за распутицы застрявший в Коломенском.

Он не знал, до какого часа просидел в кресле. Входили слуги, чтобы поменять свечи, — тихо, на цыпочках, боясь потревожить отдохновенно будто бы дремавшего царя; столь же бесшумно приносились и подбрасывались в камин поленья, и, казалось, не было в мире умиротвореннее уголка, чем эта великокняжеская в красных тонах гостиная, в которой, словно бы отделившись от трудов державных, уединенно отдыхал самодержец. Лишь время от времени лицо его конвульсивно вздрагивало, он кидал взгляд на кресло перед собой, которое было пустым, но в котором, вольготно развалясь, восседал теперешний его мучитель иерей Сильвестр, и по этому короткому, гневному, почти бешеному, но в то же время испуганному, бессильному взгляду можно было если и не представить, то по крайней мере догадаться, какие страсти обуревали мятущуюся душу Иоанна. Тишина и безмолвие еще не означают, что жизнь замерла, что, погружившись в обнадеживающий золотой сон, все вокруг обретает бесформенность и статичность; нет, в мире вообще нет ни статичности, ни покоя, камень неподвижен, но жив, в нем происходят свои страшные, растянутые на века разрушительные процессы, как они происходят и в обществе, и в человеке, будь то царь, посадский мастерской или служитель церкви, и, может быть, как ни горька, как ни противна сия мысль, в самой теперешней миссии Иоанна было что-то неизбежное, подчиненное некоему вселенскому, что ли, закону разрушения и распада. Но сила, руководившая теперь Иоанном, не представлялась ему вселенской; словно бы споткнувшись на чем-то незначительном, мелочном, как это часто бывает с людьми, Иоанн никак не мог перешагнуть через брошенное ему Сильвестром обвинение, что, дескать, руки-то с детства в крови, и, оскорбленный этой несправедливостью, он опять и опять мысленно возвращался то к аресту и заточению князя Юрия, то к расправе над старицким князем Андреем (оба они были ему родными дядями), то к действиям матери, Великой Княгини Елены, в которых, ничего не понимая тогда, но более чем понимая теперь, видел лишь жесточайшую необходимость и твердость, то к новгородцам, избитым и повешенным вдоль дороги, о коих, казалось, можно было бы и вовсе не вспоминать. Но Иоанн вспоминал и, вспоминая, приходил все к тому же выводу, что не на матери, не на Елене, а на самих дядях лежит вина за их опалу и смерть; сказано же: не пожелай ни дома, ни жены, ни власти (что добавлялось им уже произвольно) ближнего своего; не творили бы измен, то есть, иначе говоря, ходили бы хотя и в вельможных, но холопах, и никто бы пальцем не тронул. Иоанн лукавил; там, где идет дележ власти, — там «трогают» не за измену, а чаще лишь по подозрению и доносителюству, и ночной коломенский бдитель более чем кто-либо знал об этом; но ведь ни царское восприятие, ни царское слово не бывает ложью, и самодержец не желал даже опускаться теперь до ответа Сильвестру, настолько убедительными казались ему приводившиеся доводы. О несчастных новгородцах Иоанн и вовсе не хотел слышать; то, что относилось к народу, имело для него иное звучание; в душе его давно уже созревала фраза, которую спустя несколько недель он с затаенным злорадством произнесет в Александровской слободе перед собравшимся от всех сословий посольством, прибывшим из Москвы просить его вернуться на царство, что «с давних времен... русские люди были мятежны нашим предкам,

начиная от славной памяти Владимира Мономаха, пролили много крови нашей, хотели истребить достославный и благословенный род наш», — фраза, которой он разом оправдывал все злые деяния великих князей и обвинял народ, в сущности, лишь страдавший от этих деяний — дележа власти, междоусобий, братоубийств, — и по которой, главное, отводил себе роль мстителя, то есть праведника и заступника за родовую, династическую честь и право повелевать; в общем, выходило так, что вопрос Сильвестра, должный позвать к раскаянию, приводил лишь к желанию мстить, этому страшному, противному всем христианским канонам чувству, и только потому, что обычно набожный до трусости Иоанн в эти минуты вспоминал не о Боге, а думал о себе и своей требовавшей, как это казалось ему, упрочения безраздельной царской власти (хотя, какой еще основательности и крепости было нужно ему?), — все и Божьи, и человеческие ограничения были сняты с его беспредельных и безрассудных по заданности лжи устремлений.

Сомнения и самоуверенность, гордыня несовместимы; когда возрастает гордыня, для сомнений не остается места, страдания заглушаются злорадным торжеством, то есть тем беззвучным, исполненным жестокости и коварства смехом, каким теперь, минутами, пока Иоанн еще сидел в кресле, разжигалась его душа; ему казалось, когда открывал глаза, что он уничтожал Сильвестра этим именно своим злорадством, пронзал, словно мечом, защищенную разве что крестом поверх святительских одеяний его слабую, впалую грудь. «Сгинь! Сгинь!» — хотя и не произносил, но будто бы произносил он, продолжая испепелять взглядом иерея, и произносил затем в спальне, когда, лежа при свете в постели, пребывал все в том же мучившем его воображенном мире, из которого так хотелось выйти не запятанным ничем властелином державы. Он велик, недостигаем и чист, и — что ему какие-то там безымянные новгородцы? Их, как травы на лугу, коси — не покосишь, и стоит ли вообще говорить о них? Ни кресла, ни Сильвестра теперь не было перед Иоанном, ответы бросались им в сумрачную пустоту спальни; но, может быть, как раз потому, что Сильвестра не было, что не было, в сущности, никого, перед кем, кроме собственного Я, он мог бы оправдаться, ему, с одной стороны, было легче и проще обосновывать свои доводы, а с другой — и обоснования, и сами доводы словно бы растворялись во тьме и не достигали цели; он чувствовал это, и от бессилия что-либо изменить, как случается это и с людьми сильными духом, снова и снова входил в тот же круг переживаний, мыслей и дум, в котором, хотел этого или не хотел, досадно и неуязвимо вставала перед ним жесткая правда творившихся злодеяний.

СII

По малолетству своему Иоанн не мог ничего помнить и лишь из рассказов очевидцев знал, что когда тридцать житых новгородцев (зажиточных, как мы бы сказали теперь) приговаривались к битью палками принародно, на площади, и затем к казни (имущество их, само собой, отписывалось на счет великокняжеской казны, как это и практиковалось тогда и что было, в сущности, неприкрытым, но узаконенным грабежом), Иоанн восседал на троне, вытянув перед собой, словно маленькие оглобли от маленьких саней, свои в расшитых золотом сапожках ноги, и происходившее в тронном зале, естественно, занимало его лишь тем, что он видел лицо матери, лица бояр, святителей, и тем, что взглядом торопил мать и няню, боярыню Аграфену Челяднину, чтобы поскорее завершали свое взрослое дело и отпустили его. Единственным привлекательным миром для него был тогда мир детской свободы, увлечений и игр, и если слово «побить», повторявшееся чуть ли не каждым из бояр, еще хоть как-то воспринималось им, то понятия «казнить», «повесить» означали лишь, что есть, видимо, у взрослых и такое средство, каким они любят наказывать себя. Как все дети, Иоанн в том своем возрасте воспринимал жизнь, как воспринимают бесконечность, и сама мысль, что ее насильственно можно отнять у человека, показалась бы дикой и недоступной ему; он пребывал в том счастливом неведении, когда кажется, что все вокруг преисполнено не зла, а добра, и ни зависть, ни подозрительность еще не всходили ростком и не обременяли душу; но теперь, проливший уже сам немало чужой крови и научившийся смотреть на мир скорее даже глазами палача, чем правителя, — теперь он

и видел, и воспринимал все иначе. Свеча на столике перед ним догорела, погасла, но сгустившаяся тьма не пугала Иоанна; для него, собственно, тьмы не было, а был только — тот июньский солнечный день, когда несчастных осужденных, выведя на полое место за кремлевской стеной, готовили к экзекуции. Еще вчера седебородых почтенных мужей, их раздевали, привязывали к столбам и били нещадно, зверски, так, что лопалась кожа и брызгала кровь, обагрив и руки палачей, и землю. Вокруг теснились толпы согнанного народа. Словно на убиенных уже, смотрели люди на окровенелые, полуживые тела избитых. Тела эти оттаскивали к повозкам, окатывали водой и принимались за новую партию. Тут же, перед толпой, находился священник. Несмотря на суровость и заданность, с какою он только что по поручению митрополита Даниила провозгласил анафему изменникам, в душе, видимо, как и пристойно христианину, был потрясен совершившимся и невольно, как благословляют на мужество, осенял крестом уводившихся к столбам бородачей. Строем, лицом от кремлевской стены стояло воинство — дети боярские как неизменный атрибут подобного действия; солнце с зенита серебром и позолотой расцветивало их доспехи, особенно доспехи князя-временщика на коне, подтанцовывавшем под ним. Как и на ржаном поле близ Тухоля и Зайчьего яма, князь держал шлем в руках перед собой, и спадавшие на плечи и спину белокурые волосы вносили нечто будто торжественное, даже парадно-праздничное во всю эту ужасающую трагичность. Тут же, позади столбов, стесненные народом и ратниками, причитали, вопили, истерично бились о землю жены и дети обреченных. Ни Великий (малолетний) Князь и Государь всея Руси Иоанн, ни Великая Княгиня Елена не приняли их, когда они накануне пришли за правдой и милостью; их прогнали, как прогоняют со двора бездомных, приبلудных собак, и даже не пустили в церковь Бориса и Глеба, что на Арбате, куда они хотели войти, чтобы помолиться во искупление неведомых им, как неведомых и их опальным мужьям и отцам грехов. Они провели ночь возле церкви, расположившись частью на паперти, частью прямо на земле, благо стояло лето, и ночь выдалась ясной, не дождливой, теплой; малые дети спали, закутанные в платки и прочую прихваченную одежку, а те, что повзрослее, вместе с матерями и бабушками, как беженцы, как табор, потерявший жоака и еще не оправившийся от этой потери, били поклоны на церковь, крестились и просили у Господа защиты и крепости. Этот табор обезумевших и растрепанных женщин, теснимый ратниками и детьми боярскими, оглашал теперь площадь рыданиями; многие просили только, чтобы пустили проститься, но и этого не разрешали и, конно и пеше тесня и давя их, наводили тот нужный порядок, какой по иронии злой судьбы, что ли, обычно строго блюдется при казнях и не блюдется в обыденной жизни державы. Эту-то картину и представлял себе сейчас Иоанн, даже чуть приподнявшись на локтях и оторвавшись головой от подушки, и при всей своей привычной уже безжалостности к подобным действиям чувствовал, что жестокость была непомерной, и, содрогаясь и не веря, что все могло происходить так, оборачивался будто на кресло, хотя был не в гостиной, а в спальне, и искал глазами Сильвестра, чтобы уличить во лжи этого бывшего своего духовника. Нет, для Иоанна не было тьмы, а была лишь эта трагичность, раскрывавшаяся во всей своей неопровержимой реальности, и хотя, если разобратся, вина его состояла разве лишь в том, что он не мог воспротивиться и принял на себя — трех лет от роду — титул Великого Князя и Государя, а вместе с титулом и державу, как всеми считалось тогда, и деяния бояр, матери-правительницы и временщика, смысла которых Иоанн не понимал, но которые уже тогда начинали развращать его незащищенную детскую душу, — деяния те переносились на него и вынуждали искать оправдание. Ведь если он правопреемник трона, то правопреемник и всего, что значилось хорошего и плохого за сим державным местом и святость коего не в том, что блюлась или блюдется венценосцами, а в том, что в любом случае властитель и власть должны оставаться непогрешимыми. Иоанн от малолетства еще более, чем знал это, и, намереваясь уличить Сильвестра во лжи, лишь укреплял то династическое древо, от корней которого питался и жил.

Между тем расправа над новгородцами продолжалась до позднего вечера, некоторых, что были покрепче, по два и три раза выводили и привязывали к столбам, и народ, достаточно уже насмотревшийся сего ужаса, не то чтобы не расходился, но боялся под бдительным оком временщика, бояр,

детей боярских и ратников двинуться с места; к закату уже и на рыдания, как видно, не осталось сил, и в сумеречной вязи, когда избитых до немощности изменников, закованных в тяжелейшие колоды, бросали, словно поленья, на подводы, толпа, обнажив головы и крестясь, безмолвствовала. Ни окровавленные столбы, ни окровавленные батоги не велено было убирать. Распоряжался всем сам временщик, светлокудрая голова которого, казалось, парила то над толпой, то над ратниками, то над обозом, готовившимся в ночь покинуть Москву и, выбравшись на новгородскую дорогу, уже на ней завершить свое черное дело. Молчаливо держались мужики-возницы, занаряженные по указанию князя-временщика, молчаливо, тупо, будто стыдясь чего-то (известно чего: участия в сем страшном злодеянии), выполняли команды дети боярские, ратники и холопы. Князь Овчина-Телепнев-Оболенский, объехав обоз, велел было уже трогать, как вдруг выяснилось, что где-то задержались и не подоспели ко времени подводы со столбами для виселиц (Боже, как знакома нам сия российская «пунктуальность»!); отправляться без них было нельзя, потому что нельзя без этих заготовленных столбов и перекладин исполнить с точностью государеву волю, по которой изменников следовало вешать непременно у дороги, на обочине, чтобы на виду как назидание и чтобы на равном друг от друга расстоянии по всему с не считанными по тем временам верстами новгородскому тракту, и недовольный этой заминкой князь-временщик, одетый уже по-походному и со шлемом на голове, то и дело посылал гонцов с грозным наказом гнать подводы сюда.

Сумерки уже сгустились, когда наконец обоз тронулся, провожаемый все еще не расходившимися людьми. Впереди, окруженный верными ему детьми боярскими, ехал князь Овчина-Телепнев-Оболенский. Он покидал Москву, но держался так, будто въезжал в нее после очередной славной победы. Главная цель его еще никогда не казалась ему такой близкой и достижимой, как теперь, он торжествовал, видя исполненным все, что столь коварно задумывалось, и хотя тогда уже было хорошо известно и среди простолудинов и среди вельмож, что на несчастье других нельзя построить своего счастья, что лишь добро возвращается человеку добром, а зло злом и что людской ли, Божий ли суд или суд истории, он всегда беспощаден, а возмездие уже в самый момент совершения зла неизменно стоит у порога, — в упоении радостью каждый глуп, особенно когда примешаны мания величия и самомнение, так что князю было не до житейских мудростей; он чувствовал себя на коне и фигурально, и нравственно, на той вершине славы, прижизненной и потому ложной, с высоты которой все кажется десятикратно уменьшенным — и у ног, и по горизонту. Когда, желая словно бы приземлить витающую в облаках душу князя, ему донесли, что за обозом, правда, держась на расстоянии, увязались жены и дети несчастных колодников, он резко бросил: «Гнать, а буде послушаются, пороть нещадно!»

СIII

Нам говорят, и я вроде бы тоже убежден в этом, что в природе все-все взаимосвязано и что связь настолько прочна, что разрушение ее может привести лишь к одному — неизменному разрушению мироздания. Торжество природы и страдания человека на фоне этого торжества (разумеется, как неотъемлемой части природы), — какую тут можно усмотреть связь, что соединяет или может соединить сии два крайних начала, а если связь все-таки есть, то должно быть и взаимодействие, то есть взаимовлияние, как при всяком соприкосновении вещей и явлений (и когда, как по законам физики или химии, масса большая поглощает массу меньшую и растворяет в себе). Ночь, летняя, лунная, сквозь которую двигался обоз, втягиваясь по ходу дороги то в хлебные поля и огибая их, то в рощи, в перелески и лес, где за шатром нависавших ветвей сейчас же исчезала вся бездонность звездного неба, высокого, ясного, каким южный человек его видит всегда, но каким перед россиянином оно предстает лишь в пору сенокоса или хлебной страды, когда разрыв между зарей вечерней и зарей утренней меряется не верстами, а аршином, — ночь эта, благоухавшая разнотравьем и ласкавшая глаз своей тихой, одухотворяющей красотой, и люди в этой ночи, закован-

ные в колоды и стонущие от переломов и кровотокащих ран, да есть ли что-либо связующее между этими двумя противоположностями: одухотворенностью и торжеством жизни и ужасающими страданиями на краю могилы человеческого тела и духа? Где логика, в чем она заключена, и что здесь от гармонии, тем более вселенской, о которой твердят, что она управляет миром, или, напротив, от дисгармонии, но в таком случае придется отказаться от всех нынешних научных постулатов бытия и признать козни дьявола; но, может, жизнь природы и жизнь человека так и задумывались, как несовместимые противоположности, и лишь для того только, чтобы, рассуждая о гармонии и стремясь к ней, люди разрушали самую основу своего существования? Или же, как утверждают наиболее правдивые философы, везде и во всем действует и торжествует лишь закон силы? Но если и в самом деле объективно лишь то, что слабый гибнет, а сильный торжествует, то отчего же тогда мы лукавим перед своими чадами, не готовим их смолоду к борьбе, а пускаем в жизнь этaкими доверчивыми простаками, которых каждый, кому только не лень, может унижить, обобрать и закабалить? Вопрос этот, впрочем, вызывает новое недоумение: с кем, на кого работали и работают все прошлые и нынешние идеологии, в том числе и церковные каноны, призывающие к смирению и непротивлению злу насилем, вся так называемая наша духовность, которая на поверку оказывается обязательной для народа и необязательной для властей? Зло торжествовало и торжествует, а добродетель вздергивают на перекладине и швыряют в могильную яму. Так где же логика, снова и снова готов спросить себя, в чем справедливость, в чем обман, ложь? Казнь житых новгородских мужей истории объясняют борьбой, то есть некоей закономерностью, неизбежно вытекавшей из необходимости объединения русских земель; новгородцы-де оказались под властной рукой времени, и личность не в счет, когда к событиям прикладывается государственная мерка. Настоящее оправдывается будущим — вот аргумент жесткий, бескомпромиссный, заманчивый и ложный. Ведь общая жизнь людей — это не каша в котле, переваренная, размякшая и превратившаяся в студень, и, как бы ни хотелось кому-либо иметь сию в лице подданных кашу, каждый живущий на земле человек уже сам по себе представляет вселенную и имеет или должен по крайней мере иметь право распоряжаться своим трудом, собой и жизнью. Но, к сожалению, о правах человека говорят и поныне; и чем больше говорят, тем решительней попирают, и мы в большинстве своем страдаем не от собственных ошибок, нет, а от ошибок правителей, которые по неумению, незнанию, преднамеренности ли, чего нельзя исключить, принимают решения за нас нашим же именем. В Москве правил Великий Князь, в Новгороде — вече; Москва, стремившаяся стать державой, силой присоединяла к себе земли соседних княжеств, тогда как Новгород, сам, по заключению многих историков, считавшийся державой и положивший в основу своей политики свободное, справедливое сожителство: никого не трогаем мы, никто не решится тронуть и нас, — Новгород неминуемо должен был стать жертвой этой своей гордой, но непростительно ошибочной (с точки зрения мирового закона или приоритета, если хотите, силы) государственной политики и потерять значение и волю. Хитрость ли, сила ли, все одно — захват и подчинение; Иван III брал хитростью, но, однако же, и силой, как свидетельствует история; его сын, Василий III, разумеется, уже по-своему притеснял новгородцев, еще надеявшихся тогда на возврат к утраченным вольностям; точно с той же политикой они должны были столкнуться и в правление малолетнего Иоанна и его матери, и, возможно, не случайно вошедший уже в пору грозный самодержец России, коему еще предстояло совершить свой мамаев поход на Тверь и Новгород, — грозный самодержец столь пристально теперь, в Коломенском, вглядывался в это отдаленное даже от него событие. Ночь, ясная, лунная, теплая, полная чарующих красок и запахов, должна вносить и вносящая, видимо (главным образом, в упоенную успехом душу временщика, князя Овчины-Телепнева-Оболенского), умиротворение и легкость, — ночь эта, он с ясностью слышал, как она оглашалась стонами несчастных, зверски избитых и закованных в колоды людей. Где-то далеко позади обоза, откуда вот-вот должен забрезжить рассвет, разогнанные было, но вновь соединившиеся, толпой то ли бродяг, то ли цыган, то ли богомольцев шли жены и дети обреченных на смерть колодников.

CIV

Летние ночи в России коротки. Не проехали и пяти, шести верст, как скрылись из виду последние избы растянувшихся вдоль Язуы московских окраин и словно бы вдогон уходившему на запад обозу сначала узкой, но затем все разрастающейся полоской заполыхала заря, пробуждая сельчан к жизни. Из деревень, от монастырей зашагали к лугам косцы, чтобы по росе размять свои крестьянские плечи (без химических анализов, а ведь знали, что сено утреннего покоса куда лучше покоса послеобеденного); доились коровы, вспыхивали дымки у летних кухонь, выходили, волоча за собой кнутовища, пастухи и подпаски на окраины сельских улиц, и, если бы не явление государева обоза на дороге, ничто не нарушило бы набравшего силу трудового крестьянского дня. Хотя ни крымцев, ни казанцев, ни отрядов из литовского и польского воинств, любивших еще более, чем татары, пограбить и поразорять, давно уже не появлялось здесь, но память на лихие години у людей так крепка — и у малых, наслушавшихся рассказов, и у стариков-очевидцев, — что от вида воинства и подвод, приближавшихся к деревне, многие всполошились, женщины хватали ребятишек и стремились укрыться в лес. Заметив этот непорядок, князь Овчина-Телепнев-Оболенский выслал вперед холопов, чтобы остановить разбегавшихся сельчан и согнать их на площадь перед церковью, куда спустя чуть более четверти часа уже втягивался весь государев обоз с колодниками и со столбами и перекладинами для виселиц на подводах. На колодников страшно было смотреть, настолько они были избиты, в разодранных портах и рубцах и с неомытыми кровоподтеками на посинелых, в рубцах, телах, как страшно было смотреть и на ратников и холопов, стремительно бросившихся возводить первую по новгородской дороге виселицу. Они торопились не потому, что их подгонял временщик, но, видимо, лишь по известному чувству, по какому преступник спешит замести следы своих преступных деяний; одни рыли яму, другие сколачивали виселицу, третьи стаскивали камни, чтобы укрепить столб, и, как только сооружение было готово, ратники и дети боярские, как и в Москве, на полом месте, линейно выстроились, князь Овчина-Телепнев-Оболенский на коне игриво, опять же как и в Москве, подтанцовывавшем под ним, сняв шлем и обнажив свою белокудрую голову, подал команду ударить в колокола и приступить к делу.

Ратники и холопы, кому поручено было вешать, подошли к крайнему, лежавшему на передней подводе колоднику, сбросили наземь, сняли колоду и со связанными за спину руками хотели было повести к виселице, но у жителя новгородца — сорокалетнего в соку мужика, как было видно еще по его сложению, по густой черной, с едва наметившейся преседью бороде, обрамлявшей лицо, и столь же густой черной шапке волос на голове, — у новгородца были перебиты ноги, он не только не мог двигаться, но не мог стоять, лицо сейчас же исказилось от боли, как только попытались его поднять, он не успел даже вскрикнуть, как, потеряв сознание, всем иссеченным, в синих рубцах телом рухнул на жесткую дорожную колею. Волна женских возгласов прокатилась над толпой, мужики, крестьяне, обнажили головы, а с подвод, приподнявшись на локтях, кто как мог со страхом и жадностью, как если бы и в самом деле им важно было запомнить, что происходило на их глазах (и должно было на следующем или еще на следующем этапе произойти с ними), — с подвод со страхом и жадностью смотрели колодники, для которых жизнь только и состояла теперь из этого последнего для них пути от подвод к виселице. На церковной колокольне столь же испуганный, как и все, старался звонарь, и было непонятно, вернее, не совсем понятно, что заключалось в производившихся им колокольных звуках: скорбь, тревога, роковое предупреждение или призыв к бунту? Овчина-Телепнев-Оболенский несколько раз оборачивался на колокольню, чувствуя, что что-то будто не совмещалось от сих звуков с творившимся на площади и с состоянием его души, но — прямо в лицо, от горизонта, скользя по земле, брызнули лучи солнца, на мгновенье ослепив князя и придав всему, что творилось, некую будто торжественность и четкость. Нет, не сей восседавший на подтанцовывавшем под ним коне князь-временщик, не правительница Елена (ненавистного всем литовского роду, как говорили о ней), а малолетний, но грозный уже Великий Князь и Государь всея Руси Иоанн карал изменников в назидание своему многочисленному тогда еще подвла-

стному люду, чтобы люд этот видел и запоминал, сколь крепка и тяжела на расправу рука Государя. Преисполненный этих именно чувств и мыслей Овчина-Телепнев-Оболенский подал знак, чтобы не мешкали, и через минуту дотащенный волоком до петли несчастный новгородец, так и не пришедший в сознание, судорожно дергался на перекладине. Тело его налилось синевою, изо рта, пузырясь, хлынула на грудь и бороду кровавая пена, и солнце, должное высветить лишь карающую будто бы суть происходившего, высвечивало эту кровавую пену, пятном растекшуюся по давно не стиранной белой рубахе. Кто-то, застыв словно в онемении, не мигая смотрел на это творившееся насилие (ведь точно так же, как от чарующей красоты, человек не может оторвать глаз и от ужасающего деяния); кто-то рвало от вида тела в петле и крови, женщины подолами закрывали головки лепившихся возле них детишек, чтобы не поранить, не поуродовать их неокрепших светлых душ этим человеческим, если можно назвать таковым, развратом; и хотя вместе с тем, как, безжизненно обмякнув, повисло тело, стих и церковный колокол, но исполненный надрывного трагизма набатный звон его продолжал еще будто бы нависать над площадью и держать в оцепенении толпою сгрудившийся возле виселицы люд.

Спустя четверть часа князь Овчина-Телепнев-Оболенский вместе со своими подручными детьми боярскими, помолясь сперва, как и положено, сидел за трапезным столом в близлежавшей и скромной, как считалось по тем временам, обители и между бокалами поглощавшей им браги с живостью вспоминал подробности только что состоявшейся казни и благодарил всех за службу. Обоз и ратники оставались на площади. Для ратников в походных котлах готовилось сочиво (не обошлось, разумеется, и без мародерства: с крестьянских подворий тащили поросят и кур, приговаривая, что, дескать, из воды и топора ничего не сварить); колодникам разрешено было только поднести по кружке воды, а потом о них уже не вспоминали, будто на подводах были не люди, а некий бросовый, пусть даже и живой, груз, который велено было увезти как можно подальше от белокаменной стольной Москвы. Лишь около полудня возглавляемый повеселевшим от закусок и браги князем обоз вновь двинулся в дорогу. Возле повешенного, дабы, чего ради, не пришло кому-либо в голову снять и похоронить его, был оставлен ратник в доспехах; он сидел под самую виселицей, притулившись спиной к столбу, и, едва только обоз, втянувшись за поворотом дороги в дубраву и лес, скрылся из виду, со стороны Москвы по залитой солнцем пыльной дороге стало видно, как подвигалась к деревне толпа измученных, едва волочивших от голода и бессонницы ноги женщин, детей, стариков. Толпа эта, достигнув площади, остановилась и молча, в ужасе, смотрела на содеянное, не в силах ни причитать, ни рыдать, ни креститься; ратник под столбом тоже встал, изготоясь к отражению, если кто посмеет приблизиться; с подворий, от изб, глазели сельчане, тоже не смешие пока выйти ни к толпе, ни к виселице, и, пройдет время, прежде чем, узнав, что за люди вслед за государевым обозом явились в деревню, выйдут к несчастным, чтобы посочувствовать им и покормить их. Под самой почти виселицей билась в рыданиях жена обезображенного в петле мужа, возле нее голосили дети, их пытались увести, чтобы успокоить, подкрепить молитвой и пищей, но — площадь только сильнее оглашалась их рыданиями. Старики, сопровождавшие детей и женщин, отправились было к настоятелю церкви с просьбой отслужить молебен по убиенному и похоронить по-христиански на кладбище, но приходской поп не захотел говорить с ними. «Изменникам, женам их и детям нет места в Божьем храме, скорбь их есть лукавство, и алтарь не должно осквернять сим анафемским делом», — так или почти так, видимо, полагал настоятель; старики вернулись ни с чем, и, как и в Москве у арбатской церкви Бориса и Глеба, помолились лишь на купола и кресты и, исполнив таким образом христианский долг и испросив крепости, двинулись дальше, чтобы свидетельством своим запечатлеть в памяти народа сие ужасающее беззаконие.

Больше четырех недель обоз тянулся по новгородской дороге, и все это время колодники, почти не снимавшиеся с подвод, с ужасом ожидали своей участи. Многие не выдерживали, умирали, но и мертвых, их продолжали везти и вешать, дабы ведомо было всем, сколь наказуема строптивость, названная в данном случае для убедительности изменой, и сколь

поощряемы смирение и покорность судьбе, то есть государевой воле, а еще вернее, безграничной и жесткой над людьми власти, которая, как ни тяжело признать это, была прежде, есть теперь да и по всем предпосылкам не исчезнет и в будущем, сколько бы мы ни рассуждали о демократии, правах человека и законах. Равенство? Да разве допустят подобное власти? Нет, люди должны знать это; и, зная, готовиться к жизни, а не к прозябанию в ней, ибо у венценосцев имеется лишь одна справедливость — сила и лишь один способ удерживать, словно в коровнике, подвластный им люд — устраниение. Новгородцев карали не потому, что они были преступниками, а потому, что так диктовали «государственные» обстоятельства, и, может быть, как раз эту-то традиционность, чтобы не искать иных обоснований для осуществления своих ужасающих замыслов, и стремился усвоить Иоанн; он словно бы репетировал будущий разбойный во главе опричного войска поход на Тверь и Новгород и вместо шапки Мономаха примерял лисий, батыевский (для подавления свободолюбия) малахай.

CV

Когда после молитвы и завтрака одетый для конной прогулки Иоанн вышел к вельможам, среди которых, чуть выдвинувшись, чтобы быть на виду, стояли его любимцы: отец и сын Басмановы, Вяземский, Салтыков, Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, брат царицы Михаил Черкасский и, конечно же, вездесущий чудовский архимандрит Левкий, всегда готовый к угодничеству, — все сейчас же заметили, что царь выглядел усталым, нездоровым. Но поскольку о царской особе обычно не принято рассуждать вслух (да и кто мог бы догадаться об истинных причинах Иоаннова недомогания?), — сановитые придворные лишь переглянулись и промолчали, а затем, присмотревшись и пообвыкнув, и в самом деле уже не замечали произошедших с царем перемен; готовые к веселью, словно к работе или службе, они шумно (и шубно!) толклись возле Иоанна. К самодержцу подвели коня под царским седлом и царской кумачовой попоной, помогли сесть и, любуясь его кавалерийской выправкой, а Иоанн любил и умел ездить верхом, свита двинулась за ним.

Ехали тем же, что и накануне, путем, забрав далеко к лесу, чтобы затем опушкой спуститься отсюда к дороге и к Москве-реке. Колея была достаточно утопанной, лошади шли спокойно, без напряжения, крупы и бока их не вскипали пеной, и совсем не зимний, теплый, почти весенний ветерок, дуновением налетавший то от леса, то от реки и села, освежал розовые и потные под шапками лица бояр и князей. Особенно приятно было ехать вдоль села. Дубы, ели, сосны, очистившись от снега, по-весеннему дышали прелой листвой и хвоей, кое-где по пахоте и на межах чернела оголившаяся земля, проглядывали зеленыя озимых, и над ними, над всем распахнутым взгляду пространством, словно бы сгустившись, держалось что-то мартовское, хотя свирепеть бы теперь, по зиме, морозам, готовое вот-вот пробудить к жизни и деятельности все сущее на земле. Царь, свита, кони — все чувствовали это пробуждение. Конь под Иоанном, разворачиваясь то одним, то другим боком к свите, шел мелкой, подтанцовывающей иноходью; было видно, что он готов с места рвануть в намет, лишь бы отпустили удила, но Иоанн сдерживал эту устремленную к свободе конскую силу, как сдерживал подобную же, но относившуюся к державе и власти над ней силу в себе, словно бы дожидаясь, когда, набрав могущества и облепившись подручными, готовыми на все, даже лечь костями за трон и государя, сила сия явится перед боярами и народом во всей своей устрашающей несокрушимости. «Ужо вам!» — будто бы осанкой и слитностью с конем говорил Иоанн, и казалось, нечто символическое заключалось в этой сдерживаемой пока, но готовой разгуляться на воле необузданной, бесшабашной и конской, и царской силе; и, трудно сказать, насколько понималось это состояние Иоанна или не понималось свитой, но одно было вполне очевидно: царь, поглощенный своими думами, был сам по себе, свита — сама по себе; и точно так же, как мир Иоанновых чувств и мыслей более чем читался в его символической угрюмости, не предвещавшей добра, так и мир свиты, сопровождавшей царя, но в противоположность царскому отмеченный беззаботностью и весельем, представлял во всей своей придворной прелести остро-

словий, шуток, интриг и интрижек, затевавшихся обычно с утонченным коварством завзятых профессионалов. Ни Басмановы отец с сыном, имевшие (по известному рязанскому делу) определенные перед страной и самодержцем заслуги и оттого державшиеся с особым как будто бы достоинством, ни стройный и велеречивый князь Афанасий Вяземский, не хуже Сильвестра умевший проникнуть в душу Иоанна, ни Салтыков и Грязной, годившиеся, как говорили о них, лишь на мелкие царские поручения, ни соперничавшие друг с другом за верховенство в угодничестве (один — стараниями палаческими, другой — церковным христоотступничеством) Малюта Скуратов-Бельский и чудовский архимандрит Левкий, ни кто-либо еще из свиты, столь же высоко поставленный при Дворе, не могли даже отдаленно предположить, что мысли, занимавшие теперь Иоанна, были страшны не столько, может быть, для народа, державы, которая была, есть и будет, сколько для них самих, приговоренных уже, в сущности (и не только царем, но и историей), на опалу и казнь. Они не замечали, вернее, не придавали значения взглядам, какими, оборачиваясь в седле, Иоанн обдавал их. Царь смотрел на них с тем болезненным недоверием, какое, словно сгусток ненависти, собиралось в нем ко всем: к боярам, князьям, духовенству, народу, — и какое как раз и погнало его из Москвы и, оборачиваясь мстью, набирало силу; он не выделял любимчиков, решение выносилось всем, жесткое и окончательное, и хотя до исполнения этого замысла пройдет еще немало кровавых лет, но — на что, на что, а на расправы Иоаннова память всегда оставалась крепка, он вспомнит и этот оттепельный день, и решение и, удесятерив злоеущую свою мстительность, исполнит все, что задумывалось теперь. Угрюмо он въехал на косогор, с которого еще вчера, казалось, с напряжением следил за мужиком, санями и лошадью, спускавшимися к реке (снег теперь был осевшим, река вскрылась, так что нельзя было узнать ни места той несчастной для мужика переправы, ни сугроба, спасшего, если уж откровенно, жизнь Иоанну и свите); угрюмо затем, вернувшись во дворец, сидел у Марии, склонившись под тяжестью все тех же не отступавших от него дум, в которых проходило его не призрачное, нет, а вполне реальное, в поисках и мучениях коломенское житье.

Отношения с царицей, как и прежде, были для Иоанна предметом особых забот и раздумий. Он жаждал супружеского тепла, семьи, обычного домашнего человеческого уюта, какого недополучил, как уже говорилось, в детстве, но затем сполна познал в супружеской с Анастасией жизни, еще острее именно здесь, в Коломенском, чувствовал, насколько этого простого счастья недоставало ему; и оттого-то, может быть, что к вопросам державным, отягощавшим его, примешивался еще этот, мешавший, как довесок, подняться и, развернувшись в плечах, то есть во всей своей мстительности, двинуться к цели, — оттого-то, может быть, он, с одной стороны, злился на Марию и ненавидел ее за ее холодность, неподступность и гордость, вернее, за то, что не делала первого и столь нужного в делах любви шага к нему, а с другой — тянулся к ней, испытывая не угасшее еще чувство и находя ее, как и прежде, царственно красивой, красивой как раз в этой своей холодности, неподступности и гордости. Но, возможно, если убрать значение венценосности, все объяснялось гораздо проще: как и Мария, не находившая в себе сил переступить через достоинство и гордость, так и Иоанн, для которого смерти подобно было в чем-либо и перед кем-либо унизиться, не хотел одолевать своей гордыни; два одинаковых характера, два упорствующих в своем царском величии человека, и вместо согласия и любви, одинаково желанных обоим, нарастало лишь противостояние, переходившее в неприятие, только еще более отчуждавшее их. Мария сидела в кресле, царственно, как она умела, держа голову; лицо ее было бледно, она смотрела на мужа, уместившегося на низенькой скамеечке у ее ног, и черные, да, по крайней мере так казалось при свете горевших по обе стороны ее свечей (ведь зимой вечереет быстро, особенно в пасмурный день), — черные глаза ее, как никогда, может быть, отражавшие в эту минуту весь глубинный мир ее женских — от неудачного замужества и неудачного материнства — переживаний и дум, были полны грусти и теплившихся еще на несбыточное счастье надежд. Ей хотелось заговорить о мюридстве, о чем просил брат Михаил, но — чем дольше она молчала, тем труднее становилось начать разговор (разумеется, не только о мюридстве, но разговор вообще) и тем острее, как удушье, поднималась в ней гордость и удерживала ее. Иоанн

тоже молчал. Он сидел неподвижно, не поднимая головы и не глядя на Марию; сухая, с выпиравшими лопатками, спина его была сгорблена, словно, признав вину перед ней, он мучительно искал теперь выход из этого странного, как ему, наверное, казалось, положения. Но смирение внешнее отнюдь не отражало тех дум, какие, роясь, то есть сцепляясь и расцепляясь в противоборстве, поскольку правда и ложь, сколь великие люди всех эпох ни пытались соединить их, всегда оставались несовместимыми, поглощали его внимание. Он то обращался к делам державным, к воспоминаниям, то вдруг сознавал, что пришел к царице и сидит у нее, но мгновенное желание поднять голову и посмотреть на Марию сейчас же перебивалось другим и еще более сильным, заключенным в вопросе: «Для чего? Чтобы увидеть ее холодность, ее презрение?» — и, как и в приступы гнева, впалые щеки его только нервно подергивались, и он еще более замирал в той молчаливой позе, в какой, войдя, оставался все эти долгие минуты безгласья. Нет, здесь, у царицы, столь же не было покоя, умиротворенности, как не было их ни в красной гостиной, ни в спальне, и, скорее почувствовав, чем осознав это, Иоанн поднялся и молча, решительно, не оборачиваясь на Марию, как, впрочем, было уже привычно ему, вышел от нее.

(Продолжение следует)



Виктор КРИВУЛИН

Последняя книга

Рыцарь Бедный

то колющий то режущий уют
то зрелище при свете самопальном
стекла и музыки
там русские поют
на языке своем прощальном
почти по-англицки, нащупывая крест
впечатанный между сосками
то колющий то режущий, то сканью
украшенный — в оплату за проезд
от Петербурга до Женевы
давно уже назначенный, с тех пор
как Рыцарь Бедный от Марии Девы
имел одно последнее веденье
решительный и тихий разговор

* * *

в ожиданьи латгальских коров,
по Иосифу — тощих, из тусклого чрева Двины
мы живем на границе голодных и сытых миров
все живем еще хоть не должны

по ненужному полю грядут
безграничные волны холодной погоды Патруль
перекроет шоссе — вот и все Остановимся тут
у шлагбаума с номером «нуль»

от которого новый отсчет
начинается — будто бы вниз или вверх
и сливает неделю в единственный чистый Четверг
расстояние, став на попа, убивает закат и восход

чтобы времени вдосталь хватало прощать
эту вечную скудость что не прекращала тощать.

Последняя книга

я-то молчу да вокруг не становится легче
ни тишины по ночам ни потрескивания свечи

если умрет электричество

газ отключат

восстановят буржуйские печи
из матерьялов подручных (жестянки стекло кирпичи) —
станет ли тише? очистит ли нас одичанье?..

толпы у воинских кухонь
 бесплатные каша и хлеб
 слухи о каннибализме и споры: что было в начале?
 Слово Еда или Топливо? —

раньше
 пока не ослеп
 неба кусок между крыш уцелевший зачем-то
 так и повиснул — во рвани в тревоге в дыму

Книга осталась
 роскошный альбом Кватроченто
 но и раскрыв,
 ничего не увижу
 почти ничего не пойму

Шекспировы мотивы

I

привезли декорации, в дикорастущем углу
 регулярного парка вкопали скамейки воздвигли эстраду
 и сыграли шекспира — и певчую слышат пилу
 на закате за ельником со стороны Петрограда

II

своего пошли валять советского шекспира!
 перевод пупырчатый, булыжный, для незрячих —
 и войдешь на ощупь и закончится иначе
 действие: музей музей-квартира
 аскетическая макбетова утварь
 венской мебели рабочее скрипенье
 и газетка влажная в крови и в мыльной пене —
 брился нервничая видимо наутро
 после взятия власти...

а потом на сцене
 следовал за тенью обращался к тени
 прислонялся обессиленный к дверному косяку
 чувствуя что кровь сочится из-под грима
 по испанскому течет воротнику
 солона и неостановима



В а л у н ы

РАССКАЗ

Мы идем по лесистым холмам, бредем по их крутым склонам, спускаемся в распадки, долины и снова карабкаемся вверх. Густо нависает над нами и теснит нас плотный лес — ельник вперемешку с березой и осиной. В этом зеленом сумраке и в низинах, и на горбах холмов — везде камни, валуны и мелкий окатыш под ногами. Крапчато-бурые или серые с буроватым отливом и с прожилками — гранит. Что окатало эти каменные глыбы, какая сила напрягалась над ними, превращая их в разные чудные фигуры: горбатые спины каких-то животных, погрязших по брюхо в землю, огромные шары не очень правильной формы: есть камни, напоминающие человеческое жильё, каменные навесы, под которыми хочется посидеть или даже поспать. Чужая земля. Хотя говорят, что она наша — Карельский перешеек, — что мы ее освобождаем. Но для меня, родившегося в березовых отрогах далекого Уральского хребта, она все равно чужая.

Я уже вторую неделю в боях, а все еще жив и не покалечен, когда рядом со мной, на моих глазах пало и угроблено столько наших ребят. Заговоренный я, что ли? Тот первый бой под высотой мне кажется уже таким давним и полузабытым, как будто он гремел где-то в другой жизни. А взвод наш, куда меня впахнули в другом полку, уже давно стал моим, родным. Хотя он тоже шибко поредел после атаки на болоте и еще одного боя два дня назад, когда ранило Кирюхина. Вчера во время короткого привала в чаще ельника в наши потрепанные ряды сунули необстрелянных новичков, среди них много узбеков. Их разбросали по разным взводам, в наш — человек пятнадцать. А из старых живы еще старший сержант Караулов, теперь наш взводный, как будто тоже заговоренный, сержант Сопов, Лапин, мой земляк и приятель, и несколько украинцев, все еще обособленных, так что не знаю даже, как их зовут.

Узбеки стараются держаться вместе, на привалах из всех взводов собираются в одну кучу и радостно разговаривают. У них, я вижу, как и у меня тогда перед первым боем, больше любопытства и напускного веселья, чем явного страха. Вот начнут падать мины — сразу поскучнее, думаю я о них немного ехидно. Из полупонятого мне узбекского говора доносится до моих ушей имя одного солдата: Джура. «Джура, Джура!» — звучит то и дело. Этот Джура, красивый паренек с живыми лучистыми глазами, говорит больше всех или, вернее, только один он и говорит. Веселит своих земляков, этих кишлачных мальчишек с плохой выправкой и в солдатских штанах не по росту, обвисших над небрежно намотанными обмотками. Или, может, себя ободряет в предчувствии боя. Джура, чувствуется, парень городской и тертый. Узбеки слушают его с усмешливым интересом, иногда оживают и смеются громко, что-то спрашивают и снова смеются. Иногда Джура замолкает, как бы задумывается и негромко запекает: «Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве...»

Полуденное небо, даром что северное, жарит вовсю. Безветрие, духота. Сенокосная пора. Тяжелеют, давят на плечи, на взмокший от пота горб вещмешок и винтовка. Ремень, оттянутый подсумком, терзает поясницу. Каска раскалилась, как сковородка, и печет мозги. Каски не у всех, противогазы — тоже. После каждого привала противогазов и касок остается все меньше и меньше. Присядут, облегченно скинут каску, скатку (у меня ее давно нет),

противогаз, винтовку, а когда встанут, чтобы топтать дальше, берут только шинель и винтовку, остальное оставляют на обочине, будто забыв нечаянно. Я было тоже на привале снял каску и, вставая, не поднял ее с земли, но тут же как будто голос услышал или как будто со стороны ударил в башку приказ: «Не смей бросать каску!» — и снова нахлобучил на голову.

Бредем по склону вверх, растянувшись, вразброд. Где-то недалеко прерывисто постукивает пулемет, по звуку немецкий или финский. Вой падающей мины — и слева за деревьями вырастает мгновенный куст взрыва, срывая хвою и тревожа листву на березах. Я уже не впервые вхожу в полосу ближнего боя, можно сказать, я бывалый, обстрелянный солдат, пора бы уже привыкнуть к близости смертельного огня, но чем больше я в бою, тем сильнее во мне страх, теперь я уже почти трус. Только виду не подаю. В первых боях я не мог представить, верить, что меня может убить, а сейчас собственная смерть кажется мне не то чтобы неотвратимой, а допускается в унынии воображением: вот я, убитый, лежу незахороненный на каменистой земле чужбины, лежу почерневший, раздутый, и в моем теле, как в дерьме, копошатся белые трупные черви, обнажаются мои ребра, между ними с сытым жужжанием пролетают синие мясные мухи, потом долгие годы белеют в траве мои обмытые дождями кости, мой череп с оскаленными молодыми зубами...

Новички, я вижу, настрожились, но силятся казаться бравыми, переговариваются друг с другом, напуская на себя беспечность. Узбеки жмутся к Джуре и опять доносится: «Джура, Джура».

Миная на пропешине холма большие валуны, под которыми почему-то со стороны противника вырыты окопы — финны, что ли, сидели до нас, — мы спускаемся в долину. Постреливают совсем рядом. Знакомый разбойничий пошвист пуль гнет спину, жмет голову к земле. Впереди то ли широкая поляна, то ли рассекающая лес надвое просека. На самой опушке несколько больших валунов и много мелких. Под нависающим боком одного — пепел и головешки потухшего костра. Финны, наверное, грелись ночью. Теперь они где-то там впереди, откуда свистят пули.

Дойдя до этих валунов, мы скучиваемся. Курящие закуривают, кто-то хрустит сухариком. И такие вот валуны, и солдаты, встревоженно притихшие перед боем, — все это уже было, было в моей фронтовой жизни. И странно, как и прежде, никакой ненависти к тем, в чужих мундирах и с чужим языком, хотя если бы поймал кого-нибудь из них на мушку, убил бы, не задумываясь. Я просто боюсь их. И кто знает, они, может быть, тоже боятся меня.

Кто наши командиры, я не знаю. Комбата нашего, говорят, майор, я не видел ни разу. Ротный как-то раз мелькнул, капитан, старик, ну, сорок или под сорок. Среди нас крутятся два или три лейтенанта, взводные. Нашим взводом командует старший сержант Караулов. В пору бы ему уже пришить на погоны две звездочки, так, наверное, и будет.

Передохнув возле валунов, мы поднимаемся, выходим из-за камней. Идем по-прежнему вразброд. Если бы даже была команда «в атаку», вряд ли мы, измученные от жары и жажды, напряглись, развернулись бы скоро и рванулись вперед. Выбредаем на открытую поляну или просеку — не разглядел. Такие поляны и просеки мы уже переходили, не подорвавшись на минах и не напорвшись на пулеметный удар. Правда, один раз налетели: скосило лейтенанта, нашего взводного.

Не успеваем пройти шагов десять, пятнадцать — задние еще в лесу возле камней, — как по нам огненная пулеметная трасса. Я падаю, рядом со мной пули вскапывают почву, секут и кромсают траву. Сладкий дух нагретой травы, перегной, детство, жизнь... Я пячусь назад. Мешает винтовка, она сползает со спины на затылок, толкает каску, каска нахлобучивается на глаза. В эти минуты я не солдат, ничего у меня уже нет солдатского, я просто человек или даже не человек, а скотина или, вернее, живой комок костей и мяса, боящийся боли и смерти. Вижу, вернее, слышу: люди бегут. Встаю и, низко пригнувшись, бросаюсь назад. Дойдя до деревьев, оглядываюсь и мельком замечаю: кто-то долговязый, подняв обе руки, бежит к той, противоположной опушке. Войдя в лес, сигаю за большой валун. Там собрались и сбились в кучу те, кто унес ноги с поляны. Лапин жив, Сопов — тоже. Чуть придя в себя, я вспоминаю о солдате, который перебежал к финнам.

— Видели, какой-то в плен сдался.

Мне никто не отвечает. Или не видели и не верят, или про это лишний раз не надо выкатывать — и так все ясно.

— Джура! Джура! — кричат узбеки.

Пули то и дело бьют по камню и рикошетят со сверлящим визгом.

Оказывается, старший сержант Караулов ранен. В плечо.

— Сопов, перевязка, — осевшим голосом просит помкомвзвода.

Его колотит, лицо белое, но глаза как бы радостные, взгляд мягкий, отрешенный, блуждает далеко, мы уже не взвод, не подчиненные его, и все, что связывало его с нами, уже пройденное, пережитое; в его мыслях, видениях теперь санбат, госпиталь, жизнь, отдых несколько месяцев, а может, и домой вырвется, мать повидает. Сопов рвет окровавленную гимнастерку Караулова, обнажает плечо, обвисшую плетью правую руку. Пуля прошла навывлет, спереди кровит небольшая дырка, а со спины на лопатке рваная кровавая рана. Сопов, суетясь, разрывает индивидуальный пакет, неумело бинтует, сквозь бинт тут же проступает кровь. Караулов напрягается от боли, но лицо его по-прежнему ясное.

— Здорово он тебя, — говорит Сопов.

— Хреновина, до свадьбы заживет, — бодрится помкомвзвода.

— Хлопцы, юлдаши в плен сдаваться побежали! — кричит кто-то.

Мы высовываемся из-за валуна и сквозь редкие на опушке березки видим: два солдата, махая над головой поднятыми руками, — дескать, не стреляй, — выбегают на открытое поле. Я жду: сейчас затарахтит и срежет их свинцовый ветер.

— Не стреляй! — визгливо кричит один.

— Атма, ананны! — ругается другой по-узбекски.

Но с той стороны огня нет — в плен же сдаются.

Я смотрю на помкомвзвода — как он отнесется к тому, что его солдаты сдаются в плен. Помкомвзвода спокоен, безразличен. Видно, ему теперь на все это наплевать.

— Помочь тебе? — говорит Сопов, перевязав рану.

— Не надо, до КП как-нибудь сам.

Он уходит, уходит, не попрощавшись, не оглядываясь, он торопится подалее от этого места, от смерти, он отвоевался, он свободен от войны, от нас, совесть у него чиста.

А мы следим за теми двумя узбеками. Они тащат сюда то ли раненого, то ли убитого. А финны почему-то не стреляют. Принесли раненого или убитого под соседний валун, туда сбежались узбеки из других взводов.

— Джура! Джура! — доносится.

— Что он, ранен? — спрашиваем.

— Он умер! Джура умер! — отвечает кто-то.

Он, конечно, шел впереди, храбрясь, подбадривая остальных. Вы тут считаете, что узбеки плохо воюют, юлдашами нас прозвали, а мы вот как...

Пули повизгивают. Кажется, бьет снайпер, обнаружил наше укрытие, стоит только чуть высунуться из-за валуна, пуля бьет по камню. Но мажет финн, деревья все же мешают. Возле соседнего валуна узбеки малыми саперными лопатами углубляют кем-то уже ранее вырытый окопчик — финны сидели или наши уже здесь побывали, — роют для Джуры могилу.

— Во дают, идет бой, а они похоронами занялись, — говорит один из новичков. — Для этого есть похоронная команда.

— Ну и правильно делают, — отвечает солдат постарше нас, с заросшим черной щетиной худым лицом, казавшимся маленьким и дохленьким под каской. — Человек должен лежать в земле. Вот меня убьет — никто не похоронит, буду валяться, весь лес провоняю. А похоронная команда, она сюда ни в жись не сунется.

— Здесь сыро, потому человек быстро разлагается, — встречает солдат с усами, тоже новенький, видно, уже повоевавший где-то. — Я вот был на юге, на Дону, под Сталинградом. Там трупы высыхают. Тронешь шинелишку — в ней сухое тело, веса-то нет.

— Может, хватит, а? — обрывает беседу Сопов, которому, как и мне, тошно слушать разговоры о трупах, психует сержант. — После войны своей бабе будешь рассказывать.

Пули шьют воздух, с визгом рикошетят от камня, срезают хвою. Узбеки, которых сейчас мало заботит или вовсе не заботит бой, закопали Джуру, сели вокруг холмика кружком и, поднося сложенные ладони к лицу, заунывно произносят непонятные слова молитвы — справляют еназу. Остатки взводов смешались и собрались под тем большим нависающим валуном, под ко-

торым кто-то до нас жег костер, многие сидят не под самым навесом, а прилегли, скучившись, в лощинке рядом. Там и лейтенанты. Курят. Это в пятнадцати шагах от нас, а узбеки, могила Джуры чуть позади. Мы переговариваемся. Оказывается, перед нами не просека, а поляна, она справа упирается в склон возвышенности, на эту возвышенность пыталась подняться вторая рота. Говорят, финны забросали их гранатами.

Я сижу рядом с Лапиным. Когда мы узнали, что земляки, оба из Башкирии, он из Белебея, я из Учалинского района, и после радостного открытия нашего общего знакомого Самохина, его — школьного, моего — фээзушного товарища, мы с Лапиным сделались приятелями, чтобы не сказать — друзьями. Приняв роль младшего и подчиненного, я доверчиво жался к нему и часто надоедал ему своей болтовней. А он оказался не очень словоохотливым, иногда как бы совсем отдалялся от меня и, задумавшись или затосковав, отвечал мне неохотно и односложно. Вот он сидит, я поглядываю на него, какой-то он не такой, и румянец стерся с его щек, и синие детские глаза задымлены тоской, пал духом, приуныл или, может, не дай Бог, конечно, смерть свою предчувствует. Говорят, это бывает в бою, иной человек перед гибелью просто на глазах меняется, лицом чернеет, взгляд тускнеет. Да вообще после того, как мы дуриком сунулись под обстрел, после ранения помкомвзвода, все сникли. Раньше я смотрел на себя как бы глазами старшего сержанта Караулова и силился казаться храбрецом. Теперь он ушел. Кто теперь мой командир? Сержант Сопов, что ли? Пусть он, но перед ним я не стану корчить из себя героя, потому как вижу: Сопов сам психует. Держаться героем для новичков? Зачем? Я же не командир, чтобы быть примером. Словом, я сжался, съезжился и больше не пытался скрывать, что трушу.

— Караулов сейчас, наверно, в санбате,— говорю я, думая о помкомвзводе.— Если, конечно, дошел.

— Пусть кантуется. Я даже рад, что он остался жив. Хотя я к нему не очень. Помнишь, как он бросил в лесу Скребкова?

— Жестокий был. Может, так и надо в бою,— говорю я и рассказываю, чтобы немного отвлечь себя и его от дурных предчувствий: — в Запасном полку под Благовещенском у меня помкомвзвода был, нерусский, то ли бурят, то ли якут, ну и натерпелись же мы от него. Сам знаешь, подъем — три минуты, не успеешь намотать обмотки и встать в строй — ложись. И снова «подъем»! Обмотка скатана в рулон, берешься наматывать, а она, сука, распускается и по полу, спросонья руки как не свои. Снова «ложись» и «встать!» и три минуты. Каждое утро мучил кого-нибудь, удовольствие получал от этого. Он же спал вместе с нами, вот мы и решили его проучить. Он носил кирзачи, и мы ночью нассали в его сапоги, в казарме под утро температура нуль, сержант встал раньше нас, сунул ногу в сапог и матерится. А мы делаем вид, будто не слышим, а сами еле сдерживаем смех. Присмирел после этого.

Один солдат, не знаю из какого взвода, с перевязанной головой, бинт на голове, как чалма на мулле, переходит от валуна к валуну, то ли курево стреляет, то ли от тоски и страха льнет к людям потрепаться, его белая голова мелькает то тут, то там, вот подсел к узбекам, затем подошел к нам. И чалма эта в зелени леса так белеет, так светится, что кажется нарочно выставленной мишенью, обнаруживающей наше укрытие и привлекающей снайпера или, может, ихних минометчиков.

— Браток, если ты ранен, давай, чеши в медсанбат, не мельтеши здесь,— говорят ему.

— Но у меня же кожу только содрало,— смущается солдат.

— Кожу или что-нибудь еще — там разберутся. Давай, не торчи у них на виду, мотай отсюда, пока снайпер тебе башку не снес.

Солдат не торопится уходить.

— А как его найду, этот медсанбат?

— Найдешь. Иди вон туда, в тыл.

— Тикай, дурак, пока цел.

Парень все еще не решается, и мы начинаем его ненавидеть, мы ведь так дружно хотим не жизнь его спасти, а пытаемся избавиться от его чалмы, предательская белизна которой опасна для наших жизней. Наконец дружным гневом выпроваживаем его в тыл.

Сержант Сопов, кажется, вспомнил, что во взводе он теперь единственный, у кого на погонах хотя и не звездочки, но все же три лычки. Теперь

он и за взводного и за помкомвзвода. Правда, его на эти должности никто не назначал.

— Чего сбились в кучу, как бараны? — пузырится он. — Одной миной всех накроет на х... А ну, давай, рассредоточься! — И метнув на меня командирский взгляд: — Гайнуллин, я тебя назначаю отделенным. Переходи со своим отделением вон туда, — показывает на низкий продолговатый валун неподалеку от нашего большого валуна. — Живо!

Я — отделенный. Я командир! Так у меня же нет лычек. Назначил бы хотя бы кого постарше. Вот этого усатого. Но Сопов, видно, так решил. Наверное, потому, что я уже побывал вместе с ним в боях, знаем друг друга. Кто же у меня в отделении? Лапин, усатый, вот этот с заросшим лицом, два украинца да еще несколько узбеков. Они все еще вон там, у могилы Джурь, молитву тянут. Делать нечего, приказ есть приказ — переходим под тот малый валун, высотой примерно мне по грудь. Не успеваем притулиться к камню, как чиркает пуля по нему — заметили нас, сволочи. Опять мы в одной куче. Усатый солдат высовывается и глядит в сторону финнов. И тут же: дзиль — пуля.

— Не высовывайся, убьет ведь, — говорю.

— Ты что, за камнем прятаться сюда пришел? — зло огрызается усатый. А ведь поначалу казался таким добродушным.

Тут я напускаю на себя командирскую строгость, а как же, сержант назначил, законно, и впервые в жизни чувствую робкую власть над другими людьми, распоряжаюсь жизнями вот этих ребят, одетых в военную форму.

— Чего сбились в кучу? А ну-ка рассредоточься! — командую я, подражая Сопову. — Ты выдвинься туда, — это я усатому, показываю ему под разлапистую ель, приказываю Лапину: — А ты вот к тому камню, — посылаю его по-свойски на удобное место. — А вы рассредоточьтесь с этой стороны.

Никто ни с места. Глядят на меня как на чокнутого. И молчат.

— Ишь ты, говнюк! — выпаливает наконец усатый. — Нас туда посылаешь, а сам хочешь отсидеться за камнем.

Я сражен. Сражен не тем, что мне, командиру, надерзил солдат, а тем, что он попал в самую точку, разоблачил меня: я посчитал, что теперь у меня есть право, власть посылать их под пули, а самому прятаться за камнем. Нет, даже не это. Он угадал, что я боюсь, трушу.

— Слушай, я к тебе в командиры не просился, — отвечаю ему сварливо. — Если боишься, сиди здесь, я сам пойду туда. И вообще идите вы все!..

Побывав несколько минут в шкуре командира и потерпев неудачу (а как же люди командуют полками, дивизиями?), я отказываюсь от этой непосильной для меня должности и, встав нарочно во весь рост, дескать, глядите, я не боюсь, медленно перехожу не под ель, а к тому невысокому камню, куда хотел давеча послать Лапина. Пуля, наверное, снайперская, просвистывает мимо уха, срезает ветку ближнего кустарника. Ложусь возле камня — сидеть нельзя, голова будет торчать, — прижимаюсь к его прохладному боку, для вида кладу винтовку наверх, хотя стрелять все равно не решусь, да куда стрелять, когда не вижу никого. Я одинок. Впервые в жизни я чувствую себя нестерпимо одиноким. Кругом чужие. Лапин не перебежал ко мне, остался с этим усатым, значит, и он чужой, ну и пусть.

Я никому не нужен. Мы никому здесь не нужны. Да, мы в составе 184-го полка, третьего батальона, первой роты и четвертого взвода, якобы мы веддем бой. Но какой же это бой, когда прячемся за камнем? И не стреляем, хотя у нас винтовки, автоматы, пулеметы, гранаты. Мы заброшены в зеленое пространство смерти и, чтобы пройти его, надо наступать, идти вперед, только вперед, а впереди тоже пространство, там тоже смерть. Наверное, гонимые приказом, мы поднимемся и попытаемся перейти эту поляну, перейти под пулями, без артподготовки, без танков — танк сюда не пройдет. Где же эти хваленые «катуши», где самолеты и бомбовые удары? Их нет. Здесь только мы, пехтура с винтовками и автоматами, только наши усталые тела из мяса и костей и наши боящиеся смерти души. Шагнем на поле и скорее снова откатимся назад, а на поле останутся лежать раненые и мертвые, как Джюра, как те, что лежат там сейчас. Если прислушаться, можно услышать чей-то стон и молбу о помощи. «Братцы!» Кто-то, пачкая траву кровью, ползет сюда. Мы не узбеки, чтобы выскочить под пули за товарищем, у нас нет кровного уговора придать земле погибшего товарища, мы не верим в Бога.

Если и не в этом бою, в следующих боях мы все, наверное, погибнем или останемся калеками. Мы мостим своими костями проход тем, кто пройдет после нас, мы гатим трупами кровавое болото войны, чтобы продвинуться еще на несколько сотен метров вперед. Те, кто придет на наше место, такие же, как и мы, мальчишки, пройдут тоже немного и лягут. Так до конца. А когда же конец?

Да, я знаю: мы победим, мы уже побеждаем. Я знаю, за что воюю, за что умру, если не повезет. Я не могу даже вообразить, чтобы немец дошел до Урала и, как тот пьяный мужик, забредший в базарный день в нашу деревню, мочился у палисадника моей бабушки. Но нельзя ли так, чтобы победить и остаться жить, чтобы в день победы мы все были живы и пили водку?

Я ведь только здесь, в бою, понял, допер в страхе, что я — единственный, нет, не у матери, а вообще на земле. Ведь раньше я чувствовал себя песчинкой в песчаной горе, я был и песчинкой и горой вместе или овечкой в стаде и всем стадом. А вдруг я, единственный, умру — больше такого, как я, не будет на земле. Люди будут жить, ходить по траве, греться на солнышке, а меня не будет, значит, не будет и моей травы, моего единственного солнца. Ишь до чего додумался! А в бою, как говаривал Кирюхин, не надо думать, задумаешься — пропал.

Я жмусь к камню. Трогаю ладонью его шершавое прохладное тело. Давно, когда я был еще мальчонкой, думал, что камни, как и люди, живые. Камни были моими друзьями, их много на холме за нашим огородом. Только не гранит, а серо-зеленые, обметанные голубовато-зелеными узорами лишая. Есть на макушке того холма камень, похожий на стул со спинкой, только спинка наклонена не назад, а навесом вперед, я вскарабкивался на холм и садился на прохладное сиденье, сидел, слегка согнувшись вперед, и воображал, что это мой дом, что я здесь живу и прячусь от взрослых. Я глажу прохладный бок камня и завидую ему. Ему, наверное, миллионы лет, лес этот постареет и отомрет, вырастут новые деревья, потом и они рухнут и превратятся в труху, так без конца, и от наших костей в земле останется ничего, а эти валуны будут стоять...

Вдруг вижу: все уходит. Узбеки — тоже. Назад, в тыл. Команды я не слышал. Лежал в сторонке. Встаю и присоединяюсь к уходящим. Мы отступаем. Может, и драпаем. Первые за время боев мы оставляем позицию, отходим. Почему? — это знает только, наверное, тот, кто дал приказ отходить. Мы поднимаемся обратно на угорок. Пули посвистывают нам в спину. Рядом грохает мина, вторая, третья. Чем дальше мы отойдем от финнов, тем сподручней будет им лупить нас из минометов. Мина попадает в вертушку ели и с хищным скрежетом лопается над головой. Кричат, убило кого-то. Пройдя с полверсты, уже на макушке холма выходим на проплешину с большими валунами, мимо которых мы прошли, когда спускались в низину. Возле большого навесного валуна стоит майор, видно, наш комбат. Высок, жизнелюбив, румян, в фуражке, в новенькой диагоналевой гимнастерке. На груди ни ордена, ни медали. Не заработал еще или не пришил, чтобы не сверкали на солнце мишенью для финских «кукушек». Не до медалей тут — быть бы живу. Майор улыбается нам, и его улыбка говорит: «Ну что, ребята, досталось вам?» или: «Не вешайте носа, бывает».

Не успеваем расположиться возле валунов, как внезапно обрушивается на нас минный налет. Вой и грохот, вой и грохот. Кто куда врассыпную, под валуны или пластаются по земле. Звериный вой, и совсем рядом грохает. Все это уже знакомо, но не значит привычно. Я же битый солдат и знаю: если слышу вой падающей мины, она пролетела мимо и грохнет чуть поодаль. Вот рвануло рядом, и на меня сверху посыпались камешки, выгрызенные взрывом из земли. Вмиг соображаю, что следующая может шлепнуться рядом, вскакиваю и кидаюсь к ближайшему валуну. Под валуном нора, битком набитая людскими телами, чьи-то спины, затылки — все лицом вниз. Рядом еще грохот. Бьет в ноздри серой. Падаю на людей, ложусь на них сверху. Запах мужского пота, табачного дыхания, жар чьей-то спины. Кажется, это не мой взвод. Где же наши, где сержант Сопов, Лапин? Вдруг замечаю под собой лейтенантские погоны. Человек с двумя звездочками на плечах для меня, рядового, большой командир, а я лежу на нем и дышу в его блондинистый затылок. Хотя вижу, понимаю: в этой куче, в этом вжатом в каменную щель клубке животных тел, нет ни командиров, ни рядовых. Страх смерти

и увечья вышиб из них всякое там осознание армейской субординации и командирский гонор. Мы все равны в страхе смерти. Все же лейтенантские погоны меня сильно смущают да хочется в эти погубительные минуты быть вместе со своим взводом. Вскрываю и бегу. К соседнему невысокому продолговатому валуну. И кидаюсь в вырытый под ним неглубокий во всю длину окоп. И вижу рядом с собой сержанта Сопова, Лапина и еще несколько человек наших. Радуюсь, что нашел их. Вжимаюсь в каменистую яму и пытаюсь опуститься еще ниже, ко дну, но окоп мелок, моя голова в каске на уровне брестера. Сижу, согнув колени и прижавшись левым боком к Сопову. Винтовку держу поперек ног. Лапин рядом, втиснулся спиной в узкий конец окопа, голова его в пилотке опасно высовывается за край ямы. Автомат свой прислонил сбоку. Все это я вижу мельком, не осмысленно. Рядом в кучу сбились остальные, кто вжался в колени, кто лег на дно, выставив зад. Успеваю подумать, что если мина угодит в эту кучу, такая кровавая каша получится... И тут же вой мины. И грохот. Одна, вторая, третья — беглый огонь. Рядом, вокруг валуна. И камешки сверху. Звериный вой: у-у-и-и-и,— задерживаю дыхание, сжимаюсь в ожидании огненного удара. Хотя ведь знаю — услышал шуршание и вой,— перелетит. Грохот. Еще грохот. На этот раз рядом. Я все еще жив. Страх и ежесекундное ожидание смерти вышибают из сознания все мысли, всю память о своей жизни. Все мое существо сосредоточено на точке падения мины; эта точка, где через секунды взорвется и разлетится каменистая земля и серной вонью задымит воронка, эта точка перемещается, все ближе и ближе ко мне, и одна из этих точек может стать последней в моей жизни. Какое-то смутное, лихорадочное осознание и осмысление происходящего все же есть. В паузе между двумя взрывами. Это не мысли даже, а какие-то обрывки ощущений, догадок. К примеру, я понимаю, что окоп-то наш вырыт со стороны противника, видно, сидели в нем до нас финны. И окоп этот и эти валуны на проплевине холма у них в стереотрубе — как на ладони. Корректировщик огня хорошо видит нас, и минометчики бьют прицельно. Корректировщик по телефону: недолет, перелет, чуть левее,— и белокурые, плечистые, по пояс голые (жарко) финны поправляют прицел и опускают в ствол очередную мину. «Бум-бум-бум», — доносится оттуда, затем шуршание, вой и взрыв. Перелет. Какой дурак отвел нас на эту открытую на все стороны проплевину? Комбат? Что он, не понимает того, что я, рядовой, кумеаю? Такое ощущение, что кто-то, не любящий или ненавидящий нас решил весь наш батальон добить до последнего солдата. Сидели бы уж там внизу или поднялись лучше в атаку. А то ведь зря погибаем. Я давно понял, еще в первом бою, что на войне во время боя много неразберихи и бардака. Может, и вся война — сплошной бардак. Бум-бум-бум, шу-шу-шу, у-у-и-и, задерживаю дыхание. Следующий грохот совсем рядом, камешки сверху. Сижу, зажмурив глаза. Теперь уже ясно: они целятся в наш окоп. Кровожадное слепое чудовище с воем и грохотом ходит вокруг нашего окопа, ищет нас. Грохот — обдало горячим воздухом. Наверное, будет очень больно. Мгновенно или несколько секунд. Подмывает выскочить и бежать куда глаза глядят. Прочь от взрывов, прочь от смертельной проплешины каменистого холма. Скрыться, затаиться где-нибудь в тиши лесных дебрей, свалиться на траву на берегу речки, озера, выспаться, пожить хоть несколько часов без страха. А там — будь что будет. Но я не вскакиваю, чтобы бежать, потому как даже в эти минуты подлого страха и животной жажды жить на дне моей души, где затряпан и упрочился главный ее ступок, есть осознание того, что я не мальчишка, а солдат, а побег из боя — позор и гибель еще более страшная...

Грохота я не слышал. Удар — и на какое-то время, на мгновение или на минуты я без сознания повисаю в звенящей серой пустоте. Потом, не понимая, что со мной произошло, открываю глаза и с трудом приподнимаю гудящую голову. И сквозь оседающую пыль вижу Лапина. Струя крови на лбу и белом лице кажется черной, как деготь. Глаза стоят, как замерзшие синие лунки. Пилотки на голове нет. Затем, ощутив на левом плече что-то горячее и липкое, я оборачиваюсь: плечо мое в крови, кровь глянцевитой густой струей стекает по руке, пачкает штаны. Я ранен, хотя боли не чувствую. Говорят, стгоряча она не ощущается. Все это в полусознании. И очень тихо вокруг, только звон в ушах. Обстрел прекратился внезапно, или я оглох. И тут только я разглядел кровавое месиво на месте головы сержанта Сопова. Мы же сидели с ним бок о бок, уткнувшись плечами друг в друга. Его рас-

кроенный череп свалился на мое левое плечо, и, кажется, меня залило его кровью, забрызгало его мозгами. И контузило. Вдруг снова грохот мины рядом. Я, оказывается, слышу. И мгновенная догадка: они, финны, были уверены, что попали в наш окоп, но угодили не в яму, а на бруствер. Если бы прямо в окоп, я был бы уже трупом, разорванным на окровавленные куски. Они передохнули, закурили и теперь снова начали долбить, чтобы добить нас окончательно. Следующая мина шлепнется уже в окопе у меня под боком. Бежать! Я выскакиваю из окопа и кидаюсь прочь. Позади взрывы. Наверное, уже в окопе. Я бегу в тыл. Я спасаюсь, спасаю жизнь, шкуру. Пробежав какое-то расстояние, сигаю за невысокий валун. И вижу рядом дубелое лицо пожилого солдата в пилотке, лежащей блином на его бритой голове. У него через плечо сумка с крестом — санитар.

— Что, сынок, ранило? — слышу сквозь звон в ушах.

— Не знаю. Кажется, это кровь сержанта Сопова.

— А каску-то как помяло.

Я снимаю каску. Она с левого боку так помята, такая вмятина на ней, как если бы шарахнули по ней пудовой кувалдой. А если бы не каска... Я хочу швырнуть ее прочь, но санитар говорит:

— Не бросай, надень на голову. В санбате снимешь.

Я понимаю его совет и снова нахлобучиваю на голову железо.

— Давай я тебя отведу. Это здесь недалеко, — говорит санитар.

На мгновение сомнение и тревожное ощущение вины. Я, слегка контуженный и еще пригодный для войны солдат, оставляя позицию, товарищей, убегаю в тыл. А этот пожилой санитар тоже хочет рвануть подальше от огня, но один не может, не должен, а тут подвернулся я в окровавленной гимнастерке и помятой каске, и он, санитар этот, выносит из боя раненого, вернее, контуженого, и вместе со мной смывается сам. Мы встаем, он берет меня под руку, и мы спешим, бежим в тыл, прочь от все нарастающего грохота. Я знаю, что завтра же или через несколько дней меня снова толкнут на передовую под огонь, но я хочу хоть час, хоть день пожить, подышать чуть дальше от этого кровавого ада. Я бегу, я больше не могу...



Горький, белое пятно

1

Парадоксальна судьба Горького: классик советской литературы, больше того — ее основатель, не читается никем, кроме принуждаемых к тому школьников. Читают его школьники, а пишут о нем — диссертанты*. «Он был очень мертвый», — сказано где-то у Хемингуэя; кажется, что Горького постигла та «вторая» и окончательная смерть, от которой уже нет воскресения: похоже, что действительно наступил «конец Горького», впервые провозглашенный (Д. Философовым) в 1907 году. Вспоминают о нем только в юбилейные дни, причем от юбилея к юбилею — тоном все ниже. В марте 1988 года, в 120-летие со дня рождения, «Литературная газета» поместила статью прямо-таки извиняющуюся: мол, не все уж у Горького и плохо. Вспоминают все реже и реже — и как-то, можно сказать, унижающе, в чисто ассоциативной связи с другими: так, недавно вспомнили потому, что встал вопрос об издании академического М. Булгакова; помилуйте, какой Булгаков, когда у нас и Горького академического нет!

В подобных жалобах содержится немалый элемент лукавства. Трудности с изданием полного Горького отнюдь не научного порядка. Его полное собрание было задумано в 1968 г. в трех сериях, и первая — художественные произведения — давно уже закончена; застряли вторая и третья серии — публицистика и письма.

Это жаль, потому что именно здесь находится настоящий Горький, знакомство с которым было бы крайне интересным. Ибо публицистика Горького и «неформальная» его переписка намного интереснее всего — или почти всего, — что он написал в «первой серии», в художественном плане.

Интересно то, что горьковская публицистика — «нецензурна» целиком, вся, всех периодов и настроений. Советский читатель знает понаслышке, что есть какие-то «Несвоевременные мысли», стра-

шно антисоветские, и вот, мол, из-за них-то и задерживается издание полного Горького*. Конечно, отчасти это так; но «Несвоевременные мысли» — все-таки пустяк по сравнению с тем, что написано им в статьях 30-х годов: попробуйте сейчас перепечатать, к примеру, панегирики тов. Ягоде! Но Горький и до революции такое писал, что объяснить и подать написанное в нынешних терминах очень и очень затруднительно. Возьмите хотя бы статью 1915 г. «Две души» — и дайте ее почитать нынешним «деревенщикам»: они тогда сожгут особняк Рябушинского на Никитской, где жил Горький, со всеми его параферналиями. А эпизод с «богостроительством»? Даже и «Заметки о мещанстве», нападающие на Толстого и Достоевского, как-то сейчас неудобны...

Между тем, повторяю, если Горький чем-то и интересен ныне, то не столько художественным своим творчеством, сколько мыслью своей, типом мысли. Оговорюсь: я отнюдь не считаю его плохим писателем, — но важен он главным образом как духовный тип. Читая его, начинаешь понимать если не отчего революция произошла, то о чем она. Горький — представитель, не меньше чем Платонов; и, в сущности, писали они — об одном. Но именно в рассказах и романах Горького главная его тема не отразилась.

2

Хотя «Несвоевременные мысли», как это ни странно, не открывают ничего принципиально нового человеку, читавшему, допустим, 30-томник Горького начала 50-х годов, все же на примере этой вещи, на малом ее пространстве и в узких, не более года, хронологических рамках, легче и удобнее всего зафиксировать социалистический комплекс Горького.

* Ко времени написания автором этой статьи «Несвоевременные мысли» еще не были переизданы в России. Теперь эта лагуна заполнена. Напечатаны и некоторые из «крамольных» статей Горького, в частности, «Русский человек — плохой работник» и т. п. Кроме того, материалы к творческой биографии писателя переданы бывшим КГБ в Институт мировой литературы им. Горького. (Врм. ред.)

* В эмиграции серьезно заниматься Горьким начал М. Агурский.

Прежде всего любопытно в книге следующее: то, что полемнику свою с революцией Горький начал совсем не в октябре 17-го года, а чуть ли уже не в феврале. Сама Февральская революция вызвала у него весьма мрачные предчувствия — отнюдь не иллюзии. До сих пор такое необычное отношение к Февралю мне встречалось только у одного человека — у Бердяева.* Но ведь они были во всех отношениях антагонистами; и действительно, у Горького не найдешь lamentаций по поводу того, что в русской революции не было пафоса личности, пафоса Декларации прав, как жаловался Бердяев, именно в этой негативной характеристике усматривая основания для беспокойства. У Горького все опасения — за «демократию», понимаемую в смысле совокупности общественных низов, народного тела страны, термин «демократия» не имеет у него отношения к типу общественного устройства; иногда, впрочем, термин сужается до «социалистического пролетариата». Угрозу, созданную Февральской революцией, Горький усматривает в развязанной ею анархической стихии, готовой снести хрупкое здание русской культуры. В подчеркнутых словах сосредоточен в основном упомянутый горьковский социалистический комплекс; социализм для него — цивилизирующее, европеизирующее, активизирующее страну начало. И на страницах «Несвоевременных мыслей» большевики прямо и непосредственно отождествляются с этой анархической, противокультурной стихией — еще задолго до Октября. В октябре Горький отнюдь не поменял позицию и не развернул орудия — он просто убедился в правоте своих предчувствий, в точности революционного прогноза.

Для Горького, однако, совершенно неприемлема мысль о том, что источник революционной анархии — в самой революции, или, скажем, в идеях политической свободы, пущенных в окопы войны, или, чего уж он совсем не может представить, — в социалистической идеологии. Для него указанная анархия — наследие старого мира, «проклятого прошлого», культивировавшего в русском человеке раба; бескультурная и противокультурная анархия — другая сторона рабства. Объективная ценность этих мнений невелика: достаточно, например, указать, что среди этих «анархистов» Горький называет Столыпина. Но для наших целей важно не то или иное приближение горьковской мысли к истине, а сама эта мысль в ее антиреволюционной (буквально так!) «несвоевременности». А самое важное — зафиксировать горьковское понимание социализма как начала организующего и связывающего, а не расслабляющего и освобождающего. Более того, тут же, в «Несвоевременных мыслях», опять звучит старое горьковское пристрастие, которое в свое время

дало основание Н. К. Михайловскому отнестись Горького не к социалистам, а к... идеологам буржуазии.

Судите сами:

«Я считаю рабочий класс мощной культурной силой в нашей темной мужицкой стране, и я всей душой желаю русскому рабочему количественного и качественного развития. Я неоднократно говорил, что промышленность — одна из основ культуры, что развитие промышленности необходимо для спасения страны, для ее европеизации, что фабрично-заводской рабочий не только физическая, но и духовная сила, не только исполнитель чужой воли, но человек, воплощающий в жизнь свою волю, свой разум. Он не так зависит от стихийных сил природы, как зависит от них крестьянин, тяжелый труд которого невидим, не остается в веках. Все, что крестьянин зарабатывает, он продает и съедает, его энергия целиком поглощается землей, тогда как труд рабочего остается на земле, украшая ее и способствуя дальнейшему подчинению сил природы интересам человека.

...Полемика обязывает к односторонности, поэтому, говоря о грабеже, забывали о культурной, о творческой роли промышленности, о ее государственном значении.

Источник наживы для одних, промышленность для других только источник физического и духовного угнетения, — вот взгляд, принятый у нас большинством даже и грамотных людей. Этот взгляд сложился давно и крепко, — вспомните, как была принята в России книга Г. В. Плеханова «Наши разногласия» и какую бурю поднял «Иоанн Креститель всех наших возрождений» П. Б. Струве «Критическими заметками».

Интересно здесь, между прочим, ощущение Горького П. Струве, главе «легальных марксистов» 90-х годов, человеку, говорившему о самоденности капиталистического развития, о культурно-творческой силе капитализма. Подобные горьковские симпатии и дали основания Михайловскому считать его мировоззрение — сказавшееся хотя бы в «Фоме Гордееве», где самый яркий образ — толковый купец Яков Маякин, — буржуазным.

Для оценки «Несвоевременных мыслей», для понимания того, что эта книга не экстраординарная, а типичная у Горького, стоило бы вспомнить его еще дореволюционную статью «Две души». В ней он свои излюбленные ценности — активное отношение к жизни и пафос труда — связывает с европейским строем души, противопоставляя ему характерные для русских и для Востока вообще анархизм, безволие, пассивность, созерцательность.

«Восток, как известно, является областью преобладания начал эмоциональных, чувственных, над началами интеллекта, разума; он предпочитает исследованию — умозрение, научной истине — метафизический догмат. Европейец —

* Говорю только о современниках событий, а не о позднейших исследователях.

вождь и хозяин своей мысли; человек Востока — раб и слуга своей фантазии. (...)

Демократия должна (...) научиться понимать; что дано ей в плоть и кровь от Азии с ее слабой волей, пассивным анархизмом, пессимизмом, стремлением опьяняться, мечтать и что в ней от Европы, насквозь активной, неутомимой в работе верующей только в силу разума, исследования, науки»*.

А теперь еще раз обратимся к «Несвоевременным мыслям»:

«Если я вижу, что моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве, тяготение, исходящее из дрянной азиатской догадки: быть ничтожным — проще, легче, безответственной, — если я это вижу, я должен сказать это.

Если я вижу, что политика советской власти „глубоко национальна“ — как это иронически признают и враги большевиков, — а национализм большевистской политики выражается именно „в равнении на бедность и ничтожество“, — я обязан с горечью признать: враги — правы, большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов».

Мировоззренческий комплекс Горького, таким образом, дополняется еще одной крайне важной чертой: Горький — западник, должно быть, самый пылкий из всех бывших в нашей литературе и общественной жизни. С большевиками в 1917—18 гг. он воевал потому, что учуял в них «национальное», русское начало: апелляцию к антикультурной стихии, «игру на понижение» как национальное качество — некий дух небытия, сказавшийся в этом принижающем эгалитаризме, в установке на социальную энтропию. И никакие другие основания для полемики с Лениным и большевиками у него не было.

Стоит ли говорить, что в этом случае Горький действительно крупно ошибся? Указать на эту ошибку — совсем не значит признать правоту всего того, что писали по этому поводу в бесчисленных советских «исследованиях» о Горьком. Но Горький, старый социалист, не понял того, что сумели понять, к примеру, молодой Эренбург или Зямытин в «Мы»: пафос большевизма — не разрушительный, а организационный, строительный, проективный; не менее, чем Горьким, большевиками владеет мифология «борьбы с природой» как конечное задание культуры. Анархия, которую Горький видел в то время на улицах Петрограда или в русской деревне (а главный его страх — перед «азиатским» крестьянством), была не стратегией, а тактикой; как писал тот же Эренбург в «Хулио Хуренито», крестьянские страсти были всего лишь топливом для паровоза, идущего

го строго по рельсам. Горьковский социалистический горизонт был затемнен тем простым фактом, что революция побила или загадила слишком много фарфоровых ваз, до которых он был большой охотник, ибо, как всякий самоучка, склонен был в культуре больше всего ценить ее материальный состав.

В. Шкловский писал в 1926 г.:

«У него развит больше всего пафос сохранения, количественного сохранения культуры — всей.

Лозунг у него — по траве не ходить.

Он сам писал об этом, говоря о садовнике, который во время революции сгнал солдат с клумб...

...Академик для него фарфор с редкой маркой. И он согласен разбиться за этот фарфор»*.

Будущий «социалистический реализм» вырос из любви к этим фарфоровым вазам — из отождествления культуры с ее материальным субстратом. Горький однажды рассказал, как читал в детстве «Простую душу» Флобера: потрясенный прочитанным, трогал и щупал страницы книги, пытаясь чувственно ощутить магию ее воздействия.

3

Уже из вышесказанного можно было заметить, что в «социалистическом комплексе» Горького отсутствует индивидуализм — как представление о самоценности человеческой личности. Собственно, социализм — по определению, этимологически — исключает такое представление; другое дело, что в России борьба с самодержавием и социалистическая агитация незаметно срослись, что создавало впечатление о социализме как о «царстве свободы», а свобода — и психологически, и логически — связана с правами личности, то есть опять-таки с этого рода социологическим индивидуализмом.

Были, однако, критики, которые, понимая всю несовместимость метафизики социализма с идеей свободы личности, пытались противопоставить Горького социализму как раз по этой линии — находя в его творчестве ярко выраженный индивидуализм. К числу таких критиков принадлежал Д. В. Философов, человек из круга Мережковского, вообще отличавшегося очень благожелательным отношением к Горькому. Философов усмотрел начало индивидуализма, апофеоз свободной личности в знаменитых горьковских босяках.

Вот несколько высказываний Философова:

«Не быт сущность дарования Горького, а личность... Пробуждение личности, ощущения себя как чего-то первичного, особенного, неразложимого, ничему в корне своем не подвластного, — вот идейная основа „босячества“... Как художник, он бессознательный анархист, но как гражданин земли русской — он уе-

* Журнал «Летопись», 1915, № 12, стр. 123, 134.

* В. Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького. «Закннига», 1926, стр. 8, 13.

жденный социал-демократ... Он даже не увидел трагической, непримиримой антиномии, составляющей сущность его творческой личности. Его босяк незаметно превратился в социалиста, как будто это превращение естественно и органично, как будто мирозерцание босяка соединимо с мирозерцанием социалиста, как будто здесь нет непреходимой пропасти, вековой загадки, которую человечество не разрешило и до сих пор*.

«Конец Горького» — а эта формула как раз Философовой принадлежала — он усматривает в мировоззренческом тупике, в который завел яркого индивидуалиста Горького его теоретически исповедуемый социализм.

Трудно не согласиться с Философовой в том, что догматы социалистической метафизики непримиримы со свободой — не только персональной, но и общественной; но столь же трудно понять, почему в Горьком видели певца личности, а в «босяках» его — апофеоз таковой. Как могли посчитать певцом личности автора «Заметок о мещанстве» (впрочем, надо сказать, что был один человек, сразу же заговоривший о «некультурной и грубой душе» Горького, — Бердяев). Ведь «мещанами» — надолго с тех пор дискредитировал и затемнив этот совершенно нейтральный (а то и позитивный) социологический термин, — Горький называл как раз индивидуалистов, Толстой и Достоевский у него «мещане» потому, что они уходят от социальной плоскости на духовную глубину, в социально не отчуждаемые слои индивидуального духовного опыта; «мещанством» Горький называет установку, которую сегодня бы назвали экзистенциальной. Более того, самому этому индивидуализму Горький находит социологическое и только социологическое объяснение. В январе 1912 г. он писал Иванову-Разумнику (одному из немногих сомневавшихся в горьковском «индивидуализме»):

«Ваш „имманентный субъективизм“ мне кажется типичным русским индивидуализмом, а он, на мой взгляд, тем у нас на Руси отвратителен, что лишен внутренней свободы: он никогда не есть результат высокой самооценки своих сил, ясного сознания социальных задач и уважения к себе как личности, — он всегда вынужденное, воспитанное в нас тяжелой историей нашей пассивное желание убежать из общества, в недрах которого русский человек чувствует себя бессильным... индивидуализм, восходящий всегда до нигилизма и отрицания общества» (29, 218)**.

И, возражая против участия Иванова-Разумника в одном литературном проекте, Горький говорил, что ему кажется позорительным подчеркивание первым

той мысли, что социализм в потенции своей — «мещанское царство» (29, 219). Термины, таким образом, берутся Горьким в противоположном их первоначальному смыслу значению; мещанство — это индивидуализм, а конформизм, сытость «окончательно устроенного» обывателя социалистического хлева — это не мещанство. (Сейчас, после всех наших опытов, с трудом уже верится, что расхожее представление о социализме в начале века было именно таким: социализм — это общество абсолютного материального изобилия, решившее «экономический вопрос», но позабывшее о духовности; за это его и критиковали «идеалисты».) «Социалистическое отчуждение личности» у Горького — несомненно, ему и в голову не приходит, что человека нельзя редуцировать к его «общественной сущности».

Казалось бы, Философов о том и говорит, что художество Горького противостоит его теоретическим убеждениям, что художник в Горьком выше мыслителя и пр. Но, приглядевшись к тем же босякам, нельзя не увидеть одного: в босяках Горький воспевал отнюдь не свободу — он воспевал в них силу, тот самый активизм, который направлен у него против личности. Босяк — активный тип, человек, выбившийся из быта, из сложившихся социальных связей, из жизненной данности, это сила, ищущая себе применения, а отнюдь не борец за права человека. В повороте от анархического босячества к идее социалистической организации эта сила находила точку своего приложения — и свою рационалистическую мотивировку, и в этом повороте не кончался, а начинался подлинный Горький.

То, что позднее советские критики, писавшие о босяцком цикле, называли «революционным романтизмом», в свое время называлось «босяцким нищенством» Горького. Вообще Ницше занял удивительно много места в духовном обиходе Горького, причем худшая из его идей — культ силы, понятий Горьким слишком уж в лоб, без грана той иронии, которую Томас Манн считал столь необходимой при чтении Ницше. И не только к босякам приспособил его Горький, но и к деятельным буржуям своим (именно таков Яков Маякин) и даже позднее использовал Ницше для активизации марксизма (это уже под влиянием Луначарского). Подчас Горький сбивается к апологии пресловутого «белокурого бестии», и тогда простецкое его творчество начинает отдавать тем «стилем модерн», над которым смеялись у него умные критики: первый признак героини-модерн — зеленые глаза, и таковыми наделил Горький свою Мальву. И как раз среди женских персонажей (раннего) Горького находим мы некий аналог «белокурого бестии»: это, конечно, Варенька Олесова из одноименной повести. Эта вещь, кстати, любопытна своей антиинтеллигентской заостренностью: важная деталь в духов-

* Д. В. Философов. Слова и жизнь. СПб., 1909, стр. 53, 58, 52.

** Ссылки на 30-томник Горького начала 50-х годов, в котором довольно полно собрано его публицистика, а также представлены письма, будут даваться в тексте, с указанием тома и страницы.

ном складе завтрашнего культуртрегера, «пономаря культуры» (Троцкий). Горький, по-видимому, стыдясь владеющего его сознанием (подсознанием?) обаяния силы, пытался замаскировать ситуацию, переуступая эту силу своим женским героиням; в этом отношении крайне интересна «Басса Железнова» (первой редакции). Тогдашние критики не могли понять, возмущается он или восхищается своей героиней-преступницей, которая в то же время «растит сад» (не говоря уже о том, что ведет «дело»). «Строитель» и «преступник» располагаются рядом друг с другом у Горького, подчас даже это один тип...

4

У Горького есть малоизвестная, десятилетиями проваливавшаяся на первом представлении и с тех пор не возобновлявшаяся на сцене. Между тем эта вещь достаточно интересна, если брать ее не в изолированном эстетическом ряду, а в контексте горьковской биографии. В этом смысле у писателя не бывает вещей случайных, как не бывает ничего не значащих снов. Главный герой пьесы — молодой, но уже знаменитый писатель Мастаков — сам Горький, конечно, тем более, что и говорит он все время цитатами из Горького. И что же он цитирует? Да все из того же ницшеанского цикла; так сказать, белокурый бестия на подмосковной даче, среди комаров и самоваров. Человек, упоенный успехом, удачливостью, попросту — брожением жизненных сил, возводит элементарную физиологию в ранг философии. Мастаков настолько влюблен в себя, что ни на секунду не сомневается в своем праве завести что-то вроде гарема, — и даже начинает заманивать в таковой некую невесту, только что закрывшую глаза умершему от чахотки жениху. Само собой разумеется, что этот жених за человека не считается — как раз по причине чахотки (та же ситуация — в рассказе «На плотях», который понравился Чехову). Здесь всюду звучит горьковская печально знаменитая тема ненависти к страданию, осуждения жалости, — много лет спустя нашедшая очередное выражение в письме к К. Федину, в словах о рысаках и клячах: то есть что его, горьковские, симпатии на стороне рысаков и что такую позицию диктует ему биологический инстинкт силы. Конечно, это и было «босаяцким ницшеанством»; если Альберт Швейцер, к примеру, извлек из Ницше «этику благоговения перед жизнью», то Горький усвоил из него только одну формулу: падающего толкни.

Павианья жизнерадостность Мастакова из «Чудаков» не должна смущать нас, когда речь заходит о другом горьковском Мастакове — герое пьесы «Старик». Хотя последний, — казалось бы, весьма солидный мужчина, но по существу это близнец, а еще лучше сказать, что второй Мастаков — такой же сколок

с горьковской философии, как и первый. Это уже упоминавшееся тождество «преступника» и «строителя». Нужно объяснить: под «преступником» здесь имеется в виду человек, не ограничивающий себя моральными лимитами, вроде жалости к несчастным и милости к падшим; человек, преодолевший, так сказать, абстрактный морализм простым фактом биологической силы. Но и «строитель» у Горького как раз такой же человек — ибо это человек прежде всего сильный. То, что я здесь называю «строительством», точнее было бы назвать чистой культурой активизма, «волей к власти», если угодно: принцип, не менее нормативный, чем абстрактная мораль. Симптоматично это наделение двух ипостасей горьковского мировоззрения одной фамилией; а если это описка и забывчивость, то тем более интересно: бессознательное никогда не ошибается.

Но если первый из Мастаковых, в «Чудаках», ревится на дачном просторе, наслаждаясь популярностью у интеллигентных дамочек средней руки, то Мастаков из «Старика» встречается с врагом, и этот враг одерживает над ним победу. «Старик» — вообще пьеса серьезная, не легкомысленный автобиографический скетч. Второй Мастаков гибнет, сталкиваясь с враждебной ему стихией морализаторства, прикрывающего низкие чувства зависти и мести, — то, что тот же Ницше называл *ressentiment*.

Неправильно осужденный, Мастаков попал на каторгу; сбежал оттуда, стал Удачливым промышленником, «строителем», — и вот через много лет его настигает Старик — бывший сокаторжанин, досидевший свой срок до конца. Начинается шантаж, причем не имеющий никакой, так сказать, корыстной цели: это именно противостояние успеха — и морали, силы — и слабости. И слабость побеждает силу — как христианство у Ницше победило прекрасный мир античности; в русской проекции это Евгений, одолевший наконец-то Медного Всадника. А если хотите — и революция, на своем пути от Февраля к Октябрю разбившая тысячи фарфоровых ваз... Вот исчерпывающее воплощение горьковского комплекса: ощущение слабости и «морали» как разрушительной противокультурной силы, дискредитация «униженных и оскорбленных» и, наоборот, реабилитация вполне «западных», буржуазных, так сказать, идеалов предприимчивости, удачливости, силы. Россия — это страна, в которой традиция жалости к «малым сим», психология «кающегося дворянства» грозят убить слабые зачатки европейской культуры, — такова суть горьковского западничества.

5

Нет сомнения, что для многих — если не для всех — наших западников указанная формула звучит как нельзя естественней: давно уже стало понятно —

задолго до революции, в «Вехах» хотя бы, — что «народническое мракобесие» (формула Бердяева) — тяжкая болезнь русского духа. И уж совсем банально звучит, что бороться за нужды народа — не значит разделять предрассудки народа. То, что Горький сумел не поддаться обаянию народнического мифа, — немалая его заслуга или, скажем так, громадное преимущество его живого (не книжного) опыта. «Мужички за себя постояли», — усмехался Достоевский и тут же складывал сказку о мужике Марее. Но миф Достоевского не только крестьянский, он вообще об «униженных и оскорбленных» — при полном, надо сказать, понимании, что «маленький человек» в сущности свинья; это Лев Шестов в «Апофеозе беспочвенности» так резюмировал народолюбие Достоевского и правильно делал. Кто такой Фома Опискин, как не «маленький человек» и не «страдающий брат»? Однако сумел же Художественный театр осенью 17-го года увидеть в нем — большевика! Шестов идет еще дальше — высматривает психологические корни этого народолюбия: Достоевский в народе любил преступников, каторжан — и не за то, что они страдают при отсидке, а за то, что осмелились и преступили. Настороженное (это эвфемизм, конечно) отношение Горького к Достоевскому оправдано постольку, поскольку он, человек непосредственного и громадного опыта, сомневается в гуманитарных мифах Достоевского. Один из них — Сонечка Мармеладова; а Горький знал и писал, что проститутка — это грязное, пьяное и злое существо. Кому прикажете верить? У Горького как раз потому, что он вышел из «народа» (во всяком случае, не из культурного меньшинства), отсутствовало априорно сентиментальное отношение к этой теме — как, между прочим, и у другого подлинного «демократа», Чехова: одним из первых («Новая дача») Чехов начал разрушать народнический миф о мужике. И если мы припомним при этом, что народнические мифы, в свою очередь, берут начало из мифа славянофильского, — то вот это элементарное западничество Горького предстанет как будто действительно оправданным.

Да и настолько ли «элементарно» это настроение? Разве не та же нота звучит, допустим, у рафинированного европейца С. Моэма, когда он говорит, что жизнь научила его не доверять страдающим и несчастным и что успех, а не страдание делает человека лучше — терпимее, шире, добрее? Получается, что соответствующие мысли Горького нельзя не приветствовать.

Не было, однако, в Горьком той культурной легкости, того просвещенного скептицизма, которые, позволяя постукивать молоточком по медным башкам кумиров, в то же время не превращают человека в неистового молотобойца. Горький, прочитав Ницше, подумал, что «философствовать молотом» — значит и в самом деле проламывать головы. Раз-

облачая одни мифы, он тут же строил другие, ибо был он человеком «верующим» — нуждавшимся в вере, в заполнении той пустоты, которая и есть знаменитое «ничто»: сознание и свобода. В мифоборчестве Горького основная эмоция не скепсис, а ненависть. Он вроде Белинского: по природе своей жид и с филистимлянами за один стол не сядет.

Первым объектом горьковской ненависти, как со страхом увидели народнические критики, бывшие еще в силе ко времени горьковских дебютов, стал все тот же мужик: то ли богоносец, то ли прирожденный социалист. За босняка как «протестующую личность» либеральная критика ухватилась именно потому, что ухватиться у Горького было, кроме этого, не за что, а босяк — тот хоть в лохмотьях ходил и, значит, каким-то привычным стереотипам униженного и оскорбленного соответствовал. В битве же стенк и скул, даже и в vorовстве усматривали революционную потенцию.

Тут вот чего еще не следует забывать. С Горьким носились не только народники и марксисты, но и тогдашний элита, интеллектуальные и художественные сливки — круг Мережковского, к примеру. Более того, его успех совпал по времени с появлением пресловутого «декаданса» — и вот сюда-то стали зачислять и Горького. Он воспринимался отчасти в линии антипозитивистской и иррационалистической литературы начала века: лейтенант Гламм на русский манер. Из Горького стали делать выразителя стихийного «природного» начала и, соответственно, разоблачителя оторвавшейся от жизненных источников, искусственной «городской» культуры.

Невозможно сделать большей ошибки, говоря о Горьком. Меньше всего в нем самого того босячества, которое пленило его читателей и критиков. И здесь мы говорим не только о биографических моментах у Горького, но и характер его творчества, его вдохновения имеем в виду. Известно, например, что в биографию Горького-босняка не верил Бунин, считал ее придуманной — и был прав отчасти. В словаре Брокгауза и Эфрона говорится о происхождении Горького из среды «вполне буржуазной»; отец его был управляющим большой пароходной конторы, мать происходила из семьи богатого купца-красильщика. Эти данные сообщил словарю сам Горький. Еще одна интересная деталь: его дед по отцу был николаевским офицером, разжалованным за жестокое обращение с солдатами.

Что касается творчества, то наиболее толковые критики со временем догадались, что Горький просто-напросто имитирует «босняка», носит маску.

Одним из таких критиков был Корней Чуковский:

«Как хотите, а я не верю в его биографию.

Сын мастерового? Исходил всю Россию пешком? Не верю.

По-моему, Горький — сын консистер-

ского чиновника: он окончил харьковский университет и теперь состоит — ну, хотя бы кандидатом на судебные должности.

И до сих пор живет при родителях и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно*.

Далее Чуковский перечисляет некоторые черты его творчества:

«Комнатная философия. — Аккуратность. — Однообразие. — Симметричность.

Вот главные черты горьковских творений, если отвлечь их от их героев.

Вот главная черта самого Горького, как поэта. И читатель понимает, что за аккуратностью его скрывается узость, фанатизм, а за симметричностью — отсутствие свободы, личной инициативы, творческого начала.

Горький узок, как никто в русской литературе...

Итак, вот свойства Горького: симметричность, неуважение к личности, консерватизм, книжность, аккуратность, фанатизм, однообразие.

Словом — как это ни странно, как ни неожиданно! — все свойства Ужа, а не Сокола!

«Идеолог пролетариата» — и вдруг Уж! Певец босяка — пресмыкающееся! Откуда это? Где общие причины этого странного явления?***

Это остроумно, но как бы и не всерьез: «критический фельетон». Но у Чуковского есть и другая, вполне уже серьезная работа «Две души Максима Горького» (1916); здесь уже точнее определен смысл, выраженный в явлении Горького:

«Хозяйственная, деловитая Русь, — у нее еще не было поэта, и знаменателен и исторически-огромен тот факт, что вот поэт наконец появился, и там, где доселе была пустота, стали-таки сбегаться, скопляться какие-то крупицы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая увлекает в свой круг искусство эпохи. Дело Востока проиграно: у Востока нет уже Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последние. Горький же ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно, эпоха практики, индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всякого поколения чисто физических благ, — Горький есть ее пророк и предтеча... Горький пишет не для Вячеслава Иванова, а для тех примитивных, широковидных, по-молодому наивных людей, которые — дайте срок — так и попрут отовсюду, с Волги, из Сибири, с Кавказа ремонтировать, перестраивать Русь****.

* К. Чуковский. От Чехова до наших дней. СПб., б. г., стр. 98.

** Там же, стр. 103, 104—105.

*** К. Чуковский Две души Максима Горького. СПб., 1916, стр. 40—41.

Примерно тогда же сходная тема прозвучала у Мережковского, в его «невоенном дневнике» («Было и будет»), где есть очень сочувственная статья о горьковском «Детстве». «Две души» Горького предстают у Мережковского как «бабушкино» и «дедушкино» начала. Первое — источник всяческой художественности и поэтичности, широкая русская натура; второе — «буржуазное» начало, жесткий характер трудяги и управляющего. Совершенно ясно, что «дедушкина» было в Горьком много больше, чем «бабушкина».

Вообще излишне еще и еще раз повторить, что горьковская философия лучше всего выражена его Яковом Маякиным, по поводу которого сразу же усомнился в горьковском социализме Михайловский, не понимавший, что социализм не столько освобождающий, сколько организующий принцип. И Горький не имел бы основания ссориться с большевиками, если б чаще вспомнил собственного Маякина:

«Все!.. Все делай! Валяй, кто во что горазд! А для того — надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он — все может и сотворен для полного распоряжения жизнью. — дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда впоследствии такая комедия: почуяв, что узда с него снята, — зарвется человек выше своих ушей и пером полетит — и туда и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испущать... А духа этого самого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорчится во все стороны и — вскорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть...»

Об этих словах Маякина Мельхиор де Вогюэ написал следующее:

«Да, но если я не ошибаюсь, это чисто яковинская теория: хитрые лисицы только не излагают ее, а применяют с успехом. Действительно, жаль Маякину умирать: он превосходно знает, как стряпаются перевороты и как надо в удобный момент снимать пенку с кипящего народного котла*».

Слова Маякина — это и есть приговор босячеству — «природе» и «свободе», — вынесенный тем же писателем, что сочинил «Челкаша» и «Мальву».

Горький любил не свободу, а строй, не природу, а «культуру». Культура же для него — укрощение стихий, «борьба с природой» — стандартный лозунг Просвещения. Здесь стоит вспомнить Блока, для которого понятия «культура»

* Э. М. де Вогюэ. Максим Горький. Произведения и личность писателя. СПб., 1902, стр. 42.

и «стихия» — однопорядковы; для Горького же это антитеза, потому что он «культуру» подменяет «цивилизацией» — утилитаристским и плоско рационалистическим перерождением культуры. Блок в «Фоме Гордееве» любил не Маякина, а самого Фому — человека, чью опасную глубину, таящуюся под каждой лодкой; Горький же, человек, много раз в самом деле тонувший, предпочитал лодку.

6

Но откуда же тогда босяки, откуда Челкаш и Мальва? Уж не от «бабушки» ли? Казалось бы, да, коли здесь концентрируется художественное, поэтическое начало у Горького. И все же я и босяков связал бы с «дедушкой».

Это не удивительно, если снова вспомнить, что основное у горьковских босяков — не свободолюбие, а сила, подчас вполне недвусмысленно перерастающая в насилие. «Босяцкое нищестанство» раннего Горького есть попытка увидеть в босяке — «сверхчеловека». Горький, несомненно, читал «Генеалогию морали» и запомнил оттуда, что «сила» и есть «добродетель» (игра Ницше со словом *virtus*). Всяческий аморализм кажется ему (Горькому) естественным дополнением силы, мужественности, «вирильности». Странность, однако, в том, что в этом ряду оказывается у него и строитель Маякин:

«Прием был прост: я приписал Якову Маякину кое-что от социальной философии Фридриха Ницше» (25, 319).

Не будем придираться к словам — говорить о том, что никакой «социальной философии» у Ницше, в сущности, нет; приведем лучше высказывание самого Маякина о культуре:

«Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высочайшую любовь к делу и порядку жизни... Но коли так, — а именно так надо толковать это слово, — коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу. Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы — дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, — мы же действие...»

О прагматистских импликациях этого и многих других горьковских высказываний мы еще будем говорить в дальнейшем; сейчас же отметим важнейшее: культура для Горького отнюдь не только пафос сохранения, как полагал Шкловский, но и творчество, естественно; но творчество культуры Горький понимает как насилие. Он — выразитель того понимания культуры, которое отождествляет ее с доминацией, господством (и не только над природой, как еще увидим). Горький — нечаянный пророк построений Франкфуртской школы, именно так трактовавшей культуру, — с той, ко-

нечно, разницей, что «доминацию» франкфуртцы считали пороком культуры, у Горького же она вызывала энтузиазм. Другими словами: насилие — то, что связывает «босяка» и «строителя». В культуре, понятой как доминация, происходит триумф босяка, его агрессивного активизма, его злой воли. Синтез Челкаша и Маякина — это и есть тип цивилизатора-большевика, органически явленный в самой личности Максима Горького.

Теперь можно сказать, что Горький потому в 17-м году спорил с большевиками, что собственная его природа не была ему ясна, она как бы «переродилась», замаскировалась благоприобретенной «культурой». Культуртрегерство, требуемое просветительской установкой — а культура для Горького и ограничивается Просвещением, «цивилизацией», однажды он сказал, что «нашему разуму» не более 150—200 лет, — заставляло его завязывать связи с интеллигенцией, причем преимущественно научно-технической специализации. Пошло все это, в сущности, от «комплекса неполноценности», вполне понятного у самоучки. Как всякий выходец из низов (в его случае скорее культурных, чем социальных), Горький больше всего желал овладеть хорошими манерами; отсюда, между прочим, его неестественная в нормальном человеке начитанность. При этом жизнь еще очень долго щелкала его по носу, и отсюда в «босяцком цикле» четкие следы антиинтеллигентского *ressentiment*'а. Возьмите Промптова («Проходимец»): здесь, как нигде, видно, что босяк — это не столько социальный (или антисоциальный) тип, сколько своеобразный идеолог упомянутого *ressentiment*'а. Главный его душевный импульс — отталкивание от интеллигенции, неверие ей, восприятие системы интеллигентских ценностей как некоего маскарада, надеваемого на себя украшения. Этот мотив никогда не исчезал у Горького (см. «Дачники», например) — а в полную силу зазвучал в последней, и важнейшей, его вещи, «Климе Самгине». Не надо быть Зигмундом Фрейдом, чтобы увидеть в этом отражение опыта молодого Алексея Пешкова, привычаемого интеллигентскими народолюбцами: больше всего ненавидят, как известно, благодетелей*.

* Поразительна любовь Горького к Розанову: по всем вроде бы признакам ее быть не должно — социал-демократ против «мистической бабы»! Можно догадаться, однако, в чем тут дело: Розанов — что-то вроде «сверх-я» Горького: человек, сумевший завоевать культурный мир заведомым снижением тем культуры — и воздержавшийся при этом от вызывающих позатур, от горьковского битья посуды, Розанов — как бы удавшийся Горький, его несостоявшаяся проекция — при результате, прямо противоположном реальному Горькому: вместо «доминации» — прозрение «нерепрессивной культуры»: апология «мещанства», опять же монополично восторжествовавшая «бабушка». Все это произошло потому, что Розанов сумел остаться собой — выполнить главный завет гениальности, — хотя он и окончил Московский университет и даже писал гносеологические трактаты.

Положение обязывало, однако: в 18-м году Горький принял спасать академические вазы. Эта его деятельность повсеместно приветствуется; даже ядовитый Ходасевич произнес по этому поводу какие-то приличествующие случаю слова. Одного только вопроса никак не избежать: не было ли в этой симпатичной позиции — наслаждения собственными преимуществами, если не врожденными, то приобретенными? Не было ли сладкого сознания зависимости Академии от вчерашнего босяка?

Как бы там ни было, в августе 1925 г., вспоминая это время, он писал академику С. Ф. Ольденбургу:

«...вот что хотел бы я сказать людям науки: я имел высокую честь возвращаться около них в труднейшие годы 19—20-й. Я наблюдал, с каким скромным героизмом, с каким стоическим мужеством творцы русской науки переживали мучительные дни холода и голода, видел, как они работали, и видел, как они умирали. Мои впечатления за это время сложились в чувство глубокого и почтительно-восторга пред вами, герои свободной, бесстрашно исследующей мысли. Я думаю, что русскими учеными, их жизнью и работой в годы интервенции и блокады дан миру великолепный урок стоицизма и что история расскажет миру об этом страдном времени с тою же гордостью русским человеком, с какой я пишу Вам эти простые слова» (29, 441).

Но вот что вышло из-под его пера в декабре 1930 г. при известии о процессе Промпартии (письмо Л. Леонову):

«Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства. В какие смешные и нелепые положения ставил я себя в 18—21 гг., забываясь о том, чтоб эти мерзавцы не издохли с голода» (30, 195).

Создается впечатление, что только такой «информации» он и ждал, чтоб расплеваться со вчерашними учителями. На этом психологическом фоне уже почти безразличен вопрос, мог или не мог элементарно грамотный человек поверить легенде о вредительстве интеллигенции. Случай Горького — это как раз тот, когда хочется верить: наконец-то найденная мотивировка для давно, чуть ли не всю жизнь сдерживаемой ненависти.

И обратим внимание еще на один психологический извив: теперь (в том же тридцатом году) для вящей дискредитации интеллигентов Горький их самих объявляет — босяками!

«..., бывшие люди», которых жизнь вышвырнула из „нормальных“ границ в ночлежки, в „шалманы“, и некоторые группы „побежденных“ интеллигентов обладали совершенно ясными признаками психического сходства... „Проходимец“ Промтов и философствующий шулер Сатин все еще живы, но иначе одеты и сотрудничают в эмигрантской прессе...» (25, 322).

Это крайне содержательные в психологическом плане слова, приоткрывающие завесу над двоящейся и троящейся личностью Горького, указывающие на систему его идентификаций; он попеременно ненавидит в себе то босяка, то интеллигента, а то и «строителя» — и чуть ли не одновременно с ними со всеми отождествляется. Тут и лежит «комплекс» Горького.

7

Итак, культура — это насилие, борьба, «борьба с природой». Экспессы «технологического разума» явлены у Горького с простоватой откровенностью неопита. Эмоциональным кореллятом этого, так сказать, интеллектуального состояния будет ненависть, а психологическим — садизм. Тут нужно, однако, подчеркнуть, что излишняя психологизация проблемы может увести в сторону от действительно важных культурфилософских вопросов. Фрейд написал однажды, что техническая экспансия человечества является сублимированным, то есть принявшим культурно приемлемые формы, садизмом; но здесь речь идет уже не об индивидуальной (горьковской, положим) психологии, а о «метапсихологии». Потому-то Горький и был значительной личностью, что в его индивидуальном «я» сфокусировались некоторые основные линии эпохи.

Тем не менее не перестаешь изумляться напряженности его личных эмоций, когда обнаруживаешь, например, в одной из статей (так и озаглавленной — «О борьбе с природой», т. 26) совет профессору А. Ф. Лосеву: повеситься. Такие советы он стал подавать, когда обнаружил наконец-то замену интеллигенции.

Заменой этой стала, как нетрудно догадаться, все та же большевистская партия, — но на этот раз воспринятая и прославленная Горьким в качестве силы, способной европеизировать страну.

Этапной, пожалуй, была статья Горького «О белоэмигрантской литературе» (1928). Здесь он объяснил, что в революции русская интеллигенция утратила основное свое достоинство: потеряла революционно-критическое отношение к действительности, перестала быть силой:

«И сразу вся сила критического отношения к жизни, вся сила беспощадной, истинной и активной революционности оказалась в обладании большевиков» (24, 343).

Тут же он объясняет причины, вызвавшие появление «Несвоевременных мыслей»:

«Я был уверен, что „народ“ сметет большевиков со всей иной социалистической интеллигенцией, а главное — вместе с организованными рабочими. Тогда единственная сила, способная спасти страну от анархии и европеизировать

Россию, погибла бы. Благодаря нечеловеческой энергии Владимира Ленина и его товарищей этого не случилось» (там же).

Итак, еще раз: для Горького задача русской революции сводится к европеизации страны, к подавлению и изживанию ее азиатского анархизма. Единственно успешным методом этой европеизации он считает насилие, активизм: «активное», «беспощадное» для него — синоним «истинного». Содержанием же революции, то есть европеизации, должна стать техническая цивилизация, «господство над природой». И естественно, что с провозглашением программы индустриализации страны и наступления на крестьянство (этот бастион азиатчины для Горького) он сразу забыл былые разногласия с большевиками: ведь они принимали его программу*.

И они заменили Горькому не только интеллигенцию, растерявшую свой былой максимализм при столкновении с подлинной революцией, — но и буржуазию — ту самую, которая в принципе и должна была всячески европеизовать страну. Русская буржуазия, пришел к выводу Горький, не способна выполнить собственную программу. Еще в январе 1906 г. он писал И. П. Ладыжникову:

«Моя точка зрения, грубо выраженная, такова: буржуазия в России некультурна, не способна к политическому строительству, идейно бессильна...» (28, 405).

Яков Маякин оказался всего-навсего идеальным типом. Реальный русский деловой человек — Н. А. Бугров:

«...я убедился, что Бугров не „фанатик дела“, он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жажду душевной скуки».

И в позднейшем художественном творчестве Горький создает Петра Артамонова — человека, не владеющего делом, а владеемого, «отчуждаемого» им.

В очерках «По Союзу Советов» (1928), бывших результатом первой поездки Горького по стране после революции, он так характеризовал два полярных типа отношения к бытию:

«Есть поэзия „слияния с природой“, погружения в ее краски и линии, это — поэзия пассивного подчинения данному зрению и умозрению. Она приятна, умиротворяет, и только в этом ее сомнительная ценность. Она — для покорных зрителей жизни, которые живут в стороне от нее, где-то на берегах потока истории.

Но есть поэзия преодоления сил природы силою воли человека, поэзия обогащения жизни разумом и воображением, она величественна и трагична, она возбуждает волю к деянию, это — поэзия борьбы против мертвой, окаменевшей действительности, для создателей новых форм социальной жизни, новых идей»* (20, 191).

Следует здесь привести такое характерное для Горького определение культуры:

«Все, что именуется культурой, возникло из инстинкта самозащиты и создано трудом человека в процессе его борьбы против мачехи-природы; культура — это результат стремления человека создать силами своей воли, своего разума — «вторую природу» (24, 405).

Еще одно определение:

«Культура есть организованное разумом насилие над зоологическими инстинктами людей» (25, 239).

И еще одно:

«Если мне скажут: „культура — это насилие“... я не буду возражать, но внесу поправку: культура тогда насилие, когда она направлена личностью против самой себя, против ее анархизма...» (27, 485).

То есть объектом воздействия активной воли становится уже не «мертвая», «окаменевшая» действительность, но и живая, человеческая материя. Это отношение к человеку как объекту, средству, а не цели, не как к самоценному бытию вводит нас в самый центр горьковского мировоззрения. Это — итог его «антропологии»; окончательное выражение его размышлений о «Человеке».

«...речь идет о борьбе социалистически организованной воли не только против упрямства железа, стали, но главным образом о сопротивлении живой материи, не всегда удачно организованной в форму человека...»

...В Союзе Советов происходит борьба разумно организованной воли трудовых масс против стихийных сил природы и против той «стихийности» в человеке, которая по существу своему есть не что иное, как инстинктивный анархизм личности...» (26, 19, 20).

Умаление личности, сведение ее исключительно к функции служения социальному целому воодушевляет Горького:

«Необходимо написать историю культуры как историю разложения личности, как изображение пути ее к смерти и как историю возникновения новой личности в огне «концентрированной энергии» строителей нового мира» (25, 283).

«...индивидуализм как основа развития культуры выдохся, отжил свой век. Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю — да!..» (25, 239).

В терминах «борьбы с природой» как пути к культуре он воспринял «геологический переворот» в жизни деревни — коллективизацию:

* М. Агурский считает, что идея ускоренной коллективизации была подсказана Сталину именно Горьким: он вернулся в СССР в 1928 г., а коллективизация началась в январе 1930-го. Коллективизация, по Агурскому, была реализацией горьковской идеи селективного уничтожения социальных групп (интервью нью-йоркской редакции радио «Свобода», июнь 1988).

«В Союзе Советов происходит действительное освобождение крестьянства из плена каторжной, нищенской, темной жизни, которая тысячелетия держала его в положении человека низшей расы...

...Процесс коллективизации идет с невероятной быстротой. Что это значит? Это действительно освобождение человека от его подчинения природе — подчинения, в котором он жил веками...

Пролетариат начал освобождать 25 миллионов крестьян от «власти земли»...

...Если крестьянство, в массе, еще не способно понять действительность и универсальность своего положения, — рабочий класс обязан внушить ему это сознание даже и путем принуждения» (26, 43, 86, 99, 265).

Еще Ф. Бэкон говорил: для того, чтобы покорить природу, надо научиться подчиняться ей. Горькому не приходится на ум достаточно простое соображение: так ли уж необходимо освобождение крестьян от «власти земли» для целей развития сельского хозяйства? — потому что ему важен не результат, а метод.

Метод превращается в мировоззрение. Это и есть, если угодно, формула всякого активизма. У Горького претерпела совершенно чудовищную гипертрофию естественнонаучная методология.

Метод превращен в мировоззрение, причем метод заведомо не универсальный (таких и нет), частичный, абстрактный, то есть отвлекающийся от полноты бытийных связей. Ибо для Горького естествознание — не только основа мирозерцания, но и исчерпывающее определение всей совокупности его.

«История открытий, изобретений, история техники, которая облегчает жизнь и труд людей, — вот, собственно, история культуры» (25, 172).

«Пишущий эти строки склонен думать, что всякая идеология есть — в корне своем и в широком смысле понятия — технология» (27, 462).

Эти слова — уже прямая перекличка с формулой Хабермаса, в которой много лет спустя будет дана квинтэссенция так называемой репрессивной культуры.

Что фиксирует Горький в «широком смысле понятия» технологии? Ее способность, используя открываемые естествознанием абстрактные соотношения бытия, воздействовать в нужном направлении на протекающие в природе процессы. Фиксируется опять-таки утилитарный активизм, элемент господства над мировой данностью. А это и есть для Горького задание всякой идеологии. Так происходит отождествление идеологии и технологии, и отсюда — перенесение технологических методов на область социальной жизни. Перспектива этого процесса — Освенцим.

В статье «Из воспоминаний о И. П. Павлове» Горький писал:

«Высшая для человека форма самопознания является именно как познание природы посредством эксперимента в ла-

боратории, в клинике и борьба за власть над силами природы посредством социального эксперимента» (20, 483).

В этом контексте человек выступает как одна из сил природы. Но не нужно думать, что для Горького воздействие на него возможно и осуществимо лишь в порядке исключительно социального эксперимента. Нет, речь идет не только об этом, — ведь идеология и технология тождественны.

3 января 1933 г. Горький писал слепоглухонемой Ольге Скороходовой:

«Я думаю, что скоро настанет время, когда наука властно спросит так называемых нормальных людей: вы хотите, чтобы все болезни, уродства, несовершенства, преждевременная дряхлость и смерть человеческого организма были подробно и точно изучены? Такое изучение не может быть достигнуто экспериментами над собаками, кроликами, морскими свинками. Необходим эксперимент над самим человеком, необходимо на нем самом изучать технику его организма, процессы внутриклеточного питания, кровообразования, химию нервномозговой клетки и вообще все процессы его организма. Для этого потребуются сотни человеческих единиц, это будет действительной службой человечеству, и это, конечно, будет значительнее, полезнее, чем истребление десятков миллионов здоровых людей ради удобства жизни ничтожного, психически и морально выродившегося класса хищников и паразитов» (30, 274).

Всякий неслепоглухонемой поймет, каких жертв требует Горький от «сотен человеческих единиц».

В мае 1988 года журнал «Юность» опубликовал интересные мемуарные фрагменты Льва Разгона. Автор пишет там о некоем Сперанском — любимце Горького, директоре ВИЭМа (Всесоюзный институт экспериментальной медицины) — и намекает на то, что это было (есть?) зловещее учреждение; Сперанскому он противопоставляет «настоящих врачей». Похоже на то, что это и был советский Менгеле.

Но Горький не только советовал производить медицинские эксперименты на людях, — его технологический подход к жизни диктовал ему также и другие рекомендации:

«...мне кажется, что уже и теперь пора бы начать выработку био-социальной гигиены, которая, может быть, и станет основанием новой морали» (25, 27).

Объект для такой гигиены всегда найдется — это классовый враг:

«Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагу, как существу низшего типа... Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это — дегенерат, вырожденец физически и «морально» (25, 174).

Работу писателя Горький начинает понимать в тех же гигиенических терминах:

«...я должен заниматься работой санитара, попытками вымести из жизни всякую заразную грязь и дрянь» (26, 205).

Как-то раз Горький написал статью «О солитере», где, используя нехитрый каламбур («солитер» значит «единственный» — тема индивидуалиста Штирнера), построил свою критику индивидуализма на сравнении его с кишечным паразитом. В другой раз, когда был объявлен «всесоюзный поход» комсомола против (сельскохозяйственных) сорняков и паразитов, он провел такую параллель:

«В стране, где объявлена и успешно развивается беспощадная борьба — „борьба на истребление“ против двуногих хищников и паразитов пролетариата — строителя нового мира, вполне планомерно и естественно начать трудное дело истребления вредителей растительного мира» (26, 427).

Обратный пример:

«Борьба с мелкими вредителями — сорняками и грызунами — научила ребят бороться и против крупных, двуногих. Здесь уместно напомнить подвиг пионера Павла Морозова...» (27, 115).

Публицистика Горького, как мы могли видеть из приведенных примеров, обладает своеобразным эстетическим обаянием: в ней есть чистота и единство стиля. Это и мешает ее переизданию: стопроцентную эссенцию тоталитаристской идеологии не может нынче выдержать никакой, даже самый притерпевшийся желудок.

8

Приведенные в предыдущей главке цитаты из Горького, будучи абсолютно необходимым материалом для всякого понимающего и ответственного суждения о нем, все же не отвечают еще на вопрос о системе его мировоззрения, о его, если угодно, философии. А система и философия были у Горького, и здесь-то, повторяю еще и еще, он наиболее интересен, наиболее (не уникален, а) типичен. Интерес Горького не в искусстве его, часто «сомнительном» (В. Шкловский в «Гамбургском счете»), а в чем-то ином, то есть — в отличие от Розанова, скажем, — он интересен не столько как художественная индивидуальность, а как духовный тип. Это обстоятельство свидетельствует о какой-то сверхлитературной значимости Горького, о некоей его репрезентативности...

Но коли это так, то Горькому нужно искать компанию. И таковая сразу же находится: «махисты-богостроители», конечно. Связь с ними Горького не была ни случайной, ни временной. «Богостроительство» было ересью с точки зрения большевистского канона, но оно и выразило сокровенный смысл большевизма, стало его самообнаружением; впрочем, не такова ли вообще природа ересей? Более того, «богостроительство» было, так сказать, «народно», отвечало неким глу-

бинным содержаниям русской души. Здесь искался все тот же град Китеж — причем идейные мотивировки для этого были выбраны куда более точные, чем «ортодоксальный» марксизм, с его детерминистскими подходами, — Ницше и Мах. Правда, у них более общего с Марксом, чем казалось Ленину, но об этом будем говорить позднее. Конечно, можно и в самом Ленине видеть трансформацию все того же типа «китежанина», искателя невидимого царства; но сам-то он себя так не осознавал. А у «богостроителей» мифотворческая природа социального идеализма обозначилась предельно четко. Потом из этого вырос горьковский «социалистический реализм». Вот это и есть главное слово, связывающее скучные социал-демократические материи с русским преданием, — миф.

У самого Горького, как известно, богостроительские идеи нашли наиболее известное (но не единственное, конечно) выражение в повести «Исповедь». Сделаем философский экстракт этой вещи. Бога еще нет, Он «еще не создан». Его надо «строить», и этот строитель — «народушко! Неисчислимый мировой народ!». Но строит народ «бога» — из себя: он делается «богом» в высшем продолжении своих потенций; это, так сказать, регулятивная идея народной трудовой активности. «Божье царство» — социализм, а «богом» станет организованный трудовой коллектив. В конечном итоге нетрудно допустить, что «богом» объявляется сам труд — активная жизненная установка, если угодно — воля. Волонтаризм идет, в частности, от Шопенгауэра, много им читавшегося, причем как раз в молодости; позднее этот волонтаризм сольется с чем-то вроде прагматической теории истины.

Тут, однако, имеется некая трудность для человека, разделяющего «естественнонаучное мировоззрение», — каковым человеком хотел считать себя Горький. В «Исповеди» об этом говорится так:

«Все очень просто, понятно и необходимо, но нет мне места в этой простоте, встает вокруг меня ряд разных сил, а я среди них — как мышь в западне... Бога не понимал я у него; но это меня не беспокоило: главной силой мира он называл некое вещество, а я мысленно ставил на место вещества бога — и все шло хорошо. „Бог еще не создан!“ — говорил он, улыбаясь».

«Он» — это учитель Михайла, под руководством которого герой «Исповеди» читает философские книжки. Но и сам Михайла не до конца удовлетворен такой («естественнонаучной», конечно) картиной мира. Он говорит:

«Мне тоже кажется, что это неверно, а в чем ошибка — объяснить не могу! Однако, как догадка о плане мира, это очень красиво!»

«Ошибка» ясна: односторонний детерминизм научного объяснения мира, а равно и «экономический детерминизм» в применении к социальному бытию не

могут удовлетворить психологической потребности в активном воздействии на мир. А такое воздействие, такая активность — ценности, принимавшие у Горького высший и, как мы уже видели, квазирелигиозный смысл; в этом и состояло «богостроительство», игравшее в мировоззрении Горького роль системообразующего фактора. Но если нельзя примирить механистический детерминизм с волюнтаристической установкой в теоретическом плане, то вполне возможно практическое их примирение: при условии ограничения волевых устремлений человека вот этой целью «господства над природой». Технологический активизм («технология как идеология») нимало не утесняется исповеданием природной необходимости как единственного закона бытия. Но если это так, то искомое «Божье царство» — социализм — будет не чем иным, как этой покоренной природой. Пресловутый экологический кризис прямо-таки диктуется логикой социалистического мышления; но (тоталитарный) социализм и есть последнее слово индустриальной цивилизации. Читая Горького, вы видите карты этого мировоззрения раскрытыми.

Горький однажды написал Богданову, что Ленин никогда не понимал большевизма*. Большевизм — это активный марксизм, в отличие от меньшевистского «хвостизма», напирającego на объективный фактор, не способного отойти от детерминистской концепции бытия. Сейчас, правда, именно такое — активное — понимание марксизма считается интегральной частью ленинизма. У Ленина обнаружили в «Философских тетрадях» понимание активной природы сознания, так сказать, «фихтеанские мотивы» (это говорил Роже Гароди до своего перехода в магометанство). Но изначально в теоретическом понимании марксизма Ленин стоял на меньшевистских позициях, и эта позиция наиболее воинственно выражена в «Материализме и эмпириокритицизме». Пересмотр же позиции произошел как раз под влиянием махистских оппонентов. Ленину в высшей степени было присуще свойство всех практических политиков: стать на точку зрения противника, если такая обещала большую перспективу, — не только не признавшись в этом, но еще и лишний раз противника за это обругав. Так позднее Сталин, «борясь с троцкизмом», воспринял все главные пункты программы Троцкого. «Большевизм» Ленина до 1917 г. — это особая позиция по организационным вопросам партийного строительства, отнюдь не философия. Книга Р. Вильямса внесла в эти сюжеты необходимую ясность. Подлинными «большевиками» были социал-демократические нищенанцы и махисты — Богданов, Луначарский, Базаров, Валентинов, Красин, Фриче. К ним примыкал и Горький.

* Robert Williams. *Other Bolsheviks: Lenin and His Critics*. Indiana University Press, 1986, p. 125.

Но у этих «других большевиков» расхождения с Лениным были и по организационному вопросу: они тяготели к синдикализму; книгу Сореля «Размышление о насилии» перевел на русский Фриче и снабдил предисловием Луначарский. Установка синдикализма — на «прямое действие» масс, вдохновляемых мифом. У Ленина же — вождистская, авторитарная установка, исходящая из постулата о внесении социалистического сознания — понимаемого как наука, как «едиственно правильное учение» — в рабочее движение социалистической интеллигенцией, то есть опять же вождями. Позднее отсюда вырастет триада «массы — партия — вождь».

Горьковское «богостроительство», по-другому называемое демотеизмом, вышло из этих, условно говоря, синдикалистских установок: из обожествления народа как единого целого, в котором неразличимы составляющие части. «Прямое действие» — всегда массовое действие, и в этом залог его успеха. Кстати, первая революция достигла максимального успеха в октябре 1905 г. как раз указанным «прямым действием» — всеобщей забастовкой; это был успех не ленинской, а синдикалистской тактики. Но синдикалистский демократизм обманчив, «других большевиков» отнюдь не следует противопоставлять авторитаристу Ленину в качестве альтернативного, демократического течения только потому, что они говорили о массе: в этой массе абсолютно подавлена индивидуальность, у синдикалистов и «богостроителей» отсутствует какое-либо представление о самоценности личности. Вспомним, что индивидуализм был у Горького признаком «мещанства» — почему он и объявлял мещанами Толстого и Достоевского. Ему вторил (а может быть, и вдохновлял его) Луначарский, статья которого в сборнике «Очерки философии коллективизма» (одна из важнейших теоретических манифестаций «других большевиков») так и называлась — «Индивидуализм и мещанство» — и была направлена против «социологического и этического индивидуализма» эсеровского автора «Истории русской общественной мысли» Иванова-Разумника.

Синдикалистское «прямое действие», богостроительский демотеизм, нищенанский волюнтаризм, прагматическая теория истины, Мах и мифотворческое истолкование как социалистического идеала, так и наиболее известного теоретического его обоснования, марксизма, — это единый идейный комплекс, в составляющих которого нам необходимо разобраться для того, чтобы увидеть подлинную генеалогию большевизма — не «другого» и не «первого», а настоящего. Для такого анализа Горький представляется наиболее удобной фигурой, потому что у него указанные идейные течения выразились в «классической» форме — в том смысле этого термина, который совпадает с понятием «наивный».

9

В первом варианте этой работы, написанном еще в СССР в 1976 г., я сделал попытку ориентировать мировоззрение Горького на философию прагматизма. Это представлялось тем более соблазнительным, что прагматистское истолкование можно дать самому марксизму, что и делалось в начале века (например, С. Булгаковым в его «Философии хозяйства»). Конечно, здесь имелось в виду «большевистское», то есть активистское истолкование марксизма, позднее понятого как «волютаристический прагматизм» (Г. Лукач), как «методология исторического активизма» (Р. Гароди). Сейчас прагматистская стилизация Горького (да и самого марксизма) кажется мне естественной и не лишней, то не исчерпывающей проблему. Во всяком случае, генетическим источником «активного» марксизма был не прагматизм, хотя нельзя не заметить между ними некоторого структурного сходства. Нельзя забывать, что существуют «Тезисы о Фейербахе», в которых предлажено «большевизм» в качестве активного течения в социал-демократии. Но дело в том, что в начале века этот текст не входил в марксистский канон: Богданов будет обвинять Плеханова в непонимании «Тезисов» — им же самим, Плехановым (впрочем, плохо), переведенных.

Все же обратим внимание для начала на некоторые небезыносительные параллели между высказываниями Горького и основоположениями прагматизма.

Онтология прагматизма: «Наличие действительности принадлежит ей; но содержание ее зависит от выбора, а выбор зависит от нас... Мы говорим за нее». К этому автор (В. Джемс) добавляет, что факты, «объективное», не истинны, «они просто суть». Шиллер (цитируемый у Джемса) говорит так: «Мир по существу своему ... не имеющая еще формы материя, он то, чем мы его делаем. Бесполезно было бы определять его через то, чем он был первоначально, или через то, что он такое отдельно от нас; он есть то, что из него делают. Таким образом ... мир пластичен»*

Прагматическая теория истины может быть резюмирована следующими словами Джемса: «...мысли (составляющие сами лишь часть нашего опыта) становятся истинными ровно постольку, поскольку они помогают нам придти в удовлетворительное отношение к другим частям опыта... мысль... истинна, как орудие логической работы, инструментально. Таким образом, теории представляют собой не ответы на загадки, — ответы, на которых мы можем успокоиться, — теории становятся орудиями»**. Другими словами, истина не существует, как это утверждает древняя традиция платоновского «реализма», — истина порождается.

«Мир стоит перед нами гибким и пластичным, — пишет Джемс, — ожидая последнего прикосновения наших рук. Подобно царству небесному, он охотно отдается человеческому усилию»*.

А вот что писал Горький:

«Действительность вполне реальна, но еще не истинна, она — только сырой и грубый материал для создания будущей всечеловеческой истины» (25, 159).

«Революционная идеология вполне определено указывает нам, в творчестве каких фактов мы нуждаемся» (26, 336).

«Работа возбуждает мышление, мышление превращает рабочий опыт в слова, сжимает его в идеи, гипотезы, теории — во временные рабочие истины» (26, 410). Это очень похоже на инструментальную теорию истины).

Горькому также близка прагматистская (и в то же время от Ницше идущая) теория культуры как орудия биологического приспособления, выживания человека.

Однажды в журнале «Наши достижения» была напечатана статья, автор которой утверждал, что цель науки — поиски истины. Горький статью раскритиковал и объяснил редакторам, что цель науки — практическая полезность, обеспечение власти над природой.

Допустить знакомство Горького с прагматистской философией очень и очень можно. Начать с того, что он был лично знаком с Джемсом, и уже одно это не могло не подтолкнуть его к прочтению книг Джемса, всех до одной переведенных на русский; странно было бы ожидать другого от великого книголюбца Горького. Были, однако, у него и другие инспирации; об одной из них он рассказывает в мемуарном очерке «Савва Морозов».

Вот что, если верить Горькому, говорил ему этот человек:

«„Мыслью, значит — существую“, это неверно!.. Я говорю: работаю, значит — существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание...»

...— Вы считаете революцию неизбежной?

— Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России и пробуждение ее сил.

...Я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства...

Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, — все равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

...Ленинское течение — волевое и вполне отвечает объективному положению дел... Для меня несомненно, что это течение сыграло огромную роль».

О марксизме: «У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теории, но очень немногие по-

* В. Джемс. Прагматизм. СПб., 1910, стр. 150, 138, 148.

** Там же, стр. 41, 38.

* Там же, стр. 157. (Перевод исправлен.)

нимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли».

Тут еще нельзя не отметить любезного Горькому совпадения марксистской, активистской установки с социальной функцией крупного промышленника — организатора производства. Можно также еще раз вспомнить П. Б. Струве с его проповедью культурной миссии капитализма, вскрытой в (научном) марксизме. Заметим, что Горький, грубо обрушиваясь на таких людей, как Бердяев или Мережковский, ни разу не отозвался плохо о Струве, — наоборот, все упоминания о нем даже у позднего Горького окрашены позитивно, чтоб не сказать — тепло.

«Богостроительство», напомним, было ориентировано у Горького проективно: «Бог еще не создан», — отсюда сама идея «строительства», то есть все той же активной деятельности. Здесь находили преодоление того тупика, который в горьковской «Исповеди» был обозначен как противоречие между природной необходимостью и целепологающей волей. Но именно такое понимание религии было дано А. В. Луначарским в его нашумевшей книге «Религия и социализм».

Определение Луначарским религии звучит так: «Религия есть такое мышление о мире и такое мирочувствование, которое психологически разрешает контраст между законами жизни и законами природы»*. «Законы жизни» здесь означают человеческую жизнь, «практический разум» человека, то есть его нравственное сознание, не могущее примириться с пленом природной необходимости («законами природы»). В этом определении нет ничего нового, религию из потребностей нравственного сознания выводил еще Кант. Но далее Луначарский пишет: «Научный социализм разрешает эти противоречия, выставляя идею победы жизни, покорения стихии разуму путем познания и труда, науки и техники»**. Иного выхода ни Луначарский, ни Горький не видят: если природа и ее законы — единственный источник порабощения человека, то господство над ними («доминанция») — единственный путь к свободе, и средство этого освобождения — работа организованного трудового коллектива, становящегося тем самым объектом нового религиозного поклонения, то есть «богом». Луначарскому и Горькому мнится, что в этой идее сохраняется основной характер всякого религиозного объекта как силы надындивидуальной; «богом» становится масса, «организованная демократия» (термин И. Дицгена), личность тем самым приносится в жертву коллективу. Любое отклонение от этого пути служения обожествленному коллективу воспринимается теперь как ересь и в случае Горького, как мы могли видеть, вы-

зывает фанатическую, чисто инквизиторскую нетерпимость.

Луначарский в обоснование своего понимания религии обращается к философии Ницше — интеллектуальный ход, который не мог не пленить Горького. Он пишет:

«Вместе с Ницше мы говорим: „человек! твоё дело не искать смысла мира, а дать миру смысл“ ...Новая религия не может вести к пассивности, к которой в сущности ведет всякая религия, дающая безусловную гарантию в торжестве добра, — новая религия вся уходит в действительность... начало умиленного созерцания изгоняется теперь из религии и заменяется началом неустанной активности»*.

Здесь интересно то, что воедино сливаются послышки (прагматического) активизма, активистски интерпретированного Маркса и «философа жизни», ненавистника теоретической философии Ницше. Все это и создает комплекс «богостроительства», каковое при желании можно легко отождествить (в общемировоззренческом, а не политическом плане) с «большевизмом» *par excellence*. Здесь — «мистика» большевизма, в отличие от его ортодоксально-теоретической доктрины; в иных терминах можно было бы сказать, его «бессознательное», если б у «других большевиков» это не было как раз осознано.

Укажем здесь еще на одно последствие ницшеанских увлечений Горького. Линия мифа, идущая от Ницше, привела в конце концов к провозглашению «социалистического реализма». Ницше говорил, что философию нужно ориентировать не на естественные науки, как это делал Кант, а на искусство, ибо цель философии — поиск истины, а построение мифа — раскрытие экзистенциальной глубины самого философствующего, а не общеобязательная истина.

Что касается мифотворческого истолкования социализма, то здесь все-таки наиболее важным фактором был упомянутый уже Жюль Сорель, французский теоретик синдикализма. Провиденциальное значение книги Сореля «Размышление о насилии» было отмечено как на Западе (ср. соответствующее описание в романе Т. Манна «Доктор Фаустус»), так и у нас (П. Б. Струве, увидевшим в Сореле саморазоблачение социализма, осознавшего свою научную несостоятельность и обратившегося к мифу как источнику социально-политической энергии; вообще Ж. Сорель был Гербертом Маркузе своего времени: последний, как известно, новую силу социализму надеется придать возвращением его от науки к утопии). Но «другие большевики» сумели не только понять теоретическую важность синдикализма Сореля, но и применить его идеи на практике; как уже говорилось, успехи первой русской революции были достигнуты за счет тактики «прямого действия» (всеобщей за-

* А. Луначарский. Религия и социализм. СПб. 1908, т. I, стр. 40.

** Там же, стр. 42.

* Там же, стр. 46, 49.

бастовки). Связь тактики «прямого действия» с мифом очевидна: действие творит реальность, а «творимая реальность» и есть миф.

Рядом с «другими большевиками» даже Ленин, при всем его психологическом активизме, кажется дюжинным социал-демократом. Это особенно заметно при чтении «Материализма и эмпириокритицизма». В философском споре с Богдановым и прочими русскими «махистами» он, похоже, не уловил сути дела, не почувствовал нерва проблемы, каковая была отнюдь не отвлеченно философской: Богдановым в его «эмпириомонизме» если и была развернута какая-либо философия, то философия революционной.

А. А. Богданов — человек, о котором, сдается, будут говорить все больше и больше и заговорят — скоро. Идея мифа как движущей силы революции (если не самого бытия, ибо бытие становится у Богданова деянием, неким «чистым актом») находит у него обоснование уже не в сомнительных экстазах полухудожника Ницше и не в сбивчивых «размышлениях» Сореля, а в наиболее развитой науке и в философии современного естествознания.

Богданова можно назвать «махистом» только в одном-единственном смысле: в том, что он воспринял у Маха понятие «чистого опыта» как средства изъять философию от последних метафизических остатков — таких, как «материя», «реальность», «объективный мир». Чистый опыт есть принципиальная соотносительность субъекта и объекта, идеального и реального, психического и физического, в каком-то соотношении бессмысленным делается «основной вопрос философии» о первичности того или иного члена в указанных рядах; по-другому можно сказать, что мир в теории познания Маха принципиально соотносен с человеком, в этом соотношении и конструируется сам опыт, — поэтому ставить вопрос о дочеловеческом или внечеловеческом бытии — самая настоящая метафизика, образцы которой демонстрируют Плеханов и «Ильин» в их определении материи как объективной реальности, данной нам в ощущении. Это пример созерцательного материализма, раскрытого Марксом в «Тезисах о Фейербахе», говорит Богданов; и если можно как-то связать понятия материи и объективного мира, то лишь в том смысле, что материя есть объект человеческой деятельности. Здесь Богданов как раз и выходит за пределы (в свою очередь, созерцательного) Маха, а заодно и опрокидывает одним движением «ленинскую теорию отражения»:

«Познание организует опыт, а чистое описание (то есть «махизм». — Б. П.) хочет рабски подчиняться ему, только отражать его. Организовать какой бы то ни было материал в стройное целое нельзя так, чтобы не изменить его в той или иной мере, это относится и к опыту. Познание должно целесообразно

преобразовывать и дополнять его; иначе оно им никогда не овладело бы. Истина — отнюдь не простая копия фактов, а орудие господства над ними»*.

Самый сильный аргумент противников русского «махизма» — сведение их философии к субъективному идеализму Беркли и Юма. Этот аргумент Богданов отводит следующим образом. Мы преодолеваем представление о мире как «сумме ощущений» только в социально-согласованном, или социально-организованном, опыте. «Объективность физического опыта есть его социальная организованность»**. Вся прежняя путаница в вопросе о критериях познания причинялась тем, что субъектом познания был индивид, буквально — «кабинетный ученый». Ныне же в качестве такого субъекта выступает трудовой коллектив крупного машинного производства. В его мироотношении происходит совпадение познания с действием: «связь элементов опыта в познании своей основой имеет соотношения элементов общественной активности в трудовом процессе»***, то есть сама «объективная закономерность» есть не что иное, как «социальная организация опыта», — а сказать еще проще, нет иного критерия истины, кроме потребностей и деятельности организованного трудового коллектива, предельный вариант которого — трудящееся человечество: прагматически обоснованный тоталитаризм, делающий человека исчезающе малым элементом некоего вселенского «промфинплана».

Но это уже как бы и оценка, а у нас пока идет речь об описании богдановской философии. И тут надо сказать, что философия Богданова строится отнюдь не как философия тотальной закабаленности человека, а, наоборот, как философия, если угодно, свободы. Богдановский эмпириомонизм приобретает отчетливо выраженные черты телеологического (целесолагающего), а не каузального (причинного) мировоззрения. Богданов говорит об «основной метафоре» всякого философствования: к природе, бытию относят понятия, по своему первоначальному значению относившиеся к человеческой деятельности. Этот — почти дикарский — антропоморфизм становится в системе коллективно организованного опыта «социоморфизмом мышления». Сама установка на познание уже предполагает активность, если угодно — даже насилие. Роковое для философского мышления понятие причинности (или, в другой связи идей, необходимости) коренным образом меняет свой характер, превращаясь опять же в элемент человеческой коллективной деятельности: причинность теперь понимается как связь социальной-технической, она совпадает со следствием, полностью в него трансформируется. Это и есть коллективно-трудовая телеология; новое, свежее значение

* А. Богданов Философия живого опыта. М., 1920, стр. 150.

** Там же, стр. 220.

*** Там же, стр. 229.

приобретает древнее понимание цели как «конечной причины». План работ становится причиной деятельности. По-другому: «бытие» становится равно «действию». Но ведь это и есть миф как «творима реальность», миф как апология тотальной человеческой активности — приобретший форму технологической утопии.

Итак, «материи» как «объективной реальности» нет — есть «энергия», чистая активность. «Принцип энергии — это идеал власти общества над природою»*. Исчезновение материи — концепт, заимствованный Богдановым из так называемого «энергетизма» Оствальда. Но у Богданова исчезает не только «материя», а и некие онтологически реальные качества бытия; расправляясь — на новый лад — с метафизикой, он впадает в нигилизм. В очередной раз «метод» становится «мировоззрением» — роковая ошибка в истории философствования. Тем не менее Богданов интересен и значителен, это отнюдь не третестепенный дилетант, каким его пытался представить в «Вежах» Бердяев. Логика технологической экспансии как основное содержание нынешней эпохи выражена у Богданова не просто великолепно — она выражена правильно. Если он, в отличие от тех же франкфуртцев, не сумел рассмотреть зловещих последствий эпохи, то это потому, что он стоял у ее истоков, а не в эпицентре поднятых ею бурь.

Собственно, то же или почти то же можно сказать и о Горьком — если мы хотим непременно извинить его. Но все же Горький — человек иного духовного склада: не тихий интеллигент и кабинетный фантаст (Богданов, между прочим, писал и фантастические романы), а достаточно агрессивный плебей с застарелым комплексом неполноценности, «университетским комплексом» и пр. И он не задумается ставить эксперименты не только на себе (как это сделал Богданов, погибший в результате неудачного опыта переливания крови), но и на других; как — мы могли уже видеть.

Удивительно, что Горький не написал о Богданове: это был явно горьковский герой, горьковский человек (хотя в письмах всегда отзывался о нем с необыкновенным пиететом): о Морозове написал, о Вилонове (ученик Богданова) написал, а о Богданове отмолчался. Но, с другой стороны, не есть ли вся его публицистика и сама его позиция — внушительный памятник Богданову?

10

Из философии Горького выросла и его эстетическая теория — всем известный социалистический реализм. Этот метод — отнюдь не мертворожденный плод литературных канцелярий сталинской поры, и не в 1934 г. он появился: это законное детище Горького, интегральная

часть его непростого мировоззрения и даже источник многих его творческих удач. Уточним последнее: ничего, в сущности, этим методом Горький не создал, но тема, методом поставленная, неоднократно успешно им разыгрывалась, сама пропаганда метода не раз становилась захватывающим сюжетом. Лучший пример — Лука из пьесы «На дне», подлинный пионер социалистического реализма. В этом образе Горький вышел к настоящей теме не только своего творчества, но и всей своей жизни. Элементарнейшая формула соцреализма дана в пьесе словами Беранже (или Курочкина): «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Это и есть тема Луки — о ненужности правды, об утешении ложью, возведенной в высокий ранг поэзии. Впрочем, «поэзия» — как бы уже и маловато для квалификации подобного мироотношения; нужно говорить опять же о мифе, о «творимой реальности». Здесь следы все того же Ницше, говорившего, что сущностью искусства является «воля ко лжи». Тут и начался горьковский «прагматизм» — инструментальность истины.

«Системообразующее» значение Луки в творчестве Горького сразу же заметили умные критики. Мережковский писал о Луке как о высшем создании Горького. Удивительно было, однако, отношение к Луке его творца: начиная хотя бы с письма Пятницкому в январе 1903 г. до статьи «О пьесах», написанной в конце жизни, Горький всячески дезавуировал Луку как «вредного старца», а вредность его видел в том, что он профессиональный обманщик. Читателю Горького не остается ничего другого, как предположить, что нелюбовь к Луке была у него замаскированной, а то и бессознательной самокритикой.

В самом деле, вот что он писал Чехову в январе 1900 г.:

«Право же — настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, и было выше ее, лучше, красивее. Обязательно нужно, чтобы теперешняя литература немножко начала прикрашивать жизнь, и, как только она это начнет, — жизнь прикрасится, т. е. люди заживут быстрее, ярче» (28, 113).

Это — в самом начале. Но и в конце было то же самое, слово в слово:

«Надо поставить вопрос: во-первых, что такое правда? И, во-вторых, для чего нам нужна правда и какая? Какая правда важнее? Та правда, которая отрицает, или та, которую мы строим? Нельзя ли принести в жертву нашей правде некоторую часть той, старой, правды? На мой взгляд, можно. Мы находимся в состоянии войны против огромного старого мира: черт бы его побрал с его старой правдой! Нам необходимо утверждать свою» (26, 63—64).

Эту «старую правду» в другом месте он назвал «отбросами для свиней» (26, 33). Приведем еще одно высказывание: «Какая правда нам нужна? Та правда,

* Там же, стр. 212.

которая стоит перед нами как цель и которую мы ставим перед всем трудовым миром. Вот наша правда, и на нее нужно обращать внимание» (26, 84).

Это и есть вероисповедание Луки, старца лукавого. Принимать за чистую монету «отмежевку» Горького от Луки не стоит. «Творимая реальность» превратилась у него во что-то вроде невроза навязчивости, определявшего даже его повседневное поведение. Ходасевич вспоминает о жуткой (по-другому не скажешь) истории: во время гражданской войны Горький уверял одну аристократку, сына которой, как он достоверно знал, расстреляли большевики, в том, что тот жив и невредим; он говорил Ходасевичу, что не может открыть правду и тем причинить горе, — как будто таким умолчанием в самом деле можно было воскресить убитого. Тут попахивает опытом какой-то дурной магии, и эту чертовщину уже невинной не назовешь, это не прощупывание страниц «Простой души». По-другому: это в миниатюре произведенная модель будущей социалистической реальности (сюр, ирреальности), построенной на априорном отрицании эмпирических фактов, та логократия коммунизма, о которой потом будет писать Безансон.

Такая установка чрезвычайно далека от какого-либо идеализма, а следовательно, и от эстетики. Соцреализм — не художественный метод, а нечто другое: попытка теургии, «богодействования», узурпация реально творящей силы. Здесь — заинтересованность в реальном преобразении бытия, а не в эстетической его сублимации. Можно сказать: истина — это не факт, а идеал, — и не сказать тем самым (тем более не сделать) ничего злокачественного. Это и будет идеализм — и соответствующая система эстетики, такое-то понимание прекрасного. Горький же не противопоставляет идеал факту — он выдумывает факт. «Творчество факта» — такое выражение появляется у него уже в «Заметках о мещанстве» (1905). И эта установка «прагматически» развивается: коли действительность реальна, но не истинна, то следует возвести ее в ранг истины, переделав ее в соответствии с целеполагающей волей. Это будет, как мы уже знаем, «борьба с природой». А социалистический реализм дает ей, этой борьбе, некий эстетический аналог, еще точнее — модель такого мироотношения. И значение этого моделирования действительно становится все более необходимым по мере того, как рушится проект тотального преобразования бытия, по мере того, как проваливаются «пятилетки». Соцреализм — в том, чтобы объявить невыполненную пятилетку выполненной или, как сказал кто-то, идти по дороге, которая будет построена в следующей пятилетке.

Но в принципе такой результат не предусматривался самим Горьким — наоборот, литература в период социалистической стройки понималась некоторым об-

разом как непосредственная производственная сила.

На I съезде советских писателей Горький говорил:

«Миф — это вымысел. Вымыслить — значит извлечь из суммы реально данного основной его смысл и воплотить в образ, — так мы получим реализм. Но если к смыслу извлечений из реально данного добавить, — домыслить, по логике гипотезы, — желаемое, возможное и этим еще дополнить образ, — получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, — отношения, практически изменяющего мир» (27, 312).

Задача литературы (искусства вообще), таким образом, не имманентна, не самоудовлетворяюща, она выходит за пределы собственно литературного ряда в область творимого бытия, творимого смысла. «Домысливая» действительность, художник, писатель реализует свою волю, но Горький склонен эту волю, работающую в мире фантазии, воспринимать как непосредственно творящую мир, то есть задача литературы — у Горького, в соцреализме — творить бытие, а не его идеальные образы, сделаться орудием и средством не идеального преобразования бытия, а его материального переустройства. Литература должна стать непосредственно полезной, технологичной. Иногда это требование приводило у Горького к комичным результатам, но этот комизм — в логике его метода, в стиле его мировоззрения.

В статье «О «Библиотеке поэта», при ведя строчки Фофанова: «На небо месяц поздно так вышел, и серебром засверкало болото», — он начал говорить о народнохозяйственной вредности болот и сделал вывод:

«...поэты никогда не звали человека на борьбу с природой, за власть над ней... не гневались на слепого тирана».

Другой порок поэтов — воспевание ими любви, ведущее к забвению того, что слепой половой инстинкт рождает всяких паразитов: комаров, мышей и пр.

«Я вовсе не намерен убеждать поэтов: «Ловите мышей!» Я хочу только указать на необходимость пересмотра отношения поэзии к природе и пересмотра всех главных тем старой поэзии».

И наконец (в той же статье):

«...размышляя о любви, очень трудно допустить, что в обществе, организованном социалистически, размножение людей сохранит стихийные формы, полезные только паразитам, живущим за счет чужой физической силы» (26, 181, 182—183).

Впрочем, это не так уж и смешно — и попахивает не Хаксли, а Оруэллом. Это — евгеника, ВИЭМ, а в перспективе, как уже говорилось, — Освенцим.

«Архαιст» — в собственном писательском смысле, как представитель старой реалистической школы, — Горький дела-

ется самым радикальным авангардистом в обобщающей эстетической теории. Маяковский не опознал своего, когда писал «Письмо Горькому»; там есть слова, что вместо романа «Цемент» надо производить цемент как таковой — стройматериал. Но это же и есть горьковская позиция, сформулированная в понятии соцреализма. Лефовское «искусство-жизнестроение» — то же самое, что горьковский соцреализм. Ведь там, где материалом литературы становится творимая действительность, там отпадает необходимость в чисто эстетических эффектах. Достаточно газеты — то есть моментального снимка с действительности, спонтанно принимающей «героические» формы, которых все еще не хватает литературе (см. 25, 97). Газета же, вспомним, среди прочего еще и «коллективный организатор». Литература становится частью промфинплана, поскольку последний сам приобретает монументальное величие скрижалей завета. Побочный результат такого подхода к делу достаточно парадоксален: Горький утверждает, что литератору не нужен талант, — коли вообще отпадает необходимость в каких-либо эстетических смещениях.

«Мы оставляем в стороне вопрос о литературном таланте, это вопрос неясный, нерешенный, и решать его — не наше дело. Мы говорим о способности к литературному труду, эта способность заметна у весьма многих начинающих писать рабселькоров, рабочих, крестьян» (25, 102).

Вот отсюда и вышли 10 тысяч членов Союза советских писателей.

Но если эта «творимая действительность» воспринималась как организованная на эстетический манер — как образ некоего совершенства, то, с другой стороны, литература, все еще сохраняя специфическую форму книжности, в свою очередь приобретала черты осуществленной реальности. Флоберовская Фелисите материализовалась, стусилась из словесного пара и выпала в осадок, где ее и нащупал наконец Максим Горький. Другими словами, высокое понятие мифа обратилось в самую вульгарную ложь: несуществующее принялись выдавать за сущее, фактичность подменять заданностью, наличествующее — должествующим. Это назвали отражением действительности в ее революционном развитии. Жизнь превратилась в «систему фраз» (горьковское выражение). Это было подлинным выходом социалистического реализма. Можно говорить о полном совпадении рекомендаций, дававшихся Горьким литературе, с теми рецептами политической активности, которые он прописывал в своей публицистике. В одном случае это вело к утверждению лжи как правды, а в другом — к воспеванию каторжных лагерей. Фикция может торжествовать над реальностью и ложь над правдой, только если они подкрепляются насилем. Это и есть последнее слово

горьковского «активного мироотношения» — и последнее слово всякого революционаризма.

11

«Становилось совершенно нестерпимо топтаться в хороводе излишне и утомительно умных».

«Жизнь Клим Самгина», ч. 1.

Горький как писатель — тема, выпадающая из социалистического реализма; несколько поздних вещей, написанных на советском материале, положения не меняют. Горький, как уже говорилось, — соцреалист в своей публицистике, шире — в своем мировоззрении. Писатель М. Горький — реалист просто, бытовик, хотя бы даже «очень начитанный бытовик» (В. Шкловский). Но все же каков он как писатель? Ни в коем случае нельзя отрицать его достоинств — трудно назвать плохим писателя, у которого то и дело встречаются удачи. Интересны его босяки, хотя, в сущности, вторичны, вернее — не уникальны: это некий демократизированный стиль «модерн», ближайший аналог которого — Гамсун и Джек Лондон. Шедевр Горького — «На дне». Затем наступает провал, «конец Горького», с невозможными «Матерью» и «Дачниками» (последние интересные, однако, в психологическом плане, для характеристики горьковских «комплексов»). Снова набирать высоту он начинал, пожалуй, с «Городка Окурова». Вообще годы примерно 1912—1925 лучшие у Горького. Здесь удач просто много; и бесспорное «Детство», и пьесы («Фальшивая монета», «Старик»), и цикл «По Руси», в котором сверкают такие жемчужины, как «Ералаш», очень значительная вещь «Хозяин», интереснейшая даже в формальном плане книга «Заметки из дневника. Воспоминания». «Рассказы 1923—24» — это вообще какой-то новый Горький, ищущий (правда, не совсем удачно) в области сюрреализма. Завершается этот период вполне добротными «Артамоновыми». Дальше — «Клим Самгин».

Эта книга требует, конечно, особого разговора. «Самгин» — вещь итоговая, значимая всячески и вообще по-новому необычная у Горького. Прежде всего изумляет резкая смена тематики: «босяк» пишет эпопею об интеллигенции, и таковая, действительно, предстает на ее страницах. Роман — «умный», опять же — «интеллектуальный». Охотно допускаю, что в условиях позднесталинской России его чтение было, попросту говоря, полезным, это был некий учебник; я сам по нему к многому приобщался (о «Вехах» узнал — оттуда). Для советских подростков 1951 года книга была в некотором роде незаменима, уникальна. В Америке есть понятие «ностальгическое чтение»; может быть, как раз этим объясняется то, что всякий раз я перечитываю

ваку «Самгина» не только с интересом, но и с волнением. Мое «открытие» архетипа Пенелопы в русской истории («Чевенгур и окрестности», «Континент», № 54) — бессознательная реминисценция из «Самгина» (финал первого тома), в чем убедился при последнем перечитывании. Но и независимо от подобных лирических ассоциаций «Самгин» книга очень неплохая, сделанная очень опытной рукой, в книге ощущается фактура описываемой жизни, ее «длительность». Я уже не говорю о ее, этой жизни, богатстве, бытовом и культурном изобилии, так зримо встающих со страниц «Клима Самгина». В этом смысле книга приобретает значение чуть ли не исторического источника, во всяком случае — очень неожиданно и тем более интересного свидетельства о старой России. Реализм здесь более чем уместен. Одним словом, Горький в «Самгине» сумел дать не только себя.

И все же — это психологическая автобиография босяка, мемуары плебей-комплексанта. При всей «очень-начитанности» Горького книга не стала свидетельством об интеллигенции, и никаким разоблачением таковой, «отходной» там и не пахнет. И прежде всего потому, что главный герой — отнюдь не интеллигент, это подручный пекаря Алексей Пешков, помещаемый в интеллигентскую гостиную, а то и в барский салон.

Почему, собственно, мы должны считать Клима Самгина, эту «пустую душу», типичным представителем осуждаемой и разоблачаемой «буржуазной интеллигенции»? Вообще мотивировать нелюбовь к интеллигенции ее буржуазностью — просто глупость или полное незнание дела (говору не о Горьком, а о советских интерпретаторах «Самгина»): русская интеллигенция была насквозь демократична и радикальна, даже и у «веховцев» не было никаких антидемократических априори. С какой же стороны ведет на нее атаку Горький (то, что атака ведется, сомнений не вызывает)? Он на нее нападает с низу: Клима Самгина в романе — человек наименее яркий, наименее талантливый («в сущности, я — бездарен»); человек, у которого нет своих слов, он «молчит»; самого человека нет. «Был ли мальчик?» — это не о Борисе Варавке сказано, а именно о Климе: он не существует, а выдуман в детстве отцом. Порой он ощущает свое невежество — именно в сравнении с «веховского» типа людьми. Клима все время напрягается, он форсирован, он играет роль, потому что самого его нет, фамилия «Самгин» обманчива. И когда он решается все-таки высказать себя — всегда возникает нечто вроде скандала, причем не залихватского артистического, а мелкого, даже хамоватого (Горький на премьере «Дачников» — в зал: «Плюю на вас!»), — он и в скандале незначителен (Горький против Толстого и Достоевского в «Заметках о мещанстве»). С мотивом антиинтеллигентского скандала связан

мотив обмана (мужик с сомом в первом томе) и, главное, мотив предательства: Самгину, в сущности, жандармский следователь едва ли не приятнее, чем его интеллигентские знакомцы. И отсюда, пожалуй, тайное тяготение к людям «простым», готовность вместе с девочкой на подъеме колокола крикнуть интеллигентам: «Да что вы озорничаете!» Тут же присутствует и мотив некоего опрошения, опять-таки антиинтеллигентски заостренный; наличествуют даже — страшно сказать! — консервативные симпатии: Климу нравится «черносотенный» историк Козлов, сыщик по уголовным делам Митрофанов, то есть люди, сидящие на своих местах, не поднимающие пыли и шума. И если он все-таки хочет революции, то для того, чтобы уничтожить «едкую человеческую пыль»; и самое сокровенное: «революция нужна для того, чтобы уничтожить революционеров».

Не ясно ли из этих только слегка систематизированных выписок, что Клима Самгин — это никакой не интеллигент, это Алексей Пешков, играющий роль Максима Горького, роль знаменитого писателя, начитанного интеллигента, пламенного революционера. Парадокс в том, что он действительно был и тем, и другим, и третьим — был Максимом Горьким. Но это — «имя», а не человек, вернее, псевдоимя, маска, роль, дававшаяся с огромным трудом, а потому в глубине души нелюбимая. Горький злился на людей, ему эту роль навязавших. Клима Самгин — бессознательное Горького, его «тень». В бессознательное вытесняется, однако, не только низкое, но и высокое — если последнее по-своему противоречит принятым нормам. Ведь помимо нелюбви к интеллигенции в «Самгине» присутствуют подавленные симпатии Горького, как из «бабушкина», так и из «дедушкина» начала. Историк-краевед Козлов — от «бабушки», конечно. Симпатяга Варавка — это удавшийся «дедушка», как и «великан» Бердников, которому Самгин охотно прощает его хамство. Зато Лютов, хотя и сделан умным, должен вызывать, по замыслу, антипатию; и антипатия эта — по адресу таких, как Савва Морозов: душевная неустойчивость спроецирована визуально, в образе кривляющегося, вихляющегося Лютова, и опять же авторская мораль ясна: вот что бывает с человеком, когда он перестает заниматься предназначенным ему делом — и начинает выдавать ссуды большевикам.

Правда, большевик Кутузов сделан симпатичным, но это скорее всего потому, что у него борода Александра III. Эта аллегория долженствует означать, что большевики наведут порядок, что это настоящие хозяева. Если не Савва Морозов с Бугровым, то уж Тимофей Варавка всем как будто хорош; но Горький отправляет его умирать в санаторий для ожиревших (плакатно яркая сцена «вырождения господствующего класса»); большевики же, по Горькому, жиреть не должны. Только они могут быть подлин-

но буржуазными — то есть деловыми, активными, волевыми. Революция для Горького — не освобождение, а организация, и в «Самгине» этот символ веры повторяется не реже, чем в других местах. Но неужели Горький все же верил, что под охраной поджарых волков из ГПУ коровы и овцы будут успешнее нагуливать вес?

12

Впрочем, таким вопросом он и не задавался, потому что культуру видел не в «аграрной», а в «промышленной» модели; не прозябание ростка, а вгрызание экскаваторного ковша в землю. Горьковские панегирики могуществу разума и проклятия «природе» заставляют вспомнить трактовку Фрейдом технологической экспансии как сублимированного садизма, — здесь не Эрос действует, а Танатос. На глубинно психологическом уровне это садистическое отношение к бытию и характеризовало Горького: «культура» была мотивировкой для агрессии, насильничества, погрома. Фарфоровые вазы были так называемым «реактивным образованием».

После Горького появление писателей-«деревенщиков» было абсолютно необходимой реакцией. Деревенская проза — ответ болота мелиоратору, абсолютно необходимый ответ. И это — буквально: кто спас сибирские реки от поворота? Легко можно догадаться, каким энтузиазмом наполнил бы этот проект Горького, если даже какой-то паршивый Беломорканал вызвал его восторги; и неважно, кого убивают — людей или «природу». Деревенщиками управляет безошибочный инстинкт: ощущение биологической основы бытия, «природы», «почвы» как самого важного, самого реального, для них почва перестала быть аллегорией Достоевского. Такой консерватизм не оспаривать никакому либералу. Спорить с этим может только зловещий утопист, мечтающий превратить человека в «аутоτροφное» существо. Правда деревенщиков — не политического, а бытийного свойства.

Но что бы ни сказать о деревенщиках позитивного — есть у них один негатив, который едва ли не сводит на нет все их заслуги: почти не скрываемый антисемитизм. С этим добровольно припечатанным клеймом они далеко не пойдут — или, напротив, зайдут слишком далеко.

На этом — закончим о деревенщиках. У нас речь о Горьком. Вопрос: не он ли, так сказать, и насадил антисемитизм в советской России?

Во всех его писаниях упорно проводится противопоставление евреев русским как «высших» — «низшим». Возьмем те же «Несовременные мысли»:

«Я уже несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, это объясняется их умением работать, экстазом, который они вносят в процесс труда, любовью «де-

лать» и способностью любоваться делом. Еврей почти всегда лучший работник, чем русский, на это глупо злиться, этому надо учиться. И в деле личной наживы, и на арене общественного служения еврей носит больше страсти, чем многоглаголивый россиянин, и, в конце концов, какую бы чепуху ни пороли антисемиты, они не любят еврея только за то, что он явно лучше, ловчее, трудоспособнее их».

А вот что говорится в той же книге о русских:

«...мне пишут яростные упреки: я, будто бы, «ненавижу народ». Это требует объяснения. Скажу откровенно, что люди, многоглаголящие о своей любви к народу, всегда вызывали у меня чувство недоверчивое и подозрительное. Я спрашиваю себя — спрашиваю их — неужели они любят тех мужиков, которые, наглотаившись водки до озверения, бьют своих беременных жен пинками в живот? Тех мужиков, которые, истребляя миллионы пудов зерна на «самогонку», предоставляют любящим их издыхать от голода? Тех, которые зарывают в землю десятки тысяч пудов зерна и гноят его, а голодным — не желают дать? Тех мужиков, которые зарывают даже друг друга живьем в землю, тех, которые устраивают на улицах кровавые самосуды, и тех, которые с наслаждением любят, как человека избивают насмерть или топят в реке? Тех, которые продают краденый хлеб по десяти рублей фунт?»

Я уверен, что любвеобильные граждане, упрекающие меня в ненависти к народу, в глубине своих душ так же не любят этот одичавший, своекорыстный народ, как и я его не люблю. Но, если я ошибаюсь, и они, все-таки, любят его таким, каков он есть, — прошу извинить меня за ошибку, — но остаюсь при своем: не люблю».

Допустим, все сказанное — правда (на самом деле — не все); но ведь Горький правду не любил. Зачем же он ее высказывает? Действительно, стоит ли всегда говорить правду? О наготе отца, допустим? Ведь, кроме правды, существует понятие такта; это и есть, если угодно, «культура». Да, русских («мужиков») Горький не любил; но любил ли он евреев, если рещался на такие рискованные противопоставления?

У Горького — все то же алиби: априорно завышенная оценка культурного человека как, прежде всего, хорошего работника. То, что культуру могут делать, к примеру, пьяный Есенин или тунеядец Бродский, как-то не входит в его умственный горизонт. Здесь — уже известное нам отождествление культуры с буржуазными добродетелями дисциплины и организованности, — и изнутри вырастающий мотив насилия, закабаленности культурой. При этом культурные евреи всячески «выдвигаются», буквально выпихиваются в первые ряды; а первые ряды, как известно, — наиболее удобная мишень. Этот метод был принят на вооружение кое-кем поважнее Горького.

«Еврейское засилье» первых двадцати лет, помимо всего прочего, сильно пахивает провокацией. И этот трюк действует до сих пор, коли ему поддаются даже такие талантливые люди, как деревенщики.

В этой провокации Горький сыграл немалую роль. Это он придумал отождествить тип еврея с типом культурного насильника, своего рода социалистического плантатора. Это он редактировал книгу о Беломорканале, украсив ее портретами орденосных энкаведешников с еврейскими фамилиями.

Все, что я знаю и пытался представить на этих страницах о Горьком, бесконечно убеждает меня в одном: Горький евреев не любил. Его прославленное филосемитство — маскировка, камуфляж, защитная реакция, цензура бессознательного. Осуждение антисемитизма — достаточно условный жест культурного этикета, и как раз к таким «правилам хорошего тона» особенно чутки всякого рода парвеню. Горький не любил евреев так же, как он не любил интеллигентов, не

любил большевиков, буржуев, мужиков, как не любил в конце концов навязанную ему «культуру», которую трактовал как насилие именно потому, что е го она насилывала.

В Горьком, в большевизме взорвалась европеизированная Русь, но этот взрыв был направленным, технически рассчитанным: анархия мотивировалась и прикрывалась жесткой организацией. Вот почему так трудно решить, что же все-таки произошло в России: возвращение в допетровскую архаику или футуристический скачок. Было и то и другое. Движения, однако, не вышло, — вышел «застой».

Горький вызывает смешанные чувства — как сама Россия, может быть, следует сказать — как русская революция и последующие события. Это, конечно, комплимент Горькому, признание его своевременности, уместности, талантливой его выразительности. Горький — значителен, его следует помнить.

1976, апрель — июль 1988

Ю. ОЛЬСЕВИЧ

С в о б о д а и х л е б

О ХАЙЕКЕ, КЕЙНСЕ И НАШЕЙ РЕФОРМЕ

1. Три позиции

Политическую свободу мы получили, но жизненный уровень народа, о котором еще в 1989 г. с высоких трибун проливали слезы упитанные государственные мужи, с тех пор резко упал. И в придачу правительство нам обещает многомиллионную безработицу, классовое расслоение, дальнейшее свертывание производства и скачки цен. На какой срок? Президент — на восемь месяцев, вице-премьер — на два года, их советник-иностранец — на пять лет. Есть и отечественный научный прогноз — кризис до 2006 года.

Как жить? Один наш любимый актер отвечал: жить надо честно. У правительства иной настрой: жить надо в долг, обирая будущие поколения и проживая накопленное предками, а там авось кривая реформы вывезет.

А народ, «досыта» накричавшись «дой» и «да здравствует», растерянно безмолвствует.

Так что же такое это бесценное человеческое благо — свобода? Путь к процветанию или к утрате хлеба насущного, национального согласия и достоинства? Что есть рынок — хозяйственное бытие, адекватное цивилизованному человеку, или новоязыческий идол, требующий жертв плотью и духом?

Проблема, которая стоит перед нашей возрожденной демократией, давно уже служит объектом жаркой полемики и социальных схваток на Западе.

Здесь до недавнего времени имелось три основных позиции. Первая состояла в том, что свободой личности следует поступиться ради социально-экономического благосостояния и справедливости. С крушением государственного социализма в Восточной Европе эта позиция себя дискредитировала.

Вторая провозглашает принцип: демократический контроль общества над государством и контроль государства над хозяйством. Иначе говоря, сочетание политической свободы личности с социально-экономическим регулированием.

Третья позиция исходит из нераздельности политической и экономической

свободы личности, из принципиальной недопустимости вмешательства государства в экономику и социальную сферу.

Ныне сражение продолжается между сторонниками второй и третьей позиций, причем последние разворачивают стратегическое наступление. Их взглядам мы и уделим главное внимание в данной статье.

Борьба идет с переменным успехом, и ее уроки для нас бесполезны. Издаваемые ныне у нас труды видных экономистов Запада — Дж. Кейнса, Ф. Хайека, М. Фридмана, Л. Эрхарда, В. Леонтьева, Г. Мюрдала, Дж. Гэлбрейта и других — это своеобразные памятники, вежи этой борьбы. Чтобы понять ее логику, лучше всего начать с Великой депрессии 1929—1933 гг., когда промышленное производство США и Западной Евropy (как и у нас теперь) упало почти наполовину и мир захлестывала невиданная безработица. Могли ли правительства годами надеяться и ждать, когда рыночные стимулы постепенно вытянут экономику из пропасти? Принцип свободы предпринимательства в тот период дискредитировал себя. К власти приходили силы разнородные, но одинаково способные действовать решительно и жестко. В США это было правительство Ф. Д. Рузвельта, в Германии — Гитлера. Лозунгом дня стало государственное регулирование и планирование. Теоретическое обоснование необходимости сочетания капиталистического рынка с мощным государственным регулированием дал Дж. М. Кейнс в своей знаменитой книге «Общая теория занятости, процента и денег». К концу 30-х годов многие, а после второй мировой войны — большинство западных экономистов перешли на сторону кейнсианства. Почти во всех развитых странах были созданы органы планового регулирования рыночного хозяйства, действовавшие весьма эффективно.

В этой обстановке диссонансом звучали одинокие голоса немногих экономистов, продолжавших отстаивать принцип рыночной свободы. И, пожалуй, наиболее смелым и громким среди них был голос австрийского экономиста Ф. Хайека.

Опираясь на традиции так называемой субъективной школы политэкономии, он доказывал, что попытки государства регулировать, а тем более планировать хозяйственную жизнь неизбежно закончатся подавлением свободы личности, установлением тоталитарного строя. И свою наиболее известную книгу, опубликованную в 1944 году, он назвал «Дорога к рабству»¹.

2. Инстинкты, мораль и рынок

В конце 1970-х гг. восьмидесятилетний Хайек решил подытожить свою полувекую борьбу с идеями государственного управления экономикой вообще и социализма — в особенности. Результатом явилась его последняя работа «Пагубная самонадеянность», опубликованная у нас в этом году².

Мы помним жизнерадостный клич, брошенный Н. С. Хрущевым в лицо капитализму: «Мы вас закопаем!». Теперь новые власти России вместе с Международным валютным фондом усердно пытаются закопать социализм. Первая задача оказалась непосильной. А реально ли вторая?

Вооруженный обширными познаниями в истории, антропологии, юриспруденции, философии Хайек стремится докопаться до корней социалистических идей и движений. Он многократно подчеркивает, что их вольными и невольными носителями являются лучшие умы человечества: Аристотель, Ж.-Ж. Руссо, Декарт, А. Эйнштейн, т. е., по существу, почти вся наука и в определенном смысле церковь.

Парадоксальный вердикт Хайека таков: идеи социализма неискоренимы, потому что они гнездятся в инстинктах и в разуме людей. Но они столь же несовместимы с существованием общества, сколь дикость несовместима с цивилизацией, а самонадеянность ученых — со сложностью и непредсказуемостью бытия. Чтобы стать вполне цивилизованными, нам ничего лучшего не остается, как столетие за столетием по капле выдвигать из себя природный социализм. Интересное начинание, между прочим... Но постараемся вникнуть в аргументацию Хайека.

В течение сотен тысяч (а возможно, и миллионов) лет наши предки жили небольшими замкнутыми группами, и в ходе естественного отбора у них выработались инстинкты коллективизма, солидарности, альтруизма. Не менее глубоко в генетическом коде человека заложены инстинкты иерархического подчинения, стремления к целесообразности и порядку. Иными словами, все люди по своим генетическим корням — социали-

сты, т. е. противники индивидуальной свободы, собственности, семьи.

Главным водоразделом человеческой истории Хайек считает переход от натурального группового (родового, племенного) микрокосма к макрокосму рынка. Торговля, разделение труда, деньги разрушили групповое хозяйство и включили человека в чуждый ему, непостижимый, но такой эффективный и соблазнительный «расширенный экономический порядок». Чтобы приспособиться к нему, людям пришлось выработать индивидуалистические традиции, психологию, этику, а природную коллективистскую мораль вытеснить в подсознание. Основные принципы этики цивилизации по Хайеку — индивидуальная собственность, семья, личная свобода, честность, соблюдение контрактов. «Расширенный порядок» (а вместе с ним и вся цивилизация) бесконечно сложен и разнообразен, а поэтому способен эволюционировать только стихийно, посредством миллиардов актов индивидуальной адаптации. Здесь нет законов развития, а есть лишь непрерывный слепой поиск, в ходе которого спонтанно складываются и разрушаются стереотипы поведения. Индивид и отдельные организации в этом поиске руководствуются не сознательными целями, а воспитанными с детства нормами поведения и рыночными ценами.

Занятные в подсознание первобытные инстинкты социализма не дремлют, они возбуждаются неизбежными пороками цивилизации и прорываются в виде периодических попыток «исправить» «расширенный экономический порядок», насильственно внося в него социальную справедливость и планомерную целесообразность. Ни к чему, кроме разрушения цивилизации, такие попытки не ведут — в этом Хайек убежден абсолютно.

Эти непрерывные покушения на цивилизацию стали особенно опасны, когда у первобытных инстинктов появился могучий союзник — научный разум. Большинство мыслителей — от Платона и Аристотеля до Декарта и Эйнштейна — были убеждены, что общество можно и нужно перестроить в соответствии с изначальной природой человека и законами разума. «Высокоосознательный социалистический лозунг «производство во имя потребления, а не ради прибыли», который в той или иной форме встречается у многих: от Аристотеля до Бертрана Рассела, от Альберта Эйнштейна до бразильского архиепископа Камара (и у многих, начиная от Аристотеля, с добавлением, что эта прибыль получена «за счет других»), — свидетельствует о полном отсутствии внимания к тому, как умножаются производственные возможности...», — пишет Хайек. Открытия науки способны дать нам лишь весьма фрагментарные представления о потоке спонтанной исторической эволюции. «Ключевым моментом» последней Хайек считает «приспособление к неизвестному». Наука в принципе не в состоянии ни осмыслить, ни заменить собой то, что

¹ Перевод этой книги опубликован в журнале «Новый мир», 1991, №№ 7, 8.

² Ф. А. Хайек. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., «Новости», 1992.

составляет основу эволюции в эпоху цивилизации, — стихийно вырабатываемые и видоизменяемые нормы морали. Но наука в союзе с инстинктами способна разрушить эти нормы, — а вместе с ними и «расширенный экономический порядок». Тогда человечество вернется к состоянию дикости.

Иными словами, в своей книге-завещании Хайек резко усилил критические акценты; если в 1944 г. он характеризовал планирование, социализм как «дорогу к рабству», то через 40 лет — уже как дорогу к одичанию.

Нравится нам Хайек или нет, но он показал, что решить старый спор о капитализме и социализме, рынке и плане невозможно, не ответив на главный вопрос: что такое Человек, какие силы движут им?

В свете достижений науки за последние полвека представляется уже бесспорным, что основу человеческой психологии составляют врожденные, передаваемые по наследству инстинкты. Однако Хайек не прав, сводя их к инстинктам коллективизма. Последние — лишь часть многих сложных комплексов безусловных рефлексов и, возможно, не самые сильные. Первичными же выступают те, которые обеспечивают биологическое выживание, — это инстинкты самосохранения, питания, продолжения рода. Далее следуют генетические комплексы, обеспечивающие развитие индивида и рода — инстинкты свободы, соревновательности, подражания, любознательности, творчества. Для Хайека их вообще не существует как таковых. И, видимо, не случайно, ибо он не допускает, чтобы «дикие» инстинкты могли служить цивилизации.

Итак, дитя человеческое — это не «чистая доска», а существо с уже закодированной в нем сложной психологией. По своим природным потенциям он «не индивидуалист» и не «коллективист», а, вернее, и то и другое сразу. Естественные права человека на жизнь, на свободу, на справедливость — не метафора, не красивый лозунг и не продукт одной лишь цивилизации. Сотни тысяч лет эволюции заложили в него психологические основы этих прав.

Хайеку представляется чрезвычайно убедительной ссылка на крах социализма в Восточной Европе и СССР. Дескать, строй, основанный на первобытных инстинктах и претенциозной науке, вступил в конфликт с моралью всемирной цивилизации и потерпел поражение. Но с равным успехом можно утверждать и противоположное — централизованная система отвергнута людьми, ибо она не согласуется ни с их врожденными инстинктами, ни с требованиями современной науки.

Иногда дух захватывает от смелости, с которой Хайек, отстаивая целостность своей концепции, отрицает общеизвестное. Так, он утверждает, что индивидуализированная собственности, этот основной принцип цивилизации, присуща только ей и несовместима с естественной

психологией человека. Поэтому люди и бунтуют инстинктивно против этой собственности. Но так ли это? Разве у детей не проявляется инстинкт присвоения? И чем объяснялась мощная тяга к личному присвоению у подавляющего большинства граждан социалистических стран — от всем обеспеченных генсеков компартий до рабочих-несунов? Быть может, пережитками цивилизации?

Видимо, чувствуя шаткость указанного утверждения применительно к человеческим инстинктам, Хайек апеллирует к животным: у последних, мол, нет собственного инстинкта. Увы, Хайека опровергает современная этология — наука о поведении животных. Хищник «присваивает» себе определенную охотничью территорию, паук — свою паутину, белка — свои запасы, птица — свое гнездо и т. д. И даже ссылка на А. Смита здесь не может помочь Хайеку.

Принципиально иной, чем у Хайека, взгляд на соотношение между рынком и врожденными инстинктами у другого нобелевского лауреата, американского экономиста М. Фридмана. Будучи не менее решительным, чем Хайек, сторонником рыночной свободы и противником всякого социализма, М. Фридман более реалистично, на наш взгляд, оценивает глубину естественных корней индивидуалистической психологии человека. По его мнению, неудача попытки лейбористского правительства Англии «осуществить равенство в широких масштабах» была обусловлена вовсе не отдельными ошибками. «Эта попытка провалилась по гораздо более фундаментальной причине: она шла вразрез с одним из самых основных инстинктов, свойственных всем людям. Адам Смит определяет его как «постоянное, непрерывное и непрекращающееся стремление каждого человека улучшить свое положение» — и, можно добавить также, положение его детей и потомков»¹.

Мы далеки от того, чтобы, уличая Хайека в крайностях, следовать его примеру и тоже занять крайнюю позицию: мол, цивилизация основана на первобытных инстинктах. Мы утверждаем следующее. Врожденные инстинкты человека весьма разнообразны, взаимно противоречивы и по-разному представлены в психологии отдельных индивидов. Совместная жизнь, взаимодействие и сотрудничество людей упорядочивают инстинкты, ограничивают одни и стимулируют другие, приводя тем самым унаследованную психологию отдельного человека в соответствие со средой. В том, чтобы регулировать и облагораживать естественные инстинкты признанными нормами поведения, и состоит важнейшая функция морали — будь то групповая мораль или общественная, первобытная или цивилизованная. Конечно, мораль —

¹ Фридман и Хайек о свободе. SATO Institute, 1985 (Сборник переводов из книг М. Фридмана «Капитализм и свобода» (1982), «Хозяева своей судьбы» (1980) и из книги Ф. Хайека «Дорога к рабству»).

не только регулятор природных инстинктов, она содержит и нечто другое, чего нет в естественной природе человека и что привнесено в нормы поведения относительно краткосрочным опытом цивилизации. Например, честность, верность договору. Уважение к семье и чужой собственности. Неприятие насилия и мести. Уважение к личности.

Хайек продолжает: «Цель социализма состоит ни больше ни меньше как в том, чтобы полностью перестроить наши традиционные нормы морали, права и языка и на этом основании искоренить прежний порядок и якобы жестокое, ничем не оправданное положение, мешающее воцарению разума, самореализации, истинной свободы и справедливости».

Полная «перестройка» действительно и чудовищна, и разрушительна. Но, увы, и сам Хайек не лишен «перестроечного» рвения (только с обратным знаком), когда он предлагает во имя рынка отказаться от ключевого гуманистического принципа христианской морали «возлюби ближнего своего, как самого себя», от библейского осуждения сребролюбия и т. п. Оказывается, далеко не вся цивилизованная мораль Хайека устраивает, а только та ее часть, которая соответствует крайне индивидуалистическим постулатам «австрийской школы» политэкономии.

Разделение людей на носителей подлинной, т. е. рыночной, цивилизации и морали и тех, кто находится во власти первобытных инстинктов и потому аморальных, имеет один чрезвычайно неприятный аспект. Обойти эту проблему невозможно. Менее всего хочется в чем-то лично упрекать Хайека, убежденного демократа с внешностью строгого пастора. И все же...

Не такое ли деление служило оправданием для тех европейцев, которые мечом и огнем искореняли «нерыночные» цивилизации майя, ацтеков, инков в Америке и обращали «дикарей» в рабов на серебряных и алмазных рудниках? Которые уничтожали коренную культуру в Центральной Африке, набивая трюмы кораблей чернокожим товаром для «расширенного экономического порядка»?

Хайек согласен, что с точки зрения умственных и физических потенций нет принципиальных различий между негринком, родившимся в африканских джунглях, и европейским ребенком. Но он склонен четко делить людей на тех, кому с детства привита мораль рыночной цивилизации, и тех, кто такой прививки лишен, а следовательно, лишен всякой морали. Любые (хочется подчеркнуть это «любые» до бесконечности) деления человеческих масс на высших и низших — по расовым, классовым, национальным, а также моральным критериям — и антинаучны, и аморальны.

Где-то уже встречалось похожее лицо — скромного и строгого пастора. Да, это Гарри Трумен, бывший президент США, моралист и демократ, который приказал сбросить атомные бомбы на

Хиросиму и Нагасаки. Уверен, что Хайека такие сопоставления не смутили бы, ибо взгляд его обращен в бесконечность: «Не на сохранение и поддержание наибольшего количества жизней ныне существующих людей направлена эволюция, а на максимизацию ожидаемого потока будущих человеческих жизней» (выделено Хайеком).

3. Поправлять ли эволюцию?

И Хайека, и Фридмана на Западе нередко называют «идеологами», «проповедниками», что идентично упреку в предвзятости и односторонности. Да и нынешнее российское правительство западные эксперты считают «чересчур идеологизированным». Что же, идеология — это разновидность страсти, а без нее и дети не рождаются. Однако, по совету самого Фридмана, не следует кому-либо доверять чрезмерную власть над людьми. Особенно натурам страстным, идеологизированным. И неважно, как они при этом собираются влиять на общество: вторгаясь, когда не требуется, или утверждая свою монополию на бездельствие, когда нужны срочные меры.

Послушаем в этой связи старейшего и широко известного американского экономиста и общественного деятеля Дж. К. Гэлбрейта: «Существует ошибка, которой, я надеюсь, удастся избежать. Это тенденция отождествлять идеологическую чистоту с мудрой экономической политикой. Во время моих лекций в Восточной Европе осенью 1989 г. меня с упреком спрашивали: почему я не выдвигаю экономическую теорию профессора Фридриха Хайека в качестве альтернативы хозяйственной системе, которая терпит столь очевидный провал?»

Я отвечал, что предлагаемый Хайеком механизм неприемлем для США и любой другой страны несоциалистического мира, поскольку он отвергает деятельность государства, направленную на регулирование экономики, улучшение социального благосостояния и других сфер жизни¹.

Но, может быть, Хайек и Фридман все же правы и стихийный рынок лучше справится с экономическими и социальными проблемами сам, без государственного, профсоюзного и иного вмешательства?

Рынок не только саморегулирующаяся система. Это и система саморазрушающаяся, ибо движется она по весьма трясинам дорогам. Монополии порождаются свободным рынком и душат своего родителя. Конкурентная борьба заставляет предпринимателей не щадить окружающую среду, наступать на доходы, условия труда и жизни наемного персонала. Эксплуатация и классовые битвы на Западе — не идеология, а недав-

¹ The Economic Journal, 1991, № 1.

ная история. Порождаемый рынком недостаток платежеспособного спроса ведет к кризисам, подрывает социально-экономическую безопасность общества.

Для «неоконсерваторов» Хайека и Фридмана все это — второстепенные, побочные явления, которые частично неизбежны, а частично есть следствие, но не причина государственного экономического и социального вмешательства. Его результатом якобы является чрезмерно высокий уровень потребления, не оставляющий достаточных средств на капиталовложения. Выступая в 1971 г. на сессии Американской экономической ассоциации, знаменитая английская последовательница Дж. М. Кейнса Джоан Робинсон так вспоминала о событиях сорокалетней давности в Англии: «Когда стала разгораться полемика вокруг общественных работ, профессор Роббинс послал в Вену за каким-нибудь сторонником австрийской школы, чтобы противопоставить его идеи влиянию Кейнса. Я очень хорошо помню визит Хайека в Кембридж... Главным его стремлением было показать, что корни кризиса связаны с чрезмерным ростом потребления. Р. Ф. Кан... с недоумением спросил: «Так вы полагаете, что если бы я завтра пошел и купил новое пальто, это увеличило бы безработицу?» «Да, — сказал Хайек, — но понадобилось бы длинное математическое доказательство, прежде чем я смогу объяснить, почему это так»¹.

В той мере, в какой кризисы неизбежны, их следует терпеть, это плата за эффективность рыночной системы. Эксплуатация, угроза банкротства закаляют участников конкурентной борьбы и проводят среди них «естественный отбор». Слабые, выброшенные рынком на обочину должны полагаться прежде всего на частную благотворительность, ибо государственное социальное страхование плодит социальный паразитизм. «Оборот «социальная справедливость», — замечает Хайек, — это просто семантическая передержка и темная лошадка из той же конюшни, что и «народная демократия».

Небольшие кризисы полезны для «оздоровления» экономики и общества, освобождения их от лишнего жира и шлаков. А глубокий, длительный кризис может быть результатом лишь деформирующего воздействия государства. Лидер современного монетаризма М. Фридман разработал целую теорию, чтобы опровергнуть Кейнса и доказать, что и кризис 1929—1933 гг., и последующие кризисные встряски были порождены грубыми ошибками правительства, искусственно создававших нехватку платежных средств в периоды экономического подъема с целью избежать «перегрева конъюнктуры». Вывод М. Фридмана однозначен: правительства должны решительно отказаться от попыток регулировать циклические движения на рынке. Их задача — поддержи-

вать лишь соответствие количества денег объему производства товаров и услуг, т. е. проводить политику устойчивых «нейтральных денег», противостоящую как инфляции, так и дефляции. В этом и состоит суть концепции «монетаризма», столь влиятельной ныне среди экономистов в правительстве России. Но «монетаризм» — одна сторона неоконсервативной медали. Другая ее сторона — «теория предложения», главный вывод которой — необходимость отмены всех ограничений, подавляющих стимулы к сбережению, труду и предпринимательству. Речь идет прежде всего о максимально возможном снижении налогов, без чего рыночный механизм не будет работать эффективно. Но как сочетать низкие налоги с бездефицитным, инфляционным бюджетом? На этот вопрос «эксперты по макроэкономике» ответить не в состоянии. Если «микроэкономика» страны, т. е. ее рыночные механизмы, расстроена, пропорции деформированы, конкуренция отсутствует, то ее не спасут никакие манипуляции в сфере «больших финансов». Результатом будет не предусмотренный этой теорией «букет» из инфляции, высоких налогов, падения производства и жизненного уровня.

Как мы уже отмечали выше, Хайек весьма негативно относится к общественной науке. Особенно негативно настроен он к кейнсианству и «макроэкономике» в целом, которая трактует вопросы государственного регулирования. Поскольку у нас в России влиятельны такие последователи Хайека, которые одновременно причисляют себя и к «экспертам по макроэкономике», заметим, что сам Хайек такого «адальтера» не потерпел бы.

Единственным научным направлением, которое выработало «новую парадигму для объяснения структур, возникающих в итоге человеческого взаимодействия без всякого предварительного замысла», Хайек считает «австрийскую школу», исходившую из субъективного характера экономических ценностей. «Однако в последние сорок лет ее вклад в науку был заслонен развитием «макроэкономики», пытающейся устанавливать причинные связи между гипотетически измеряемыми сущностями, или статистическими совокупностями. Я признаю, что иногда при помощи этих связей можно указать на какие-то смутные вероятности, но, разумеется, они не объясняют процессов, их обуславливающих. Однако иллюзия, будто макроэкономика жизнеспособна и полезна, укоренилась в общественном мнении и подкрепляется активным использованием математики, что всегда впечатляет политиков, не имеющих никакого математического образования, и от чего поистине отдает колдовством, — установка, не редкая среди профессиональных экономистов».

Ненавистный «конструктивизм» отца макроэкономики Кейнса Хайек связывает с былой принадлежностью этого эконо-

¹ «Мировая экономика и международные отношения», 1973, № 6.

номического лорда к «Блумсберийской группе» английских ученых, писателей, художников. Члены этой группы демонстративно шокировали общество своим имморализмом (в том числе и в сексуальном поведении). В автобиографии Кейнс скромно добавлял, что в 55 лет он слишком стар, чтобы меняться, и останется имморалистом. С этим Хайек связывает принципиальную установку Кейнса на переустройство рыночной экономики, не считаясь с цивилизованной моралью.

Быть может, заслуги Хайека в борьбе с планированием были, наконец, признаны Западом в 1974 году, когда ему была присуждена Нобелевская премия по экономике?

Если и да, то это было сделано весьма двусмысленно. Хайек стал нобелевским лауреатом «в паре» со своим явным научным оппонентом в вопросах планирования, выдающимся шведским экономистом Гуннарсом Мюрдалем. Последний является давним и убежденным сторонником государственного регулирования, одним из «отцов»-теоретиков шведской модели социализма. Общая формула присуждения премии «на двоих» гласила: «За их пионерную работу по теории денег и экономических колебаний и за их пронизательный анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений». Добавим: пронизательный, но ярко противоположный. Трудно найти на Западе двух других столь же несовместимых теоретиков, как Хайек и Мюрдаль. Социал-демократу Г. Мюрдалю, полагаю, было не очень приятно даже повстречаться с человеком, который считает бессмысленней само сочетание термина «демократия» с терминами «социальный», «социализм».

Для Хайека, который объявил понятие «социальный» вообще «наипагубнейшим», возникает весьма щекотливая проблема — как быть с теорией и практикой «социального рыночного хозяйства» Людвиг Эрхарда? Как известно, именно они и лежали в основе западногерманского «экономического чуда», организатором которого был министр хозяйства (а впоследствии канцлер ФРГ) Эрхард. Хайек преодолевает этот барьер вполне цивилизованно, хотя и не вполне честно. «Помнится, он уверял меня в личной беседе, что, по его разумению, рыночную экономику незачем превращать в социальную, поскольку она и так социальна по своей природе». У нас издана книга Л. Эрхарда, и пусть читатель сам судит, мог ли министр хозяйства ФРГ в личной беседе перечеркнуть главное дело своей жизни¹.

Эволюция на ощупь продвигается вперед, раскачиваемая из стороны в сторону гигантскими маятниками психологическими, демографическими, технических, экологических колебаний. И само продвижение — причудливая смесь закономерного и случайного, когда лишь незна-

чительный толчок на перепутье определяет выбор дальнейшей судьбы для целых народов и всей планеты.

Природу такого бифуркационного развития достаточно хорошо объясняет нам современная термодинамика. Проповедовать невмешательство общественного разума в слепую стихию подчас катастрофической естественно-исторической эволюции равносильно возвращению ко временам идолопоклонничества. Другое дело — учитывать ограниченность разума, принципиальную невозможность подменить бесконечно сложные естественные механизмы общества искусственными.

4. Имеющий уши да слышит

Если систематическое вмешательство государства в экономику необходимо, то чем же объясняется массовый поворот во всем мире на рубеже 1970—1980-х гг. «от плана к рынку»? Результат ли это запоздалого прозрения или в основе — кардинальные изменения в мире? Не только Хайек и Фридман, но и еще один нобелевский лауреат, американский экономист Дж. Бьюкенен, убеждены в первом.

Дж. Бьюкенен полагает: к началу 1950-х гг. столь многие экономисты Запада были привержены доктрине централизованного планирования, что преддущее столетие можно именовать «веком социалистической экономической теории». Перелом наступил позже: «Начиная с 1960-х гг. экономисты уже сравнительно редко выступали с заявлениями о превосходстве централизованно-планируемой экономики. Лишь немногие современные экономисты достаточно стары или достаточно честны, чтобы вспомнить, сколь часто такие заявления делались в середине века»¹. Источник затмения умов Бьюкенен видит в господстве ложной формалистической доктрины рыночного равновесия, которая допускала любые формы собственности и любую степень государственного регулирования.

Не будем возражать маститому ученому, давно объявившему войну экономической схоластике (в том числе и «монетаристского» толка). Однако, если столь многие выдающиеся умы на Западе, чья преданность политической свободе несомненна, все же требовали планирования, на то должны были существовать веские причины. В 1920—1930-е гг. гигантская концентрация и монополизация производства, протекционизм, узость рынков и массовое разорение мелких производителей, кризисы, безработица и классовые конфликты во всех сферах хозяйства образовали порочный круг, душили экономическую и политическую свободу. Не от хорошей жизни, а по острой нужде обратились мыслители и практики демократий Запада к государствен-

¹ Людвиг Эрхард. Благосостояние для всех. М., «Начала» — «Прогресс», 1991.

² The Economic Journal, 1991, № 1.

ному планированию как к меньшему злу.

Гигантское потрясение второй мировой войны окончательно «привело в чувство» западное общество, которое сумело кардинально перестроить весь свой общественный механизм и вызвать к жизни иную цепь событий.

При решающем участии государства была развита мощная сеть инфрасистем: электро-, нефте- и газоснабжения, транспорта, связи, информатики и др. Это сделало эффективными мелкие предприятия, породило тенденцию к деконцентрации промышленных левиафанов. Политика социального партнерства профсоюзов и предпринимателей позволила быстро повышать производительность и жизненный уровень, что, в свою очередь, породило новый виток потребностей, вызвало к жизни гигантскую сферу услуг с десятками миллионов мелких хозяев.

Межнациональное сотрудничество превратило замкнутые национальные хозяйства в открытые, продуваемые живительными ветрами международной конкуренции.

Научно-техническая революция создала практически безграничные возможности для возникновения новых предприятий в старых и юных отраслях и регионах всемирного хозяйства.

Эпоха удушающей монополии и конфронтации сменилась эпохой всепроникающей конкуренции (даже «гиперконкуренции») и сотрудничества. Вот почему потребность в планировании для Запада ослабла, вот почему идея свободного рынка обрела массу сторонников.

Но западные экономисты пытаются заглянуть и за магическую черту 2000 года: что ждет там, в XXI веке? И некоторые из них считают — полная неизвестность. Технический прогресс быстр и непредсказуем. Не исключено, что системы ЭВМ, информатика в будущем вытеснят свободный рынок и каждого посадят под электронный колпак в пирамиде технократической власти.

С этим можно не соглашаться. Конечно, логика техники и экономической рациональности в довоенные полстолетия постепенно вытесняла человеческое измерение, свободного индивида из хозяйственной системы, отчуждала личность. Но общество вряд ли захочет повторения этого тяжелого опыта. Возможному повороту в сторону новой централизации и бюрократизации общество способно противопоставить жесткие критерии необходимой хозяйственной свободы, стратегию сохранения конкурентного рынка как гаранта естественных прав личности.

Рациональная суть позиции Хайека и Фридмана сводится к тому, что механизм свободной рыночной конкуренции — это наиболее эффективная саморегулирующаяся хозяйственная система, соответствующая природе и нуждам человека. Но далее они предполагают устранить всю ту всемогательную систему внешней и внутренней поддержки рынка, благодаря которой он только и может

существовать и действовать как саморегулирующийся механизм.

Эта система поддержки, подпитки, настройки создавалась десятилетиями колоссальных усилий.

Никто и никогда не станет проверять на практике правильность их рецепта — устранить государственное участие, чтобы механизм рынка заработал еще лучше. Поэтому сторонники этих радикальных взглядов могут спокойно, не опасаясь экспериментальной проверки, продолжать свою агитацию. Последняя полезна (для умных): она служит профилактическим средством против чрезмерного, деформирующего вмешательства в стихийные процессы, против попыток регулировать то, что лучше предоставить на усмотрение свободной конкуренции. Если, конечно, таковую государству удастся организовать.

Западное общество — в движении, оно вовсе не претендует на то, что нашло некую модель равновесия. То, что фактически предлагают Хайек и Фридман, — это сочетание полной рыночной свободы с жестким диктатом собственника на предприятии. Но есть на Западе и иные суждения. Известный (и один из старейших) политологов США, профессор Йельского университета Р. Даль полагает, что «американцы всегда разрывались между двумя противоречивыми друг другу представлениями о том, чем является и чем должно стать американское общество... Одна позиция состоит во взгляде на Америку как на первую и величайшую попытку осуществления демократии, политического равенства и политической свободы в масштабах континента.... Согласно второй, американские идеалы воплощаются в охране собственности и возможностей материального преуспеяния и обогащения. В соответствии с первой точкой зрения право самоуправления находится среди наиболее фундаментальных из всех прав человека. И в случае их конфликта пользуется преимуществом по сравнению с правом собственности. В соответствии со второй, собственность пользуется превосходством...»¹.

Это противоречие раскалывает, считает Р. Даль, американский народ и делает сомнительным его превосходство в вопросах демократии. Только последовательное проведение принципа самоуправления и в экономике обеспечивает демократическому устройству общества полноту и прочность.

В любом случае исторический опыт Запада не оставляет нам надежды, что эффективный рыночный механизм может сложиться «сам по себе», достаточно лишь отменить централизованное планирование и провести приватизацию собственности.

Более того, частная собственность — вовсе не главное и не обязательное условие эффективного рынка. Главным яв-

¹ Роберт А. Даль. Введение в экономическую демократию. М., Наука. 1991.

ляется наличие свободной конкуренции между большим числом коммерчески самостоятельных производителей и потребителей в каждой сфере хозяйства. Не менее важное условие — организованное рабочее движение, структуры и навыки социального партнерства на всех ступенях принятия решений — от предприятия до страны.

А также наличие развитых финансовых рынков, акционерная форма собственности и ее рассредоточение, система институтов хозяйственного права и многое другое.

И подо всем этим — фундамент в виде пропорциональной структуры отраслей и системы технологий, адекватных условиям конкуренции. И эта последняя предпосылка рынка есть самая первая.

В нашей теоретической литературе — и «догматической» и «демократической» — сложилась прочная традиция — рассматривать экономику прежде всего как систему отношений (собственности, распределения, обмена и др.). Дескать, изменим эти отношения, и вместо плано-централизованного монстра получим свободный рынок. Весьма парадоксальным образом такой поверхностный подход преобладает и на Западе, где многие уверены: если есть соответствующие юридические права и кредиты, рынок образуется сам собой.

Избавиться от этого наивного предрассудка помогают исследования нобелевского лауреата Василия Леонтьева, американского экономиста русского происхождения.

Его анализ народнохозяйственных балансов по методу затраты — выпуск позволил предметно продемонстрировать тесную взаимосвязь отраслевых пропорций народного хозяйства со структурой распределения и использования национального дохода. Быстрая, «шоковая» отмена административного контроля над ценами и доходами, крутые сдвиги в использовании национального дохода ломают межотраслевые пропорции, разрывают производственные связи и разрушают экономику. Вместо ожидаемых рыночных отношений возникает натуральный обмен (бартер). Система Леонтьева доказывает, что реальный, а не «потемкинский» переход к рынку требовал тесной увязки мероприятий одновременно в трех сферах: 1) перестройки отраслевой и технологической структуры хозяйства, 2) изменений в формировании доходов населения и расходов государства, 3) соответственной поэтапной отмены контроля над ценами.

Все это, пользуясь терминологией В. Леонтьева, требовало «целенаправленной перестройки народнохозяйственной матрицы основного капитала и системы межотраслевых технических коэффициентов». Но наши ученые-макрореформа-

торы предпочитают орудовать дубиной, один конец которой — цены, а другой — налоги.

Да, без регулируемого обществом социального рыночного хозяйства современная цивилизация невозможна. Но мы, кажется, избрали самый нецивилизованный, варварский путь к рынку — путь анархического распада, именуемого «либерализацией». Путь кризиса, обнищания, безработицы, международного попрошайничества. По этому пути нас влекут невежество одних, корысть других, профессиональная леность и апатия третьих.

Мы интегрируемся в мировое хозяйство, становимся его частью. Но не как равноправный с другими, эффективный рынок, служащий интересам нации, а как груда запасных частей к чужим машинам. Да и не всякая отрасль нашего хозяйства, не все работоспособное население при этом понадобятся. А хватит ли у вассального государства денег на пособия при массовой безработице — еще неизвестно.

В нынешней администрации России немало почитателей Ф. Хайека. Но его последователи почему-то изымают из целостной системы Хайека одно и игнорируют другое. Так, им весьма по вкусу упор на индивидуальную собственность и свободу, но ведь у Хайека они неразрывно связаны с двумя другими принципами цивилизованной морали — честностью и соблюдением контрактов. Это безусловные принципы, без которых, по Хайеку, не может быть рынка, эффективности и благосостояния. Но как быть с теми нашими реформаторами, которые сегодня всенародно кланутся, что «лягут на рельсы, но не допустят роста цен на предметы потребления», а назавтра, получив полную власть, взвинчивают эти цены в десятки раз? Новая ли это, цивилизованная мораль или прямое продолжение обычной бюрократической азиатчины, когда правители повседневно обучают народ лицемерию?

Предпосылкой личной свободы является деконцентрация силы: не только разделение политической власти, но и ее отделение от экономической мощи и рассредоточение последней в руках многих собственников. Можем добавить от себя, что и структуры третьей сферы общественной жизни — духовной — также должна быть плюралистичной. Но где грань между разделением и распадом? Очевидно, что первое не переходит во второе, когда разделение выражает специализацию либо конкуренцию и ведет к росту общей эффективности, к интеграции, к развитию. Ибо личная свобода, купленная ценой деградации общества, разрушает личность в не меньшей степени, чем принудительная целостность общества, попирающего личную свободу.

Синдром Нострадамуса, или Гоголь против тоталитарной системы

«...И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее...»

Откровение; гл. 5; ст. 4

Сегодня, когда литературные произведения становятся наконец возможным оценивать в их проекции на реально совершающуюся историю, гоголевские «Мертвые души» производят впечатление почти такое же, как и книги, которые десятки лет протомились за запорами спецхранов или только теперь появляются перед читателем в неизуродованном купюрами виде. Сопоставление поэмы, например, с «Архипелагом ГУЛАГ» показывает, что практически оба произведения одной направленности и разница состоит только в том, что обличительный заряд А. Солженицына нацелен против конкретно указанной политической системы, а поэма Гоголя изображает сущность системы на модели.

Сегодня, перечитывая книгу Гоголя в ее проекции на сталинизм, просто невозможно поверить, что бдительные стражи революционной цензуры не изъяли ее из всех библиотек и хотя бы по-смертно не объявили автора «врагом народа». Но удивляет также и то, что за все эти долгие годы пророчество Гоголя не получило должной «расшифровки» и со стороны тех, кого система тоталитарного мертвотуши «заложил», словно чичиковских крестьян, в обмен на призрачные успехи на своем пути к недостижимой и, правду сказать, вряд ли существующей цели. По-видимому, сыграла роль формальная «аккредитованность» автора и его книги при конкретной общественно-экономической формации, как бы автоматически принимающей на себя тот убийственный смех, который почти не маскировал собой звуки всенародных рыданий, уготованных Руси на ее дороге к «светлому будущему».

Одним из немногих, разглядевших страшную суть гоголевского предвидения, был Н. А. Бердяев, оставшийся, к сожалению, почти не услышанным современниками. «Странное и загадочное творчество Гоголя не может быть отнесено к разряду общественной сатиры, избличающей временные и проходящие пороки и грехи дореформенного русского общества, — писал он в работе «Духи русской революции». — И сейчас после всех реформ и революций Россия полна мертвыми душами... Нет уже старого самодержавия, а самовластье по-прежнему царит на Руси, по-прежнему нет уважения к человеку, к человеческому достоинству, к человеческим правам. Нет уже старого самодержавия, нет старого чиновничества, старой полиции, а взятка по-прежнему является устоем русской жизни, ее основной конституцией. Взятка расцвела еще больше, чем когда-либо. Происходит грандиозная нажива на революции. Сцены из Гоголя разыгрываются на каждом шагу в революционной России».

Подобно М. Булгакову, написавшему свои «Новые похождения Чичикова», Н. Бердяев видел, что действительность пореволюционной России развивается буквально по сценарию гоголевской поэмы, что «революционные Чичиковы скупают и перепродают, несуществующие богатства» и, оперируя не с реальностями, а с фикциями, «превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую жизнь России...»

Но начиная уже с середины 20-х годов внутривластная обстановка в стране приняла такой характер, что рассмотрение каких бы то ни было книг под углом выявления их пророческой сущности стало не только затрудни-

тельным, но и попросту опасным. И прикреплённая критическим мнением к эпохе крепостного права поэма Гоголя на долгие годы сделалась неким айсбергом, скрывающая под разъяснениями школьных учебников ту основную — астрологическую — суть, в которой предопределялось все наше будущее вплоть до сегодняшних событий.

Однако сущность гениального произведения (несмотря на всю расплывчатость критерия гениальности) нагляднее всего как раз и проявляется в его способности к многократному перепро чтению, т. е. к открыванию тех смыслов, которые были не видны на ранних этапах его изучения и при существовавших ранее ограничениях. А ведь достаточно взглянуть на скупаемых Чичиковым крестьян как на тех, «кто был ничем» (а мертвые — это ведь, и правда, ничто), но по его замыслу должен стать «все м» (т. е. основой его будущего процветания), как идейное развитие первого тома поэмы с удивительной точностью наложится на схему исторического движения нашего государства от Октябрьской революции 1917 года до смерти Л. И. Брежнева.

Вспомним начало поэмы, эту знаменитую, но так до конца пока и не понятую сцену въезда Чичикова в «губернский город NN», и реакцию на это событие двух русских мужиков, стоящих у дверей в кабаке. Ключ к пониманию поэмы, разгадка тех бедствий, которые принесет нашей Родине система тоталитарного мертводушия, даны Гоголем уже здесь, на первой странице, — это те самые «неразвитость и нераскрытость личности в России, подавленность образа человека», о которых говорил в связи с Гоголем в цитированной выше работе Н. А. Бердяев и которые непостижимой всенародной пассивностью воссоздавали в дальнейшем беспрепятственному утверждению сталинского беззакония, самодурства Н. С. Хрущева и административных извращений Л. И. Брежнева. Да и могло ли быть иначе, если основное внимание народа было всегда приковано «более к экипажу, чем к сидевшему в нем»! Внешние, не обусловленные внутренним раскрепощением перемены — это заведомый абсурд, ибо, что бы ни символизировала собой очередная из въезжающих в «губернский город NN» бричка, интонации сакраментального вопроса о колесе остаются прежними. Не такие ли «диалоги» велись по всем глухим углам России той достопамятной ныне осенью 1917 года?.. Вообразим себе:

— А что ты думаешь, — сказал один мужик другому, — удержишь те большаки власть, если случись до весны, или не удержишь?

— Удержишь, — отвечал другой.

— А до лета-то, я думаю, не удержишь?

— До лета не удержишь, — отвечал другой.

«Этим разговор и кончился...»

Характеристике этой же безучастности, отчужденности от процесса даже собственной мыслительной деятельности посвящены и строки, раскрывающие Петрушкину страсть «к просвещению, то есть чтению книг», содержанием которых последний, впрочем, «не затруднялся; ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше само чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит...»

Надо думать, что если бы какой-нибудь заботливый товарищ Швондер «подвернул» ему том «Капитала» или переписку Энгельса с Каутским, Петрушка не отказался бы и от них и, вспомнив две-три наиболее магически звучащих фразы, скоро и сам бы сумел разъяснить другим необходимость разрушения старого мира «до основанья, а затем...»

Но в том-то и заключался провидческий дар Гоголя, что яснее, чем даже мы сегодня, он увидел из своего «прекрасного далека» все зло того общественного строя, в котором факт появления слова на бумаге оказывается намного весомее заключенного в нем живого смысла. Понятно, что речь здесь идет отнюдь не о Петрушке, играющем в поэме весьма второстепенную роль, а о той категоричной метаморфозе, при которой диаметрально противоположные символы меняются своими местами и знаками. Процесс чтения становится самоценнее смысла прочитанного. Показуха, умение «наблюдать» видимость, пустить пыль в глаза оказываются главными качествами той жизни, которая нам открывается через похождения Чичикова.

«...Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревья были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умирительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику...»

Наверное, на данный пассаж можно было бы и не обратить внимания, сочтя его рядовой сатирой на тогдашних подхалимов и очковтирателей, если бы начинающая уже с 20-х годов нашего века га-

зетное слово молодой Советской республики не начало выдавать «дурно принявшийся» саженец социализма за рай, состоящий из «тенистых, широковетвистых деревьев», в котором сердца граждан трепещут от избытка благодарности к «гениальному кормчему» и «великому Вождю всех народов»... Немудрено, что Гоголь расположил этот фрагмент в самом начале своей поэмы, ведь в ней — та суть тоталитарного режима, которую столетие спустя Джордж Оруэлл изобразил в романе «1984», уже не по интуиции, а по опыту дня, как официально напечатанная информация вытесняет из сознания и из истории реальную правду жизни. Присущность данного качества и другим реакционным режимам отмечена и в романе Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества», где после расстрела трех тысяч забастовщиков информационные средства распространили среди населения официальную версию о том, что «мертвых не было, удовлетворенные рабочие вернулись к своим семьям, а банановая компания приостановила работы до конца дождей», и в результате, когда дождь и вправду закончился, в Макондо уже никто так и не вспомнил о трех тысячах убитых, кроме чудом спасшегося от смерти Хосе Аркадио Второго...

Естественно, что, создавая свою поэму, Гоголь не конкретизировал типа того общественного строя, который он обозначил словосочетанием «Мертвые души», но зато он безошибочно «вычислил» главные опорные точки того будущего режима, первостепенная задача которого — отучить людей от самостоятельного мышления.

«Экой я дурак в самом деле! — говорит о себе Чичиков, отрываясь от размышлений над списками накупленных крестьян. — Пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загнул околесину, а потом задумался...» (Разрядка здесь и далее моя. — Н. П.).

Сценка с «околесиной» Чичикова не случайна, это не лирическое «замещение» героя автором, как она иногда трактуется в критике. Разворачивая перед нашими глазами процесс «оживания» списка, Гоголь показывает не сохранение в Чичикове какого-то лиризма, а самодовлеющий приоритет человека «числящегося» перед человеком существующим во плоти. Фамилии на бумаге оказываются обладающими более реальными жизненными характеристиками, чем все, промелькнувшие на страницах поэмы люди, включая таких близких к главному герою персонажей, как Селифан и Петрушка.

Гротеск, фантастика?..

Может быть. Но в том-то и заключается таинственное могущество мира мертвых, что его население представляет собой только списки фамилий, против каждой из которых можно вписать любую — самую фантастическую! — биографию, и она навеки станет его реальной

жизнью. И столетием позже именно этот принцип отношения к людям ляжет в основу большевистской политики, когда списками расстреливали «врагов народа» и списками же переселяли крестьян из земель их предков в неведомые края. Мертвые мужики Чичикова, как, впрочем, и реальные времен коллективизации или периода «переселения народов», мертвы уже только потому, что факт их реального существования или несуществования просто-напросто никого сам по себе не интересует, ибо приоритет отдается спискам и оперирование производится не с людьми, а со «значущимися в живых» (т. е. с «фикциями», по определению Н. А. Бердяева).

«В Херсонскую их! — со сталинской безапелляционностью решает Чичиков судьбу еще только воображаемых крестьян, — пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам». И эта видимость «законного образа» станет определяющей не только при заключении сделок Чичикова, но и при проведении театрализованных процессов 30-х годов. при выселении «кулачества» и всех последующих беззакониях тоталитарного режима, опирающегося, как известно, на учет мнения только той стороны, в руках которой находятся списки. Что же касается другой стороны, то о ее праве на собственное мнение никто никогда и не вспоминал, да и зачем оно, если «русский человек способен ко всему и привывает ко всякому климату». «Пошли его хоть в Камчатку да дай только теплые рукавицы, он хлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу», — утверждают обсуждающие покупку Чичикова чиновники, хотя видели его крестьян только на бумаге.

Но нужно заметить, что если их рассуждения относительно теплых рукавиц окажутся впоследствии не более чем фантастическими утопиями, то Камчатка и даже Колыма очень скоро станут для русского народа самой настоящей реальностью. При этом созданная Сталиным система умудрится соединить в себе такие противоположные мнения чиновников, как те, «которые уже чересчур отзывались военной жестокостью и строгостью, едва ли не излишнею», и те, «что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом», — реализовавшиеся, как мы теперь знаем, в чудовищном симбиозе массовых репрессий и эйфории массового же поклонения культуре отца народов.

Проникновение Гоголя в суть тоталитарного мертвотушия выражается не только в таких прямых «совпадениях» как переселение крестьян, первоначальность списков или прогнозирование роли «отца», но и в самом стиле гоголевской прозы — то как бы скрыться от пристального взгляда за невероятно гипертрофированной метафоричностью, то выдать за главное нечто абсолютно третье-

степенное, вроде перечня всяких там «грибков, пирожков, скородумок, шанишек, пряжлов, блинов, лепешек со всякими припеками» и прочего, а то вдруг, словно бы на ночном допросе, срываясь до уровня протокола, вывалить (перед следователем?) имена, адреса, обстоятельства ведения («антисоветских»?) разговоров, «которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечно-го, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатые сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной...»

Любая даже мимоходом оброненная Гоголем или его персонажами фраза с удивительной точностью проецируется на нашу действительность, флюорографируя ее скрытые и скрываемые язвы. Вот, к примеру, рассроенный выходкой пьяного Ноздрева Чичиков произносит обличительный мысленный монолог против привычки к балам, восклицая: «В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы!» — и сразу возникает картина наших помпезных празднований всяческих юбилеев, исторических дат, разорительных наших парадов, за которыми пряталась неприглядная экономическая действительность... А вот автор сетует на невозможность называть своих героев так, как ему хочется, что до боли напоминает исповеди наших писателей и кинематографистов, годами пробивавших свои произведения через цензуру только из-за того, что кто-то усмотрел в имени или внешности их персонажей намек на себя или себе подобного. «Назвать выдуманною фамилиею опасно, — говорит Гоголь. — Назови же по чинам — и того опасней... Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность; вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть, я тоже глуп», — словом, вмиг смекнет, в чем дело...»

И все-таки главное прозрение Гоголя заключается не в этом. Он не просто моделировал мир, «где между людьми отсутствует духовная связь» (Г. Фридендер)¹, расставляя, словно в паноптикуме, типы человеческих пороков и заблуждений, но высвечивал своим талантом

в кроющейся мгле будущего весь страшный мир теней, мир фикций, отдающий все живое во имя сохранения своего призрачного внешнего благополучия. Созданный на лжи и обмане, мир этот не может держаться на чем-либо ином, кроме страха, обязывающего всех и каждого к молчаливому участию в тайном, недеклаируемом сговоре. Вся жизнь «губернского города NN» и его округи — это игра в некие условности, в делание «хорошей мины», соблюдение видимости жизни, которое вдруг нарушается не то чтобы самой покупкой Чичиковым мертвых крестьян, а скорее фактом ее обнародования, отсутствием объясненности, дающим повод вырваться скрываемому страху.

Страницы, посвященные описанию возникшей в городе паники, поразительны для понимания механизма, приведшего в действие репрессивную машину сталинского периода. Они наглядно показывают, как опасность, интуитивно ощущаемая миром мертвотуши во всем непонятном, заставляет его искать не столько объяснения этой неясности, сколько подтверждения исходящей от нее опасности, и уж тут оказываются пригодными самые невероятные подозрения, самые фантастические домыслы — принимается все, доказательств не нужно, приоритет фикции срабатывает безотказно! Припомним-ка гамму предположений и подозрений на счет Чичикова, которую вызвало к жизни известие о его странной покупке. Кем он только не оказался: и похитителем губернаторской дочки, и делателем фальшивых ассигнований, и капитаном Копейкиным, и шпионом, и переодетым Наполеоном — словом, тут набор на всю печально известную 58-ю статью и даже немножко больше! Причем, как это и происходило во времена культа, обвинения адресованы не то чтобы реальному противнику и даже не тому, кто стоит на каких-то сомнительных позициях, а человеку, еще только вчера бывшему желаннейшим гостем во всех домах города. И все потому, что Чичиков не просто дал повод для подозрений, но позволил вырваться наружу таившемуся во всех страху, благодаря которому «все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было».

Но ни удивляться, ни на что-нибудь досадовать Чичиков тут не вправе, ибо подозрение, которое уже само по себе влечет наказание, является в его мире мерой весьма естественной, причем усвоенной им еще со школьной скамьи, от учителя, который терпеть не мог умных и во всем подозревал чьи-то козни и насмешки. И «достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгону заносчивость и непокорность! — говорил

¹ Гоголь: история и современность. М., 1985, с. 175.

он. — Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам...»

Подобную методику воспитания избрет в свое время и другой «учитель» — тоже, кстати, не терпевший умных и подзревающий на каждом шагу чьи-то козни и заговоры, — только в роли мальчишки, не знающего, за что он несет нескончаемые наказания, на коленях окажется уже целый народ, от мала до велика. «Жизнь проходила от собрания к собранию, от кампании к кампании, и каждая последующая была тотальнее, всеобъемлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущие, вместе взятые, — напишет об этом периоде Б. Ямпольский в своем романе «Московская улица». — И все время нагнетали атмосферу виновности, всеобщей и каждого в отдельности, которую ничем никогда не искупить. Надо все время чувствовать себя виноватым, и виноватым, и виноватым, и покорно принимать все наказания, все проработки, все приговоры. И постепенно это ощущение постоянной, неисчерпаемой, иступленной виноватости и страх перед чем-то высшим стал вторым «я», натурой, характером. Проснувшись, ты уже чувствовал себя виноватым в чем-то, чего ты еще не знал и не ведал...»

«Страх прилипчивее чумы», — замечает Гоголь, ибо, как никакое другое чувство, страх проявляется в человеке его глубинное «я», его тайную слабость, невидимую порой за атрибутикой кажущейся значительности. И Сталин не зря делал свою основную ставку на страх, ведь именно страх — за себя ли, за своих близких, за раскол в партии или авторитет социализма — позволил ему сломить столько настоящих большевиков, слывших образцами железной твердости.

«Экая расторопная голова! — кричит толпа. — Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куды делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок или просто фетюк, как называет Ноздрев...»

Читая эти строки, невозможно отделаться от ощущения, что они написаны после процесса по делу так называемой «новой оппозиции» (19 августа 1936 года), достаточно наглядно продемонстрировавшего превращение «неколебимых мужей» в «ничтожных» и послушных сценаристу марионеток.

Перекличка гоголевской поэмы с реалиями тоталитаризма особенно хорошо проявляется в ее сопоставлении с произведениями таких «анти тоталитарных» писателей, как Е. Замятин, А. Платонов, Б. Ямпольский, В. Шаламов, А. Солженицын, В. Габышев и некото-

рые другие. Невозможно не заметить дыхания поэмы в «Приключениях Чонкина» В. Войновича, в «Скотном дворе» Дж. Оруэлла, а ее дальше «эхо ощущается даже в романе А. Битова «Пушкинский дом» — в той атмосфере мира условностей, который окружает Леву Одоевцева и в котором даже его любовь к Фаине живет (а вернее, длится) только потому, что базируется на лжи, на соблюдении все той же молчаливой договоренности, которая связывает персонажей и «Мертвых душ». Не случайно поэтому катализатором Левиного мира выступает именно его реабилитированный дед, то есть человек с реальной жизненной основой и собственным мироощущением, что противоречит кодексу превалирования фикций.

Люди-функции Е. Замятина, люди-винтики А. Платонова, люди-клички В. Габышева вышли не столько из гоголевской «Шинели», сколько как раз из «Мертвых душ», из мира, отторгнувшего последние признаки разделения людей на личности и отдавшего безоговорочный приоритет значению системы как таковой. На фоне этого проза В. Шаламова кажется буквально скалькированной с того эпизода поэмы, где перед недопустимо «задумавшимся» Чичиковым происходит «оживание» накопленных им мертвых крестьян. Первая фраза рассказа «Надгробное слово» не оставляет сомнений в том, что перед нами мир мертвых. «Все умерли», — говорит автор и начинает разворачивать перед нами бесконечный перечень лиц, что, подобно мужикам Чичикова, «ожили» перед глазами автора только благодаря факту своей физической смерти.

«Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной работяги не хотели работать... Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене... Умер экономист Семен Алексеевич Шейнин, напарник мой, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти... Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним паровозом... Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайены... Умер Фрид Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже... Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через 10 лет в этапной камере Бутырской тюрьмы... Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени... Умер Павел Михайлович Хвостов...»

Смерть в прозе Варлама Шаламова — явление будничное, но объясняется это не только условиями существования обитателей ГУЛАГа. Код к пониманию эпохи сталинизма заложен им уже в процитированной выше фразе, начинающей

рассказ «Надгробное слово», в этом его «умерли все», охватывающем не только перечисленных в этом и в других рассказах погибших, но и всех тех, кто принял условия мира тоталитарного мертвдушия, кто согласился стать только фамилией в бесконечных и постоянно увеличивающихся списках, которые новый Чичиков заложил в банк Смерти в обмен на доказательство своего призрачного величия...

Своеобразным «астрологическим» ключом к расшифровке пророчеств Гоголя служит и вынесенное в подзаголовок слово «поэма», напрямую отсылающее нас к поиску «знаков зодиака» именно на карте неба поэзии. Так только ли для того это сделано, чтобы подчеркнуть лирическую сущность произведения? Только ли потому, что Гоголь продолжал ощущать себя поэтом и после неудачи с «Ганцем Кюхельгартемом»?..

Наверное, нет.

И сопоставление поэмы с известными стихотворными формами показывает, что это действительно так и что структурная схема «Мертвых душ» имеет в своей основе весьма заметную близость к сонету, причем если и несколько непропорциональному за счет особенностей прозы в своих объемных частях, то великолепно рифмованному при помощи «повторения обстоятельств», которые В. Шкловский называл «рифмами прозы».

Первый катрен этого условного сонета охватывает приезд Чичикова в город, его визиты к городским чиновникам, затем отъезд и визиты к помещикам с целью приобретения «мертвых душ», что по своей сути представляет тезу, изображающую мир мертвдушия как некую неизбежную систему, являющуюся раем для всех, умеющих себя «наблюдать». Однако уже в сцене пребывания Чичикова у Ноздрева заложено зерно будущей антитезы, проявившее себя во втором катрене, который включает в себя возвращение Чичикова в город, визит помещиков для совершения купчей, появление на балу Ноздрева и отъезд Чичикова с бала вследствие произошедшего там инцидента. Антитеза раскрывается и показывает, что казавшийся неизбежным мир на самом деле довольно иллюзорен и малейшее нарушение его равновесия, малейший сбой в установленных им правилах «игры» оборачивается разрушением его устоев и вызывает панический страх среди его обитателей. Дополнительным толчком к проявлению этого страха служит визит помещицы Коробочки в первом терцете сонета, после чего город наполняется всевозможными слухами и домыслами, приводящими к исчезновению героя, то есть к стиранию ранее созданного образа, к его «выбыванию из списков», что вполне закономерно рифмуется с его последующим отъездом из города, происходящим во втором терцете и за-

кольцовывающем сонет единым мотивом дороги.

Общая схема сонета выглядит при этом примерно следующим образом:

1-й катрен.

1. А — приезд Чичикова в город.
2. Б — визиты его к чиновникам.
3. А — отъезд из города.
4. Б — визиты к помещикам.

2-й катрен.

5. А — возвращение Чичикова в город.
6. Б — визит помещиков для оформления купчей.
7. Б — визит Ноздрева на бал (его выходка там).
8. А — отъезд Чичикова с бала.

1-й терцет.

9. Б — визит Коробочки в город.
10. В — паника среди горожан, суматоха, неразбериха, хаос.
11. А — исчезновение героя (ликвидация его имиджа вследствие всевозможных слухов и домыслов).

2-й терцет.

12. Б — визит Ноздрева к Чичикову.
13. В — испуг Чичикова, его паника из-за задержки с ремонтом колеса, встреча с похоронами на выезде из города.
14. А — исчезновение героя: снятие с него покровы тайны путем авторского рассказа о его предшествующей жизни (что рифмуется с версиями горожан), а также действительный отъезд Чичикова из города. Авторское отступление о тройке, рифмующееся с разговором двух русских мужиков о колесе на первой странице поэмы...

При этом, вполне осознавая всю гипотетичность вышеизложенной идеи, нельзя не обратить внимания на тот любопытный результат, который дает сопоставление наиболее распространенной для сонета пятистопной строки со шкалой времени, в которой одна стопа соответствовала бы одному году. Если считать, что начало поэмы представляет собой исходный момент предугаданной Гоголем эпохи тоталитарного мертвдушия, то ее общая протяженность во времени будет равняться $5 \times 14 = 70$ лет и займет хронологические рамки от реального воцарения диктатуры пролетариата в октябре 1917 года до реального поворота в сторону демократизации страны в 1987 году. При этом в предпоследней «строке» нашего схематического сонета, заканчивающейся по предложенной выше шкале годом смерти Л. И. Брежнева (1982), покидающий город Чичиков встретится с похоронной процессией, следующей за гробом прокурора и дающей интересную проекцию

на недавнюю смерть нашего орденоносного генсека. «...Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнеши от души: «Вот прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови...»

Что же касается последней «строки» сонета, лежащей на 1982—1987 годы и посвященной прошлому Чичикова да летящей к неизвестности тройке, то, пожалуй, она даже не нуждается в расшифровке, настолько зримо эти символы совпадают с реалиями нашей перестройки, которая началась как раз с переосмысления прошлого и перед которой сейчас лежит «незнакомая земле даль».

«...Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства...»

К сожалению, увидеть окончательную цель этого «наводящего ужас движения» Гоголю не удалось, а если и удалось, то, возможно, отсутствие искомого «положительного примера» и стало причиной того, что второй том его поэмы был предан сожжению. Но даже по тем фрагментам, которые все-таки уцелели, видно, что он предвидел и наши сегодняшние надежды на возрождение фермерства (пример Костанжогло), и идиотизм нашего немислимого обюрокращения (визит Чичикова к полковнику Кошкареву; «Комиссия наблюдения за комиссией построения»), и нашу несоразмерную своим возможностям помощь развивающимся странам («...Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство...»). Гоголь предвидел и наступившую у нас сегодня политическую дестабилизацию («...В одной части губернии оказался голод. В другой части губернии расшевелились раскольники... В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправни-

ков... Нужно было прибегнуть к насильственным мерам...»), и возрождение в определенных слоях общества ностальгии по жесткой власти («...Рано умер необыкновенный наставник, и нет теперь никого во всем свете, кто был бы в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю...»), но все это были остаточные явления того злокачественного мира, который он детально описал в первом томе поэмы. Того же положительного примера, который он искал, будущее ему так и не открыло. Откроет ли нам — неизвестно; вполне возможно, что оно уже давным-давно предсказано кем-нибудь из писателей, но, как показывает пример прочтения поэмы Гоголя, мы, представители «самой читающей страны в мире», на самом деле в состоянии прочесть только то, что растолковано нам о написанном в учебниках по литературе да в статьях литературоведов.

Не потому ли так много ошибок на нашем пути в будущее?

«Гоголь,— писал в начале века В. Розанов,— пример великого человека. Выложите вы его из русской действительности, жизни, духовного развития: право, потерять всю Белоруссию не страшнее станет...»

К сожалению, сегодня уже и эти строки можно с полным основанием назвать пророческими. Ибо и Гоголя мы «выключили», не поняв его предостережений, и Белоруссию угробили чернобыльским шлейфом с последующим замалчиванием истинных масштабов случившегося.

Конечно, времена сегодня меняются и меняются как никогда быстро — к нам уже возвратились из немоты произведения того же В. Розанова, П. Чаадаева, В. Соловьева, Н. Бердяева, других мыслителей... Да вот только прочтем ли мы завещанное ими Слово? Поймем ли оставленные ими заповеди и пророчества? Или же будем снова строить вокруг себя царство мертвых душ да писать школьные сочинения о мерах сатирического и лирического в произведениях Гоголя? Русь, дай ответ!

«Не дает ответа». Да и никто его не даст, кроме нас самих...

Тамара ИВАНОВА

Глава из жизни

ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА И. БАБЕЛЯ

Мы начинаем публикацию писем И. Э. Бабеля, «великого молчалиника» в литературе и мистификатора в жизни.

Состояние литературы лучше всего отражает частная переписка, — утверждают культурологи. Так это или не так, если судить об эпохе в целом, еще следует обдумать, но то, что в публикуемых письмах отразились двадцатые годы нашего века, несомненно.

О Бабеле-человеке известно чрезвычайно мало, в биографических справках сплошные пробелы, в комментариях к его произведениям многочисленные догадки. Можно только заключить, что двадцатые годы, когда разгоралась полемика вокруг «Конармии», когда Бабеля хотели «укротить» и «приручить» все, от Буденного до журнала «На литературном посту», были для него особенно нелегкими. И вот теперь перед нами «потайной» Бабель.

Любовные письма, адресованные Т. В. Кашириной (Ивановой), показывают самые неожиданные стороны натуры Бабеля, но о том судить читателям. А вот о судьбе этих писем надо рассказать. Много раз Тамаре Владимировне предлагали письма напечатать, но она стойко сопротивлялась, считая нескромным обнародовать частную переписку. В печати появлялись лишь отдельные фрагменты, посвященные литературной работе Бабеля. Но наконец сознание того, что письма Бабеля принадлежат всей русской культуре, заставило Т. В. Иванову переменить свое мнение.

О судьбе ее ответных писем можно догадаться по тексту письма, написанного Бабелем незадолго до отъезда в Париж, 7 июля 1927 г., А. Г. Слоним: «Послал Вам посылку — все мои письма, — тут и печальные *lettres d'amour* и несколько писем отца, очень мне дорогих. Сохраните эту шкатулку, прошу Вас. Я не успел сгать ее Вам до отъезда». По всей вероятности, шкатулка так и не дошла до адресата или же письма были сожжены А. Г. Слоним в 1937 г., когда поспешно уничтожались материалы, касающиеся репрессированных. Недаром в писательском доме на Лаврушинском, где нет мусоропровода, висело тогда объявление: «Домоуправление просит жильцов не засорять канализацию жженой бумагой»...

В жизни, вопреки мнению многих, почти все возникает никак не случайно, а лишь вполне закономерно. Как в жизни вообще, так и в эмоциональной жизни. Новое чувство в большинстве случаев возникает только тогда, когда для него есть место. При полной эмоциональной загруженности вряд ли может пробиться к человеку нечто, вне ее находящееся.

А со мной было вот как.

Мне — 25 лет, и я ужасно скучаю, так скучаю, как не приводилось мне скучать ни до того, ни после.

Казалось бы, жизнь моя чрезвычайно заполнена. У меня — муж, ребенок. Я — актриса театра имени Мейерхольда¹ и студентка ГВЫРМа². Играю в спектаклях «Земля дыбом»³ и «Трест ДЕ»⁴. Слушаю лекции. Обучаюсь биомеханике, боксу, фехтованию и прочему. Веду драматические кружки в рабочих и красноармейских клубах. Пишу критические статьи, которые иногда печатаются в журнале «Театр»; посещаю многочисленные диспуты.

¹ Правильно «Театр имени Вс. Мейерхольда» (со второй половины 1923 г.) (ТИМ).

² С 1921 г. — Государственные высшие режиссерские (с 1922 г. — театральные) мастерские (ГВРМ — ГВТМ, или ГВЫРМ — ГВЫТМ). Мейерхольд был председателем правления этого высшего учебного заведения, а также руководил занятиями по некоторым дисциплинам.

³ Спектакль по пьесе М. Мартине (переработка С. Третьякова) в Театре Вс. Мейерхольда.

⁴ Спектакль «Трест ДЕ» («Даешь Европу!») по И. Эренбургу и В. Келлерману (1924).

И при всем том ужасно скучаю.

Так скучать можно только в молодости, в расцвете сил, когда нет любви, а все существо человека, пусть и подосознательно, к ней стремится.

Я многим тогда нравилась. В моем окружении многие искали моей любви, но я никому не могла ответить взаимностью, потому что ни к кому не находила в себе ответных чувств. Довольствовалась хоть и бледными, но привычными — к Николаю Васильевичу⁵.

Среди прочих кружков я вела кружок красноармейцев из охраны Кремля. Совместно со своими учениками инсценировала и поставила «Бронепоезд»⁶, еще не будучи тогда знакома со Всеволодом Ивановым.

Ведал всеми драматическими кружками войск охраны Кремля Василий Александрович Регинин⁷. Встречаясь со мной, он каждый раз приглашал меня к себе в гости. Однажды после очередных вечерних занятий я согласилась пойти к нему.

— Не пожалеете, — уговаривал Василий Александрович, пока мы ехали, — ко мне всякий вечер заходит на огонек кто-нибудь вполне стоящий и интересный. Вот и сейчас, наверное, кто-то уже поджидает нас с вами, разговаривая с моей женой.

Так и оказалось. Поджидал нас Исаак Эммануилович Бабель. Я уже читала рассказы Бабеля в «Лефе»⁸ и восторгалась тем, как они написаны, но еще не была знакома с их автором.

Исаак Эммануилович, остроумнейший собеседник, неподражаемый рассказчик, проявил себя во всем блеске. Засиделись мы у Регининых допоздна. Бабель пошел меня провожать. Мы шли пешком от Красных Ворот, где жили Регинины, до Токмакова переулка на Разгуляе, где жила я. Всю дорогу Бабель твердил мне почему-то о своей старости и о каких-то тревожных внутренних звонках, настоятельно торопящих его жить интенсивнее.

Странное дело — сила внушения. Будучи всего на семь лет старше меня, он сумел внушить мне, что он и впрямь «старик». Скажем, Николай Васильевич был старше меня на восемь лет, но я его считала своим сверстником, а тут совершенно искренне сказала, придя домой, что провожал меня «один старик».

«Старик» этот меня очень заинтересовал, но попервоначально не только не вызвал во мне никаких романтических эмоций, а, напротив, показался отталкивающе некрасивым (за что я не преминула его пожалеть) и действительно очень старым, умученным жизнью человеком.

На следующий день мы опять встретились. Когда сидели у Регининых, я всех пригласила на спектакль «Земля дыбом», в котором играла и который как раз шел завтра. Я не ждала, что они тут же и придут (пригласила вообще, а не конкретно), и никак не готовилась к встрече. Пришла в театр одетой по домашнему, а мои «гости», Регинины и Бабель, уговаривали меня пойти с ними ужинать в «Литературный кружок».

Я несколько стеснялась своего затрапезья (ведь был нэп и многие вовсю наряжались, жена Регинина пришла в черном бархатном платье, а я — в самодельной юбке из старья и в бумажной самодельной же кофточке), но, так как к одежде, в общем-то, я относилась довольно безразлично, согласилась пойти.

За ужином Бабель восхищался Зайчиковым, игравшим «его величество»⁹, а надо мной подтрунивал: где, мол, вам, с вашей героиней, выстоять против актера, которого режиссер посадил при всем честном народе на горшок.

После ужина Бабель опять провожал меня. Но на этот раз уже не пешком, а на извозчике. От Пименовского переулка, где находился «Кружок» до меня — конец не близкий.

Пока мы тряслись на извозчике, Исаак Эммануилович твердил мне уже не о своей старости, а о лошадях и о том, что лошадиная-де проблема составляет смысл его жизни. Если бы он не перемежал «лошадиный» разговор восклицаниями, как, мол, жаль, что вам этого не понять, я бы, вероятно, и слушать его не стала. К чему мне были лошади?

⁵ Неврев Николай Васильевич (1892 — конец сороковых годов, репрессирован), юрист, первый муж Т. В. Ивановой.

⁶ Повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14—69» (1921), получившая необычайную известность и по мотивам которой впоследствии была создана пьеса с тем же названием.

⁷ Регинин Василий Александрович (1883—1952), журналист, в двадцатых годах активно работал в красноармейской печати и театральных кружках. По воспоминаниям Регинина был любопытным рассказчиком, «профессиональным собеседником», что могло интересовать Бабеля.

⁸ Журнал «Левый фронт», издававшийся в Москве в 1923—1925 гг. под редакцией В. В. Маяковского группой «Левый фронт искусства» (ЛЕФ). Бабель в автобиографии называл «началом литературной работы» 1924 г., когда в «Лефе» были опубликованы его рассказы. Эти рассказы, вышедшие в № 4 журнала за август — декабрь 1923 года («Письмо», «Начальник конзасапа» («Дьяков»), «Смерть Долгушова», «Прищеп», «Соль»), действительно принесли писателю известность, но надо помнить, что рассказы эти были написаны и напечатаны еще до левовской публикации. При этом интересно, что Маяковский, выступая 23 марта 1927 года, утверждал, что Бабель «вынесен на литературную арену» на левовских плечах.

⁹ Зайчиков Василий Федорович (1888—1947), актер. В спектакле «Земля дыбом» Зайчиков исполнял роль Императора.

После этих двух встреч Бабель каждый день заходил за мной или в театр, или в один из кружков, которые я вела.

Мы гуляли; если вечер был у меня свободный, шли вместе в кино или в театр. И всегда он провожал меня домой, но никогда не бывал у меня.

Постепенно и как-то совершенно не заметив этого перехода, я уже не только перестала считать Бабеля стариком, но даже и его некрасивость (лысоватость, нескладность фигуры: чересчур короткая шея и чересчур длинные руки) начала находить очаровательной.

Он же и не заикался больше о своей старости да и лошадей временно оставил в покое, а говорил все больше и больше о чувствах, как теоретически (в связи с литературой и искусством), так и о конкретных, своих — ко мне.

Причем он умел сочетать страстность с иронией и насмешливостью даже и по отношению к самому себе.

Я была тогда прямолинейна и доверчива, поэтому приняла за чистую монету все бабелевские гиперболические уверения. Поверила, что он и действительно полюбил первый раз в жизни и никогда ни к кому не испытывал ничего подобного.

Однако, выдаясь со мной ежедневно, он попросил меня держать наши встречи в тайне ото всех, мотивируя просьбу тем, что отправляет свою жену¹⁰ навсегда за границу и боится, что, узнав об его увлечении мною, она откажется уехать.

Все из-за той же присущей мне тогда наивности, помноженной на самоуверенность, я уже верила в исключительность его любви ко мне, и, хотя это совершенно явно следовало из его просьбы, мне даже и в голову не приходило, что он и сам собирается уехать или, во всяком случае, обещает жене впоследствии к ней присоединиться¹¹.

Таких мыслей его просьба у меня не вызвала, но сама по себе очень мне не понравилась. Я принципиально не признавала «тайн» в эмоциональных взаимоотношениях и уже была на грани некоторых признаний Николаю Васильевичу, хотя самоуто Бабелю еще не ответила на высказываемые им чувства. В тот период ничего, кроме отвлеченных разговоров и его любовных уверений, между нами еще не было.

Я попробовала «переключиться» и проводить свободное время не с Исааком Эммануиловичем, заявив ему, что мне некогда, а с кем-либо из ранее отвергнутых, но остававшихся «на подхвате» своих поклонников.

Но ничего из этого не вышло, и я совсем загрустила, поняв, что меня уже ничто и никто не развлечет, так как нужен мне только один-единственный Бабель и без его каждодневных уверений в любви — жизнь мне не в жизнь.

Но я крепилась и не подавала ему никакого знака.

Его же полученная отставка привела в такое неистовство, всколыхнула такое извержение чувств, притом столь артистично выраженных, что я подпала (да ведь уже и жаждала подпасть) под их стремительность и была ею полностью захвачена.

Забегая вперед, скажу, что если бы я была женщиной, способной на любовную игру, а не прямолинейной тетехой, признававшей только правду и искренность во взаимоотношениях, я бы, вероятно, научилась управляться со сложной и очень «игровой» натурой Исаака Эммануиловича.

Через несколько месяцев наши отношения с Бабелем носили уже не односторонне любовный, а взаимный характер. Но видется мы продолжали по-прежнему только на улице или в общественных местах — на людях.

Я репетировала роль Тамарочки в «Мандате»¹² Эрдамана¹³. Близилась премьера. Пьеса мне нравилась, а роль никак не шла. Уж я и с автором советовалась, и с Павлом Александровичем Марковым¹⁴ (считая его большим специалистом в театральных делах, к тому же лучшим другом и истолкователем Эрдамана) — ничего у меня не получалось.

Всеволод Эмильевич хотел, чтобы я вела эту роль с каким-либо акцентом и посоветовал лманое французское произношение, что меня окончательно сбilo с толку. Потом-то я поняла, что при всей своей гениальности Всеволод Эмильевич тоже иногда мог ошибаться. Эта роль мне никак не подходила. Надо было играть гротесковую мешаночку, для чего я (со своим громовым голосом, большим ростом и замашками героини) совсем не годилась. Возможно, что Всеволод Эмильевич

¹⁰ Гронфайн Евгения Борисовна (1897—1957), первая жена Бабеля.

¹¹ Вопрос о желании либо нежелании Бабеля уезжать за границу остается открытым. И хотя С. Маркиш безоговорочно утверждает, что для писателя единственной родиной была и оставалась Одесса, это скорее «романтизированная» трактовка ситуации. Поведение Бабеля определялось множеством и материальных, и политических обстоятельств.

¹² Спектакль по пьесе «Мандат» был поставлен В. Э. Мейерхольдом в 1925 г. Речь идет о роли Тамары Леопольдовны Вишневецкой, как считалось в те годы — злостной обывательницы. Среди прочего в этой роли есть любопытные для нынешнего времени слова: «Мой супруг мне сегодня утром сказал: «Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть?» «Нет, — говорю, — кажется, еще держится». «Ну что же, — говорит, — Тамарочка, опусты занавесочку, посмотрим, завтра как».

¹³ Эрдаман Николай Робертович (1900—1970), драматург, киносценарист.

¹⁴ Марков Павел Александрович (1897—1980), критик, театровед, режиссер, педагог, в 1925—1962 гг. заведовал литературной частью МХАТа.

назначил меня на эту роль чисто механически, подпав под совпадение имен персонажа и актрисы. Но почему-то, может быть, не желая меня обидеть (он всегда хорошо ко мне относился), Всеволод Эмильевич не назначал мне замены, и я продолжала мучиться.

Пользуясь моей неудовлетворенностью и замешательством от неудачи с этой ролью, Исаак Эммануилович уговорил меня «сбежать».

— Роль — фальшивая, — говорил он, — в ней невозможно не фальшивить! Зачем вам это? Давайте удерем от премьеры в Ленинград.

Остановились мы в двойном номере «Европейской» гостиницы.

Исаак Эммануилович опять намекал на необходимость тайны, на этот раз мотивируя «моими интересами», — я ведь сказала в театре большой (правда, меня с восторгом заменила Ингер — моя дублерша и по «Земле дыбом», которая столь же, как я, не подходила для Тамарочки и сыграла ее из рук вон плохо), — вдруг да дойдет в театр слух о том, что я вполне здорова и разгуливаю по Ленинграду. На этот раз я согласилась, что тайственность не повредит. Но, соглашаясь, я еще не понимала, с кем имею дело. Мы пошли гулять.

На обратном пути в гостиницу он попросил у меня разрешения отлучиться на минутку (как потом выяснилось, он пошел в цветочный магазин — заказать для меня цветы). Я, конечно, согласилась его отпустить и зашла без него в пассаж — купить подарок своей дочке Тане.

Вернувшись в гостиницу, я обнаружила, во-первых, корзину орхидей с «пламенной» запиской Бабеля, что не могло меня не тронуть, а во-вторых, непрерывные телефонные звонки (он уже успел стольким «по секрету» разболтать за какой-нибудь час о своем приезде, что его буквально атаковывали просьбами о встрече). На одну из встреч, испросив мое разрешение, он согласился. Мы пошли на обед к писателю Николаю Никитину¹⁵. Там застали Лидию Николаевну Сейфуллину¹⁶, с первого знакомства ставшую моим другом на всю жизнь, до самой смерти, и ее мужа Валериана Павловича Правдухина¹⁷.

Обед затянулся. Затянулись и «литературные» разговоры, которые тогда совершенно меня не интересовали. Говорили о каких-то писателях, которых я не только не знала лично, но даже и книг-то их не читала.

Я слушала, слушала и вдруг впала в тоску по театру и по брошенной мною роли. Я уже совсем выключилась из происходившего разговора, рассердилась на Бабеля, встала из-за стола, поблагодарила хозяев и направилась к выходу.

Все за мной бросились, а я им довольно невежливо сказала: «Вы — писатели, у вас свои интересы, а я — актриса, у меня свои, к тому же говорите вы все время не о литературе, а пережевываете какие-то одним вам интересные сплетни, и мне надоело вас слушать».

Моя грубость произвела фурор, а Лидия Николаевна именно из-за нее, как она говорила потом, меня и заобожала. Я не поддалась ни на какие уговоры и решительно удалилась. Бабель, разумеется, за мной последовал, умоляя не сердиться на него. По дороге в гостиницу я, что называется, отошла и уже весело смеялась на балагурство Бабеля, высмеивавшего и самого себя, и только что покинутых нами писателей.

Но по возвращении в номер меня ждал новый сюрприз. Одна из комнат была битком набита приятелями Исаака Эммануиловича, пришедшими, как он уверил меня, без его приглашения. Я еле сдержалась, чтобы тут же не накинуться на него с упреками, и меня даже несколько не умастила еще одна корзина цветов, на этот раз гиацинтов, принесенная мне опять с его запиской в наше отсутствие. Поняв по моему виду, что дело плохо, Исаак Эммануилович тотчас же начал своих гостей выпроваживать и, шепнув мне, что уходит лишь на минутку, удалился вместе с ними.

Вернулся он очень скоро, но я была окончательно разгневана и не желала с ним разговаривать. На какие только ухищрения он тогда не пускался, чтобы меня умиловить! Но своего, конечно, добился. И сердиться и радоваться я умела только искренне. В тот раз я сердилась и даже была оскорблена вовсе не потому, что боялась огласки своего приезда в Ленинград с Бабелем. Я была уверена, что Мейерхольд простит меня, даже если до него и дойдет, что я не бо- лела, а попросту сбежала. А от Николая Васильевича я вообще ничего не скрывала.

Меня обидело и даже оскорбило то, что, когда у нас появилась наконец возможность побыть вдвоем, Бабель ею не дорожит. Но я его все же простила, потому что любила, и свет мне был без него не мил.

¹⁵ Никитин Николай Николаевич (1895—1963), писатель.

¹⁶ Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954), писательница, в двадцатых годах ее произведения пользовались необыкновенной популярностью.

¹⁷ Правдухин Валериан Павлович (1892—1937, репрессирован), писатель, критик, журналист.

Я была целиком захвачена обрушившейся на меня любовью. При моем характере, полученном воспитании, а также по принципам, почерпнутым в художественной литературе, я считала, что полюбившие друг друга люди не могут не стремиться быть постоянно вместе. Мне уже невольно стало жить врозь с Исааком Эммануиловичем, а он уехал в Киев для «окончательного устройства», как он сказал мне, дел своей уезжавшей за границу жены, которая находилась в это время в Киеве, у своих родителей.

Он почти ежедневно писал мне из Киева. Удивительно, как человек, в данном случае я, может превратно читать письма. Я вычитывала в них все то, что сама испытывала, т. е. любовь и желание полного соединения наших жизней.

Какое-нибудь восклицание: «Я думаю о вас с отчаянием и любовью, от которых некуда бежать», — я принимала как клятву в вечной любви. Фразу: «вчера ночью шальная мысль взбрела мне на ум, ревность, мысль эта разодрала меня надвое...», — как обращенную ко мне мольбу — начисто порвать с Николаем Васильевичем, чтобы любимый мною человек не испытывал ревности. Риторичку вроде: «Отдай мне Каширину, боже, и пусти меня с ней по свету...», — как призыв освободиться ото всех обязательств и быть готовой следовать за любимым повсюду.

Намеков же на то, что мой любимый предпочитает по-прежнему хранить в тайне наш союз и вовсе не мечтает как-то закрепить его, я попросту не замечала, вероятно, потому, что не хотела их замечать.

Привожу письма ко мне Исаака Эммануиловича, расположив их хронологически по ходу своего повествования.

1. Из Киева — в Москву

Киев, 22/IV-25

Мой милый, чудный, любимый друг. У меня много дел в Киеве, потом надо будет ехать в Харьков. Если разъезды эти возьмут времени более, чем я предполагал, то в промежутке я приеду на несколько дней в Москву. Я должен это сделать потому, что в несчастливой здешней суеде, в нищем, оборванном, отвратительном этом городе я совсем перестал верить в то, что Вы были когда-нибудь со мной. Я не могу не видеть Вас так долго.

Сегодня вечером или завтра — если Вы отступите от меня маленько — я напишу лучше и подробнее. Тамара, утешение мое на земле, пишите мне каждый день. Я чувствую, что заслужил это. Я думаю об Вас с отчаянием и любовью, от которых некуда бежать.

Ваш И. Б.

Адрес: Киев, гостин. «Красный Киев» (бывш. «Прага»), ул. Короленко, 36. Дружок Т. В., окажите мне услугу, позвоните в редакцию «Красной Нови»¹⁸ (т. 5—63—12), попросите к телефону Евгению Владимировну Муратову. Скажите ей от моего имени, что я с нетерпением жду корректуры¹⁹, которую она обещала выслать мне в Киев. Корректуру эту немедленно по исправлении я отправлю в редакцию.

И. Б.

2. Из Киева — в Москву

Я был очень печален вчера и написал Вам судорожное дурное письмо. Отправивши его, я раскаялся и уехал на пароходике вниз по Днепру, верст за двадцать. Там в деревне я переночевал, выпил пива с предельного совета и еще двумя мужиками и на рассвете вернулся в Киев. Здесь еще с одним военным человеком (Охотников²⁰, друг Мити Шмидта²¹ и мой) мы с утра наняли моторную

¹⁸ Первый советский «толстый» литературно-художественный и научно-публицистический журнал «Красная новь» выходил с 1921-го по 1942 г.

¹⁹ Исследователи расходятся во мнениях, какой рассказ имеет в виду Бабель: либо «История моей голубятни» (см.: Исаак Бабель. Сочинения в двух томах, т. 1, с. 448), либо «Первая любовь», напечатанный в альманахе «Красная новь», выпуск 1, М., ГИЗ, 1925 (см. Литературное наследство, т. 93. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. Новые исследования и материалы. М., 1983, с. 601).

²⁰ Охотников Яков Осипович, друг Бабеля.

²¹ Шмидт Дмитрий Аркадьевич (репрессирован), друг Бабеля. Поскольку комментатор не располагает какими-либо точными сведениями о Д. А. Шмидте, имеет смысл привести хотя бы отрывок из мемуаров, где он упоминается. «С самым близким своим другом, кавалеристом, героем гражданской войны Дмитрием Аркадьевичем Шмидтом, Бабель познакомил меня <...> на улице. Шмидт на первый взгляд казался хмурым, неразговорчивым. Потом он поражал меня своеобразным и очень умным юмором. <...> Он был Георгиевским кавалером в первую мировую войну... Хотя он был в полном смысле слова «военная кость», но в нем не было ни тени солдафонского духа, это был воин-большевик, он вступил в партию в 1915 году. Юмор и любовь к литературе, эрудиция, образованность <...> сочетались в нем с элегантностью военачальника. В последние годы своей жизни он был командиром танковой бригады». (Воспоминания о Бабеде. М., «Книжная палата», 1989, с. 139.) Рассказ Бабеля «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионова» имел посвящение: «Мите Шмидту, начдиву второй червонной»; напечатанное в ранних изданиях, это посвящение в «Конармии» было снято.

лодку, катались полдня, пили, пели, гнались за розовыми днепровскими пароходами, чтобы покачаться в их безобидной волне, я ужасно хотел рассказать Охотникову чего-нибудь про Вас, сунуть контрабандой рассказ о случае с давнишними моими знакомыми, но, к чести моей, ничего не сказал, вернулся домой в гостиницу и нашел здесь письмо от Вас, милый друг мой. События, заслуживающие упоминания, были вот еще какие: позавчерашний день я провел в Лукьяновской тюрьме с прокурором и следователем, они допрашивали двух мужиков, убивших какого-то Клименку, селькора здешней украинской газеты. Это было очень грустно и несправедливо, как всякий человеческий суд, но лучше и достойнее было мне сидеть с этими жалкими убившими мужиками, чем болтать позорный вздор где-нибудь в городе, в редакции; потом позавчера же у меня была счастливая встреча с давним моим товарищем Шишковским. Он авиатор и командует здесь в Киеве эскадрилей истребителей. Сейчас солнце, три часа, я напишу Вам, душа моя, письмо, и поеду за город к Ш., и буду летать с ним сегодня и, вероятно, каждый день. Я, кажется, говорил Вам, что бываю очень счастлив во время полета.

Семейную обстановку я застал здесь очень дурную. Больная старуха²² совсем безумна, она оглушила, замучила меня, но я верю в то, что мне удастся привести здесь все в порядок.

Я очень радуюсь эрдмановскому успеху²³, не думаю, чтобы пьеса его была хороша, но успех поощрит его, и он будет работать лучше. И о Правдухине Вы верно пишете. Кабы его не было, Лидия Николаевна жила бы несчастнее, но писала бы лучше. Не знаю, прав ли я. И о роли не тужите, роль эта ненатуральная, Вы бы фальшивили в ней, как и всякий другой человек, зачем это? В последние дни я много думаю об Вашем искусстве и моем и со всей страстью убеждаю себя в том, что мне душевно нужно на два года отказаться от моей профессии, жизнь моя пошла бы лучше, и позже, через два года, я сделал бы то, что нужно мне и еще, может, некоторым людям.

Дружок мой, ко мне только что пришли гости, будь они прокляты. Я не могу больше писать, до свиданья, завтра напишу еще.

Я ушел из дому, где начался шум и суета, всегда сопровождающие меня, и здесь, на почте, мне хочется приписать несколько строк: с чувством невыразимого облегчения я прочитал в Вашем письме, что нервы Ваши улеглись маленько и Вы спите, по правде, я боялся за Вас, и вот теперь мне спокойнее стало жить на свете. Я приеду в Москву и увижу снова прояснившиеся Ваши глаза и милое круглое лицо, расцветшее после тяжелых наших печалей, Вы будете веселы, и мне суждено еще порадоваться на Вас. А теперь пойдем летать. Дайте мне Вашу верную, прекрасную руку, до свиданья, голубушка моя Тамара!

Ваш любящий Вас всем сердцем И. Бабель

Киев 23.4.25.

3. Из Киева — в Москву

Милый дружочек Каширина. Звонили ли Вы Муратовой? Позвоните, пожалуйста, еще. Корректурa нужна мне до крайности. Они очень небрежные люди, и если их не теснить, они напечатают по невыправленной рукописи.

Напишите мне, как обстоят дела с поездкой, едете ли Вы с театром, выработан ли окончательный маршрут, какого числа начнутся спектакли. Знать это важно. Я хотел бы согласовать мои планы с ...Лойтером (кажется, его фамилия Лойтер?²⁴). Позавчера летал на аэроплане, но недолго, 25 минут, п. ч. в школе авиационной происходили занятия в это время. Я с товарищем моим собираемся лететь верст за двести от Киева, если не удастся, поеду на пароходе в Черкассы, пробуду там дня два, это получше будет, чем влачиться здесь в пыли канцелярий. Получение заграничн. паспорта в Киеве — трудная вещь. Здешний отдел управления запрашивает столицу, Харьков²⁵, равнодушнейшая эта столица разрешает с прохладцей и проч. и проч. Я изо всех сил постараюсь ускорить. Не браните меня за дурные письма или за отсутствие их. Я очень грустен в Киеве. Какая несправедливая жизнь, какие ненужные люди вокруг. Кабы я верил в бога, я сказал бы: боже, помоги укрепиться мне в моем отчаянии, помоги моей злобе, помоги уйти от разваливающихся этих семей, от местечковых этих редакций, от жалких прихлебателей искусства, отдай мне Каширину, боже, и пусти меня с ней по свету!.. Но бог высоко, Каширина далеко, и, такой печальный, я себе не нужен.

И. Б.

24.IV.25.

²² Гронфайн Б. Д., мать первой жены Бабеля. По воспоминаниям, отношения Бабеля с тещей носили неприкрыто комический характер (см. Воспоминания о Бабеле, с. 21).

²³ Премьера спектакля «Мандат» по пьесе Н. Р. Эрдмана состоялась 20 апреля 1925 г. Спектакль имел ошеломительный успех. Больше при жизни автора эрдмановские пьесы сцены не увидели.

²⁴ Лойтер Наум Борисович (1891—1966), режиссер, до 1925 года был режиссером-лаборантом у В. Э. Мейерхольда.

²⁵ В 1918—1934 гг. Харьков был столицей УССР.

4. Из Киева — в Москву

Я только что пришел в гостиницу, теперь 8 часов вечера, и мне передали Ваше письмо. Я зашел в гостиницу затем, чтобы взять рукопись и отправиться с ней в клуб рабкоров, мне там надо читать сегодня. Но письмо Ваше оказалось мне таким удивительным и душевным. Я хотел бы написать такое же, но не знаю, как это делается. О каком гитаристе²⁶ Вы пишете, я ничего не понял, и о какой фотографии? Если у Вас есть карточка, сохраните ее, пожалуйста, для меня.

Я написал Вам три письма, прости меня, боже, за эти письма, но все же я отправил их, неужели Вы ничего не получили?

Вот больше не об чем писать. Погода здесь дурная. Тепло-то оно тепло, но дует ветер. Мелкий, злой ветер с песком, такие ветры бывают в нищих пыльных южных городах. Я много ходил сегодня по окраинам Киева, есть такая Татарка, это у черта на куличках, там один безногий парень, страстный любитель голубей, убил из-за голубиной охоты своего соседа, убил из обреза. Мне это показалось близко, я пошел на Татарку, там, по-моему, очень хорошо живут люди, т. е. грубо и страстно, простые люди. Я бродил среди их домиков и вспомнил — знаете об чем, друг мой, — я вспомнил, как мы ездили за город в туркестанский приют. Вы были очень хороши в тот день, красивей я никогда вас не видел, это был очень счастливый день.

Ну, до свиданья, милая далекая родная моя Тамара.

И. Б.

Это угнетающее делопроизводство. Милая моя, отродясь я не умел писать писем. Не сердитесь, не забывайте меня, выводите каракули, пишите мне каждый день, не уходите от меня к чужим людям так надолго. Я сегодня чего-нибудь совершу и надумаю, когда мне ехать в Москву, и сообщу Вам.

И. Б.

25.4.25.

5. Из Киева — в Москву

Каширочка, спится ли Вам? Мне не очень. Вчера я лег спать рано, в одиннадцатом часу, но на беду мою или на счастье разразилась гроза удивительной силы, молнии стояли от земли до неба минуты по две, дождь гремел, гнул, чернея, как море, я вылез на подоконник, похерил сон и произнес длинную речь, обращенную к вам, Каширочка. Вы очень смеялись бы, дружок, если бы услышали это бормотание, полное неумелых нежных слов. К часу гроза прошла и я принялся за злосчастный мой сценарий²⁷. Я сочиняю его на ходу, изо всех сил, времени у меня нет, но я это делаю для Вас, Вы ничего тут не поймете, но я делаю ужасную эту работу для Вас, поэтому я расшибусь, но кончу ее, и мне приятно бороться с нудной этой неприятной стихией, я чувствую тогда, что Вы со мной, и мне хочется победить. Но победить трудно, Каширочка, мозги не ночуют в моем теле, а днем их мучают пустяковыми делами. До обеда я шатаюсь по канцелярии. Я спасаю Лубенскую «нашу» усадьбу, я хлопочу об снижении арендной платы за «наш» дом, я отчаянно стучусь в Иностранный отдел Исполкома²⁸, — и к вечеру от меня остаются одни обмылки, в эти обмылки я вбиваю неунывающие мозги и борюсь за существование, т. е. пишу сценарий. Мало я, черт бы меня побрал, ходил в синематографы, боюсь ошибиться.

Завтра занятия в госуд. учреждениях прерываются на три дня. Я уеду на это время в Богуслав, это замечательное евр. местечко верстах в полтора от Киева, там, говорят, есть река необыкновенной красоты и водопад, а в десяти верстах от Богуслава деревня Медвин, достойная изучения. Я думаю так, — по возвращении из Богуслава можно будет определить приблизительно день отъезда моего в Харьков и Москву. Если между Харьковом и Москвой установлено уже летнее аэропланное сообщение, — я полечу на аэроплане. Боги, м. б., воззрят на мои тяготы, и числа 7—8 мая я смогу вернуться в Москву.

Каширочка, не пишите мне больше в гостиницу. По возвращении из Богуслава я не останюсь в гостинице, а проеду, вероятно, прямо в Харьков. Напишите мне, пожалуйста, еще одно письмо в Киев, до востребования, главный почтамт, в день отъезда в Харьков я сообщу Вам харьковский мой адрес.

Затем — от «Красной Нови» ни слуху ни духу. Какие неверные люди. Я телеграфировал вчера в редакцию и завтра пошлю еще одну телеграмму. Пожалуйста, позвоните еще раз Муратовой и скажите ей от моего имени, что я протестую против напечатания рассказа с невыверенной рукописи и что если они не пришлют мне корректуры по указанному адресу в Киев, то я буду протестовать против этого в печати. Александр Константинович²⁹ обещал мне дать воз-

²⁶ В спектакле «Лес», поставленном Вс. Мейерхольдом в 1924 г. по пьесе А. Н. Островского, за сценой играл гитарист, фотограф-любитель.

²⁷ Вероятно, имеется в виду сценарий «Беня Крик».

²⁸ Вабель занимался имущественными делами родителей Евгении Борисовны и хлопотал об отправке их за границу.

²⁹ Воронский Александр Константинович (1884—1937, репрессирован), критик, публицист, журналист, писатель. В 1921—1927 гг. был редактором журнала «Красная новь», тогда же возглавлял издательство «Круг».

можность прочитать корректуру трижды. Мне стыдно, что я отягощаю Вас этим делом, но, право, оно имеет для меня кое-какое значение.

У нас здесь не весна сегодня, а лето. Трава чудесно поднялась за три дня, цветет вишня, деревья в неописуемо нежной зеленой ароматической листве.

Больше не буду писать сегодня, п. ч. не хочу говорить о посторонних вещах и не хочу прощаться с Вами. Если проститься и писать в письме конец — тогда надо жить без Вас, а так продолжаешь все ту же грустную, но любовную, милую жизнь.

До свиданья, <солнышко — зачеркнуто> утешенье мое.

И. Б.

Я перечитал письмо и зачеркнул одно слово. Так, я думаю, пишут солдаты. Что делать...
K.27.IV.25.

6. Из Киева — в Москву

Я отменил поездку в Богуслав, я принес в жертву все водопады, потому что понял, что в Богуславе работать невозможно. Три-четыре дня пребывания в Богуславе значительно отодвинули бы отъезд в Москву. Человек по фамилии Морква, председатель богуславского райисполкома, один из мириада моих приятелей, человек хороший, передовой, но пьющий и общительный до крайности, приготовился везти в Богуслав вместе со мной горячительные напитки в необъяснимом количестве и еще сумрачных хохлов, перепить которых, я понял, невозможно. Хохлы победили бы меня, я не сочинил бы ни одной строки для сценария и... и я уехал в поселок Ворзель под Киевом, где и сижу сейчас над кипой скучных бумаг, Каширочка. В Харьков мне не удастся выехать раньше 5 мая, в Москве предполагаю быть не позже десятого. Я ничего не знаю, едете ли Вы с театром, знать это ужасно важно, три дня от Вас нет писем, это очень грустно, милая, не оставляйте меня одного. Дни мои и ночи поджариваются на утомительных углях, как скучно жить без Вас, вчера ночью шальная мысль взбрела мне на ум, ревность, мысль эта разодрала меня надвое, но я раскаялся потом. Вот и вся жизнь. Она не такова, какой ей следует быть. Я думаю о Москве, жажду Москвы, и нынешние печальные дни отзванивают, как нерадивый звонарь: не следуйте моему примеру, Каширочка. Если я застаю Вас веселой, нагулявшей румянец и потерянный вами пуд, — это будет мне радость. Как смешно я пишу, черт со мной, а с Вами бог, любовь моя.

И. Б.

Киев, 30/IV-25.

От «Красной Нови» ни ответа ни привета. Придется послать им выправленную рукопись³⁰.

На это письмо можно ответить в Киев (Главн. почтамт, до востреб.), а потом я сообщу Вам харьковский адрес.

7. Телеграмма из Киева — в Москву

3/V-1925 г.

Выезжаю Харьков

8. Телеграмма из Харькова — в Москву

5/V-1925 г.

Приеду четверг

9. Телеграмма из Харькова — в Москву

6/V-1925 г.

Выехал скорым

Находясь в состоянии крайнего нервного возбуждения и напряжения, я ушла из Театра имени Мейерхольда, чего с любой точки зрения, а в особенности принимая во внимание возникновение моих отношений с Бабелем, я ни в коем случае не должна была делать.

Я ждала Исаака Эммануиловича из Киева освободившейся от всех обязательств и готовой следовать за ним «на край света».

³⁰ В письме Воронскому от 2 мая 1925 г. Бабель пишет: «Я потерял надежду на получение корректуры. История эта огорчает меня. Посылаю проверенную рукопись. В нее внесены исправления по сравнению с первоначальным текстом. Печатать можно **только** по этому экземпляру. Удивляюсь образу действий технического персонала нашей редакции. Они обнаружили пренебрежение к элементарным авторским правам».

Приехав, Бабель не нашел меня ни в театре, ни в клубах, в которых занятия на летний период прекратились, и прислал мне домой с кем-то из своих приятелей, не помню, с кем именно, следующую записку.

10. Записка из Москвы — в Москву

май 1925 г.

Я приехал вчера в пятом часу и безуспешно разыскивал Вас до 11 ч. ночи. Приятельница ваша, актриса Ксения³¹ (фамилии не помню), сказала мне, что в местах, где Вы обычно бывали, т. е. в театре и в клубе, найти Вас невозможно. Поэтому я решился на дерзновенный шаг и посылаю записку. Когда мы с Вами увидимся, придете ли в Обухов или мы увидимся днем?

Б.

Исаак Эммануилович был верен себе — соблюдал «таинственность» и ждал ответа на свою записку, стоя за углом на улице. Я, разумеется, тут же к нему выбежала. Мы пошли в близлежащий парк Института физической культуры, что на Гороховской улице.

Исаак Эммануилович был буквально потрясен моим «освобождением» ото всего и ото всех. Ни о чем подобном он и не помышлял. Был по уши погружен в хлопоты по отправке за границу жены, ее семьи, своей матери...

Он совсем растерялся от моей «освобожденности» и «готовности». Но я этого умудрилась не заметить.

В тот период он был сильно в меня влюблен и у нас перепадали вполне счастливые дни, когда мы уезжали куда-нибудь за город (тем временем наступило лето) и проводили время вдвоем — на лоне природы.

Опять всплыли лошади, и Исаак Эммануилович изо всех сил старался приохотить меня к посещению бегов. Во время одного из таких посещений, смертельно скучая (меня бега никак не интересовали), я пошла со скуки в буфет, съела там невинное пирожное и не на шутку им отравилась. Болела я довольно долго, с высокой температурой и прочими неприятностями, которые обычно сопутствуют отравлению, да еще такому серьезному.

Тут Исаак Эммануилович впервые переступил мой порог и очень напуганный моей болезнью стал уговаривать меня уехать куда-нибудь отдохнуть, обещая, что «немедленно, вот только закончит...» и ко мне присоединится.

Николай Васильевич тоже уговаривал меня «проехаться», взяв с собой Таню, и тоже предлагал приехать следом, если я этого захочу.

Я выбрала Сочи, вернее, домик под Сочи, где я уже жила однажды в сливовом саду, на самом берегу моря.

Поехала я с Таней и сестрой Зиной³².

Исаак Эммануилович опять писал мне, но уже не каждый день, и опять в его письмах я вычитывала только то, что было мне созвучно, как-то умудряясь не замечать остального.

Он все еще был влюблен в меня, но уже не до безумия, уже начинал, по-видимому, остывать. Тут бы мне самое время пообижаться, посердиться. Словом, настала пора «поиграть» чувствами. Но я этого не умела и, напротив, выражала полную готовность «жертвовать собой».

Началось мое вечное ожидание его приезда ко мне или исполнения его невыполнимых и никогда не исполнявшихся обещаний.

Исаак Эммануилович не только не приехал, как обещал, ко мне в Сочи, но, наоборот, вызвал меня на Хреновский конный завод, куда я и поехала к нему.

Привожу письма Бабеля ко мне в Сочи.

11. Из Сергиево — в Сочи

Милая Татушенька. В жизни моей по сравнению с прошлым, если не считать чувства пустоты и одиночества, вызванного Вашим отъездом, мало нового. Я приехал в Сергиево вчера, в субботу, и рассчитываю пробыть здесь долго. Единственное дело, привязывающее меня к Москве — хлопоты о французской визе, — находится, по моему убеждению, в благополучном состоянии. А другое дело — получение от Вас писем; я буду ездить за ними два раза в неделю. Напоминаю адрес: 34 почтовое отделение, уг. Пречистенки и Дурнова переулкa, до востребования. В Москву до востребования лучше писать, чем в Сергиево, п. ч. сюда письма идут очень плохо. В пятницу, т. е. на следующий после Вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он вправду очень болен, но о болезни

³¹ Гольцева Ксения Ивановна (1898—1943), актриса. По характеристике В. Э. Мейерхольда: «В 1921—1929 гг. училась и работала в ГВЫРМе, ГВЫТМе, ГЭКТЕМАСе и в нашем театре»

³² Таня — дочь Т. В. Ивановой и Н. В. Неврева.

Каширина Зинаида Владимировна (1892—1968), художник-прикладник, в то время корректор. Сестра Т. В. Ивановой.

не хочет говорить, пьет горькую, пьет с необыкновенной жадностью, он совсем обезумел. Я не знаю, его конец близок ли, далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные. Одно из этих стихотворений я переписал и посылаю Вам³³. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок, может быть, прощальная эта Серезина песня ударит Вас в сердце так же, как и меня. Я все хожу здесь по роше и шепчу ее. Ах любовь — калинушка... Нынче весь день работал с остервенением, теперь, когда я пишу Вам, идет второй час ночи, и так как я спал сегодня два часа после обеда, то можно посидеть до света. Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с третьей придется повозиться, п. ч. нужно добыть документы о гражданской войне этого периода³⁴, но и это не особенно трудно. Только бы проклятая виза не задержалась, тогда все можно будет скоро уладить. На кинофабрику я не хожу и не пойду до того времени, пока не буду иметь на руках какого-нибудь товара. Оттуда несется вопли и проклятия по моему адресу. Теперь о Вас, душенька моя Таратута. Где Вы, что с Вами, как Вам живется? Мне надо об этом знать подробно. Я вспоминаю последний Ваш ужасный месяц, это не должно повторяться. На моей короткой памяти Вы разительно изменились и ослабели здоровьем. За что нам от Господа Бога такое испытание? Это я пишу к тому, что ежели Вы в Сочи не наберетесь духа, тела и прочих составных частей беспечального человеческого существования, то я очертя голову поступлю в партию и займусь рабковорским движением или, что еще ужаснее, стану театральным реформатором, как Лойтёр. И тогда Вам в жизни не останется никакого ходу. А то что же это такое — была король-баба, в нее, в король-бабу, на одном Разгуляе были влюблены три человека и все три с солидным положением, а в других окраинных местностях столицы еще двенадцать человек, и это не считая эпизодов вроде роты курсантов, трамвайных калек и ночных извозчиков. От имени многочисленных этих страдальцев я протестую, товарищ Таратута. Красная Армия, советские служащие, одинокие калеки и лица свободных профессий требуют, чтобы Вы снова стали король-баба, потому что какая же нам без Вас сласть в этой жизни, где идеологии стало больше, чем кислороду!..

До свидания, Татушенька, любимый друг. Не купайтесь подолгу, в слабом состоянии это вредно. Как чувствуете себя Зинаида Владимировна и Татьяна? Есть ли у вас постели, самовар, умывальник? Какую рыбу Вы едите, и жирны ли бараны в нынешнем году? Вам надо спать 12 часов в день, а выпавшись, писать мне письма. Это будет достойное существование.

Любящий Вас всем сердцем

И. Б.

Сергиево, 14/VI-25.

12. Из Сергиево — в Сочи

Татушенька, как Вы поживаете? Понравилась ли Вам книга Алексея Толстого? Какая погода в Сочи? У нас беда. Дождь, холод, ветер, деревья шумят яростно. Иногда показывается плюговое солнце и сейчас же застилается ливнем, мглою, как на сцене. Один только раз было солнце и дождь, летний, щедрый, горячий дождь, очень красиво.

Как Вы доехали до Сочи? Езда, небось, скучная. Море-то, наверное, оказало на Татьяну сильное впечатление. Заведите Татьяне собачку. Дети очень любят купать собак.

Мы с Воронским живем дружно. Он все пишет про литературу. Жена его потешное существо, сущее наказание для просвещенного коммуниста. Жена — еврейка, мещанка худшего толка, ссорится с прислугой, а прислуга на нее в союз, вот ведь ужасный какой пролетариат. Мать³⁵ с утра забирается ко мне в комнату и представляет Воронскую в лицах, мы с Аннушкой³⁶ помираем с хохоту, Аннушка от смеху икает, икает она с любовью и нестерпимо звучно. Еще новости: Иван Иванович был вчера именинник; Шик, еврей-выкрест, живущий насупротив, рукоположен во священники, он сменил полукафтаны на рясу и ходит во всамделишной рясе с клюкою; коз согнали с Козовой горки (Вы на этой горке были), бабы устроили бунт вчера, и к ним приходил представитель Исполкома. Кто победит — еще неизвестно.

Больше новостей нет. Я занят скучной работой и отвлекся от нее, чтобы

³³ Бабель и Есенин встретились в Госиздате 12 июня 1925 года, в пятницу. О том, что Бабель любил есенинское стихотворение «Песня», пишут и мемуаристы (см. Воспоминания о Бабеле, с. 56).

³⁴ Сценарий «Беня Крик» (в отличие от «Одесских рассказов», по мотивам которых был создан) включает и события гражданской войны. Полк под командованием М. Я. Винницкого, прототипа Бени Крика, воевал на стороне красных.

³⁵ Бабель Фаия Ароновна (1864—1942), мать Бабеля. После смерти отца, распродав имущество, Бабель перевозит мать, жену и сестру в Сергиев Посад. Там они жили до отъезда за границу.

³⁶ Домработница в доме матери Бабеля в Сергиеве Посаде.

напомнить Вам о себе. До свидания, душенька. Будьте толстая, веселая, глупая и не живите духовной жизнью.

Любящий Вас член союза Работпрос³⁷ № 3929.

И. Б.

Сергиево, 16/VI-25.

13. Из Сергиево — в Сочи

Таратуточка. Двое суток я предавался неумеренному отчаянию по поводу несчастного Вашего путешествия. На меня было жалко смотреть. Утешение я черпал единственно в том, что не был на вокзале во время Вашей посадки. Несомненно, я скончался бы с горькой улыбкой на руках чужих людей. Конечно, я кругом виноват, но, боже, что случилось с курортными вагонами? Я виноват, но тут замешана и власть. В прошлом году на Кавказе я перевидел множество курортных вагонов. В них царила роскошная гигиена и товарищеская спайка. Насчет спайки дело и в нынешнем году обстоит, очевидно, неплохо, но кто же разрушил гигиену? И куда девались уборные? Клянусь Вам, Каширочка, они были в прошлом году, по две на вагон, клянусь Вам!

Известие Ваше о дурной погоде не застало меня врасплох. У нас пятый день льет дождь, сыплет град, валит снег, изморозь покрывает землю по утрам, и глыбы льда выезжают из водосточных труб. Воронская, поставленная, наконец, лицом к лицу с беспощадной природой, объевреивается все более, на замызганном ее лице я читаю всю страдальческую историю великого нашего курчавого народа. Воронская считает, что я нахожусь с природой в договорных отношениях и что она кругом обманута. И только Воронский доволен. В Сергиеве никто не нарушает его права писать критические статьи. Но, по-моему, он злоупотребляет этим правом. Через проклятую эту погоду я простудился, чувствую себя плохо, ропщу, но сценарий все же пишу. Завтра, в субботу, из шести частей будут готовы четыре, а в воскресенье я поеду получать от Вас письма и читать сценарий Эйзенштейну³⁸. Если я написал чепуху — вот будет okazя!

Милый, чудный мой друг Каширочка. Теперь ночь, за стеной мелкий дождь ведет старушечий свой хлопотливый разговор, все спят, зеленый абажур на лампе призывает меня к труду, к терпению, к упорству, и, кабы Вы были здесь, в пустынной моей комнате, — я был бы счастлив. Ну да ладно. Не скучайте, Татушенька. Неужели погода таковая, что нельзя купаться? Глупая история. Напишите мне о Тане и Зин. Влад. Как Вы с ними устроились? Хорошие ли вам предоставлены комнаты? Сколько баранов вы съели?

Аннушка завтра едет в Москву, я передам ей это письмо, оно, я думаю, скорее дойдет, чем сергиевские. В воскресенье напишу Вам из Москвы.

Спокойной ночи, Татушенька.

Ваш И. Б.

Сергиево, 20/VI-25.

14. Из Сергиево — в Сочи

Милый друг Татушенька. Письма Ваши из Сочи получил. Деньги (100 р.) высылаю сегодня или завтра. Стыдно, что так мало, но времена денежного изобилия для меня наступят позже, приблизительно дней через восемь. Тогда мы с Вами развернем дела. Прошу Вас, тратьте сколько надо. По-моему, тратить следует немножко больше, чем надо, п. ч. иначе какой толк в тратах?

Я рад, что Вам живется хорошо. У нас тоже наступила хорошая погода. Я три дня провел в Москве, в большой суете. Был у Эйзенштейна на даче, ночевал у него³⁹. Сценарий мой как будто выходит. Из шести частей я написал четыре, сегодня приступаю к пятой. Когда управлюсь с этим делом, тогда только для меня прояснятся дальнейшие перспективы.

Я написал Вам три или четыре письма, из них одно спешное. Как это могло случиться, что Вы их не получили? Письма из Сочи идут медленно.

³⁷ Правильно «Рабрпрос» — профсоюз работников просвещения.

³⁸ Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898—1948), режиссер, теоретик искусства, педагог. Работал с Вабелем над экранизацией «Одесских рассказов» (1925) и над вторым вариантом сценария «Бежин луг» (1936). О том, как Эйзенштейн относился к работе Вабеля для кино, известно из давней статьи В. Б. Шкловского: «Два года тому назад Эйзенштейн, давая экспертизу на один сценарий, заявил, что рассказ Бабеля — это уже 75 процентов нужного сценария, а сценарий того же Вабеля дает только 25 или 30 процентов — при сценарной разработке вещи нужные режиссеру качества уменьшаются. Эйзенштейн считал, что задачей сценария является воздействие на режиссера, создание у него творческого настроения».

Вабель был у Эйзенштейна во вторник и среду, 23—24 июня 1925 г.

³⁹ О времени совместной работы над «Беней Криком» Эйзенштейн вспоминает: «...Я в верхнем этаже работал с Агаджановой над сценарием «Пятого года», а в нижнем — с Вабелем над сценарием... «Бени Крика»... Почему «Беня Крик»? Мой предпринимчивый директор Капчинский полагал, что, работая в Одессе над южными эпизодами «Пятого года», я между делом сниму... «Беню Крика»!»

Из милых посланий Ваших я заключаю, Татушенька, что Вы по-прежнему предаетесь размышлениям, в то время как единственная цель теперешней Вашей жизни должна состоять в том, чтобы в каждый данный день весить на фунт больше, чем в предыдущий. Дитя, дочь, внучка моего сердца. Не думайте обо мне дурно, не приписывайте нам дурных качеств. И если Вам не лень будет, голубушка, молиться о моей душечке, то сделайте это по утрам по следующему рецепту: влейте в чашку двадцать пять яиц, прибавьте к ним сырого молока, сболтайте это с фунтом рыбьего жира и проглотите на завтрак. А потом пейте кровь из баранов, высасывайте ее, я читал, что это очень полезно.

Я получил чудное душевное письмо от Горького⁴⁰. Надо ответить на него целым трактатом и поспеть до закрытия почты. Поэтому я прерываю до завтра свои излияния. Дайте мне прекрасную Вашу руку, Татушенька, до свидания, до завтра. Будьте веселы, как жеребенок на лугу, и не забывайте преданного Вашего друга.

И. Б.

Сергиево, 25/VI-25.

Я пишу, лежа на земле в саду. Поэтому почерк выходит очень скверный.

15. Из Сергиево — в Сочи

Давно Вам не писал, Татушенька, и мне кажется, что я живу без Вас с незапамятных времен. В четверг приехала гостья (приятельница из Петербурга) и пробыла два дня, а в субботу нагрянули три семьи — Вознесенские⁴¹, Зозули⁴² и проч. Я измаялся. Пропавшие четыре дня, даже Вам не мог написать. И это в то время, когда работать надо с возможной поспешностью. Я уже писал Вам, кажется, что три четверти сценария написал, а вот последняя четверть не клеится, да и не было времени над ней работать из-за гостей. Не клеится же окончание, потому что меня заставляют работать фальшиво, т. е. ни к селу ни к городу пристегивать идеологию, но я нынче утром напал, кажется, на счастливую мысль и, может быть, выйду из тягостного этого положения без морального урона.

Татушенька, по чистой совести говоря, жизнь течет не так, как следовало бы, т. е. все ставишь себе сроки, вот окончу одно, справлюсь с Францией, там поехать можно будет, и заживу... Спасаясь только тем, что в мыслях стараюсь отказать от суеты и скверны, ну да это занятие для философа, а философы дураки, вот тут и вертись... Пишу на почте, очень жарко, мухи и толчея; у почтовой барышни в окошечке завиты такие жалкие кудельки и на цыплячью грудку насыпано столько мела или пудры, что с этой барышней в самую бы пору поговорить о жизни, о ее и моей жизни, ну да она отвергнет, ей некогда.

Тату, завтра поеду в Москву получать от Вас письма, это мне радость. Пишите мне о себе все, что только возможно, пишите о том, что было на первое и что на второе и сколько было нынче градусов в тени. Мне все интересно и очень, друг мой, хочется бывать с Вами почаще. Деньги (сто р.) я перевел вам телеграфно из Сергиева. До свиданья, любовь моя, до завтра.

Ваш И. Б.

Сергиево, 29/VI-25.

16. Из Сергиево — в Сочи

Вчерашний день провел в Москве. Только и было хорошего в этом дне, что Ваши письма. Я читал их, перечитывал и, коли бы не стыд, прижимал бы их к сердцу. А все остальное было плохо: жара, дурное состояние здоровья, дурная семейная сцена и проч. и проч. От делов от этих еще и сегодня голова болит. К стыду моему, я все еще бьюсь над сценарием, над его окончанием. Гонорар мне положили порядочный, надо постараться сделать получше. Татушенька, как это ни ужасно, но точные планы мои и сроки выяснятся только через четыре-пять дней, т. е. после окончательного моего расчета с кинофабрикой. Я думаю, что в Одессу съездить придется. Если поездка в Одессу будет необходима или хотя бы возможна, тогда я вызову Вас туда — Вы помните наш

⁴⁰ Кроме размышлений о литературе, собственном писательском пути и стихах С. Есенина, в письме к Горькому от 25 июня 1925 года сказано: «Теперь просьба, — может быть, это и бестактная просьба... Жена моя, Евгения Борисовна Бабель, имеет непреодолимое желание уехать в Италию. Она учится живописи и хочет усовершенствоваться в своем искусстве. <...> В здешнем итальянском посольстве ей сказали, что для скорейшего получения итальянской визы полезно сослаться на человека, живущего в Италии. По совету многих друзей я решился указать на Вас, больше не на кого. Если Вас запросят, не откажите, Алексей Максимович, ответить, что она человек тихий, для России бесполезный, для Италии безвредный. Извините, что затрудняю Вас». — Это письмо является необходимым дополнением к публикуемой здесь переписке.

⁴¹ По всей вероятности, имеется в виду Вознесенский Александр Сергеевич (1880—1939), поэт, деятель кино, критик. Бабель с ним также переписывался (см.: Исаак Бабель. Сочинения в двух томах, т. 1, с. 245).

⁴² Зозуля Ефим Давидович (1891—1941), писатель.

уговор? Это будет очень хорошо, в Одессе и море есть, и Вы сможете поработать в злосчастном кино у Эйзенштейна. Он будет снимать там две картины⁴³, на стороне его рука владыка — т. е. и деньги, и договор. Напишите, получили ли Вы 100 р., высланные телеграфно. Прошу Вас, душа моя, осведомлять меня о состоянии Ваших скудных финансов. Для меня это радость — заботиться о Вас.

Я стараюсь быть точным и пишу два раза в неделю. Ни в каком случае не ездите в город больше одного-двух раз в неделю. Право, жалкие мои письма не заслуживают внимания. Кабы я еще умел писать не о делах, а то стоит ли делать шесть верст по жаре? Не стоит.

Меню Ваши я прочитал с захватывающим интересом, но не верю, что один человек может поглотить такое количество пищи, а ежели он может, то да будет он благословен во веки веков! Что касается меня, Татушенька, то я веду жизнь духовную (от чего Вас предостерегаю), я ем, как соловей, и скоро двух мертвых муравьев будет достаточно, чтобы насытить меня.

Больше происшествий никаких. Вчера я ехал на Ярославский вокзал в самом обыкновеннейшем из обыкновенных трамвайных вагонов, мне было грустно, и я раздумывал — что это такое? Потом впервые в жизни я испытал душевную усталость. Это началась старость, как Вы думаете, милая дама? И если это началась старость, то вот Вам и происшествие?..

Тату, поклонитесь фотографу, которому Вы задолжали шесть рублей, поцелуйте его в увядшие губы (или он грузин?) и заберите причитающиеся Вам карточки, из коих одну воздушной почтой пришлите мне, п. ч. я скучаю по Вас, как не могут скучать старики (не впал ли я в детство?), вот пишу эти дурацкие строчки и скучаю по Вас, как осиновый лист, и вспоминаю чудное Ваше лицо в хорошие ваши минуты! Кстати о лицах. По-прежнему ли Вы испещрены язвами, по-прежнему ли вздута Ваша губа, ободран Ваш подбородок и растерзан Ваш курносый милый нос? Все это было моим уделом, но теперь, когда Вы любите грузинов и, можно сказать, ласкаете их, теперь, когда Вы слушаете по ночам шакалов, сидя на веранде с страстным Фрейманом⁴⁴ (кстати, говорят, что Фрейман — это ничего не обозначающий псевдоним, а на самом деле он написал «Юрия Милославского»), теперь, конечно, Вы похожи на Шехерезаду, грузины в восторге, они угощают Вас бараньим шашлыком с луком и помидорами, и только я и мадам Фрейман орошаем подушки густо просоленными слезами. Вы правы, Тату, и я подписываюсь под Вашей философией, которая гласит: все граждане мучаются в их жизни, я гражданин, следовательно, и я должна мучиться в моей гражданской цивилизной жизни и никакие улещивания и подвохи не отвратят меня от исполнения прямого моего долга, т. е. мучиться. На этом стою и с ефтого не сойду.

Последняя новость: умер Давыдов⁴⁵. Он был великий человек, Вы знаете, как я уважал его, умирая, он сделал последнее свое доброе дело: Я не могу передать Кашириной моего таланта, — сказал великий человек, умирая, — но я завещаю ей мой объем. Такова была последняя воля последнего классического актера. Осмейтесь послушаться ее, и Вас выгонят из союза, из какогого Вас уже выгнали, что обозначает гражданскую Вашу смерть и налагает на меня грустную необходимость прекратить с Вами знакомство, которое Вы, в Вашем положении мертвеца, физически и духовно не можете продолжать. Значит, и переписку прекращать пора. До свиданья, Таратуточка, милая дамочка, воздушная красавица, трибун моей жизни!.. Дайте на прощанье умопомрачительную Вашу лапку, и я поцелую Ваши седины и тысячи дьяволов в Вашем ребре.

И. Б.

Сергиево, 3/VII-25.

17. Из Сергиево — в Сочи

Татушенька, только что получил Ваше письмо от 5 с/м. Оно очень меня встревожило. Что-то дурно Вы живете. Пишу на почте, п. ч. теперь 6 ч., а в 6 1/2 ч. почта закрывается, и я не смогу отправить Вам письма. Вокруг толпец, толкают под руку, и я не могу сказать то, что хочу. Я вчера читал целиком сценарий Эйзенштейну, он в притворном или искреннем восхищении — не знаю, — но во всяком случае все идет благополучно. Завтра буду сдавать работу дирекции, думаю, что в ближайшие дни (два-три дня) все закончу. Кроме этого на той же кинофабрике предвидится для меня захватывающего интереса работа — можете себе представить — фильма о лошадях по заказу Наркомзема. Я буду счастлив, если меня привлекут к этой работе. Я рассчитываю дня через четыре

⁴³ Об этих же картинах пишет днем раньше, 2 июля 1925 года, матери в Ленинград С. М. Эйзенштейн: «...Ставлю картину «1905 год». На днях начинаю снимать... На эту картину отпущен год. (Сдать к августу 1926 года.) Параллельно буду снимать «Беню Кряка», сценарий Бабеля. (Помнишь, ты читала эти «Одесские рассказы» в «Лефе»?) То и другое — очень интересно. Но работа адава...»

⁴⁴ Знакомый Т. В. Ивановой, военный.

⁴⁵ Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя Горелов Иван Николаевич) (1849—1925), актер, педагог, в последние годы жизни играл в Александринском театре. Герой одного из устных рассказов Бабеля (см. Воспоминания о Бабеле, с. 73—75).

вылететь в Ростов, оттуда проеду в Сочи. Завтра или послезавтра напишу Вам обо всех этих делах спешное письмо, о выезде буду телеграфировать.

За последнее время я написал несколько писем, как это случилось, что Вы их не получили. Очень плохо, что Вы потеряли паспорт, теперь Вам, м. б., писем совсем выдавать не будут. Дела с заграничным паспортом идут благополучно, и даже есть основание рассчитывать на получение визы из Парижа, что в нынешнее время представляет большие, почти неодолимые трудности. В понедельник, 13-го, я рассчитываю, выяснится точный срок отъезда жены за границу.

Татушенька, стыдно хандрить. Будьте веселы, я думаю, что мы скоро увидимся. Друг мой, я прилагаю все усилия, чтобы вырваться отсюда. Вы знаете, мне живется здесь не сладко, я хочу бежать от литераторов, критиков, от всех этих опостылевших мне людей.

Душа моя, не надрывайте сердца, не пишите мне так жалостно, всей душой я хочу, чтобы Вам жилось счастливо.

Больше не буду писать сегодня. Два дня, проведенные в Москве, растрепали меня маленько. Ложусь я на рассвете, делов множество, все издательства как с цепи сорвались, да и мысли, к счастью, одолевают, а спать невозможно из-за духоты, очень я в Сергиеве привык к легкому воздуху и здесь увядаю.

До свиданья, Татушенька. Не смейте не быть веселой, лежите на солнце за себя и за меня, п. ч. без моря и солнца и без Вас мне по чистой совести очень скучно.

Ваш И. Б.

10/VII-25.

18. Из Сергиево — в Сочи

12/VII—1925 г.

Тату, завтра утром, вернее, сегодня утром поеду, наконец, в Москву устраивать мою судьбу. Только что (теперь третий час утра) дописал проклятуший мой сценарий. Представьте, первые четыре части я обдумал и написал в семь дней, окрыленный этим успехом, я думал, что с последней третью справлюсь еще легче, но не тут-то было, только позавчера мне пришли на ум подходящие (подходящие ли?) мысли, и я за полтора дня откатал великое множество сцен. Я очень устал, Татушенька, мысли путаются, надо поспать маленько. Очень плохо то, что я не писал Вам так долго, но из-за оттяжек этих со сценарием я был в дурном расположении духа и не хотел писать Вам ничего грустного.

Переписка оконченной работы, чтение в разных инстанциях, проведение через репертуарный и всякие другие комитеты — возьмет, я думаю, несколько дней. После этого срока я смогу телеграфировать Вам точно, куда я выезжаю, — в Одессу или в Сочи. Если в Сочи, прямо-то до Ростова буду лететь на аэроплане. Кстати — напишите мне, как в Сочи обстоит вопрос с комнатами и проч. Я радуюсь тому, что завтра получу от Вас письма; до поезда осталось часов пять, на сон надежды мало, но все же попытаюсь. До свиданья, дружочек, ешьте как можно больше, ешьте гоголь-моголь.

Ваш И. Б.

Письмо это отправлю утром спешным в Москве.

19. Телеграмма из Москвы — в Сочи

16/VII—1925 г.

По неотложным делам выезжаю Воронежскую губернию Хреновский конный завод. Этом же районе находится Эйзенштейн. По приезде завод протелеграфирую подробно. Прошу приехать. Ждите телеграммы.

20. Из Москвы — в Сочи

Сегодня я отправил Вам телеграмму, боюсь, что Вы ее вовремя не получите или, м. б., телеграммы до востребования получаются не в том месте, где письмо, поэтому шлю вдогонку письмо.

Мне обязательно нужно отправиться в Воронежскую губернию на Хреновский конский завод. Он расположен у ст. Хреновой, 70 верст от ст. Лиски. Ст. Лиски находится на большой дороге между Ростовом и Воронежем, от Ростова по направлению к Москве. Я был бы счастлив, если бы Вы приехали туда. Жилищные и всякие иные дела я постарался бы устроить. В Вашем письме говорится, что Вы можете оставить на некоторое время Татьяну и Зин. Вл. Я на этом и основался. В понедельник, т. е. на три дня позже меня, выезжает в Тамбовскую и Воронежскую губернию Эйзенштейн с техническим персоналом — для съемки натуральных кадров 1905 года. Вашу поездку можно будет связать с этой экспедицией если не фактически (п. ч. актеры теперь Эйзенштейном никакие не

принимаются⁴⁶), то номинально, Эйзенштейна я об этом предупреджу. Как только приеду на завод, я телеграфно опишу все, что там застал. Считаю, что Ваш приезд вполне осуществим, если же это предприятие окажется для Вас неподходящим, то протелеграфируйте мне в Хреновую (по адресу, который я вам общу с завода), и мы придумаем другой выход. Деньги на поездку я вам вышлю.

Татушенька, я очень хочу Вас видеть, но если эта поездка представит для Вас какие-нибудь неудобства, то лучше взвалить тягость всяких предприятий на меня, я как-нибудь вывернусь. Хотя мне сейчас трудно приходится. Денег требуется такая уйма — родственники растаскивают меня с такой непостижимой быстротой, что надо работать без передышки; я думаю, что на заводе нам было бы хорошо, я работал бы и мы пошатались бы с Вами по прекрасным тамшним местам.

Поезд из Туапсе идет через Ростов, Харьков, а Лиски лежат на Воронежской линии, поэтому — если Вы решите ехать — то в Ростове и в Лисках Вам будут пересадки. Мы спишемся, и я смогу Вас встретить в Лисках или хотя бы в Ростове. Татушенька, извините за это сумбурное письмо, я пишу на фабрике, в кабинете Капчинского⁴⁷, здесь такая толчея, что ничего не сообразишь.

Ваши письма, милый мой друг, раздирают сердце. Я мечусь в лихорадке. Стараясь поспеть во все места, но Тату, душа моя, раньше никак нельзя было выбраться. Не браните меня, плюньте на меня, наливайтесь жирком и весельем, как дрозд на ветке.

До свиданья, Татушечка, мы скоро увидимся. Спокойствие, — говорю я иногда себе, и это помогает. Спокойствие, Каширочка, мы не пропадем с Вами.

Ваш И. Б.

М. 16.VII—25.

21. Телеграмма из Хреновой — в Сочи

19/VII—1925 г.

Жилищные условия сносные дорога тяжелая три пересадки Телеграфьте решение Хреновая Госконзавод мне

Казалось бы, каждого нормального человека, как бы ни был он влюблен, должна бы если не насторожить, то хотя бы удивить такая фраза: «Вашу поездку можно будет связать с этой экспедицией если не фактически (п. ч. актеры теперь Эйзенштейном никакие не принимаются), то номинально, Эйзенштейна я об этом предупреджу».

Зачем и от кого мне скрывать, что я поеду к нему? Ведь я-то давно поставила все точки надо всеми «i!». Так нет же! Я на это опять не обращаю никакого внимания.

Разумеется, я поехала. Что мне за дело до трех пересадок! А хоть бы и десять их было!

Ехала я из Сочи в Хреновое двое с лишним суток, какую-то часть пути, пришедшуюся на одну из ночей, в вагоне четвертого класса (со сплошными нарами), в обстановке для меня непривычной, и воображала себя поэтому чуть ли не некрасовской героиней, на все способной во имя любимого.

Бабель не встретил меня, как было условлено, в буфете первого класса на станции Лиски.

Но мне вручили там следующую телеграмму.

22. Телеграмма из Хреновой — в Лиски

буфет первого класса

25/VII—1925 г.

Прошу сообщить пассажирке Кашириной прибывающей из Ростова пассажирским № 9 двоеточие ввиду неимения поезда встретить Лисках не могу выежайте Хреновую товарным.

Уполномоченный Газеты Правда Бабель

Встреча наша в Хреновом была для обоих радостной.

Когда глубокой ночью я спрыгнула с площадки товарного вагона и попала в объятия встречавшего меня Исаака Эммануиловича, то была воистину на седьмом небе.

Мы жили в Хреновом в чистеньком домике на опушке дивного соснового бора, по которому с упоением бродили. Я старалась «не дышать» или уходить, когда Исаак Эммануилович что-либо записывал или размышлял. А чтобы не ме-

⁴⁶ Сказанное Бабелем имеет и еще один смысл: Эйзенштейн отрицал необходимость использовать для съюмок профессиональных актеров, он набирал «типажи», подходящие по внешним данным.

⁴⁷ Капчинский Михаил Яковлевич, в 1924—1925 гг. директор Московской кинофабрики Госкино.

шать «лошадиной проблеме», я постаралась в нее включиться. Пересилила свой страх перед лошадьми и начала ездить на беговых дрожках (занятие, надо сказать, никак не женское), но у меня не было брюк. Пришлось ездить в костюме Исаака Эммануиловича, и костюм от этого сильно пострадал, что не могло не огорчить Бабеля (у него было всего-навсего два костюма, и то, что один из них вышел из строя, было немаловажной неприятностью).

Но, в общем-то, мы жили в Хреновом необыкновенно дружно и, казалось бы, наконец-то обрели полное счастье.

Однако не прошло и десяти дней, как Бабеля вызвали телеграммой в Москву на кинофабрику. Я была смертельно разочарована его готовностью уехать. Звездной ночью мы сидели на лавочке возле нашего дома. Я плакала. А он разводил турусы на колесах и уговаривал меня подождать его в Хреновом. Я не согласилась (столько-то ума у меня хватило) и поехала с ним вместе в Москву.

По приезде я прежде всего объявила Николаю Васильевичу, что намерена впредь жить отдельно от него. До тех пор он все уговаривал меня подождать меня что-либо (кроме отношений мужа и жены, которые были прерваны) в нашей с ним жизни. Но тут я заявила, что мне необходимо совсем отъединиться от него. Я даже уговорила его тотчас же взять отпуск и уехать к Тане, с тем, чтобы, пожив с ней у моря, привезти ее обратно в Москву. Мне во что бы то ни стало хотелось остаться одной. Присутствие Николая Васильевича начало стеснять меня.

Когда Николай Васильевич уехал, я пригласила Исаака Эммануиловича, он жил в Сергиеве со своей матерью, к себе на обед.

Вот его ответная записка.

23. Записка из Сергиево — в Москву

Милая Татушенька. Я буду у Вас в воскресенье в 6—6½ ч. Иначе не выходит. Мама тоже выезжает в воскресенье. Я все думаю о Вас, и мне кажется, что мы и не расставались. Живите получше, голубушка моя Тамара, наберите целый короб новостей, не скучайте.

Ваш презренный

И. Бабель

С. 21/VIII—25.

Хоть это глупо, а надо сказать: Вы мне снились в минувшую ночь, я видел во сне множество людей, состязавшихся в беге. Вы были среди них и бежали с развевающимися волосами и с лицом очень чудным. Что бы это значило, такой сон?

По моей просьбе Степанида, бывшая кухарка Александры Михайловны, матери Николая Васильевича, приготовила для моего гостя роскошный обед. Но он сказал мне, что под ее взглядом у него кусок в горло не идет. После этого обеда он отказался приходить ко мне. Мы виделись, как и раньше, где придется. Потом опять куда-то уехала его жена (пока все еще не за границу), и я смогла приходиться к нему.

О дне и часе свидания он извещал меня запиской или телеграммой (у меня не было телефона).

24. Записка из Сергиево — в Москву

Дорогая Тамара.

До среды я не окончу моих дел. В Москву приеду в четверг утром. Прошу Вас пожаловать на Пречистенку в четверг в 6 ч. вечера.

Денег от Вас не получил, но на получение оных уповаю.

Будьте благословенны.

Ваш И. Бабель

Сергиево, 1/IX—25.

25. Телеграмма из Сергиево — в Москву

Сентябрь 1925 г.

Приеду понедельник

Я уже осознала, что теория и практика (слова и поступки) Исаака Эммануиловича сильно расходятся и что моя свобода скорее стесняет, чем окрыляет его. Сразу по возвращении из Хренового в Москву я начала искать работу. В театре Революции⁴⁸ был объявлен конкурс по набору актеров в труппу. Я участвовала в этом конкурсе и была принята.

⁴⁸ Театр Революции (с 1922-го по 1943 г.) ныне Московский театр имени Вл. Маяковского.

Вернулся, привезя Таню и Зину, Николай Васильевич. Я задумала переоборудование нашей квартиры, чтобы выделить Николаю Васильевичу комнату с отдельным входом. На время этого переоборудования, взяв с собой Таню, я уехала к Бабелю в Сергиево, благо его мать и жена опять были в отъезде, а сбор труппы в театре Революции еще не был назначен. Тут меня опять ждало крупное разочарование.

Я-то твердо помнила пленившую меня в одном из бабелевских писем строку: «...кабы Вы были здесь, в пустынной моей комнате, — я был бы счастлив...» А на поверку выходило, что я чуть ли не мешаю ему. Он признавался: «Ваше присутствие — счастье, но при Вас не работается».

Начался театральный сезон.

Театр Революции мне не нравился. Ни от той роли, которую я исполняла в спектакле «Воздушный пирог»⁴⁹, ни от той, которую репетировала для следующего спектакля, я не испытывала никакой радости.

Несмотря на многолетнюю совместную жизнь с Николаем Васильевичем, несмотря на дружбу с ним, мне стало неприятно его присутствие в квартире, неприятно его сочувствие, которое он, как всегда до тех пор, проявлял ко всем моим переживаниям.

Исаак Эммануилович у меня по-прежнему не бывал. Я у него тоже не могла бывать — вернулась жена. Мы встречались с ним или в комнате кого-либо из его приятелей, дававших ему ключ в свое отсутствие, или в сергиевской гостинице, которая, хоть и при монастыре находилась, была, по существу, домом свиданий.

Все это было никак не по мне. Окончательно выводило меня из равновесия. Отгисывкая саму себя в прожитом, вижу, что Господь Бог или гены предков (что, очевидно, одно и то же) создали меня женой и матерью, а на роль любовницы я никак не годилась. Пользуясь театральной терминологией, не то у меня было амплуа.

26. Записка. Сентябрь 1925 г.

Милая Тамара,

Я зашел в театр, чтобы повидать Вас, но, к сожалению, сегодня нет репетиции. Очень грустно. Через час уезжаю в Сергиево — в понедельник буду ждать вас и выйду встречать к поезду, который прибывает в 2—3 часа дня. Пожалуйста, приезжайте — если не трудно будет, — а если невозможно приехать, то напишите мне в Сергиево.

Ваш любящий Вас И. Б.

Во вторник или в среду мне придется снова быть в Москве, п. ч. виза после многих хлопот получена, и Евг<ения> Б<орисовна> через несколько дней уезжает.

Писать очень неудобно, поэтому так плохо выходит.

27. Записка. Москва, сентябрь 1925 г.

Милый друг Каширочка.

У меня есть пять минут для того, чтобы забежать в театр и оставить Вам эту записку. У меня множество дел сегодня. Я очень хочу Вас видеть, мне стало скучно жить без Вас.

Каширочка, позвоните мне завтра домой между 2—3 ч. дня по телеф. 2-56-44. Я буду сидеть дома и ждать вашего звонка.

До Свиданья.

Ваш И. Б.

28. Записка. Из Москвы — в Москву же

Милая Тамара.

Третий день безвыходно сижу дома. Завтра, надеюсь, окончу нудные мои дела с Грановским⁵⁰ и Сабинским⁵¹ и тогда смогу поехать в Сергиево. О дне и часе моего отъезда я уведомя Вас точно.

⁴⁹ Сатирическая комедия В. С. Ромашова «Воздушный пирог» о «перерожденцах и авантюристах» поставлена Театром Революции в 1925 году.

⁵⁰ Грановский Алексей Михайлович (1890—1935), режиссер. По всей вероятности, Бабель имеет в виду их совместную работу над фильмом «Еврейское счастье» («Менахим Мендель») по мотивам рассказов Шолом-Алейхема, производство Госкино, 1925 год. Авторы сценария Г. Гричер-Чериковер, И. Тенеромо, Б. Леонидов, режиссер А. Грановский, операторы Э. Тиссе, В. Хватов, Н. Струков, художник Н. Альтман. В этом фильме впервые выступил в кино С. Михоэлс. Бабель писал надписи. О фильме жестко сказал В. Б. Шкловский: «Достоаточно сравнить лестницу у Эйзенштейна и лестницу в фильме Грановского: лестница та же и оператор тот же, а товар разный». Лестница — знаменитый эпизод из «Броненосца «Потемкина», оператором фильма также был Э. К. Тиссе.

⁵¹ Сабинский Чеслав Генрихович (1885—1941), художник, режиссер. Ставил главным образом приключенческие и бытовые мелодрамы, а также экранизации классических литературных произведений.

Чувствую себя хорошо, т. е. грустно, но не унываю, и меня печалит только то, что Вы дурно обо мне думаете. Я все готов сделать для того, чтобы этого не было, клянусь Вам.

Письмо это принесет Вам курьер Лившица⁵². Если хотите, дайте ответ — пожалуйста. Лившиц передаст мне Ваше письмо.

До Свидания.

Ваш И. Бабель.

7/X—25.

29. Записка. Москва, октябрь 1925 г.

Милая Тамара. Завтра Вы получите от меня письмо с изложением всех наших дел. По великому моему скудоумию я считаю, что дела наши поправятся. Подтвердите получение этой записки и денег.

И. Б.

30. Записка. Москва.

Тамара. Я раздумал писать Вам длинные письма о наших делах. Мы лучше поговорим о них. Каждый вечер я буду теперь проводить на кинофабрике. Там в это время никого нет; тишина, тепло, одиночество. Сегодня или завтра Вы можете приехать туда к 8 часам вечера. Ответьте, когда Вы будете. Сообщение на Б. до Калужской площади. Жду вашей записки.

И. Б.

23/X—25.

Результатом совершенно не подходившей мне жизни явилась болезнь. Я заболела нервами. Острый приступ болезни случился во время спектакля, который пришлось прервать и отменить. Мне дали длительное освобождение от работы.

Исаак Эммануилович опять очень испугался. Он вообще больше всего на свете боялся болезней. Был очень мнителен в отношении собственного здоровья и впадал в панику, когда заболели близкие ему люди. Он немедленно принялся хлопотать об устройстве меня в санаторий. Но, когда выяснилось, что я к тому же еще и беременна, он пришел в полное смятение.

Вопреки логике и здравому смыслу я ни за что не хотела делать аборта. Мы поссорились. Я отказалась встречаться и разговаривать с ним.

31. Записка. Москва, ноябрь 1925 г.

Татушенька. Прошу Вас прийти ко мне завтра, в четверг, в 4 часа дня, не позже. Это необходимо. Поведение мое было преступно. Простите меня, я умоляю Вас об этом. Стыд терзает меня. Стыдно взглянуть на дневной свет. Вот второй день, как я пытаюсь заглядеть следы злых, глупых моих дел. Я думаю, что нетрудно исправить то, что я наделал. В этом последнее мое утешение. Приходите завтра.

И. Б.

32. Письмо из Москвы — в Москву

Милая Тамара. Прошу Вас через подателя сего сообщить мне о состоянии Вашего здоровья. Собираетесь ли Вы выйти, или Вам надо отлежаться?

Я обещал Зинаиде Вл. зайти сегодня в 12 ч., но не могу этого сделать, п. ч. плохо себя чувствую — физически и душевно. Особенно удручает меня то, что я лишен возможности окончить гнусные мои работы, уже почти доведенные до конца. Здание, которое я в последние месяцы сооружал с таким трудом и отчаянием, рассыпается прахом.

В театре я был, там все обойдется благополучно. Деньги я передам Вам немедленно по получении. Думаю, что это произойдет сегодня или завтра.

Расписание ближайших дней складывается для меня след. образом: сегодня и в пятницу я буду занят весь день, завтра, в четверг, я буду свободен от 5 до 7 ч. вечера, в субботу буду свободен весь день. Сегодня в 6 ч. буду у Лившица, меня можно вызвать по телефону. Писать мне можно до востреб.—34 почт. отдел.

Ваш И. Б.

2/XII—25.

33. Записка. Москва.

Милая Тамара. Посылаю Вам сто рублей на первое обзаведение. Пожалуйста, придите сегодня на кинофабрику в девять часов вечера, но никак не позже, лучше между половиной девятого и девятью.

Ваш И. Б.

5/XII—25.

Получение денег подтвердите.

⁵² Лившиц Исаак Леопольдович (1892—1979), издательский работник. Бабель был знаком с ним еще во времена одесского детства.

34. Письмо из Москвы — в Москву

Милая Тамара. Исчезновение Ваше — поступок, м. б., и правильный, мною заслуженный, но необыкновенно для меня тягостный. Если последнее это соображение может быть принято Вами во внимание, то ответьте, где, когда я могу Вас видеть. Жить так, не имея никакого с Вами сообщения, мне очень трудно.

Сегодня я буду в театре в 2^{1/2} ч. Я условился с Лишиным⁵³ (Треплева⁵⁴ не было) устроить все ваши дела — театральные, профсоюзные и др.

В Цекубу⁵⁵ мы опоздали. Есть возможность поселиться в Надеждине — прекрасной санатории. Для этого надо подвергнуться минутному медиц. осмотру в Объединении Московских санаторий на Кузнецком, остальное я сделаю все сам.

Деньги из Харькова я получил.

Ответьте мне.

И. Б.

М. 18/XII—25.

Я решила порвать с Исааком Эммануиловичем, но ребенка обязательно оставить. Я уже любила этого ребенка — плод и выражение своей любви (пусть и неудачной) к его отцу.

Исаак Эммануилович опять начал преследовать меня. Таков уж был у него характер. Ему всегда было до зарезу нужно только то, в чем ему отказывали. И я опять не устояла. Простила и т. д.

Исаак Эммануилович устроил меня отдыхать в «Узкое».

«Узкое» стало для меня в какой-то мере поворотным этапом.

Поехала я туда вконец раздерганная, на грани полного отчаяния. Во всем я разочаровалась, потеряла веру в саму себя и в людей. Мне буквально не за что было ухватиться — все осточертело и опостылело.

Помогла случайная встреча. Мне в жизни везло на мгновенное возникновение добрых чувств ко мне у встреченных мною людей. Так произошло и тут. Ехали тогда в «Узкое», если зимой, на розвальнях, которые подавали к Дому ученых, на Кропоткинскую.

Моим спутником по розвальням оказался Мирон Семенович Вовси⁵⁶, который тогда не был еще ни профессором, ни знаменитостью, но и тогда, как и всегда, умнейшим, милейшим и деликатнейшим человеком. Я по дороге как-то неожиданно для самой себя (это вообще не было мне свойственно) разоткровенничалась с ним. Его бережное, предельно внимательное и в то же время почтительно-восторженное отношение ко мне явилось тем целительным бальзамом, который был мне насущно необходим для восстановления утерянного равновесия. Ему удалось уговорить меня, что все в моей жизни не беспросветно, как мне казалось, а, наоборот, увлекательно и прекрасно.

Я сказочно быстро ожила и повеселела. Невзирая на свою беременность, начала ходить на лыжах, кататься с горы на санках. Со всеми перезнакомилась и стала в «Узком» душой общества.

Но Исаак Эммануилович оставался самим собой, он каждый день обещал мне по телефону, а иногда и запиской приехать в «Узкое», но так и не ехал.

35. Записка. Из Москвы — в «Узкое»

Милая Тамара. И рад бы написать письмо, да некогда. Проканителюсь с посылкой, а теперь надо ее отправлять. Если валенки окажутся неподходящи, то сегодня вечером скажите мне об этом. Они куплены в Москоже, обещали переменить. Главное мое вам завещание — используйте как можно лучше ваше пребывание в «Узком». Мне приятно думать, что вы поправитесь там и отдохнете. Вы все говорили, что хотите сделать мне приятное. Вот это и будет самый радостный для меня подарок.

Нынче вечером поговорим. На будущей неделе приеду к Вам в гости. Будьте, душенька моя, веселы, счастливы, здоровы.

Ваш И. Б.

М. 9/1—26.

Долго вынести разлуку с Бабелем я не могла и уехала из «Узкого», не дожив положенного срока.

⁵³ Лишин Михаил Ефимович (1892—1960), актер, режиссер, педагог. С 1920 года играл в Москве в Театре Корша, Театре им. Мейерхольда, Театре Революции, Камерном театре и пр.

⁵⁴ Треплев Авраам Давыдович (1891—1955), режиссер. В 1925—1926 годах работал в Московском театре Революции, возможно, Бабель был знаком с ним еще по Одессе, где тот окончил театральную школу, а в 1924 году был актером Одесского русского театра.

⁵⁵ Центральная комиссия по улучшению быта ученых при СНК РСФСР.

⁵⁶ Вовси Мирон Семенович (1897—1960), врач.

У меня созрел глупейший невыполнимый план — переселиться в Ленинград, дабы там жить совместно с Исааком Эммануиловичем. Переселиться-то — куда ни шло, но вот насчет «совместности»...

Исаак Эммануилович мой план, однако, вполне одобрил и наобещал мне с три короба. Отпуск, данный мне по болезни, кончался, а я и не думала о возвращении в театр...

Уезжала я одна. Было условлено, что Исаак Эммануилович приедет ко мне тотчас же, как только я сниму подходящее для нашей совместной жизни помещение и обоснуюсь. А там перевезем Таню и заживем... Я во все это верила, хотя, казалось бы, предыдущее должно бы было убедить меня в тщетности моих надежд.

Началась моя ленинградская жизнь, состоявшая из ожидания Исаака Эммануиловича и переписки с ним.

Если бы не дружба с Лидией Николаевной Сейфуллиной, уже поселившейся к тому времени в Ленинграде, мне никогда не вынести бы этого мрачного периода моей жизни.

Исаак Эммануилович поступил с Лидией Николаевной очень хитро. В первый же свой приезд, последовавший вскоре за моим водворением (пожалуй, тогда мы прожили вместе долгий срок, что-то около двух месяцев), он «сплавил» меня Лидии Николаевне. В торжественных выражениях (на которые он был мастак) препоручил ей меня на время своего отсутствия.

Такой же маневр, но неудачно, он попытался проделать и с Утесовым⁵⁷. Но там номер не прошел — к чему умному человеку чужая беременная любовница?! Ибо именно так, а не иначе воспринимал меня Леонид Осипович да, вероятно, и некоторые другие.

Иное дело — Лидия Николаевна. Для нее — автора «Виринен» — мерилом истинности человека была как раз любовь, а не какая-то там «законность». К тому же она успела полюбить меня и сдружиться со мной. Да ее романтической натуре и вообще чрезвычайно подходило «опекать любовь». Когда я впадала в отчаяние, она не уставала расписывать мне, как Бабель меня любит и как трогательно он ей меня препоручил. Лидия Николаевна опекала меня и материально. Без ее денежной поддержки я вообще погибла бы.

Вскоре я выписала к себе Таню, а там и Зина переехала ко мне. Но Зина не сразу порвала с Москвой и какое-то время еще ездила туда-сюда. Таню же я от себя уже не отпускала. Очень смешно, но Лидия Николаевна ревновала меня к Тане. У нее уже вошло в неукоснительную привычку ежедневно «прогуливать» меня по Ленинграду, поэтому, когда ей пришлось принять в компанию и Таню, она ворчала: «Голова пухнет от этих бесконечных «почему? отчего? зачем? где?» Как вы только выносите!»

Во всех письмах того периода Исаак Эммануилович писал мне о квартире, которую он будто бы ищет, или о даче, которую я должна искать, причем большую (не менее четырех комнат), — значит, и он собирается в ней жить. Одного этого было уже достаточно для моего успокоения и питания непрекращавшихся надежд. А надеяться, по правде говоря, было абсолютно не на что. Но я тогда не могла трезво оценить обстановку и что называется посмотреть правде в глаза.

Когда я перечитываю письма Исаака Эммануиловича, мне его делается очень жалко. До чего же человек «выкручивался». И как ему, должно быть, тяжело приходилось. И уж о какой работе «для себя» могла идти речь, когда непрерывно должен он был зарабатывать.

Зарабатывать на отъезд за границу своих родных: сестры, жены, матери.

Зарабатывать на посылку им всем туда денег.

Зарабатывать и на мое существование.

Влюбился он в меня явно себе не на радость, а на доuku. Я же полюбила его на явную себе гибель. И чем больше я его любила, тем больше отягощала и запутывала его и без того достаточно отягощенную и запутанную жизнь.

36. Из Москвы — в Ленинград

Тату. Приехал сравнительно благополучно, сравнительно потому, что в вагоне целую ночь не мог уснуть, хотя ехать было удобно. Вчера у меня был «кризис» — я валялся целый день в полном изнеможении, а сегодня приступил к делам. С 11 ч. до 11 ч. вечера был на кинофабрике, исправлял ужасный монтаж картины Капчинского (вот почему он слал телеграммы) и говорил о делах. Фонды мои неведомо по каким причинам на фабрике очень поднялись, они требуют, чтобы оба сценария ставились у них, режиссерские и проч. возможности у них богаче, чем у Вуфку⁵⁸, но денег нет. Завтра, в воскресенье, у меня будет решительный разговор с Капчинским, о результатах которого тебя уведомят. С Зинаидой увижусь только завтра, переговорю с ней обо всем и о разговоре этом пошлю тебе полный отчет. Часы купил очень хорошие. В понедельник пошлю тебе по телеграфу 50 рублей, к вечеру ты эти деньги получишь. В понедельник

⁵⁷ Утесов Леонид Осипович (1895—1982) в это время жил в Ленинграде.

⁵⁸ Всеукраинское фотокиноуправление.

же буду в одном домоуправлении, которое взяло дом на застройку. Домоуправление солидное, обещают квартиры к осени. Квартирные хлопоты начинаю завтра же с утра. Теперь первый час ночи и я очень устал. Следующее письмо будет подробным отчетом о достижениях моих или провалах. Всей силой моей души надеюсь, что ты ведешь себя разумно, жду от тебя подробных реляций с полным изложением всех событий и животных ощущений. Была ли ты у врача? На 50 рублей, которые я тебе пошлю, купи сукно для платья, а из следующей получи, которая не замедлит воспоследовать, заплатишь портнихе и прочее. Целую тебя, моя душа, прошло всего два дня, и вот ты уже кажешься мне чудной и доброй.

Твой И. Б.

Москва, 27/III—26.

До меня доходят неясные слухи о том, что в Ростове застрелился Миша Глезер. Если это правда — то горе мое велико. Он был мне друг.

И. Б.

37. Из Москвы — в Ленинград

Татушенька. Письмо твое получил. С Зинаидой я виделся. Она, конечно, согласна на все комбинации. Думаю, что она сама тебе обо всем написала. На этой неделе у нее корректура, как только она освободится, она с Таней сейчас же выедет в Ленинград. Деньги я добуду. Квартиру ищу, кое-какие надежды есть, но, по правде сказать, слабые. Думаю, что к отъезду Зинаиды все выяснится. С делом этим надо спешить. Сценарий мой произвел на фабрике ошеломляющее впечатление — ты оказалась права. Вуфку они его не отдадут и прибегнут даже к давлению на меня сверху, если я эту комбинацию произведу. Одна беда — продавал я «Беню Крика» в прошлом году, теперь «цены» возросли вдвое больше и я занимаюсь теперь жульнической работой — требую повышения гонорара за проданную уже работу; надо надеяться, что некрасивая эта афера мне удастся. 50 рублей я тебе послал по телеграфу. Надеюсь, ты получила их вовремя. Сегодня буду в кинопечать, возьму у них удостоверение и пошлю тебе. Зинаида говорит, что для представления коменданту нужно только врачебное удостоверение о том, что ты больна и не можешь выехать из Ленинграда⁵⁹.

Почему бы тебе не взять такую записку у Риты⁶⁰? Это очень легко, и тебя не отпищут, а то на Зинаидину голову могут обрушиться громы раньше времени. Мы с Зинаидой пойдем сегодня на негритянскую оперетту⁶¹. Немедленно сходи к доктору и немедленно же сообщи мне о том, что он тебе скажет. Таня, оказывается, находится в вожделенном здравии, и Зинаида очень удивляется твоим страхам. Работы у меня впереди непочатый край — по состоянию моих мозгов я никак к этому не приспособлен, о чем и скорблю. Не скучай, душенька, развлекайся, гуляй, будем умнее и тверже. Как в Ленинграде насчет весны? Здесь вчера был прекрасный день. Целую милые твои руки и толстовский твой нос особенно.

Твой И. Б.

М. 30/III—26.

38. Из Москвы — в Ленинград

31/III—1926 г.

Милая Тамара. Плачевное твое письмо получил. Очень грустно. Если болезнь желудочная, то можно рассчитывать, что она скоро пройдет. Прошу тебя сообщать о здоровье как можно чаще — ведь это теперь самое главное.

Вчера были с Зинаидой на спектакле негритянской оперетты. Пляшут здорово, но и только. Остальное скучно.

Зинаида будет занята своей корректурой в четверг и пятницу. Рассчитывала, что в пятницу она сможет выехать с Таней в Петербург. Она тебе и денег привезет. Постарайся шить себе «обмундирование».

В Харьков я, очевидно, ехать не должен. Госкино не хочет выпускать сценариев из своих рук. С деньгами, я думаю, уладится.

Все внимание мое поглощено поисками квартиры. Зинаида привезет тебе полный отчет — до ее отъезда все должно решиться.

О себе писать не стоит. Работать из-за тревоги, владеющей мною, не могу — значит, жизнь не ахти какая. Хлопochу об отъезде мамы за границу — это ужасно надоедливая, изнурительная работа, в особенности если принять во внимание старушечьи повадки. Авось справимся.

Итак, живи весело. От факта твоего, увы, недостижимого веселья могли бы простечь роскошные последствия — я бы заработал, младенец бы запрыгал, ты бы покрылась румянцем, Зинаида бы захохотала, Татьяна бы заиграла пуще прежнего. Можешь ты это совершить?

⁵⁹ Справка была нужна, чтобы не потерять прописку в Москве.

⁶⁰ Райт Рита (псевдоним Райт-Ковалевой Раисы Яковлевны) (1898—1989), переводчица, писательница; по образованию медик.

⁶¹ Негритянская труппа «Шоколадные ребята» из США выступала в СССР с опереттой того же названия.

Посылаю тебе книжицу, изданную «Землей и Фабрикой»⁶². Я просмотрел уже корректуру «Конармии». Она выходит в апреле на русском и немецком яз.⁶³. Из Берлина получил мои «Одесские рассказы» на немец. яз.⁶⁴. Превосходно издано. Скоро напишу еще. Будь весела! Можешь ты это совершить?

Твой И. Б.

39. Из Москвы — в Ленинград

Милая Тamarочка. Письмо твое только что получил. Очень неприятна история со старухой⁶⁵. Завтра я наконец вышло тебе удостоверение. Если она будет приставать, я напишу ей отдельно с ссылкой на некоторые авторитеты. Это ее успокоит. Я никак не могу вспомнить, что ты просила меня сделать в театре Революции. Напиши мне по этому поводу немедленно и пришли, если нужно, союзную книжку. Дела с квартирой не так безнадежны, как думает Зинаида. Она у меня завтра будет, мы сможем определить, я думаю, день их отъезда. Деньги пришло тебе с Зинаидой. Сценарий я отдал Госкино, все бы обстояло благополучно, если бы у них были деньги. Они, бедняги, соглашаются на все условия, но платить не могут. Вообще здесь в учреждениях совершенный денежный кризис, червонец очень упал, и я только что узнал грустную новость — за границу никаких денег не выпускают из-за падения курса червонца, и я не знаю, как мама сможет уехать и сможет ли она уехать. Вот, действительно, все шишки валяются. Призывать меня, душечка моя Тамара, к бодрости не надо — я здоров и бодр, чего и тебе желаю. Одно обстоятельство тяжко меня угнетает — полная невозможность работать, — нельзя сказать, как это грустно, не знаю, когда наступит для меня счастливое время и я смогу потрудиться. Завтра напишу тебе. Главным образом я занят теперь урегулированием взаимоотношений моих с Госкино и поисками квартиры. Отсутствие денег в учреждениях, конечно, неприятная подробность. Итак, до завтра, милый мой дружок.

Твой И. Б.

М. 1/IV—26.

Со второго месяца надо перевести в домоуправлении плату на тебя. Не обращай внимания на старухины истерики, сделай это хладнокровно, мне это гораздо труднее сделать, потому что я погребен под «делами». Удостоверение будет от кинофабрики.

И. Б.

40. Из Москвы — в Ленинград

Милая бабочка. Жалостное твое письмо получил и пролил над ним невидимую миру слезу любви, и умиления, и печали. Потом по твоему глупому примеру я начал пересчитывать людей, которым хуже, чем тебе (удивительное занятие!!!), и обнаружил целую кучу таких людей, легион. Поэтому, дитя моего сердца и милая баба, наливайся соками весны, как это тебе приличествует, и благодарствуй. Зинаида по моему предложению поехала осматривать дачу в Усове. Местность эту очень хвалят. У нее еще завтра, в понедельник, есть корректура, поэтому она не сможет выехать раньше вторника или среды. О выезде их мы тебе протелеграфируем. Малую толику денег привезет тебе Зинаида, и большую толику я пришло тебе на этой же неделе с таким расчетом, чтобы хватило на обмундирование на две персоны и на прочие расходы, предвиденные и непредвиденные. Дача к 1 мая будет тебе приготовлена хорошая, есть также надежды на квартиру. Наливайся соками весны и благодарствуй. За то время, что ты будешь в Петербурге, тебя навестят Зинаида с Таней, а попозже и я.

Лидии Николаевне и Валериану поклон до самой сырой земли.

М. 4/IV—26.

Твой тиран
И. Б.

41. Из Москвы — в Ленинград

Милая Тамара. Марья Потаповна⁶⁶ обнаружила вчера у Зинаиды налеты в горле. Мы боимся, как бы у нее не образовалась ангина. Поэтому отъезд ее на короткое время приходится отложить. Может, оно и к лучшему, п. ч. Зинаида поможет мне найти дачу. Какая скверная жизнь. Квартир нет, дач нет, хлопотать надо обо всем, трудно, мучительно. Во всяком случае, отъезд Зинаиды

⁶² Книга «История моей голубятни», М.-Л., «Земля и фабрика», 1926.

⁶³ Речь о книгах «Конармия», М.-Л., Госиздат, 1926, и «Конармия», Берлин. «Малик Ферлаг», 1926. О немецком издании книги в письме к И. В. Евдокимову Бабель говорит: «Передо мной печальный пример немецкого издания, где все перепутано...» (письмо от 30 марта 1926 г.).

⁶⁴ «Одесские рассказы». Берлин. «Малик Ферлаг», 1926.

⁶⁵ Речь идет о хозяйке частной квартиры, которую снимала за высокую плату Т. В. Иванова. Бабель хотел, чтобы плата вносилась в домоуправление.

⁶⁶ Окунева Марья Потаповна (в браке Каширина, во втором браке Сыромятникова) (1870—1955), мать Т. В. Ивановой.

и Тани отложен всего на несколько дней. Думаю, что никакой ангины у Зинаиды не будет, обойдется.

Посылаю тебе 80 р. Тебе, конечно, не следует возвращаться в Москву до приискания квартиры или дачи, во всяком случае. Траты твои в Ленинграде значения не имеют. Если здесь не найдем квартиры окончательно — тогда подумаем о Ленинграде? Узнавала ли ты о ленинградской ситуации в квартирном вопросе? Надо все-таки знать, как обстоят в этом отношении дела в Ленинграде. Бумаги из театра вышлем тебе. Обязательно сделай в союзе все, что надо.

Работать я совершенно не работаю, никакой возможности у меня для этого нет, вера в спасение оставляет меня. Человеческая жизнь штука не очень важная, носиться с ней не стоит, головой я превосходно это знаю, но эгоистическое сердце ужасно жалеет себя.

Теперь ночь, поздно, писать больше не могу, в следующий раз сочиню повеселее. А ты, голубушка, потерпи — Зинаида, и Таня, и я — мы все скоро с тобой увидимся.

Твой И. Б.

М. 5/IV—26.

42. Из Москвы — в Ленинград

Милочка Таратута. Вчера мы с Зинаидой держали длительный совет. Мы пришли к заключению, что селиться надо в Петербурге, а не в Москве. Убедили нас в этом следующие обстоятельства: Зинаида сунулась искать дачу, дело это оказалось трудным, хлопотливым, дорогим, она сразу опустила руки, в отношении же квартирном нам якобы повезло. Какие-то научные работники, члены Цекубу, муж с женой, отстраивают себе квартиру во дворе Зачатьевского монастыря и оставляют три комнаты, занимаемые ими на Тверском бульваре. Квартиру, т. е. комнаты эти, я осматривал. По московским условиям они не плохи, хотя расположены в большой квартире, очень шумной, но это полбеды. Цена — четыре тысячи. Цифра эта произнесена была неуверенным голосом, может быть, уступили бы за три, а три тысячи по нынешним московским ценам — это совсем недорого. На комнаты эти у нынешних хозяев есть охранные грамоты от Цекубу, поэтому надо бы, чтобы и у последующих нанимателей были такие грамоты, я эти бумажки мог бы, конечно, достать. Но выяснилось, что вся эта операция протекает при яростном противодействии Домоуправления, что отстраивающаяся квартира будет готова у них, по заявлению архитектора, в июне (читай: в июле — августе), что нужно произвести целый ряд подложных действий — вписать меня в пустой амбар Зачатьевского монастыря для того, чтобы потом можно было выставить нашу сделку как обмен; до вселения в эти комнаты я должен безотлучно быть в Москве для производства всех этих махинаций, и главное — надо отдать задаток, очень солидный, тысячи полторы-две, не имея никакой уверенности в том, что домоуправление не поступит по-своему. Я изложил этот случай так подробно потому, что изо всех встретившихся возможностей это самая лучшая и при отсутствии выхода нужно вцепиться в эти комнаты руками и ногами. Но стоит ли цепляться, ухлопать все без исключения деньги (не оставив даже запасного фонда для родов), закабалить себя? Тут подоспело еще одно обстоятельство: приятель мой Зорин, о котором я тебе, кажется, рассказывал, состоит заведующим строительным отделом ВСНХ; теперь он назначен еще директором Стандартстроя; он в изъятие всяких правил и с очень небольшой ежемесячной затратой гарантирует мне в будущем году отдельный, комфортабельный дом. Договор можно заключить в этом месяце. Изо всех предложений это, конечно, наилучшее. Оно не потребует никакого сверхсильного финансового напряжения. Я считаю, что до будущей осени надо жить в Петербурге (нынешнее лето можно провести в Царском, в Петергофе или у моря, будущее — в Крыму или на Кавказе), а осенью можно будет въехать в «собственный» дом. Комбинация эта до того проясняет мои горизонты, что даже трудно поверить в то, что она может осуществиться. Итак, если ты согласна с моими доводами, то надо немедленно приняться за приискание квартиры и дачи. Зинаида оправилась и выедет, надо думать, в субботу обязательно, о выезде ее мы тебе протелеграфируем. Не знаю, может ли она помочь тебе в хлопотах. В конце будущей недели я постараюсь приехать на несколько дней. Зинаида привезет тебе деньги в достаточном количестве, ты сможешь дать задаток за дачу или квартиру. Дачу надо снять очень комфортабельную, тут все дело в лишних каких-нибудь пяти — десяти червонцах. Лучше всего снять в Царском или в Петергофе, не жалея на это денег. Дача должна быть с мебелью, в три-четыре комнаты, не меньше. Думаю, что если не поспушиться, то найти можно. Мебель для квартиры можно будет в случае надобности отправить из Сергиева, где она пылится и бездействует.

У меня ничего нового, «самочувствие» среднее, голова в тумане, работать я не больно гожд, ну да поправится. Галоши получил, отправляю Варшавским благотворительным письмом.

Треплев добывает документы, завтра, надеюсь, отошлем их тебе. Ты должна их всемерно использовать, п. ч. при найме квартиры нужно быть во всеоружии документов.

У нас снова зима, намело снегу, метель и холод. От тебя несколько дней нет писем, это очень меня беспокоит; человек ты, душенька моя, неожиданный, и поэтому я трепещу. Писать надо чаще, успокой мою старость. Не огорчайся, что отъезд Зинаиды и Тани задержался, они приедут к тебе в блистательном состоянии. Жду от тебя письма. До свиданья, милый, глупый, любимый мой друг.

Твой И. Б.

М. 8/IV—26.

43. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемая Таратута. Только что (теперь 10 ч. утра) послал Сашу Лившица за билетами для Зинаиды и Татьяны. Рассчитываю, что завтра, в субботу, они выедут. Сообщи мне, пожалуйста, немедленно, с какого числа по какое ты получала пособие из страхкассы. В театре нет об этом официальной справки, они выдадут бумажку на основании моих слов. Я говорил с Марией Потаповной и Зинаидой. Скрепя сердце они соглашаются на отъезд в Петербург, в особенности принимая во внимание предложение Зорина.

Меня убеждают в том, чтобы напечатать сценарий о Бене Крике. Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати⁶⁷. Изменения будут незначительны. Жду от тебя известий по поводу квартиры, дачи и прочего. Дачу надо снять обязательно и хорошую — это нам по средствам. Постараюсь послать с Зинаидой некоторое количество денег тебе и долг Сейфуллиной. На фабрике ждут субсидии, надо рассчитывать, что выплату они произведут аккуратно.

Сегодня у нас светит солнце, кабы поспать хорошенько, можно бы и поработать, но не спится, друг мой, и ничего путного сообразить не могу. Все это придет, надо надеяться.

Желаю тебе веселья, благоденствия и веселья. Обойдись с Зинаидой вежливо, угости ее обедом в «Европейской», сходи с ней в Эрмитаж и в спальни Николая II, купи ей супную миску с царским гербом.

М. 9/IV—26.

Твой И. Б.

44. Из Москвы — в Ленинград

Милая Тамара. Получил твое письмо от 8/IV. Известие об аппендиците очень огорчило меня. Надо обязательно сходить еще к одному доктору — проверить это. Надеюсь, что Зинаида и Татьяна приехали благополучно. Походи с ними, покажи им всякие достопримечательности, да и сама кстати посмотри их.

Жду твоего сообщения о том, как мне распорядиться с финансами, сколько будет стоить дача и квартира? Нечего и говорить о том, что все надо устроить подешевле, но не в ущерб необходимым удобствам. Я еще не могу определить точно, когда приеду в Ленинград. Это выяснится в середине недели.

Пишу тебе сегодня очень коротко, п. ч. голова болит. Я был сегодня на даче в Братовщине, но это не помогло. Угнетенное состояние духа и полная почти неработоспособность очень беспокоят меня, особенно в рассуждении заработков.

Вопрос с отъездом мамы повис в воздухе. По последнему декрету выезд за границу так затруднен, что рассчитывать на скорый отъезд нельзя.

Мне во что бы то ни стало надо здесь в течение нескольких дней потрудиться, а потом подумаем, что со мной делать. Гостям твоим поклон, а тебе тысяча поклонов.

М. 11/IV—26.

Твой И. Б.

45. Из Москвы — в Ленинград

Милая Татушенька. Приведение сценария в литературный вид я закончу завтра-послезавтра, после того, как выяснится его судьба, я смогу выехать в Ленинград. Дачу ты должна искать **неукоснительно**. Деньги за квартиру хорошо бы не давать, и если можно сделать это в Откомхозе⁶⁸, то я постараюсь это сделать. Во всяком случае, до моего приезда у тебя должны быть все сведения по этому вопросу. Конечно, лучше бы найти квартиру, уже отремонтированную. Думаю, что твои знакомые (Рита, Утесовы, Сейфуллина) могут помочь тебе в этом отношении. Я думаю, что из денег, привезенных тебе Зинаидой, ты можешь уделить несколько червонцев для задатка на дачу. В четверг я сообщу тебе приблизительный день отъезда моего в Петербург. Анкету Зинаиды я пе-

⁶⁷ При жизни Бабеля на русском языке сценарий был напечатан трижды: в одесском журнале «Шквал» с названием «Карьера Вени Крика» (1926), в том же году под названием «Беня Крик» в журнале «Красная новь», в 1927-м вышло отдельное издание в издательстве «Круг». Фильм, сделанный по этому сценарию на одесской кинофабрике ВУФКУ, вышел на экраны в начале 1927 г., режиссер В. Вильнер. Сценарий при публикации имел подзаголовки «киноповесть» и «кинороман».

⁶⁸ Отдел коммунального хозяйства.

редал сегодня Лившицу, он постарается все сделать. Прости, что пишу так коротко, сухо, скучно. У меня без всякого перерыва болит голова, и даже письмо написать — трудно. Марье Потаповне я завтра позвоню и пойду к ней. Следующее письмо постараюсь сочинить повразумительнее.

Твой дурак И. Б.

А скучать я по тебе скучаю.

М. 12/IV — 26.

46. Из Москвы — в Ленинград

Уважаемая Тамара. Спешное письмо от 13/IV я получил сегодня, 15, в 10 ч. утра. Как это случилось — не понимаю. Вина тут, я думаю, твоя. Ты, вероятно, отправила письмо из какого-нибудь почтового отделения позже установленного срока, или, м. б., оно путешествовало в почтовом поезде. Послать цветы⁶⁹ — это не составило бы для меня труда, очень жалею, что не вышло. О даче. 5 или 10 червонцев не составят большой разницы. Главное — дача д. б. комфортабельна, просторна, снабжена всем необходимым. Я не знаю петербургских дачных мест, выбери где получше и, главное, не канителься. Посвяти этому делу несколько дней и постарайся его закончить. Вопрос о квартире обсудим в Пб. День приезда определить еще не могу, во всяком случае, «визита» моего нужно ждать в течение ближайших дней. С маминым отъездом ничего еще не выяснено. Я хлопочу о предоставлении ей финансовых льгот. Если ничего не выйдет, тогда мы обсудим с тобой этот вопрос. Документы из театра пришлю обязательно завтра или послезавтра. Ночью с ужасной тоской в душе «гулял» у Регининых на именинах, ночью не спал, и теперь я качаюсь от слабости. Состояние моих мозгов, состояние здоровья стали так плачевны, что надо серьезно подумать об отдыхе в соответствующей обстановке, иначе будет мне худо. По совести говоря, мне трудно писать письма, п. ч. нет сил собрать мозги к «одному знаменателю». Довольно хныкать. Авось поправимся. Завтра напишу еще. До свиданья, дружок.

Твой И. Б.

М. 15/IV — 26.

В каком состоянии твой гардероб? Купила ли ты себе что-нибудь? Что тебе надо? Что я могу привезти тебе из Москвы? Как твои денежные дела?

⁶⁹ Т. В. просила Бабеля послать цветы ее матери в день рождения.

Комментарии Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВА

ОТ КОММЕНТАТОРА

В подготовке комментариев использовались следующие издания: «Исаак Бабель. Детство и другие рассказы. Подготовка текста, комментарии и библиография Э. Зихера. Послесловие С. Маркиша. «Алиа», Израиль, 1989»; «Исаак Бабель. Пробуждение. Составление, подготовка текстов, вступительная статья, комментарии и краткая летопись жизни и творчества Исаака Эммануиловича Бабеля—У. М. Спектора. «Мерани», Тбилиси, 1989»; «Исаак Бабель. Сочинения в двух томах. Составление и подготовка текста А. Н. Пирожковой. Комментарии С. Н. Поварцова. «Художественная литература», Москва, 1990».

(Продолжение следует)

Страница редактора

К нашим подписчикам!

С изданием журнала не по нашей вине возникают большие трудности. Прошлогодняя подписная цена одного номера составляла 2 руб. 50 коп. Но, начиная с 3 января 1992 года, цена на бумагу, затраты типографские и всякие иные возросли более чем в десять раз. Подписных денег хватило редакции всего лишь на выпуск двух с половиной номеров. Между тем вы держите в руках пятую книжку «Октября» за нынешний год. Мы принимаем отчаянные меры, чтобы сохранить журнал и донести до вас обещанное. Нам помогает правительство, хотя и оно не в состоянии компенсировать все затраты на издание журнала, так что без вашей финансовой поддержки «Октябрю» не обойтись. Нам не хотелось бы проводить официальную переподписку, ставя вас перед неизбежным выбором: или доплачивать за подписку, или полностью отказаться от журнала. Хорошо понимаем, что не у всех на это найдутся средства. Но тех, кто имеет такую возможность, просим помочь журналу и доплатить разницу в стоимости уже вышедших пяти номеров «Октября», которая составляет 51 руб. 50 коп. Если же кому-то означенная сумма покажется непосильной, можно перевести часть от нее, за что мы тоже будем благодарны. Вы должны знать, что собранные таким образом средства не покрывают всех затрат на издание, однако и они послужат для нас необходимым подспорьем.

Если такая помощь не будет оказана, журнал может закончить подписной год на седьмом или восьмом номере, и те интересные произведения, которые редакция имеет в своем портфеле и обещала опубликовать, не дойдут до читателя. Многие подписчики уже давно звонят нам и пишут, выражая готовность посылить помощь журналу. Мы заранее благодарны нашим читателям. Нравственность, духовность народа, частью которой является литература, невозможно оценить с точки зрения чистой коммерции.

Вспомним библейскую заповедь: «Благотворительная душа будет насыщена; и кто напоит других, тот и сам напоен будет».

Деньги можно послать почтовым переводом на адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11, либо перевести через местное отделение Сбербанка на наш расчетный счет: 609481 в Шаболовском отделении МББ г. Москвы, МФО 201467. С обязательной пометкой: «Октябрь»-92, доплата».

Анатолий АНАНЬЕВ

«ОКТЯБРЬ» — 1993

Не каждая книга становится настольной. И все же из потока современной литературы мы стараемся выбрать и донести до читателя лучшие произведения наших и зарубежных авторов. История и современность, вихревые сюжеты и плавное, домашнее течение жизни; любовь и ненависть, политика и религия — все, что входит в круг жизненных интересов каждого из нас, мы надеемся, представит перед вами в художественном исполнении как мир красоты и как мир ущербности, потому что нет в природе однозначных явлений, и тем, видимо, и интересны и природа, и человек в ней. Мы надеемся, что многие из произведений полюбятся вам, принесут вашей душе удовлетворение, обогатят нравственно.

Вот круг авторов, которых редакция предполагает представить в следующем году на страницах нашего журнала:

Б. ВАСИЛЬЕВ. **Дом, который построил Дед.** (Бремя выбора). Роман, книга вторая.

Э. ВИЗЕЛЬ. **Ночь** (перевод с французского). Роман.

Ю. ВЛАСОВ. **Тайная Россия.** Роман.

В. ВОЙНОВИЧ. **Замысел.** Роман.

И. ВОЛГИН. **Политический процесс.** Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

А. ДЕНИКИН. **Очерки русской смуты.** Тт. IV—V

Г. ИВАНОВ. **Шесть рассказов.**

Б. КЕНЖЕЕВ. **Мытари и блудницы.** Роман.

Р. КИРЕЕВ. **Песни Овидия.** Повесть.

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. **Иисус Неизвестный.** Роман-эссе.

И. МИТРОФАНОВ. **Новая повесть.**

Н. МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

В. СУХНЕВ. **В Москве полночь.** Роман.

Ю. ЭДЛИС. **Сия пустынная страна.** Повесть.

Для «Октября» работают: Г. БАКЛАНОВ, В. БЫКОВ, А. ГЕНАТУЛИН, Н. ИЛЬИНА, Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ, В. КОНДРАТЬЕВ, В. МАКАНИН, Б. МОЖАЕВ, Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ, В. ПОПОВ, Е. ПОПОВ, В. ПЬЕЦУХ, М. РОЩИН, А. САЛЫНСКИЙ, Г. СЕМЕНОВ, В. СУББОТИН, В. ТОКАРЕВА, Т. ТОЛСТАЯ и другие как широко известные, так и пока еще незнакомые читателям авторы.

Продолжение см. на 4-й стр. обложки.

«ОКТАБРЬ» — 1993

В ПОЭТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ журнала — стихи **О. БЕШЕНКОВСКОЙ, Е. ВИНОКУРОВА, С. ГАНДЛЕВСКОГО, Ю. МОРИЦ, Б. ОКУДЖАВЫ, И. ПОМЕРАНЦЕВА, В. СОСНОРЫ, Л. ФИЛАТОВА, А. ЦВЕТКОВА.**

РАЗДЕЛ ПУБЛИЦИСТИКИ будет представлен авторами, составляющими интеллектуальный потенциал современной России. Среди них **Сергей АНДРЕЕВ, Леонид БАТКИН, Юрий БУРТИН, Игорь КЛЯМКИН, Сергей ЛЁЗОВ, Лариса ПИЯШЕВА, Василий СЕЛЮНИН, Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ, Григорий ПОМЕРАНЦ, Юрий ЧЕРНИЧЕНКО.**

Продолжат сотрудничество с «Октябрем» лучшие публицисты русского зарубежья: экономист **Игорь БИРМАН (США),** политолог **Михаил ВОСЛЕНСКИЙ (ФРГ),** политолог **Кронид ЛЮБАРСКИЙ (ФРГ),** философ **Борис ПАРАМОНОВ (США),** историк **Александр ЯНОВ (США).**

На страницах журнала будут продолжены публикации рубрики **«Товар — деньги — товар».** Ее задача — рассказать о ходе реформы, представив экономические процессы в человеческом измерении. Темы этой рубрики — деятельность биржи и становление фермерского хозяйства, денежное обращение и налоги, малый бизнес и недвижимость, приватизация и социальные аспекты реформы...

«Октябрь» открывает еще одну новую рубрику — **«Гуманитарный факультет».** Здесь будут публиковаться комментированные тексты культурологов, философов, социологов и психологов, ставших классиками XX века, но известных у нас в основном лишь понаслышке: **Теодор АДОРНО, Мартин БУБЕР, Жак ДЕРРИДА, Жан-Франсуа ЛИОТАР, Пауль ТИЛЛИХ, Арнольд ТОЙНБИ, Эрих ФРОММ, Эрих ХОФЕР, Карл ЮНГ** и другие.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА представит современный литературный процесс и историю литературы в статьях и эссе **Л. АННИНСКОГО, А. АРХАНГЕЛЬСКОГО, А. БОЧАРОВА, М. ЗОЛОТОНОВОСА, Вл. НОВИКОВА, Б. САРНОВА.**

В рубрике **«Литературное наследие»** — неопубликованные произведения **Л. Добычина, Вс. Иванова, М. Лоскутова, Тэффи, В. Шкловского,** неизвестный сценарий-пародия **С. Эйзенштейна** «Базар похоти».

Неординарные, спорные размышления критиков об отдельных произведениях и целых периодах советской литературы — в рубрике **«Советская литература — новый взгляд».**

В рубрике **«Воспоминания, документы»** — переписка **И. Н. Голенищева-Кутузова с Вяч. Ивановым, Ходасевичем, Ремизовым.**

Перспективные планы «Октября» будут уточняться.
Следите за нашей рекламой!